

Теодор Рошак
Воспоминания Элизабет Франкенштейн



Теодор Рошак
Воспоминания Элизабет Франкенштейн

Не в силах вынести вида существа, которое я создал, я выбежал из комнаты и долго метался по спальне, слишком потрясенный, чтобы уснуть. Наконец смятение мое уступило усталости; как был одетый, я бросился на кровать в надежде забыться на несколько мгновений. Но напрасно; хотя я и уснул, меня мучили дикие кошмары: мне привиделась Элизабет, цветущая и прекрасная, которая шла по улицам Ингольштадта. В радостном удивлении я обнял ее, но не успел запечатлеть поцелуй на ее устах, как на них легла смертная синева, черты ее изменились, и я обнаружил, что сжимаю в руках труп моей матери, укутанный в саван, в складках которого копошились могильные черви. Я в ужасе очнулся; холодный пот катился по моему лбу, зубы стучали, тело сотрясали судороги; и

тут тусклый желтый свет луны, пробивавшийся сквозь ставни, явил мне мерзкую фигуру – чудовищного монстра, созданного мной.

Мэри Шелли, «Франкенштейн, или Современный Прометей»

От автора

Элизабет, злосчастную *fiancé* ¹ Виктора Франкенштейна, Мэри Шелли во многом писала с себя. Однако роль повествователя она поручила не ей; для этого она выбрала исследователя Арктики Роберта Уолтона. Во «Франкенштейне» звучат в основном голоса мужчин – Уолтона, Виктора и чудовища. Элизабет позволено высказаться лишь в нескольких письмах, вкрапленных в повесть. Даже когда речь зашла о публикации книги, Мэри проявила скромность. Будучи столь же эмансипированной женщиной, как ее мать – Мэри Уолстонкрафт, первая на Западе феминистка, она тем не менее согласилась убрать свое имя с титульного листа. Издатель нашел роман чересчур мрачным и предпочел оставить публику в неведении относительно того, что его автор – женщина. Многие читатели решили, что «Франкенштейн», вышедший анонимно в 1818 году, написан не Мэри, а ее мужем, Перси.

Меня долго преследовало ощущение, что Мэри больше всего не хватало в ее «Франкенштейне» того, о чем могла поведать одна лишь Элизабет и что осталось сокрытым тайной. Мой пересказ повторяет сюжет исходной повести, но все происходящее в нем увидено глазами исключительно Элизабет. Помещая в центр своего романа историю алхимической любви, Мэри Шелли не признавала, насколько глубоко она затрагивает психологические основы западной науки. В ту эпоху она не могла знать о более экзотических корнях алхимии, но ее интуитивная догадка относительно того, что алхимия обнажает взаимоотношение полов в науке, оказалась на удивление верной. Надеюсь, выступая здесь от лица невесты Франкенштейна, она наконец сможет высказать то, о чем не могла говорить в те времена.

Теодор Рошак

Беркли, Калифорния

1994

Предисловие к «Воспоминаниям Элизабет Франкенштейн» сэра Роберта Уолтона, КНО и ОБИ ²

Лондон, 1843

Множество читателей знают обо мне единственно потому, что я познакомил мир с доктором Виктором Франкенштейном, Осенью 1799 года, исправляя должность судебного натуралиста в арктической экспедиции, я принял участие в спасении погибающего путника, который заблудился среди полярных льдов. Проведший долгие дни на плавучей льдине, несчастный умирал от голода и холода, когда мы подняли его на борт нашего корабля. Это был Виктор Франкенштейн, который, возвращенный нашими стараниями к жизни из тяжелейшего своего состояния, поведал о цепи жутких событий, приведших его в эти скорбные воды. В отчаянии от того, что не останется свидетельств его злоключений, он уговорил меня записывать за ним его рассказ – просьба, в которой я едва ли мог отказать человеку, находящемуся на пороге смерти.

Так, по неисповедимой прихоти судьбы, мне выпало стать летописцем жизни Франкенштейна. Во всем мире я единственный, кто услышал от него самого признание о его преступлении против природы; я единственный, кто узнал о страданиях, которые он навлек на себя этим деянием; единственный, кто был свидетелем душевных терзаний,

¹ Невесту (фр.). (Здесь и далее прим. перев.)

² F. R. S., O. B. E. – член Королевского (научного) общества и кавалер ордена Британской империи.

запечатлевшихся на его лице. Поистине это была проклятая душа, тщетно молящая о спасении. Исполнить предсмертную просьбу Франкенштейна было долгом милосердия. Тем не менее все то время, что я сидел у его постели, мне с моим трезвым умом ученого не давал покоя один вопрос: *«Где реальное доказательство того, что хоть что-то из рассказанного им правда?»* Как я могу быть уверен, что все это не бред поврежденного разума?

И вот, когда Франкенштейн наконец испустил дух, я оказался лицом к лицу с чудовищем, которое он создал; я говорил с ним; я слышал грубый звериный скрежет – его голос; я ощущал ледяную кровь угрозу, исходящую от него; и в довершение всего с изумлением увидел, как оно подняло на руки бездыханное тело своего создателя и скрылось среди диких льдов, чтобы взойти с ним на погребальный костер.

Только тогда я поверил.

Должен откровенно признаться, что проклиная тот день, когда судьба наградила меня славой, бремя которой мне приходится ныне влачить за собой. Ибо уверенно могу утверждать без риска показаться нескромным, что собственные мои изыскания в части истории полярных областей представляют собой значительный вклад в современную науку. Вот почему мне трудно примириться с тем фактом, что для всего мира мое имя соединяется с единственным случайным обстоятельством, в котором моя роль сводилась к записи рассказа того, кого мир всегда будет поминать ежели не как врага Творца, то как безумца и преступника.

Я мог, по крайней мере, надеяться, что по опубликовании моих бесед с Франкенштейном освобожусь от этого человека и беспрепятственно вернусь к своим научным занятиям. Но напрасно я надеялся. Вместо того, посвятив столь много времени сохранению памяти о нем, я обнаружил, что, сам того не желая, стал наследником ужасного, но неизбежного бремени. Я чувствовал обязанность сделать все, что в моих силах, дабы мир вынес из этой истории ясную и недвусмысленную мораль. Ибо случай этот содержит в себе уроки, небесполезные, как вижу, для моих ученых коллег. Узник собственной совести, я чувствую, что каждая подробность о работе Франкенштейна должна быть сохранена – а тем паче подробности жизни самого этого человека. Я спрашивал себя, как случилось, что столь мощный интеллект впал в подобное заблуждение и опозорил свой гений? Какими путями пришел он к своему трагическому занятию и что подвигло его на это? Найди я ответ на эти вопросы, и правдоподобность истории Франкенштейна, а также глубина его морального падения могли многократно увеличиться.

Но *все* ли этот человек рассказал мне, не утаил ли чего, поверяя свою тайну?

Лишь в конце лета 1806 года политическая обстановка на европейском континенте вновь стала достаточно спокойной, что позволило мне предпринять тщательные поиски сведений, кои раскрыли бы подоплеку рассказа Франкенштейна. В тот год, во время краткого мира, наступившего на юге Европы вслед за триумфом Наполеона под Аустерлицем, я свободно мог путешествовать по местам вокруг Женевы, где находилось родовое поместье Франкенштейнов. Все те беспокойные годы Женева и вся территория Во были откровенно аннексированы наполеоновской империей. Но, увы! – революционные силы, высвобожденные вторжением Великой армии императора, быстро разделились с городскими архивами, как и с самими аристократическими семействами, сведения о коих в них содержались. Династии швейцарских негодяев были изгнаны из страны, их имущество грубо экспроприровано, и экспроприаторы мало заботились о сохранности исторических документов. Малочисленные дальние члены клана Франкенштейнов, разысканные мною в тех краях, с крайней неохотой говорили о своем родственнике; все как один считали, что он запятнал репутацию семьи и должен быть вычеркнут из памяти. То же и в ингольштадском университете, альма-матер Франкенштейна, – он находился неподалеку от места битвы при Иене, где войска Наполеона уже готовились к легендарному сражению с армиями короля Фридриха, – там я обнаружил, что главные его наставники или умерли, или уехали; само это заведение было закрыто – неизбежное следствие тревожных времен. Я уже готов был расстаться со всякой надеждой, когда удалось узнать о местонахождении Эрнеста

Франкенштейна. Сей последний уцелевший член семейства жил в ту пору в отдаленной деревне, расположенной высоко на склонах Юры; он с неохотою признался, что обладает некоторыми бумагами, относящимися к истории своего брата. Недалекий человек, озлобленный по причине потери родового имения, Эрнест готов был выпустить из своих рук документы только за определенную сумму. В своей подозрительности он не позволил мне даже прикоснуться к бумагам, пока не получит деньги, – хотя и тогда протянул лишь несколько первых страниц, крепко сжимая остальные, как скряга, который не в силах расстаться с последней монетой. Но и того, что он показал мне, было достаточно; стоило мне перевести лишь несколько первых строк, как я с нетерпением заплатил, сколько он требовал, – крохи по сравнению с тем, что те документы значили для меня.

По завершении сделки Эрнест самодовольно усмехнулся моей, как ему казалось, глупости. «Это просто вздор цыганского отродья, то, за что вы выложили свои денежки. Пусть вам будет от них хоть какая польза, мистер Проньера!» Я простил невежде его радость от удачной сделки и поспешил удалиться, окрыленный победой. Ибо бедный простофиля сверх просимого передал мне письма и бумаги Элизабет Лавенца, неродной сестры, а позже fiancée Франкенштейна.

Те, кто читал мою повесть о нем, припомнят, что эта несчастнейшая из женщин, любовь всей жизни и нежный друг Виктора Франкенштейна, встретила свою смерть в брачную ночь, убитая истинным дьяволом, коего создал ее супруг. Наверняка Эрнест Франкенштейн не представлял, какую ценность эти бумаги могли иметь для меня. Едва я бросил взгляд на них, как сообразил, что могу найти в них ключ к трагедии Франкенштейна. Ибо необходимо услышать всех *троих*, если мы хотим до конца понять эту необычайную историю. Во-первых, самого Франкенштейна; это у нас есть: его рассказ я слышал из собственных его уст и записал дословно. Во-вторых, его чудовищного создания: его слова, приведенные Франкенштейном в своем рассказе, дополняются тем, что чудовище сказало мне, когда мы стояли с ним над бездыханным телом его создателя. И наконец, рассказ той, кто знала Франкенштейна ближе, чем кто бы то ни было: Элизабет, последнего и единственного невинного (как я считал в то время) члена этой несвятой троицы.

Итак, со своей драгоценной находкой я вернулся в Англию, чтобы завершить историю этого выдающегося человека – как раз к тому моменту, когда хрупкий мир в Европе вновь был нарушен столкновением великих армий.

Вскоре я обнаружил, что задача мне предстоит отнюдь не легкая. Перечитав записи Элизабет Франкенштейн несколько раз, я понял, что они отличаются большей откровенностью, нежели мне поначалу показалось, возможно, даже большей, нежели я готов был приветствовать. Ибо это было не просто дополнение к рассказу Франкенштейна; ее свидетельство касалось самой сути истории. Более того, вскоре у меня появилась причина опасаться, что эти страницы могут скрывать в себе более глубокий смысл, каковой мне будет не по силам разгадать.

А теперь впервые признаюсь, что Виктор Франкенштейн сообщил мне больше, чем я до сих пор открыл миру. В своем рассказе он затронул нечто, о чем я посчитал уместным не упоминать при публикации. Например, он пространно – и часто как бы в бреду – говорил о занятиях алхимией и о роли своей невесты в тех опытах; но его откровения звучали, на мой взгляд, маловразумительно, не вполне достоверно. Многое из того, что он рассказывал мне, я тогда приписывал лихорадочному состоянию его ума. Послушно записывая за Франкенштейном каждое слово, я, однако, уже тогда, у его смертного ложа, решил, что те излияния, полные скандальных признаний, самоубийственных и покаянных, ни в коем случае не должны стать достоянием публики. В конце концов, это могло быть всего лишь повинным воплем умирающей души. Поэтому я из сострадания предпочел умолчать о том, что он поведал мне о некоторых достойных осуждения вещах, каким он подвергал женщину, по его уверениям, столь им любимую. Я сделал это по причине глубочайшей заботы о репутации сей несчастной женщины. Ибо даже если откровения Франкенштейна были правдивы, я не имел желания рассказывать о тех противоестественных вещах, каковые она, в

своей духовной слабости, возможно, была вынуждена совершать, соединенная с Франкенштейном узами так называемого «химического брака». Я поверил Франкенштейну, когда он утверждал, что на нем и только на нем лежит ответственность за развращение Элизабет. Он не раз повторял мне со всею горячностью, что она лишь слепо повиновалась ему, когда он вынуждал ее совершать нечто непристойное.

До нынешнего дня я неизменно старался видеть в Элизабет Франкенштейн жертву патологического честолюбия ее жениха. Но постепенно, по мере того как мне открывались необычайные обстоятельства жизни Элизабет, я терял уверенность в ее нравственной непогрешимости. Я не мог и предположить, что эта кажущаяся бесхитростной молодая женщина увлекалась ритуалами, каковые наши предки христиане давным-давно выкинули из памяти. Я также не мог вообразить, чтобы она по собственной воле предавалась эротическим практикам, которые составляют темную сторону алхимической философии. Через некоторое время я уже не мог сказать, кто из них двоих – Виктор или Элизабет – растлил другого. Возможно ли, как на то намекают некоторые места в этом тексте, чтобы Элизабет была отнюдь не подневольной участницей противоестественных занятий своего любовника, а в какой-то степени их инициатором? Учитывая рассказанное в ее собственноручных записках, должен заключить: то, что я когда-то считал немыслимым, на самом деле является правдой. Франкенштейн был не одинок в развратных действиях, в коих признался мне; у него была добровольная сообщница, чья вина не многим меньше его вины.

Самое огорчительное – это свидетельство, которое находишь на этих страницах, о роли баронессы Каролины Франкенштейн в жизни как ее сына, так и приемной дочери. Если верить воспоминаниям Элизабет, эта загадочная женщина, которую Виктор Франкенштейн в своем рассказе предпочел оставить в тени, – самая уродливая личность из всего множества представителей рода человеческого, встретившихся мне в моей полной путешествий и необычайных приключений жизни. *Если*, говорю я, можно верить тому, что написано в воспоминаниях. Но можно ли этому верить? Ибо пока эти факты вызвали обоснованное сомнение, я не был убежден в достоверности того, что Элизабет Франкенштейн сообщала о своей приемной матери; мне куда легче было обвинить Элизабет в беззастенчивой лжи или приписать ее откровения психической неуравновешенности, чем поверить в существование души столь порочной, как мать, давшая жизнь Виктору Франкенштейну. Но тут, однако, мои изыскания представили мне неопровержимое свидетельство действительной виновности леди Каролины Франкенштейн во всем том, что ей приписывают эти мемуары.

Итак, после сорока лет, отданных научным трудам, я в конце концов оказался перед вопросом: должно ли мне вновь досаждать читателю историей безнадежного падения? Поскольку, углубляясь в эти документы, вижу: преступления Франкенштейна – совершенные, возможно, при участии его невесты – даже более отвратительны, нежели я предполагал. То, что в профанной попытке уподобиться Богу он вылепил чудовище, было не чем иным, как последним шагом на пути его морального падения. Хотя какое-то недолгое время я верил, что Франкенштейн заслуживает сочувствия как трагическая душа, позже я понял: память о нем заслуживает быть преданной забвению – больше того, имя его невесты тоже. Сознаюсь, не раз я испытывал сильнейшее искушение скрыть ее роль в этих делах, опасаясь, как бы подобный образец женской испорченности не послужил примером потомкам.

Что же разрешило мои сомнения? Одна-единственная вещь. Моя твердая приверженность идеалу научной объективности. Только эта приверженность, от которой я не отступал на протяжении всей своей жизни, посвященной служению истине, только она давала мне силы в этом деле, тогда как нравственное отвращение склоняло к тому, чтобы отказаться от него. С этим чувством я предъявляю миру сей отчет, уверенный, что чистая сердцем публика не поймет превратно истинной моей цели, которая состоит в защите Разума и охранении Моральных Устоев.

Часть первая

Бельрив, 30 августа 1797

Дорогой Виктор, в тяжелый нас берусь я за перо.

Наконец-то я обрету счастье, коего ждала так долго; через час я стану безраздельно твоя телом, как многие годы была безраздельно твоя душой. Но для меня близящееся радостное событие омрачено тенью смерти. Не могу сказать, когда или как должна я буду умереть, но знаю, что скоро, и это знание душит меня, как рука, схватившая за горло. Путь, которым придем мы к долгожданной брачной ночи, был так превратен, что я только молюсь, чтобы нам был дарован единый час счастья.

Мне незачем говорить тебе, почему я так уверена в ужасной моей участи; ты первый, кто услышал смертный приговор, объявленный мне, и лучше меня знаешь, почему он остается в силе. Мечь, свирепая и яростная, грозит нашей женитьбе. Знаю, ты с радостью отдал бы свою жизнь, чтобы защитить мою; но (мой дорогой, прости, что говорю такое!) я также знаю, твоя любовь не настолько сильна и глубока, чтобы сопротивляться этому дьяволу. Не прими слова мои – молю тебя! – как знак малейшего сомнения в искренности твоего чувства. Нет, мои слова – это выражение величайшей веры в Господний суд. Ты осквернил Его Закон. Ведь этот дьявол, в конце концов, – творение твоих рук. Носи по мне траур, раз это необходимо, но после не забывай, что я – кровавая жертва, которой потребовал твой грех.

Знай, что я виню только себя в той каре, которая теперь должна обрушиться на нас. Однажды – ты помнишь это и понимаешь, что то был лишь краткий миг, – я отвернулась от тебя в ужасе; тогда ты почувствовал вспыхнувшее во мне отвращение и отторжение. Как ни коротко было это мгновение, теперь я вижу, оно заставило тебя пойти дальше в своем святотатственном замысле, который овладел тобою. Придай мне моя любовь в тот час твердости, окажись я способной простить минутную слабость плоти и поддержать тебя – одним словом, окажись тебе верной супругой в нашем мистическом браке, которая так была нужна тебе, – несомненно, мы остались бы любовниками, товарищами в общем деле, единомышленниками, что, верю, и было предназначено нам Божественным Провидением. Но была ли моя слабость меньшей, нежели твоя?

Потому-то все последние месяцы я поверяла бумаге то, что составляет историю твоей жизни настолько же, насколько моей... Я писала свою повесть так, будто обращалась к неведомой публике, хотя у нее будет один-единственный читатель. Все, что я неблагоприятно утаивала от тебя, каждое невысказанное слово гнева и упрека, каждую душевную рану, которую скрывала от твоего взора, я доверила бумаге, чтобы ты внял мне. Остается лишь приложить это прощальное письмо к моим запискам. Ясно ли я все изложила – пишу в такой спешке... Думаю, ясно. Это трудно... в последнее время мой рассудок в полном смятении. Прошлой ночью вновь звучал железный голос. Он не дает мне уснуть.

Пора заканчивать; уже скоро бракосочетание. Любовь моя, дорогой враг мой, когда мои записки попадут в твои руки, прими их как исповедь твоей половины, какой ты ее не знал и не мог знать, половины, которая была...

*Твоя любящая невеста,
Элизабет*

Я рождена на изгнание

Бывают ночи, когда мне снится один и тот же зловещий сон; все повторяется в нем, сколько помню себя.

Я как бы раздвоена. Две пары глаз, двойственное чувство. Словно с большой высоты, вижу постель, на которой лежит истерзанная женщина, корчащаяся в муках тяжелых родов.

Я смотрю, как она извивается, объята страхом смерти, словно истекающий кровью раненый солдат на поле боя. Это ужасно – смотреть на ее страдания, но еще больший ужас внушает существо, которое склонилось над ней. Облика почти нечеловеческого, оно страшит ее не меньше, чем невыносимая боль. Оно протянуло к ней руки – и я понимаю ее страх: ибо *это не руки*, но когтистые лапы хищной птицы, сокола или орла. Когти человека-птицы ползут по беспомощной плоти женщины, оставляя на ней алые следы. Ныряют меж бедер и впиваются в истерзанные врата ее тела. Все это время огненные молнии вспыхивают за окном, как гнев Божий, выхватывая из тьмы сведенную корчами фигуру, призрачно-белый свет заливает и без того белое искаженное лицо. Я хочу приблизиться к ней, обнять, разделить с ней ее муки.

Но я в то же время и *другая*. Беспомощное дитя внутри ее тела, раздираемого болью. Я вижу отдаленный свет, изо всех сил тянусь к нему, упорно ползу по туннелю, стенки которого теплые и влажные. Вокруг себя слышу пульсирующее урчание, словно меня проглотил какой-то громадный зверь и начинает переваривать. Я приближаюсь к свету, панический страх овладевает мною... Я не могу дышать, боль пронзает легкие. Необходимо вырваться наружу.

И тут чувствую боль в висках. Что-то сжало их и тянет вперед – того гляди раздавит голову. Но наконец я на свободе. Мое лицо, все тельце покрыты кровью. Кровь повсюду. Течет по вискам. Человек-птица запустил лапу в самую утробу и ухватил меня за голову! Я вижу себя, висающую в его когтях, как лакомство, которое он собирается пожрать. Оглядываюсь и вижу густо-красный материнский зев, откуда была извлечена: дрожащий, как глотка, издающая беззвучный вопль боли. Вижу ее искаженное лицо, ее глаза, осуждающе устремленные на меня. Но глаза не видят меня; они ничего не видят. Они мертвы – мертвые глаза на лице мертвой женщины.

И тут понимаю: я получила жизнь ценой другой жизни. Пришла в мир как убийца.

Эта страшная сцена до сих пор является мне по ночам в мучительных кошмарах, хотя я давно знаю, что все это лишь плод моего детского воображения. Тем не менее в каком-то смысле в ней содержится некое откровение, которое способен явить один только сон. Она напоминает о возмездии, которое ждет меня с того мгновения, как я впервые увидела мир.

Ибо впоследствии я многое узнала относительно своего происхождения. Я появилась на свет в результате чрезвычайных и трагических родов. Волна крови, вынесшая меня в мир, была последним всплеском жизни моей матери. Она умерла, давая жизнь своему ребенку. Отец мой был в таком отчаянии, потеряв женщину, которую любил всем сердцем, что чуть ли не обвинял новорожденную в ее смерти. Он отправил меня, так сказать, в изгнание. По его распоряжению, когда ее тело еще лежало на кровати, все в крови, меня отдали на попечение повитухи, которая помогала появиться мне на свет. Он только и добавил: «Ее имя будет Элизабет, в память о ее матери». Это были последние слова, которые запомнились цыганке с той ужасной ночи, когда она заняла место моей умершей матери.

Хотя у нее было четверо своих голодных детей, эта простая душа, звавшаяся Розиной Лавенца, сделала все, чтобы наилучшим образом исполнить выпавшую ей роль; однако мне, конечно, недоставало родной матери. Добрая и заботливая женщина, вскормившая меня вместе с собственным младенцем, была иного рода и племени, нежели я, – о чем она сама вскорости рассказала мне. В жилах моего отца текла кровь миланских аристократов; мать была связана дальним родством с английским королевским домом. От нее я унаследовала белоснежную кожу и золотые волосы, что так резко выделяло меня среди смуглых Лавенца, которых меня приучили считать своей семьей. Дети Розины относились ко мне с подозрением и презрением; они не признавали меня, для них я всегда оставалась чужой, отличаясь от них утонченностью черт. Хотя я делила с ними их тесный шатер и была одета в такие же лохмотья – да и говорить научилась сначала на их цыганском наречии, – мать внушала им, что ко мне следует относиться как к кому-то, кто выше их. «Помните, – при мне наставляла Розина своих детей, – Элизабет – принцесса. Ее отец правит всеми южными королевствами». Но как ни защищала меня эта добрая женщина, каких восторженных похвал

ни достаивала, ее старания не принесли мне любви моих новых братьев и сестер; напротив, эти завистливые сорванцы проявляли ко мне еще большую враждебность, даже высказывали сомнения в отношении моих настоящих родителей. Особенно горько мне было, когда они раскрыли мне постыдную тайну, которую мать поведала им по секрету: что якобы я незаконнорожденная и родители бросили меня. Понятно, что я тут же упала в их завистливых глазах, и они не упускали возможности уколоть меня, напоминая о моем несчастье. Тем не менее они как зачарованные слушали Розину, когда та рассказывала всякие небылицы о моем отце, которого я никогда не видела, о его приключениях в странах Востока и за морем, о его отваге и огромном богатстве.

Может быть, она рассказывала все эти истории, лелея надежду, что мой отец вновь поддержит ее деньгами, как в день, когда поручил меня ее заботам. А может, на рассказы о моем высоком происхождении ее толкало одно ужасное обстоятельство. Если Розина была добрая женщина, то глава семейства Лавенца был ее полной противоположностью. Тома был человек угрюмый и злобный, с тяжелым характером, пьяница; даже совсем маленькой, я замечала, как Розина дрожит от страха в его присутствии. И часто видела на ее лице следы его жестокого с ней обращения, которые невозможно было скрыть. Не менее груб он был и с детьми, не исключая меня. Хуже всего было то, что он считал сестер, с которыми я росла, *полной* своей собственностью и строил в отношении их самых гнусные планы. Старшая из девочек, которой было всего на пять лет больше, чем мне, Тамара, смуглая и прелестная, рождена была пленять сердца мужчин. Ее природное очарование не ускользнуло от глаз Тома, который постоянно непристойными ласками выказывал противоестественное влечение к ней. Он называл ее «своей маленькой женой» и в отсутствие Розины часто укладывал с собой в постель. Этот алчный человек не упускал из виду и выгоду, которую он мог бы извлечь из ее красоты. В то время я в своей невинности не могла догадаться о его намерениях, но горький опыт последующих лет подсказал мне, что этот человек готовил своего ребенка в проститутки, чтобы вскоре отправить ее на панель и иметь больше, чем те жалкие гроши, что он добывал, промышляя резьбой по дереву. Могу только предположить, что такие же планы он имел и в отношении меня, его «золотоволосой девочки», которая, как он постоянно повторял, когда вырастет, затмит красотой его собственную дочь. Однажды – мне тогда не было и пяти – этот развратник сумел заманить меня в постель. Лишь бесстрашное вмешательство Розины помешало ему осуществить свои грязные намерения. Она набросилась на него, приставила нож к его горлу, так что выступила кровь, и пригрозила, что жизни своей не пожалеет, но убьет его, если он не оставит попыток растлить меня.

Розине я по сей день признательна не только за нежную заботу и защиту. Ей больше, чем кому-то другому, я обязана своим кошмаром. Еще когда я была слишком мала, чтобы ясно понимать смысл ее слов, она начала рассказывать мне то, что помнила о моем рождении. Купая меня, причесывая, она осторожно проводила пальцами по шраму на моем левом виске. Я еще не могла понять, что он портит мою внешность, а Розина уже скорбела об этом, как она считала, единственным изъяне в моей красоте. Это был неровный след некоей раны, о которой я ничего не помнила. Как сейчас, слышу ее слова: «Вот здесь! Вот здесь *он* схватил тебя! Здесь впился его коготь, бедняжка. Нам надо позаботиться, чтобы шрама не было заметно». И она укладывала мои локоны, стараясь скрыть отметину, заставляя меня тем самым сознавать мой недостаток. Много лет прошло, но даже теперь я причесываюсь так, как она мне показала, хотя шрам давно разгладился. В детстве я могла относиться к этому, как к игре, маскируя шрам; но довольно рано я стала лучше понимать, о чем она говорила. Во мне зрело представление, что эта отметина – след какого-то злонамеренного нападения, что некое существо, вооруженное когтями, когда-то набросилось на меня. Я поняла только это, но картина, рисовавшаяся мне, была так ужасна, что засела в сознании, усугубляясь буйным воображением, и со временем превратилась в кошмар, преследующий меня во сне. Я с криком просыпалась – слыша, как мне казалось, хлопанье огромных крыльев хищной птицы над моим ложем.

Весьма скоро я узнала, какая жестокая реальность стояла за моими фантазиями.

Розина, как я уже говорила, была повитухой и своим занятием зарабатывала больше, чем Тома своим. Надеюсь, что дочери пойдут по ее стопам, она обыкновенно брала меня и двух моих сестер с собой, когда ее звали принять роды. Она хотела, о чем ясно дала нам понять, чтобы девочки с ранних лет привыкли к суровой правде появления ребенка на свет. Я еще не могла как следует осознать то, что представляло моим глазам, а мне с сестрами уже приходилось стоять за спиной Розины, которая, опустившись на колени у родильного кресла, помогала новой жизни явиться на свет. Она показывала нам, как готовить травяной отвар и его паром хорошенько обрабатывать бедра и живот роженицы. Хотя я была еще ребенком, она учила меня готовить из ядовитой спорыньи снадобье для усиления схваток. Когда женщина разрешалась от бремени, Розина позволяла мне поддержать новорожденного, еще мокрого, извивающегося. Я вспоминаю этот опыт как нечто мучительное, ибо часто, по-видимому, роды бывали невероятно тяжелыми – и я боялась, что вопящая женщина может умереть.

Особенно мне запомнился один случай, поскольку именно тогда я поняла, как мало знаю о собственном рождении. Розину позвали в дом благородной дамы, у которой роды оказались трудными и долгими. Как не раз бывало в подобных обстоятельствах, Розина опустилась на колени и принялась терпеливо массировать женщине живот, втирая целебную мазь. Женщины-помощницы затянули монотонную песню, призванную успокаивать самых обезумевших от боли рожениц. Но когда ребенок наконец пошел, в комнату ворвался незнакомый мужчина и отшвырнул женщин, столпившихся у кресла роженицы. Пронзительным голосом мужчина объявил, что он врач и его вызвал недовольный будущий отец. Он отказался позволить Розине продолжать принимать роды, презрительно назвав ее знахаркой. Заняв ее место, врач приказал перенести женщину обратно на кровать. Потом, повернувшись к Розине, дал понять, что польза от нее может быть только одна. «Держи ее за руки, замараха! Держи крепче!» – приказал он.

Розина с неохотой заняла место у изголовья, стиснула руки женщины, над которой склонился врач. А тот достал из черного саквояжа набор металлических инструментов, крючковатых и острых, как инструменты столяра, отыскал среди них два, формой похожие на ложки, и принялся соединять их между собой. При одном виде этих инструментов, которые, как я позже узнала, назывались акушерскими щипцами, Розина принялась креститься и умолять врача не делать того, что он задумал. Врач осыпал ее бранью и в гневе приказал выйти вон. Розина в ответ показала ему кукиш и, призывая на его голову проклятия, отказалась уходить. Она заслонила собой женщину, которая уже кричала от звериного ужаса.

Вне себя от ярости, врач заорал: «Strega!»¹ Одного этого слова было достаточно, чтобы Розина сдалась. Она попятилась, а врач продолжал вновь и вновь выкрикивать, словно хлыстом хлестал: «Strega! Strega! Strega! Поди прочь!» Потом, повернувшись к постели, на которой корчилась от боли несчастная женщина, достал из саквояжа свернутый кожаный ремень и рывком оставшимся помощникам: «Привяжите ее!»

За дверью Розина отвела меня в сторону, лицо ее горело от гнева и обиды. «Видишь, что он делает? Он привязывает ее, делая беспомощной. Лишает силы Земли. А потом... использует эту железную лапу, потому что младенец не сможет выйти сам. Он убивает бедную женщину! Несет ей смерть, а не жизнь. – Прижав меня к груди, она запричитала: – Вот так убили и твою мать – этой лапой с когтями. Не позволили мне помочь ей. Вот она, отметина, которая у тебя осталась, – Пальцы ее нащупали шрам у меня на виске под волосами, – Да, этот шрам, дитя мое, – сказала она, – Вот что делают щипцы. Это метка Дьявола на тебе. Скоро все дети будут появляться на свет с такой меткой. Это преступление против Господа, отнимать у женщин право рожать самим. Что он понимает, этот... *мужчина?*»

Той ночью я впервые увидела во сне мою мертвую мать и человека-птицу, чья

¹ Ведьма! (ит.)

когтистая лапа убила ее и оставила на мне отметину.

* * *

Все первые восемь лет моей жизни Розина отчаянно боролась за то, чтобы ко мне в доме было особое отношение, как к богатой наследнице, может быть, главным образом надеясь убедить Тома, что нежная забота обо мне сулит обернуться большей выгодой для семьи, нежели если он сделает из меня уличную девку. Не могу сказать, часто ли за эти годы мой далекий отец присылал деньги на мое содержание – и присылал ли вообще. Его самого я видела лишь однажды, и это была незабываемая встреча.

Как-то, когда мне шел шестой год, в цыганском таборе возле деревни Тревельо, в котором обреталось семейство Лавенца, появился отряд кондотьеров – в полном вооружении и с развернутыми знаменами. Они мчались, не разбирая дороги, топча сады, распугивая детей и скот. Во главе отряда скакал внушительного вида красавец в алом парчовом плаще, украшенном серебряным шитьем. На голове у него был высокий шлем с плюмажем, а на груди множество сверкавших медальонов. К изумлению всего табора, он направил свой отряд к нашему шатру, осадил коня у порога и выкрикнул имя моей матери. Когда она с округлившимися глазами и дрожа выглянула наружу, он приказал ей привести меня. «Идем! Идем! – оторвала меня Розина от игры, – Это твой отец!» Он принял меня на руки, сидя в седле. Крепко прижал к груди и долго с огромной любовью смотрел на меня. Я смотрела на него; вот тогда его черты навсегда запечатлелись в моем детском сознании. Это был великий южный правитель, о котором мне так часто рассказывали. И он казался мне настоящим королем из сказок – горделивый, в богатых доспехах, пристально смотревший на меня пронизательным взглядом. Я и сейчас ясно вижу его лицо. «Невинная убийца, поминай меня в своих молитвах, – услышала я его слова. – И прости меня. Я очень любил твою мать». Потом, легким поцелуем коснувшись моих волос, он закрепил у меня на шее ожерелье; медальон, висевший на нем, приходился мне ниже груди, поэтому я не видела его, пока он не передал меня Розине. Ей он пожаловал мешочек с монетами и велел беречь и заботиться обо мне не жалея сил, пока он не вернется.

«Он едет на войну», – прошептала мне на ухо Розина, когда мы смотрели вслед отряду.

Это был первый и последний раз, когда я видела его. Я даже не могу сказать, на какую войну он уехал, и ничего не знаю о его судьбе. Что до медальона, который он подарил мне, то я недолго владела им. Хотя Розина старалась, как могла, сберечь его для меня, через несколько дней он оказался в руках Тома; у меня не было шанса сохранить его иначе, как только в памяти. На его крышке был выпуклый узор; в то время мне было невдомек, что это герб. Помню, как он выглядел: разделенный на четыре части щит, украшенный наверху большим двуручным топором и двуглавым орлом, а внизу – пляшущими крылатыми львами. Этот смутный и блекнувший образ, недостаточно четкий, чтобы можно было отыскать его следы среди геральдических знаков итальянской знати, я тем не менее запечатлела в маленьком наброске после того, как его отобрали у меня, потому что медальон был единственным напоминанием о моих настоящих родителях.

Хотя я наконец увидела его лицо, почувствовала прикосновение его рук, после той встречи отец стал для меня еще большею тайной. Уже одно то, что его окружал мрак неизвестности, побуждало меня сочинять фантастические истории о моем происхождении и наследственной судьбе. Чаше всего рисовалось мне, как, останься моя матушка жива, я бы выросла и стала принцессой. Но иногда я оглядывалась назад, и начало моей жизни виделось мне незаслуженной опалой, а мой отец – разгневанным Яхве, который изгнал сотворенного им человека в дикую пустыню в отдаленном конце Эдема. Почему он обрек меня на столь ничтожное существование? Было ли это карой мне за роковую роль, которую я невольно сыграла в жизни матери, женщины, которую он безмерно любил? И оттого, что некому было ответить на эти вопросы, я чувствовала непонятную заброшенность, что лишало меня беззаботности и веселости счастливого детства. Я словно пребывала в некоем Чистилище,

ожидая Избавителя, который явится, чтобы разрушить эту мрачную обитель и положить конец моему изгнанию.

В моем случае спасительницей оказалась женщина.

Примечание редактора

Родовспоможение, знахарство и сомнительная польза акушерских щипцов

Трагедия была альфой и омегой жизни Элизабет Франкенштейн: трагичны были и ее рождение, и ее смерть. Больше того, если верить тому, что она сама пишет о себе, ее жизнь, начавшись с убийства, убийством же и закончилась. Но как можем мы доверять рассказу Розины, ее приемной матери, о рождении Элизабет? Цыганка была убеждена, что врач, помогший Элизабет появиться на свет, несет вину за то, что ее мать этот свет покинула – по причине применения инструмента, благодаря которому, возможно, ребенок уцелел.

Необходимо помнить, что свидетельство Розины вряд ли заслуживает доверия, поскольку принадлежит женщине безграмотной и в отношении интеллекта безусловно находившейся на низшей ступени развития. Кроме того, необходимо иметь в виду, что все ее слова могли быть в известной степени продиктованы профессиональной ревностью повитухи, видевшей во враче-акушере конкурента, лишаящего ее средств к существованию. Когда-то в каждом городке и деревушке Европы была своя Розина, невежественная женщина, жившая единственно этим ремеслом, если уместно подобное слово. Ходила молва, что многие из них прибегают к помощи черной магии. Потому в те времена охоты на ведьм большое количество повитух погибало на кострах, и в практическом родовспоможении образовался вакуум, который должны были заполнять их конкуренты-мужчины. Так что вполне понятны враждебные отношения между деревенскими «колдуньями» и врачами, которые вытесняли их. В протоколах инквизиции встречаются даже жалобы женщин на то, что их намеренно обвиняют в ведьмовстве, желая дискредитировать.

Чтобы более объективно судить о сем предмете, самое лучшее обратиться к мнению одного из пионеров отечественного научного акушерства. По моей настойчивой просьбе выдающийся медик Томас Косгроув дал позволение использовать в этом очерке нижеследующее обращенное ко мне письмо:

Мой дорогой Уолтон, сомнения, которые вы выражаете относительно безопасности современных приемов родовспоможения, должен с удовольствием вам сказать, совершенно безосновательны. Никогда прежде роды, столь долго грозившие женщинам гибелью, не происходили в более человеческих условиях и под присмотром более компетентных врачей, чем в наше время. Еще поколение назад беременная женщина находилась во власти необученных повитух, бывших в большинстве случаев не лучше неумелых деревенских бабок, руководившихся в своей практике дичайшими суевериями. Их «методы», если можно так их величать, свидетельствуют о столь черном невежестве, от какого просвещенный ум приходит в ужас.

Достаточно лишь описать их систему действий, чтобы признать ее достойной осуждения. В те времена было обычным позволять будущей матери брать на себя главную роль при родах, невзирая на то, что, как правило, бедное создание в этот решающий час физически истощено и non compos mentis¹. Женщину помещали в вертикальном положении в исключительно неудобное сооружение, известное как «родильное кресло», и призывали исторгать плод собственными усилиями! Повитухе только и оставалось, что ловить новорожденного, падающего ей в руки. Можете вообразить, какая непомерная нагрузка ложилась при этом на хрупкий организм роженицы. Более того, я слышал, что обычной практикой среди повитух было, на скорую руку оказав женщине, разрешившейся от бремени, элементарную помощь, отпускать ее, после чего та возвращалась к работе в поле – чуть ли не в

¹ Не в своем уме (лат.).

тот же самый день! Если крестьянки, бывает, обладают прямо-таки бычьим здоровьем и, даже ослабленные родами, способны перенести столь чрезмерную нагрузку, то для женщин благородных подобный послеродовой режим, безусловно, может иметь фатальные последствия. Всякий врач подтвердит вам: большинство женщин подходят к своим первым родам, почти не обладая сколь-нибудь разумным представлением о том, что с ними происходит. Они совершенно не осведомлены и потому полны понятного страха; я принимал роды у множества молодых матерей, которые не имели ни малейшего представления о том, откуда выходит ребенок, что такое плацента или что могут означать схватки. Испытываемый ужас невероятно сказывается на физическом состоянии женщины, рожавшей впервые, от этого у нее повышается кровяное давление, затуманивается сознание. Может появиться жар и тошнота; многие едва не теряют сознание, подвергая плод серьезнейшей опасности удушья. В некоторых случаях повитуха удаляет послед не полностью, в результате – воспаление и смерть спустя лишь несколько дней после родов.

Когда наконец появились цивилизованные методы родовспоможения, они стали благословением для слабого пола. Щадящее положение – лежа на столе – кардинально меняет ситуацию, когда все зависело только от женщины. Физическое принуждение, о котором вы спрашиваете меня, безусловно, необходимо для того, чтобы врач мог сосредоточить все внимание на своих прямых обязанностях. Позволить женщине, обезумевшей от боли, извиваться и корчиться – значит ставить под угрозу жизнь и матери, и младенца. Посему первая забота врача с хорошей выучкой – это полный контроль происходящего, чтобы довести роды до благополучного исхода.

Теперь о применении акушерских щипцов. Этот инструмент играет важную роль в современном родовспоможении по причинам совершенно очевидным. Женщина, находящаяся в лежачем положении, не способна собственными усилиями произвести ребенка на свет; ей потребна помощь, особенно в случае, когда имеет место поперечное или обратное предлежание плода. В подобных случаях, когда требуется произвести поворот плода, совершенно необходимо наложение акушерских щипцов. Квалифицированно выполненное, оно не влечет никакого риска для матери или ребенка. Хотя иногда щипцы могут незначительно повредить череп, это повреждение скоро исчезает, не оставляя следа; разрыв вагинальных тканей, конечно, опасней из-за почти неизбежной последующей инфекции. Как бы то ни было, убежден, можно, не боясь опровержений, говорить об изобретении акушерских щипцов нашим соотечественником доктором Чемберленом как о величайшем благодеянии, которое мужской пол, во исполнение его роли *Homō faber*¹, смог оказать женщинам.

Надо признать, количество женщин, умирающих во время родов, остается тревожно высоким. Причина лежит на поверхности. Это родильная горячка, опасности которой избежать невозможно. Врач-гинеколог не имеет власти над этой неустранимой угрозой. Священник и врач, оба сойдутся во мнении, что страдания и угроза жизни, сопровождающие деторождение, есть просто свойство человеческой природы, столь же древнее и незыблемое, как Библейский закон.

Не знаю, что подвигло вас заговорить о колдовстве, которое часто ставят в вину повитухам. Считать, что в подобных утверждениях есть хоть малая толика правды, суеверие столь же чудовищное, как суеверие самих повитух. Повитухи, как это часто бывает, – безграмотные, темные старухи, возможно, выжившие из ума или прибегающие к разного рода заговорам и прочим знахарским приемам; но не нужно думать о них хуже, чем они есть, просто они не сумели подняться до цивилизованного рационального взгляда на вещи. Достаточно того, что наука избавила женский пол от вековой жестокости, сопровождавшей акт рождения; излишне применять суровые меры к этим невежественным женщинам, нужно дать им спокойно уйти в историю.

С совершенным почтением,

¹ Человека-созидателя (лат.).

Я обретаю новую мать

Леди Каролина Франкенштейн, коей предстояло стать моей благодетельницей как в материальном, так и в духовном отношении, была женщиной удивительных моральных качеств. Детство ее, подобно моему, было трагическим. Ее мать тоже умерла рано, и ей, по сути еще ребенку, пришлось заботиться об овдовевшем отце, некоем Анри Бофоре, на закате его карьеры. Некогда преуспевающий женеvский негоциант, Бофор в результате неосторожной игры на бирже лишился состояния, а с ним и всяческого интереса к жизни и не пытался вновь встать на ноги. Отчаявшийся, клянуvщий несчастную свою судьбу, он все более впадал в зависимость от преданной дочери, которая зарабатывала, чем могла, жалкие гроши им на пропитание. Ее способности, однако, не простирались далее умения плести из соломки, что приносило доход, едва достаточный для поддержания жизни. Она и ее отец с неизбежностью опуvтились бы за грань нищеты, если бы на сцене не появился, как ангел-хранитель, барон Альфонс Франкенштейн.

Барон и Бофор были друзьями со времен учебы в университете. Когда барону, отпрыску одного из славных купеческих родов Женевы, стало известно о неудачах Бофора, он навел справки и, выяснив, что тот живет близ Люцерна, отправился к нему. Он нашел старого друга на смертном одре в крохотной обветшавшей хижине, убитая горем Каролина ухаживала за ним. Спустя несколько дней Бофор скончался. В память о друге барон принял его осиротевшую дочь под свое покровительство. Живя в его доме, она вскоре стала радостью его жизни. Барон, никогда не бывший женатым, неожиданно для себя обнаружил, что присутствие наделенной талантами жизнерадостной юной женщины озарило его одинокое существование. Хотя девушка выросла в бедности, в ее манерах, в умении держаться и в изысканной гибкости ума он вскоре разглядел природный аристократизм, несмотря на незнатность ее происхождения. Со своей стороны, Каролина полюбила барона, хотя больше из чувства благодарности за его доброту, чем движимая страстью. Миновало несколько лет, и, невзирая на значительную разницу в возрасте – барон был ровесником отца, которого она потеряла, – они поженились.

Став баронессой, леди Каролина никогда не позволяла себе забывать о лишениях, пережитых в детстве; все последующие годы она проводила ранние утренние часы, еще до пробуждения домашних, за плетением из соломки, сидя у кухонного очага, как когда-то в девичестве, когда делила с отцом его невзгоды, – вспоминая, как лучшие, те бедственные времена. Теперь, имея возможность распоряжаться богатствами барона, она решила помогать нуждающимся. Ее потребностью стало утешать других в их страданиях. Дети-сироты побуждали ее проявлять особую щедрость, ибо в них ей так ясно виделась судьба, которая могла ждать и ее.

На двенадцатом году брака леди Каролина, барон и их дети – к тому времени она уже была матерью двух сыновей – отправились в путешествие по Северной Италии. На весну и лето того года все семейство поселилось на прекрасной вилле на берегу озера Комо. Живя там, она и барон совершали прогулки по окрестностям, посещая по очереди близлежащие живописные деревушки. Во время одной из таких прогулок, когда барон отлучился по делам в Милан, леди Каролине случилось заглянуть на рыночную площадь в Тревилио, куда моя цыганская семья часто брала и меня торговать скромными безделушками, которые вырезал отец: свистульками, куклами и прочей мелочью, что редко когда позволяло нам прокормиться. Дети в такие дни не столько получали возможность приобщиться к честной коммерции, сколько просили милостыню – искусство, которому мать усердно обучала нас. С этой целью меня одевали в самое последнее тряпье и пачкали лицо сажей. Судьба распорядилась так, что в тот день карета леди Каролины проезжала мимо ярмарки, и, увидев

меня, баронесса велела кучеру остановиться. Невозможно описать словами, что испытала я, когда наши глаза встретились. Было ощущение, будто я воспарила на крыльях, о существовании которых у себя не подозревала. Эта совершенно неизвестная женщина внимательно смотрела на меня с теплотой и нежностью, которых я прежде никогда не встречала. И какой необыкновенной была эта женщина! Если бы кто оглянулся на нее, ожидая увидеть красоту, он, возможно, был бы разочарован, ибо ее черты не отвечали моде на привлекательность. И тем не менее она мгновенно притягивала к себе взгляд. У нее был высокий благородный лоб, нос с горбинкой, кожа, как маска, туго обтягивала выдающиеся скулы, отчего ее лицо напоминало тонкое лицо египетской царицы. В первое мгновение она могла отпугнуть несколько надменным выражением лица. В одной руке, затянутой в перчатку, она держала цветок (полагаю, это был эдельвейс), которым легко касалась щеки и шеи. Но больше всего привлекали ее глаза – узкие, кошачьи, серо-голубые и холодные, как серебряные монеты в ледяной воде бассейна. Когда я впервые увидела их, мое детское воображение сказало мне: *«Такие глаза бывают у ангелов, которые способны проникнуть в самое сердце»*. И я затрепетала от волнения, веря, что она видит меня истинную под этими лохмотьями. Поэтому, когда она кивком головы подозвала меня к себе, я бросилась на ее зов, словно была ее ребенком...

– Чье ты, дитя? – спросила она, наклонившись ко мне из окошка кареты и цветком, что держала в руке, отводя спутанные волосы с моего лба.

Ее итальянский звучал с почти светской изысканностью, но по акценту я смогла определить, что она француженка. Ей было приятно, когда я ответила на ее родном языке – во всяком случае, сбивчиво попыталась. Заезжие французы часто появлялись в нашем селении, чтобы осмотреть церковь и взглянуть на цыганскую ярмарку. Тома и Розина, которые умели просить подаяния и торговаться на нескольких языках, научили и меня кое-как изъясняться на просторечном французском, чтобы я могла кланяться милостыню у богатых туристов. Собственно, моя обычная речь представляла собой смесь всяческих языков, какие только могли пригодиться, чтобы выпросить монетку у путешественника. Люди знатные находят забавным, когда оборвыш цыганенок лепечет на их языке.

– Мой отец на войне, – нашлась я, – Он благородный принц.

– В самом деле? В это можно поверить. Ты выглядишь как королевское дитя.

Я зарделась, взволнованная подобным комплиментом. Тома, прислушивавшийся к нашему разговору, мгновенно воспользовался случаем.

– Крошка каждую ночь ложится спать голодной, миледи. Зимой мерзнет.

– Правда? Ты ее опекун?

– Отец, миледи.

– Она говорит, ее отец на войне.

– Ребенок выдумывает. Она – моя дорогая дочка.

Как позже рассказывала мне леди Каролина, с каждым словом Тома ее все больше начинала беспокоить моя участь. Было очевидно, что я не принадлежу к его племени, что я в этой цыганской семье как золотой самородок среди обычных камней. Но я выделялась, говорила она, не только белой кожей и белокурыми локонами; ей увиделось некое подобие ореола, сиявшего вокруг меня, как солнце, пробивающееся сквозь дымку тумана. Во мне, вспоминала она, было нечто ангельское, что отличало меня не только от членов этого смуглого семейства, но и от всех остальных. Моя «светлая душа», как она называла это, и я вполне поняла, что она имела в виду, только годы спустя, когда в последний раз услышала это от нее за несколько мгновений до того, как смерть навсегда замкнула ее уста.

Баронесса боялась, что гнусный мошенник похитил меня; у цыган была дурная слава похитителей детей. Может, я одна из подобных жертв, спрашивала она себя.

– Ты должен намного лучше заботиться о ней, – укорила его леди Каролина. – Как о всех своих детях.

– Вы правы, правы! – послушно кивал мошенник, съездившись под ее строгим взглядом. Я уже много раз слышала, как он, мастер притворяться, скулит подобным

образом. – Грешен, грешен, госпожа! Бедняжка мерзнет и голодает, потому что я не в состоянии позаботиться о ней – и о других дорогих моих крошках, вы сами видите. Болезнь и несчастье разорили меня. Не подадите что-нибудь, чтобы помочь нам в нашей беде? Хоть несколько жалких монет?

Устремив на Тома строгий решительный взгляд, леди Каролина спросила в ответ:

– Сколько ты возьмешь за ребенка?

Тома не слишком убедительно изобразил, что оскорблен таким предложением, но тут же охотно принялся торговаться. Наконец он дал понять, что готов расстаться со мной всего за один венецианский дукат. Леди Каролина бросила на него взгляд столь презрительный, что он вздрогнул, будто его ударили кнутом.

– Я больше плачу за лошадь без родословной, – сказала она. Достала из кошелька золотой флорин и швырнула ему под ноги. – Это тебе, чтобы избавить дитя от подобной унижительной жизни.

У Тома никогда и мысли не возникало спрашивать согласия жены на сделку. Когда Розина, услышав, что я уезжаю с баронессой, попыталась возражать, муж закричал:

– Она заплатила золотом! *Золотом!*

– Это твоя жена? – спросила леди Каролина; Тома ничего не оставалось, как ответить утвердительно, – Я бы хотела поговорить с ней, – потребовала баронесса.

– Она наплетет с три короба, – запротестовал Тома, – Всегда оговаривает меня. Не верьте ни одному ее слову.

– И все же я поговорю с ней. Наедине.

Она стояла на своем. С презрением глядя на него ледяным взглядом, она ждала, когда он отойдет.

Тома, стискивая в руке деньги, полученные от баронессы, отступил назад, угрюмо ворча:

– У нее свои секреты. Даже от меня. Может, это вовсе не мой ребенок. Разве мужчина может знать?

Наконец, грязно ругаясь себе под нос, он побрел к рынку, дав женщинам возможность поговорить наедине.

Леди Каролина отвела Розину в сторонку. Несколько минут женщины о чем-то шептались. Мне ничего не было слышно, но я видела слезы, струящиеся из глаз Розины. И видела, как баронесса протянула руку, успокаивая ее. О чем Розина поведала леди Каролине во время того тет-а-тет, мне стало известно лишь много лет спустя, но я знала, они говорили обо мне. Наблюдая за ними издали, я в первый раз обратила внимание на необычный вид леди Каролины. Она была довольно высока для женщины и держалась по-военному прямо. А больше всего поражало то, как она была одета. Французские светские дамы, которых мне доводилось видеть, носили пышные платья и напудренные парики, как башни возвышавшиеся на их головах. Эта дама была ничуть на них не похожа. Хотя она ездила в прекрасной карете и явно была аристократкой, одевалась она строго и просто. Не носила парика и не пудрила волос, а просто собирала их в тугую узел на затылке. Но еще поразительней было то, что одежду свою она словно позаимствовала у мужчин: плащ, похожий на длинный сюртук, и свободно повязанный шейный платок. Даже в покрое юбки и в манере носить ее – открывая башмачки – было что-то по-мужски дерзкое. Может быть, она приехала из страны, где мужчины и женщины нарочно стремились не отличаться друг от друга в одежде? Значительно позже я поняла, что на манере леди Каролины одеваться сказались передовые общественные воззрения того времени, идея естественной простоты, отстаивавшаяся Руссо, самым знаменитым на ее родине философом.

Наконец баронесса закончила расспрашивать Розину и, сняв с шеи ожерелье, вложила в руку цыганке.

– Едем, Элизабет, – сказала она, ведя меня к карете, – Хочешь посмотреть мой дом?

Я в изумлении оглянулась на Розину, которая помчалась собирать жалкую одежонку мне в дорогу. Когда она вернулась, на ее глазах блеснули слезы. Я спросила, можно ли мне

поехать с баронессой. На что Розина грустно кивнула и сказала:

– Да, поезжай, малышка, – Она наклонилась поцеловать меня на прощание. – Доверься этой леди, – прошептала она мне на ухо.

Я забралась в карету, изо всех сил стараясь стереть сажу с лица. Оглянувшись напоследок на приемную мать, которой больше не увижу. Я часто благодарила неведомых ангелов, которые проследили за тем, что, будучи по существу продана, я была продана той, которая желала мне только добра. Ибо меня легко могли продать как рабыню, и тогда жизнь моя была бы ужасной.

Едва мы покинули рыночную площадь Тревилю, как баронесса сняла перчатку с руки и, наклонившись ко мне, провела длинными тонкими пальцами по моему лбу. Она отвела мне волосы, и я поняла, что она нащупывает родовой шрам на виске. Когда она нашла его, ее обычно грустные глаза стали еще грустней. «Бедняжка!» – прошептала она таким сочувственным голосом, что на мои глаза тут же навернулись слезы. Она прижала меня к себе, и я сразу успокоилась.

Не могу припомнить, чтобы предложение леди Каролины уехать с ней вызвало у меня малейшие колебания. Вряд ли мною руководило что-то иное, кроме детского инстинкта, но он меня не обманул. Я мгновенно поверила этой странной даме. Первый раз в жизни я почувствовала себя среди людей одной со мной крови и родovitости. Кроме того, сердце говорило мне, что эта женщина в некотором смысле, который я и сейчас не могу выразить словами, моя духовная мать – заботящаяся больше о моей душе, нежели о моем теле.

Как в моей жизни появился Виктор

Пока мы ехали к ней домой, леди Каролина рассказала мне о других своих детях, двух мальчиках, которые, уверяла она меня, с радостью примут меня как сестру. Эрнесту, младшему, было почти столько, сколько мне; она сказала, что он покажется мне робким и что к нему нужно относиться с большим снисхождением. Я так и делала; это был молчаливый и замкнутый мальчик, туповатость которого доставляла огорчение родителям. Пугливый, слабый умом, он не отходил от матери, когда она бывала дома. Стоило ей появиться, он бросался к ней и утыкался носом в ее юбку, как дрожащий от страха щенок. С самого начала Эрнест со своей чрезмерной потребностью в материнском внимании завидовал тому, какое место я заняла в семье, и эта детская ревность со временем переросла во враждебность, которую он испытывал ко мне всю жизнь. В его глазах я всегда оставалась цыганским подкидышем, который украл у него любовь матери. Брат его был на два года старше и настолько отличался от него, что впору думать, будто они от разных родителей. В вечер нашего приезда я была слишком сонной, чтобы рассмотреть его, но утром он появился, едва я проснулась. Потрясение, испытанное мною от этой встречи, до сих живо в моей памяти.

Когда мы подъехали к стоявшей на берегу озера вилле баронессы, уже опустилась ночь, и меня сморил сон. Я совершенно не помнила, как поджидавшие слуги перенесли меня в дом. В первую ночь в новом моем доме меня уложили на диван в спальне леди Каролины – невытую и в нищенских лохмотьях. Я спала крепко и долго и проснулась только к полудню. Я открыла глаза, и мне предстало самое ужасное зрелище, какое только можно вообразить: лицо, покрытое кровавыми ранами. Выпученные глаза с яростью смотрели на меня. Вокруг головы торчали перья. Существо воздело руки – на месте ладоней было что-то похожее на лапы с когтями. В голове пронеслось: «Человек-птица!» (Который лишь позже стал являться мне в кошмарах.) Я села в постели и в испуге завизжала.

К моему удивлению, чудовище, стоявшее передо мной, разразилось смехом. Мальчишеским смехом!

– Non aver paura, piccola ragazza! – запинаясь, скомандовал он по-итальянски. – Non ti faro male ¹.

¹ Не бойся, малышка! Я ничего тебе не сделаю (ит.).

– Ты настоящий? – спросила я.

– Конечно. Вот. Видишь? – И он потянулся когтями к моему лицу.

Я отшатнулась и снова завизжала. Но уже появилась баронесса.

– Прекрати! – крикнула она, оттаскивая от меня чудовище. – Неужели не видишь, что ты пугаешь ее? – Она села ко мне на диван и прижала меня к груди, – Не бойся. Это Виктор. Помнишь, я рассказывала тебе о нем вчера вечером по дороге сюда?

– Он *так* выглядит? – спросила я.

– Конечно нет, – сказал мальчишка, – Неужели не видишь, что это просто...

Он запнулся, подыскивая нужное слово, и перешел наконец на французский.

– Да, – сказала баронесса, – Виктор просто играет. Не нужно пугаться. Подойди ко мне, – велела она сыну, – и сотри с лица этот ужас. – Мальчишка тут же принялся стирать грим, снял перчатки с когтями. – Теперь выслушай меня внимательно, Виктор, – продолжала баронесса. Помню, каким серьезным стало его лицо, когда мать заговорила с ним, переводя каждую свою фразу с французского на итальянский, чтобы я могла все понять. Сквозь следы отвратительного грима на лице Виктора ясно читалось глубокое уважение к матери, – Элизабет будет тебе сестрой – и, надеюсь, больше чем сестрой. Она – мой самый большой подарок тебе, сокровище, не имеющее цены. Ты, наверное, не понимаешь, что я имею в виду под этим, но со временем, полагаю, поймешь. Она предназначена тебе, чтобы ты любил и берег ее, как свою подругу сердца.

Виктор обернулся и посмотрел на меня долгим испытующим взглядом. Я чувствовала, что краснею от смущения, ибо еще меньше его понимала, что леди Каролина хотела этим сказать. Наконец она вложила мою руку в его.

– Знай, я буду защищать тебя, – сказал мальчик под одобрительный кивок матери, торжественно, словно приносил клятву, – Буду защищать тебя всегда, маленькая Элизабет.

– Ты меня не защищал. Ты меня пугал, – возразила я, прижимаясь к баронессе.

Краска стыда залила его лицо, но он мгновенно взял себя в руки.

– А, это! Это просто игра. Хотел тебя рассмешить.

– Я подумала, что это он убил мою маму, – прошептала я леди Каролине, укрываясь в ее объятиях.

– Что она такое говорит? – закричал искренне возмущенный Виктор. – Убил ее маму? Что это значит?

– Человек-птица, – только и могла я сказать, – Человек-птица! Человек-птица!

Только под вечер я впервые увидела Виктора без того ужасного грима, а таким, каким создал его Господь. Не могло быть большего контраста между уродом, которого он старался изобразить, и им настоящим. Ибо он показался мне прекраснейшим созданием, какого я когда-либо видела, с таким утонченным и ангельским лицом, что мог бы сойти за девочку. Пусть и не такие золотистые, как у меня, его льняные и от природы выющиеся волосы не знали ножниц и окружали колышущимся нимбом лицо. Глаза были как у матери: льдисто-голубые, распахнутые и проницательные. Он был первым мальчишкой, чья красота привлекла мое внимание. После нашего знакомства, так напугавшего меня, он вел себя со мной скромно и предупредительно, словно всячески стараясь убедить меня, что он не чудовище. Больше того, он, казалось, всерьез принял слова леди Каролины о том, что я предназначена ему и он обязан оказывать мне величайшее внимание. В последний день на озере, когда вся семья готовилась к отъезду, он подошел ко мне, пряча руки за спиной и не в силах скрыть гордой улыбки.

– Это тебе, – объявил он, протягивая маленький сверток. – В знак того, что теперь ты член нашей семьи. Надеюсь, тебе понравится.

В свертке, который он вложил мне в руку, чувствовалось что-то вроде тонкой книжки. Развернув обертку, я увидела плоскую застекленную коробочку и в ней огромную яркую бабочку почти с мою ладонь величиной. Аккуратно приколотая к пурпурной бархатной подушечке, она была так совершенна, что я сперва подумала, что, наверно, она искусственная.

– Она настоящая? – спросила я.

– Конечно настоящая. Это мой лучший образец. Тебе понятно, что такое «образец»? *Una cosa morta ... da studiare* ¹. Я поймал ее этим летом и положил под стекло, как видишь.

– Никогда не видела такой большущей бабочки.

– Это мотылек, а не бабочка. Ахер-он-циа а-тро-пос, – Он с трудом произнес латинское название мотылька, явно надеясь произвести на меня впечатление. – Это по-научному. А необразованные люди называют его «мертвая голова» из-за рисунка на крыльях, понятно? У меня в коллекции больше ста образцов. Но этот самый лучший. Иногда крылышки расходятся, когда покрываешь бабочку лаком. Но этого мотылька удалось прекрасно сохранить. Поэтому я и хочу подарить его тебе.

– Как ты ловишь свои «образцы»?

– Надо все время внимательно следить за ними. Каждую ловишь по-своему. Мотыльков – вот так, понятно? Сачком.

– Они не мертвые, когда ты их ловишь?

– Нет. Их ловят живыми, а потом убивают. Это основное.

– Убивают?

– Да. *Uccidi li* ².

– Ты убил все свои «образцы»?

– Ну да. Так делают натуралисты.

– Как ты убил их?

– Обычно их удушают, чтобы не повредить. *Asfissiare* ³. Помещают в банку, которую плотно закрывают крышкой. Ти *capisce? No aria* ⁴. И оставляют там, пока они не умрут, вот и все. Так можно убить кого угодно, если только плотно закрыть.

– Кого ты еще убивал?

– Только мышь и насекомых. Ах да, еще змею однажды. Змеи дольше не умирают.

– Зачем ты их убивал?

Он озадаченно пожал плечами.

– Чтобы можно было изучать их потом. Когда они мертвые, можно их разрезать и посмотреть, как они устроены.

– Но зачем нужно их изучать? Разве нельзя просто смотреть на них и любоваться ими? Бабочки – мотыльки – такие прекрасные, когда живые.

Виктор поморщился в искреннем недоумении.

– Какой в этом толк? Любой может просто смотреть на что-то красивое. Но что это дает? – Видя, что я не знаю, как отнестись к его подарку, он спросил: – Тебе не нравится?

Я почувствовала обиду в его голосе.

– Нравится. Он очень красивый. Спасибо, Виктор.

Ему было приятно это услышать.

Когда на следующий день мы занялись сборами к отъезду, саквояж, который леди Каролина дала мне для моих вещей, едва смог вместить одежду и всякую мелочь, второпях накупленную ею для меня в соседних селениях. Я, привыкшая бегать босиком по улицам, неожиданно оказалась обладательницей башмачков и комнатных туфель на каждый день недели. Мало того, она заверила, что все это богатство мне только на первое время; когда мы вернемся в Женеву, у меня будет всего намного больше. А еще был подарок Виктора, несчастное мертвое существо, обреченное вечно демонстрировать свою красоту, стоившую ему жизни. Я понимала, что должна дорожить им, но уже решила, что постараюсь никогда не смотреть на него.

Обратное путешествие Франкенштейнов домой было одиссеей моих юных лет. Я не имела представления о том, где может находиться место, называемое Женевой; я, впрочем,

¹ Мертвая вещь... для изучения (ит.).

² Убивают их (ит.).

³ Удушать (ит.).

⁴ Понимаешь? Без воздуха (ит.).

знала, что Швейцария лежит за отдаленными горами, которые тянулись по всему горизонту к западу от моей деревни. Но лишь теперь я поняла, что вершины, видимые из Тревилю, были лишь предгорьем, настоящие горы находилось за ними. Только после целого дня пути от озер перед нами, как зубчатые стены громадного замка, встали величественные Альпы. Еще несколько дней шестерка сильных лошадей влекла нашу карету все выше и выше в режущий холод заснеженных перевалов; из теплого и надежного плюшевого уюта кареты я с изумлением смотрела на ледяные пространства, столь бесконечные, и ущелья, столь обрывистые, что голова начинала кружиться. Невероятное величие разворачивавшейся передо мной картины поражало воображение; все настолько превосходило мое понимание, что лишь крайним усилием ума могла я поверить, что эти горные выси – часть земли, по которой мы ежедневно ходим. По мере того как мы углублялись в дикие и безжизненные Альпы, земля внизу терялась из виду. Случалось, за облаками, клубившимися в ущельях, и призрачным туманом, плотно закрывавшим окна кареты, часами не было видно ничего ни внизу, ни вокруг. Иногда на крутых поворотах сама дорога, по которой мы ехали, исчезала, и на ее месте солнце, сверкавшее сквозь завесу брызг над водопадами, перекидывало мост радуги через бездонные провалы. И в этих туманах и сиянии мне представлялось, что мы держим путь в некое небесное царство.

Мы путешествовали так, как могут себе позволить путешествовать только семьи аристократов, – за нами по горам следовал обоз: повозки с багажом и дюжина крепких слуг верхом на мулах. Дорога – бесконечный серпантин – круто взбиралась вверх. По одну ее сторону тянулась теряющаяся в вышине отвесная стена, по другую – бездна, в которой клубились темные облака и гремели далеко внизу стремительные потоки. Порой во время нашего медленного подъема вдруг налетали яростные бури, тогда карета дрожала в порывах ветра и не было видно дороги под колесами, и целое лье приходилось преодолевать на мулах или пешком, кутаясь в одеяла, а слуги вели нас и перетаскивали карету через камни и толкали ее вперед по опасной дороге. Иногда, когда кучеры направляли карету на крутых поворотах и на узких карнизах так близко к скалам, что едва не задевали их, я прятала лицо в одеяло в страхе, что на осыпающемся краю дороги мы можем рухнуть вниз и погибнуть. А то от головокружительной высоты и нескончаемой качки меня начинало неудержимо тошнить. Но леди Каролина взяла с собой успокоительную микстуру и железистую воду, которые облегчали мои страдания и помогали задремать.

Напротив меня в тряской карете сидел барон и с легкой усмешкой разглядывал меня, словно удивляясь, что за маленькую дикарку его жена приютила в их семье. Это был веселый человек, дородный и ростом ниже жены на целую голову. На его высоком лбу выделялись огромные кустистые брови, которые забавно двигались, как живые, когда он начинал говорить. Красный кончик крупного носа горел, словно его натерли; под носом торчали нафабренные и закрученные вверх усы. В карете он вместо парика предпочитал прикрывать лысину тюрбаном.

– Не бойся, малышка, – успокаивал он меня всякий раз, когда замечал страх на моем лице. – Мои кучеры – лучшие во всей Европе. Они чувствуют себя в Альпах уверенней, чем горные козлы.

Потом он посадил меня себе на колено и показывал громадные вершины по обе стороны дороги, называя мне их имена, словно они были его старыми добрыми друзьями, ибо он, похоже, поднимался на них пешком. Только ради меня барон приказал отъехать в сторону перед самым въездом в окруженный горами протяженный пустынный перевал, называвшийся Сен-Готард, чтобы я могла в последний раз взглянуть на долину, где прошло мое детство.

– По эту сторону перевала, – сказал он, – ты была нищенкой. По ту сторону ты будешь принцессой. Не есть ли эти горы настоящий рубеж, отмечающий такую огромную перемену в жизни человека?

Скоро я преодолела детскую робость перед этим сердечным, веселым человеком, который, казалось, обладал неисчислимым запасом игр и историй, чтобы скоротать время в

пути. Но самыми захватывающими были его рассказы о множестве разрушенных замков и приютах отшельников, мимо которых мы проезжали. У каждого из этих свидетельств седой старины, прилепившихся к горным склонам и вершинам и возникающих за каждым поворотом дороги, была своя история, и барон знал их все. Я была ребенком и не могла судить, насколько правдивы были рассказы барона, но, затаив дыхание, слушала эти повествования о бедствиях и кровавой мести, настигавших благородные семейства, о заговорах, дуэлях и злодействах – и о сверхъестественных событиях. Казалось, не было ни одной руины, которая не имела бы своего ужасного проклятия, своих демонов, своих призраков.

Барон столь ловко сумел заворочить меня своими историями, что я едва ли поняла его намерение исподволь преподать мне необходимые знания. Он использовал мое детское воображение, чтобы научить новому языку. Ибо, рассказывая свои истории на итальянском, который я знала, он одновременно переводил их на возвышенный и изысканный французский, которым мне предстояло овладеть.

– Девочка знает итальянский эпохи Возрождения, – заявил он, – теперь она научится французскому эпохи Просвещения. Таким образом, ее путешествие повторит путь прогресса человечества.

Баронесса тоже принимала участие в этом, желая, чтобы ее сыновья получили уроки итальянского, как я – французского. Но никто так не наслаждался игрой, как Виктор, торопившийся расцветить жуткие истории своей фантазией. На грифельной доске он мелком иллюстрировал рассказы отца, сопровождая рисунки подписями. Когда барон, указывая на отдаленные развалины какого-нибудь монастыря, говорил о вампирах, обитающих на тамошнем кладбище, Виктор быстро рисовал на доске могилу, убывающую луну, гроб и крадущееся чудовище.

– Видите? Оно уносит тело. Ах! Тело не мертвое. Оно живое! Труп протягивает костлявую руку. Вот, смотрите! Рука хватает вампира за горло.

И Виктор разыгрывал перед моим изумленным взором драму на кладбище, ваясь на пол кареты, корчась и хрипя–к большому удовольствию барона. Леди Каролина, со своей стороны, нашла выходки Виктора совершенно неподобающими и выразила крайнее неодобрение, опасаясь, что я или Эрнест можем испугаться.

– Будь терпеливей, дорогая! – упрекнул ее барон. – Девочка учится. Так она никогда не забудет ни слова из этих удивительных историй. Продолжай, Виктор! Изображай! Оживляй! Изумляй ребенка! – И он разражался неудержимым хохотом, от которого колыхался его огромный живот. – Ей-богу, к тому времени, как мы приедем домой, она будет знать французский лучше, чем сам король Людовик – поскольку, судя по речам этого шута, он не может удержать в своей тупой башке больше сорока слов.

Таков был мой новый отец; столь заботливого родителя я только могла пожелать себе. Ни разу я не замечала в нем малейшей холодности ко мне как к члену его семьи; видно, для него было достаточно того, что леди Каролина, в сущности, решила купить ему дочь, даже не посоветовавшись с ним. Единственной его заботой было счастье жены; и если для этого требовалось принять в свое семейство немытого найденыша, он не возражал. Для меня также было поучительным то, какое бесконечное удовольствие получали мои новые родители, беседуя друг с другом, ибо во все время путешествия они разговаривали на всяческие ученые темы. Мое знание французского было еще недостаточным, чтобы понимать все, о чем они говорили; но, беседуй они на любом известном мне языке, вещи, которые они обсуждали, остались бы непостижимы для моего детского разума. Ибо казалось, они обнимают умом целый мир, свободно разговаривая о событиях, совершающихся в далеких странах, и о людях, само существование которых было мне неведомо. Моя новая семья обреталась в иных, высоких сферах, дыша воздухом свежим и бодрящим, как над этими горными вершинами. Они говорили о войнах и коммерции, о религии, о литературе, философии и изобретениях. Но больше всего о Природе – не только о грандиозных горных панорамах, расстилавшихся вокруг нас, но о звездах и планетах, пребывающих в далеких космических

пределах. Скоро я сообразила, что небесные тела тоже являются частью мира, в который я вступала, ибо были для барона предметом углубленного изучения. Мне дали понять, что в обозе, следовавшем за нами, кроме повозок с книгами, приобретенными бароном в городах Италии, есть еще повозка, везущая некий прибор, называющийся «телескоп», который поможет мне увидеть самые далекие звезды так, словно они находятся непосредственно за окном. Все это ожидало меня по окончании нашего путешествия: новый дом, новая страна, новая вселенная.

За время пути я привыкла всякий раз, как начинали слипаться глаза, класть голову Виктору на колени, и он нежно и успокаивающе поглаживал меня по волосам, пока я погружалась в сон, и читал нараспев шуточные стишки, слова которых на новом моем языке связались с детскими впечатлениями и помнятся мне до сих пор. Из тех строчек особенно запечатлелись в моей памяти те, что мы превратили в постоянную игру. Укрывая нас с головой одеялом, Виктор шептал, склоняясь надо мной:

Пчелка жалит в алую щечку,
Блошка за ушком кусает – беда!
Вредный комарик впивается в шею,
А я поцелую тебя... *сюда!*

В конце каждой строчки он целовал меня в названное место, а в завершение стишка, после долгой, дразнящей паузы громко чмокал в губы, отчего я хихикала в его объятиях. К концу путешествия мы настолько сдружились, будто всю жизнь были братом и сестрой.

Бельрив

– Нынешней ночью, дорогая, ты будешь спать на костях варварских королей, – объявил барон, когда после многодневного путешествия в тряской карете мы свернули наконец на извилистую дорогу, ведущую к воротам дома Франкенштейнов.

– Неужто на костях? – спросила я и посмотрела на Виктора и баронессу в ожидании, что они разъяснят странные слова барона.

– Да, это так. Потому что Бельрив – замок очень древний, и даже древнее, чем древний. Его заложил, возможно, сам Карл Великий. Больше того, под его фундаментом мы обнаружили черепа гельветских вождей, которые скалились нам из праха. Средневековье, дитя мое, Средневековье. Все то бывшее безрассудство, невежество и дикая свирепость нашли упокоение в земле, обратились в тлен.

Впереди показались раскинувшиеся в альпийских долинах многочисленные замки; одни из них представляли собой древние величественные крепости, от других остались лишь груды развалин. Какой из них окажется моим новым домом? Я гадала, охваченная нетерпением, пока карета, скрипя и трясясь, катила по каменистой дороге. И вот перед нами открылось наконец Женевское озеро, кристально-прозрачное и безмятежное. Но Бельрив словно прятался от меня до последнего момента, невидимый с дороги. Все время, пока мы поднимались по крутым склонам, окружавшим озеро, я не видела никакого признака замка: темная чаша древних дубов и высоких лиственниц скрывала его от взора. Даже когда мы въехали на аллею, ведущую к воротам, ветви деревьев, низко склонявшиеся над дорогой, заслоняли его. Неожиданно аллея кончилась, и мы оказались в залитом солнцем саду, где коротко подстриженные кусты стояли на ярком бархате лужайки, как строй солдат, замерший по стойке «смирно», – и я впервые увидела Бельрив.

Не столь огромный, как некоторые замки, встретившиеся нам на пути, он все же поражал своим видом. Его протяженный, сверкавший на солнце фасад из шлифованного гранита, по которому тянулись вверх шпалеры вьющихся роз, был высотой в четыре этажа; по обеим сторонам фасада поднимались стройные башни, чьи узкие трубы и увенчанные флагами шпили взмывали еще на целый этаж. От всего облика замка веяло таким

царственным величием, что я бы не удивилась, если бы прибывавшему полагалось приветствовать его почтительным поклоном.

Когда мы подъехали ближе, барон с гордостью объявил мне, что изящное крыло замка, которым я любовалась, пристроено к Бельриву его семьей; он и его отец придали «мирный облик» этому древнему, похожему на военную крепость строению, на зубчатых стенах которого до сих пор стояли ржавые пушки. И впрямь, более новая часть дома совсем не походила на замок, скорее напоминая помещичий особняк, уютный, хотя и чересчур огромный, на мой неразвитый вкус; мне в жизни не доводилось видеть ничего столь громадного, разве только церкви, призванные вмещать толпы людей. Только когда карета доставила нас на главный двор, я поняла истинные размеры Бельрива и его причудливую неповторимость. Ибо более новая часть дома соединялась с двумя крыльями намного более старой постройки и резко отличавшимися внешне.

– Все это мы оставили истории, – махнув рукой в их сторону, объяснил барон. – А еще отправляем туда вещи, которыми больше не пользуемся.

Благодаря уцелевшей старинной части Бельрив сохранил в своем облике суровость настоящей крепости, которою был когда-то. Башни здесь были с узкими щелями бойниц вместо окон; по крыше между ними шли обвалившиеся защитные зубцы. За прошедшие столетия потемневший от непогоды камень стен покрылся густым покровом виноградных плетей, так что строение казалось неким гигантским разросшимся растением.

– И никто там не живет? – спросила я, выбираясь из кареты, потому что эти погруженные в задумчивость руины мгновенно очаровали меня.

– Только дикое зверье, дорогая, да летучие мыши под крышей.

– И призраки! – озорно добавил Виктор, но я уже знала, что так он поддразнивает меня.

– Нет, сэр, – остановил его барон, – Призраков мы оставили позади, по дороге сюда. В свой дом я никаких призраков не пускаю. В нынешнем веке им нет места. Они принадлежат прошлому, далекому прошлому.

Я не могла вообразить, что буду называть Бельрив своим домом, столь велик был контраст между ним и той лачугой, в которой прошло мое детство. Хотя он был не единственным пристанищем семейства Франкенштейнов (они владели еще *campagne*¹ за озером и шале в горах поблизости), Бельрив казался мне дворцом, достойным императора. На верхних этажах имелись обширные апартаменты, которыми, хотя они были богато обставлены и всегда содержались в чистоте, пользовались редко, только для гостей. Теперь один из этих апартаментов стал моим: стал «комнатой Элизабет». Мне обещали обставить комнату и украсить ее от пола до потолка с такой роскошью, на какую у меня достанет фантазии, – хотя вряд ли я могла выразить какие-то особые пожелания. Ибо что я вообще знала о мебели, и шторах, и постельном белье? Весь шатер, в котором помещалась многочисленная семья Розины, был меньше одной этой комнаты, а вещи в нашем цыганском доме были не многим лучше того, что выбрасывают на свалку. Мне так долго постелью служила солома, а одеялом – кусок рогожи, что я чуть ли не страдала, ощущая кожей нежное прикосновение мягчайших, свежайших льняных простыней. Даже не будь в комнате никакой обстановки, я бы неделями могла наслаждаться ею, ибо вид, открывавшийся из окон, был бесконечно прекрасен: покрытые облаками отроги Юры за озером и снежные вершины на востоке. В подзорную трубу, подаренную мне Виктором, я могла различить парусные лодки, бороздившие гладь озера или державшие путь к отдаленной женеvской гавани, сам город и его, будто игрушечные, дома на вершине холма над окружавшими его крепостными валами. Когда ветер дул со стороны Женевы, до меня доносился слабый звон колоколов огромного городского собора, а когда опускался вечер и жители зажигали свечи, город сиял в темноте, словно полоска золотой галактики.

У этого замка и обитавшего в нем семейства была долгая и славная история. Сведения о Франкенштейнах восходят к варварским временам германского прошлого. Герб указывал на то, что в их роду были легендарные победители драконов и крестоносцы; Франкенштейны

¹ Дачей (фр.).

упоминались в числе тех тевтонских рыцарей, которые обратили вспять орды, вторгшиеся с языческого Востока. Во времена религиозных войн их род подвергся гонениям. Когда гессенские ландграфы, их сеньоры, превратились в поборников лютеранства, католики Франкенштейны вынуждены были покинуть свое родовое гнездо. Породнившись с савойской династией, они обрели новый дом в Коллонже и покровительство герцогов Савойских, от которых получили титул баронов. Бельрив, имение, полагавшееся в придачу к титулу, не сулило никаких выгод. Типичное средневековое хозяйство с бесплодными и находящимися в небрежении землями, тянувшимися от заброшенной гавани на Женевском озере в глубь диких пустошей Вуарона. Разрушающийся замок больше походил на груды камней, населенную совами и лисами; некогда грозная крепость савояров, теперь он не мог защитить дорогу, над которой возвышался, и от легкого весеннего ветерка. В руках менее энергичных сеньоров поместье с его поколениями закоснелых крестьян, сопротивлявшихся любым переменам, не могло принести ничего, кроме долгов и тщетной борьбы с крестьянами.

Но первый из баронов Бельривских был хозяином суровым и полным решимости возродить поместье. Упорно прокладывая дренажные каналы и высаживая живые изгороди, осушая и удобряя почву, он восстановил богатые бельривские виноградники, на пастбищах появились тучные стада. Больше того, он усердно подстегивал своих неповоротливых арендаторов обратиться к новым и более продуктивным методам ведения хозяйства. Он буквально заставил их применять культиваторы на конной тяге и сажать озимый турнепс, пока его доход от сдачи земли в аренду не стал самым высоким в округе. При всем при том Франкенштейны могли бы никогда не подняться выше мелких дворян, если бы барон не избавился от предрассудков своего класса и не отправил старшего сына в город искать удачи на стезе коммерции. Отданный в учение в один из лучших банкирских домов, Франсуа Франкенштейн быстро овладел искусством преумножения капитала путем ссужения денег под проценты. Пользуясь семейными связями, он стал главным банкиром герцогов Савойских и процветающим аристократом.

— Как все им подобные обреченные натуры, — с удовольствием пояснял барон, — савояры ничего так не любили, как затевать войны. И почему честный банкир должен отказывать в том, что служило им на собственную гибель? Ведь это не оружие, а деньги. Деньги, которые горят на поле сражения. О, эти каналы феодалы были жирной добычей! Мой отец обобрал их до нитки, именно так, — но делал это в изящнейшей манере. Он брал с них долговые расписки, ссужая деньги под чудовищные проценты, когда угощался голубями и шампанским за их столом. Ибо, в конце концов, он был сын барона, а не простой женевский ростовщик.

В итоге Франсуа сам стал бароном — однако же с большой неохотой. Как мне дали понять, ничто не было так не по душе истинному республиканцу женевцу, как иметь титул, особенно если он получил его от таких мерзких папистов, какими были савояры. Среди его женевских коллег находились такие, кто безжалостно высмеивал его за то, что он принял титул.

— Хотя, если уж говорить правду, — хвастал барон, — деньги нашего семейства сделали больше для защиты независимости Женевы, чем все стены, возведенные отцами города. Умному банкиру стоит развязать кошелек, и величайшие полководцы пойдут за ним куда надо, как ломовая лошадь за торбой с овсом.

К тому времени, когда мой отец получил свой титул, он уже был женевцем из женевцев и французом до кончиков ногтей — один из первых, чтоб вы знали, кто подписался на великую «Энциклопедию» месье Дидро. Это он дерзнул добавить в наш родовой герб факел свободы, позаимствовав его у Вольтерова герба. А я прибавил молнию. Понимаешь ли ты, дитя, что означает сей символ?

Я утвердительно кивнула. Хотя и не сказала, что меня он пугает, потому что в том моем кошмаре всегда сверкали молнии.

— Молния еще больше, чем факел, — символ Просвещения, ибо мощь Природы,

превосходящая силу живого огня, только ждет, чтобы человеческий гений овладел ею, – цель, в приближении к которой я надеюсь сыграть определенную роль, прежде чем сойду в могилу.

Барон хотел, чтобы у меня сложилось правильное представление о нем, поскольку, несмотря на все свои аристократические манеры, он, подобно его отцу, был человеком демократических убеждений. Ничто не наполняло его большей гордостью, как перечисление того, что он совершил на благо человечества. Он хвастал тем, что именно благодаря его усилиям была построена мощная женеvская водокачка, которая снабжала чистой водой дома на вершинах самых высоких холмов в округе. «Noblesse oblige¹», – наставлял он меня, хотя я еще не понимала смысла этого выражения, – руководствуйся этим, вдобавок соблюдай гигиену и кратчайшим путем придешь к равенству. В противном случае неизбежна анархия».

В то время эти его замечательные политические уроки мало что значили для меня. Что пользы детям в истории, если она не служит основой сказок и фантазий? Я судила по тому, что видела, а я изо дня в день видела роскошные покои, достойные королей. Безусловно, барон был одним из состоятельнейших женеvских неговциантов и не скупился, обустриваясь по своему вкусу. В доме были огромные парадные покои и пышные гостиные для многолюдных приемов. В каждой комнате был мраморный камин, внутри которого, как в пещере, мог бы свободно играть ребенок, а холодными утрами до того, как успевало проснуться семейство, в них, словно по волшебству, вспыхивал яркий огонь. Феи состояли на службе у барона и в любой момент суток готовы были исполнить все, что обитатели Бельрива ни пожелают. Эта расторопная толпа горничных и ливрейных лакеев, как вторая семья, делившая с нами дом, пребывала в бесконечных хлопотах. Как по утрам они обеспечивали нас теплом, точно так же благодаря их стараниям вспыхивал свет по вечерам: они зажигали громадные хрустальные люстры, свисавшие с потолков наподобие сверкающих ледников, на каждой было столько свечей, что я не могла сосчитать; еще до того, как за окнами опускалась тьма, их пунктуально зажигали те же эльфы, которые молча и быстро двигались по комнатам. Мне вспоминалась тусклая свечка, которая по вечерам освещала наш шатер в Тревилио, и костер снаружи, у которого мы только и могли согреться.

В каждом покое, куда я заглядывала, находились произведения искусства, столь прекрасные, что превращали наш дом в настоящий музей. Не было коридора, в котором бы не стояли скульптуры, стеллажи с древностями, не висели бы по стенам оружие и доспехи, роскошные гобелены. Особенно завораживали гобелены. Барон любил использовать исторические сцены, на них изображенные, как своеобразные книги, по которым его дети могли постигать мудрость минувших веков. Следуя за ним, когда он водил нас по дому, я узнала о войнах Цезаря и Карла Великого и о великих Крестовых походах, предпринятых, чтобы изгнать неверных из Святой земли. На одном гобелене, самом большом в замке, изображалась история Ганнибала, который провел свои отряды слонов через Альпы. Барону, как необыкновенно патриотичному гражданину республики, особое удовольствие доставляли сцены из швейцарской истории. Из них я узнала о великих Моргартенском и Нафельском сражениях, о героических победах над Карлом Смелым, на века обеспечивших свободу гордым швейцарским кантонам, о легендарном Вильгельме Телле, который не снял шляпы перед тираном и тем вдохновил народ на восстание. Но барон не раз напоминал мне, что, будучи законопослушным швейцарцем, он прежде всего женевец, а еще прежде Франкенштейн, ну а прежде того и другого – член «партии Человечества».

На других гобеленах были изображены сцены из Библии: Моисей, разделяющий море, и царь Давид, пляшущий после победы над филистимлянами, и змей, соблазняющий прамать и праотца наших. Но об этих сюжетах барон ничего не стал говорить, даже когда я прямо попросила его об этом. Лишь с горячностью ответил:

– Я рассказываю только об истории, понимаешь? Которая, как говорят нам мудрые предки, есть «наставление, подкрепленное примером». В этом доме ты не услышишь никакого обскурантистского вздора о чудесах и тайнах! Ясно, что я имею в виду? Или ты

¹ Положение обязывает (фр.).

веришь, что моря в самом деле могли расступаться налево и направо, потому что какой-то длинноротый мошенник попросил их доставить ему такое удовольствие? – И, выгнув кустистые брови, он вперил в меня гневный взгляд, заставивший отказаться от дальнейших расспросов – хотя гнев его был притворным и он тут же подмигнул мне и громко захохотал, – Ты это усвоишь, юная мадмуазель. Усвоишь. Могу сказать: подобно твоей матери, ты одарена мужским умом, способным отделить важное от чепухи, как острый нож – плесень от сыра. И если с тобой произойдут чудеса, то пусть это будут чудеса Просвещения, – Потом, наклонившись ко мне, спросил: – Знаешь ли ты имена звезд, дитя мое?

Получив отрицательный ответ, он назначил Виктора мне в учителя. Виктор воспринял это назначение с энтузиазмом, ибо рад был похвастаться знаниями, полученными от отца.

– Отец называет звезды алфавитом Всемогущего Создателя, – сказал он мне.

– Совершенно верно! – одобрительно кивнул барон, – Книга Природы – единственная святая книга, коя нам дана и в коей мы нуждаемся. Помни это!

Виктор научил меня всему, что сам знал о звездах. А когда рассказал о тех, что доступны невооруженному глазу, поставил меня на стул возле огромного латунного телескопа, который барон привез из Италии и который, по его утверждению, был самым большим в Швейцарии. В телескоп я увидела такое, что невозможно было и вообразить: призрачные горы лунного ландшафта и спутники Юпитера.

– Чудеса, которые ты видишь, моя дорогая, – сказал барон, – не мог бы тебе показать сам святой Петр, даже если б протер все колени, молясь тысячу лет. Но синьора Галилея, подарившего нам новые глаза, чтобы мы видели чудеса, велеречивые последователи святого Петра едва не поджарили на костре. Запомни этот урок, умоляю тебя!

– Отец у нас вольнодумец, – сообщил мне однажды с немалой гордостью Виктор. Но для меня это ничего не значило, потому что я никогда не слышала о вольнодумстве. – Он много раз гостил у Вольтера в Ферне. Больше того, месье Вольтер как-то гостил у отца в этом замке – целых три дня! Любой мог посетить Ферне; но чтобы месье Вольтер сам приехал к отцу... это не пустяк, – (Поскольку я понятия не имела, кто такой месье Вольтер, умней от этого известия я не стала.) – Отец не верит в чудеса, описанные в Библии, и тому подобные, – объяснил наконец Виктор, – Я тоже не верю. И ты тоже должна не верить.

Я покорно заверила его, что не буду, но в глубине души по-прежнему оставалась дочерью своей матери-цыганки. Я росла в неграмотной семье и училась начаткам веры не по ученым книгам, а по настенным изображениям и скульптурам, украшавшим деревенскую церковь, куда меня водили каждое воскресенье. Используя эти вдохновенные образы и талант рассказчицы, присущий ее народу, Розина внушала мне, что в чудесах – самый смысл религии. Ее смиренный катехизис пустил такие глубокие корни в моей памяти, что я не могла понять, что это за Бог и зачем все должны молиться Ему, если Он не способен остановить солнце или поразить с небес Своих врагов. Всякий раз, проходя мимо наполнявших Бельрив гобеленов с библейскими сюжетами, я вспоминала не острый, как скальпель, скептицизм барона, а завораживающие небылицы Розины – особенно когда я останавливалась перед одним из гобеленов, чтобы получше его рассмотреть. Он был соткан в эпоху Возрождения и занимал темный угол галереи возле моей комнаты. На нем был изображен Христос, воскрешающий Лазаря. Мертвый Лазарь, еще облаченный в саван, сидел выпрямившись в своем гробе, больше похожий на труп, чем на живую душу, мертвенно-бледный, с ошеломленным лицом. Толпившиеся вокруг люди были охвачены благоговейным ужасом – как была бы и я, окажись там.

– Могло такое произойти когда-нибудь? – спросила я Виктора, когда однажды мы с ним остановились перед этим гобеленом, – Ты веришь, что мертвые могут встать и пойти?

– Если бы могли, то не захотели бы, – ответил Виктор.

– Почему? Разве ты не хотел бы избежать могилы?

– Ни за что! Трупы гниют; черви питаются ими, пока те не лопнут и не станут смердеть. Вот почему их закапывают в землю. Я много раз видел, как такое происходит с

моими образцами. Картина не говорит правды об этом, потому что – видишь! – Лазарь изображен не тронутым гниением. Но если Иисус воскресил его на четвертый день, на Лазаря невозможно было бы смотреть, такой ужасный был бы у него вид. Он возненавидел бы Иисуса за то, что он сделал. Конечно, как все чудеса, это тоже просто выдумка.

Я знаколюсь с «маленькими друзьями»

И все же чудеса совершались, причем в стенах самого Бельрива. Их – творения скорей человеческие, нежели Божьи, – барон припас в виде особого сюрприза. Как-то утром за завтраком, когда посуду убрали, он взглянул через стол на Виктора, потер ладони в радостном предвкушении и спросил:

– Ну, мой мальчик, не считаешь ли ты, что пришло время представить Элизабет нашим маленьким друзьям?

Баронесса тайком лукаво подмигнула мне, словно желая предупредить, чтобы я приготовилась к неожиданности.

– О да! – вскричал Виктор и бросился из комнаты, показывая мне дорогу.

Мы вошли в библиотеку, стены которой были до потолка уставлены книгами, а середина загромождена навигационными и астрономическими инструментами; их барон любил использовать во время своих лекций. Но сегодня мы не стали задерживаться возле них, а направились напрямик к огромному камину в дальнем конце библиотеки и остановились, уткнувшись носом в каменную стену. Я с нетерпением ждала, что будет дальше.

Барон кивнул Виктору, который шагнул к концу каминной полки. Потом положил руку на резную голову оленя, нашел нужный отросток рога и потянул за него. Отросток повернулся, как рычаг, и я услышала резкий щелчок за стеной. Мгновение спустя панель за камином внезапно раскрылась. Теперь я увидела, что это была не стена, а маленькая дверь, искусно замаскированная под грубый камень камина. Виктор схватил меня за руку и потянул за собой в открывшийся проход, такой узкий, что тучный барон со своим круглым животом с трудом умещался в нем.

– Иду, иду, – откликнулся он на призыв Виктора, увлекавшего меня вперед.

Мы оказались в комнате с узкими окнами, забранными решетками и закрытыми тяжелыми шторами; Виктор раздвинул их, и нам открылся вид на сады на западной стороне замка. В комнату ворвалось утреннее солнце, озарив картину, от которой у меня перехватило дыхание. Я стояла среди невиданных людей! Меня окружали мужчины, женщины, дети... и они были действительно «маленькие друзья», ибо каждый из них ростом был мне до пояса, не выше. Они занимали столы и полки со всех сторон и с любопытством смотрели на меня стеклянными глазами. Я находилась в галерее, заполненной куклами, искусно выполненными и изысканно одетыми. Тут были короли и королевы, рыцари и дамы, акробаты, танцоры и музыканты – и целый зверинец, некоторые из зверей были одеты, как в сказках, в сапоги и шляпы и атлас. Был медведь, облаченный в генеральский мундир, слон, украшенный, как восточный монарх, гарцующие лошади, серебряный лебедь, плывущий по зеркальному пруду, и семейство лис в балетных туфельках, танцующих, взявшись за лапы.

– Ну, моя дорогая, что ты думаешь о наших маленьких друзьях? – спросил барон.

– Это самые чудесные игрушки на свете...

– *Игрушки?* – притворно рассердился барон. – Ха! Ничего подобного. Они такие же живые, как мы. – Пораженная, я раскрыла рот, но не знала, что сказать. В полном замешательстве я повернулась к Виктору, который не выдержал и захохотал, схватившись за живот и согнувшись пополам. Я опять посмотрела на барона, – Ну, *по чти* как мы, – поправился барон, подмигивая мне, – Виктор! Оживим их?

Виктор посмотрел на кукол и остановил свой выбор на изящной даме, сидевшей за фортепиано. Если бы не фарфоровое личико, ее было не отличить от настоящей. На ней было розовое парчовое платье, высокий напудренный парик; тонкие пальчики унизаны

сверкающими бриллиантовыми перстнями, на шее жемчужное ожерелье. Виктор сунул руку под табурет, на котором сидела дама; я услышала слабый щелчок. Дама повернула голову и поклонилась мне. Потом пришли в движение руки, и я увидела, как ее пальчики легко касаются клавиш. И вот комната наполнилась музыкой, хрустальными звуками, в которых я узнала колыбельную песню. Я захлопала глазами от удивления. Маленькая пианистка наклонила голову, прислушиваясь к мелодии, потом оглянулась на меня и вновь изящно поклонилась мне. Тем временем Виктор прошел по комнате и остановился у стола, где на бархатной подушечке сидел, скрестив ноги, арап в тюрбане и курил кальян; Виктор прикоснулся к нему, арап достал флейту и поднес ее к губам. Перебивая колыбельную пианистки, полилась мелодия сарабанды.

– Протяни палец вот сюда, – сказал барон и, взяв меня за руку, поднес ее к отверстиям флейты.

Я ощутила слабое дуновение воздуха: дыхание арапа, дувшего в свой инструмент.

– У него в груди помещены мехи, – объяснил барон, – оттого-то музыка звучит так нежно, как если бы дул человек.

Позади арапа раскрылась богато инкрустированная шкатулка, и оттуда выскользнула *danseuse*¹ в чадре, поклонилась и начала кружиться под экзотическую мелодию. На ее тонком пальчике сидела крохотная канарейка, которая махнула хвостиком, раскрыла клюв и защебетала. Маленькая танцовщица выделяла восхитительные фигуры, но не успела я налюбоваться ею, как Виктор привел в действие еще несколько кукол. Слон встал на бивни, лебедь скользил вперед и назад, чистя перышки, лошади запрыгали, поднявшись на задние ноги, лисы пустились в танец под свою музыку.

– Теперь ты видишь, – сказал барон, – что это далеко не простые куклы. Это, дитя мое, автоматы, – Он сказал это шепотом, наклонившись ко мне, словно поверял ужасную тайну, – *В них – сама загадка жизни*, – Я в замешательстве молча смотрела на него, – *Возможно... возможно*, они умнее тебя, моя дорогая, – продолжал он, с важным видом постучав себя по лбу, – Ты мне не веришь? Виктор, ты не против, чтобы к нам присоединился герр доктор Генрих?

Виктор тут же бросился к дальней полке и вернулся с бородатой куклой в профессорской мантии и квадратном головном уборе. Виктор нажал кнопку, и фигура выпрямилась в кресле, посмотрела налево, направо.

– Герр доктор! – с пафосом произнес барон, – Хочу представить вам мадемуазель Элизабет. Подойди, моя дорогая, пожми ему руку.

Я так и сделала, легонько дернув восковые пальчики его левой руки, потому что в правой он держал перо, занесенное над листом бумаги. Кукла отвесила поклон и подняла глаза на меня.

– А теперь скажи нам, Элизабет, если сможешь, сколько будет семнадцатью семь? Отвечай быстро! – И барон щелкнул пальцами перед моим лицом: раз-два-три.

Даже если бы я могла с такой быстротой произвести подсчет, я бы затруднилась это сделать, настолько неожиданным было задание барона. Я призналась, что не знаю ответа, потому что выучила таблицу умножения только до пяти – да и то не очень твердо.

– Ага, видишь! – сказал барон и обратился к кукле, снова пожав ей руку: – Герр доктор! Вы слышали? *Семь раз по семнадцать*.

Герр доктор поклонился и моргнул, как бы показывая, что понял. Прерывистым движением обмакнул перо в крохотную чернильницу на доске, лежавшей у него на коленях. Четким почерком вывел на листе бумаги: «7 x 17». Секунду спустя добавил «=». Еще через секунду – «119».

– Совершенно правильно! – объявил барон.

Я раскрыла рот в изумлении и посмотрела на барона и Виктора, ожидая объяснения. Виктор, стоявший рядом, не мог сдержать скептической усмешки, потом, приложив ладонь к губам, шепнул мне на ухо:

¹ Танцовщица (фр.).

– Этот тупица не может решить никакой другой задачи!

Барон нахмурился, услышав его шепот.

– Не совсем так!

– Нет, *так!* – упрямо сказал Виктор, – Если не сменить ему мозги.

– Сменить мозги? – поразила я.

– Для каждой задачи, – объяснил Виктор, – нужно вынуть один набор мозгов и вставить другой. Видишь? Вот его мозги.

И он повернул куклу спиной. Приподняв мантию, показал мне то, что было под ней: путаницу шестеренок, рычажков и пружин.

– Внимательно рассмотри мозги герра доктора, – сказал барон, – ибо это настоящее чудо. – Он достал лупу из кармашка жилета и протянул мне, чтобы я могла лучше рассмотреть запутанные механические внутренности марионетки, – Видишь, какие крохотные детали? Ты можешь подумать, что только пауку под силу такая тонкая работа. Однако с каждым годом подобные механизмы становятся все меньше – миниатюрными, как механизм самых лучших часов, – Он достал часы, которые часто показывал мне; на круглом циферблате солнце и луна двигались в точном соответствии с временами года. – Придет день, когда мы сможем сделать достаточно мелкий механизм и заложим в одни мозги все возможные расчеты. И как знать, много чего еще. Возможно, герр доктор будет содержать в себе всю библиотеку. Что ты думаешь об этом, моя дорогая?

Я посмотрела на Виктора, потом опять на барона.

– Как такое может быть?

– Если даже эти маленькие люди умеют писать, петь и играть на музыкальных инструментах, то где предел, я спрашиваю тебя? У нас тут есть один маленький человечек, который умеет играть в шахматы, можешь поверить?

– Делает только два хода, – пренебрежительно поправил отца Виктор, – Может пойти пешкой и конем. И всегда ходит одинаково.

– Да, но он учится, учится. В один прекрасный день – неужели ты сомневаешься? – он непременно сумеет сделать три хода, потом четыре... и наконец, кто знает, сколько? Кто знает?

– Это вы сделали всех этих кукол? – спросила я барона.

Он от души засмеялся.

– Боже, нет, конечно! Их создали самые одаренные ученые Швейцарии. Я всего-навсего их покровитель.

– Они вовсе никакие не *ученые*, – с удивительной дерзостью возразил Виктор, – Простые часовщики.

– Вздор! – возмутился барон, – Они практики от науки, настоящие натурфилософы – не такие, кто витает в облаках теории. Ручаюсь, наступит день, когда они смогут создать живых существ, настолько неотличимых от нас самих, что ты будешь не в состоянии сказать, живые это люди или автоматы, – Заметив выражение раздражения на лице Виктора, он добавил: – Как видишь, дорогая, мой сын сомневается в моем предсказании. Но полюбуйся, чего достиг месье Вокансон.

Он провел меня через всю комнату к столику под одним из окон; то, что было на нем, явно занимало почетное место среди экспонатов барона. Маленькие куклы позади нас продолжали кланяться, танцевать и играть, хотя я заметила, что слон застыл, собираясь снова встать на голову, а танцовщица едва перебирала ногами. На столике передо мной была точная копия утки в натуральную величину, выполненная столь искусно, что, если бы не ее неподвижность, ее легко можно было бы принять за настоящую. Сначала я приняла ее за чучело. Но тут Виктор зашел за столик, чтобы найти выключатель. Я услышала резкий щелчок; в утке что-то зажужжало, затикало. Неожиданно маленькая птица раскрыла клюв и резко закричала, очень похоже на живую утку. Потом она повернула голову, хлопала крыльями и крикнула еще раз.

– Ну же, дитя мое, – сказал барон. – Покорми ее.

– Покормить?

– Да, вот, возьми, – И он протянул мне несколько сухих зерен из чашки, стоявшей на столике.

Я осторожно протянула зернышко маленькому автомату. Барон нажал на кнопку, и клюв раскрылся, чтобы принять пищу. В следующий миг зернышко исчезло, клюв задвигался вверх и вниз, словно утка ела.

– Еще, – сказал барон. Потом: – Еще.

Когда я скормила таким образом несколько зерен, утка снова закричала. Я оглянулась на Виктора.

– Куда же делись зерна?

– Смотри! – сказал Виктор и хихикнул. Нажал другую кнопку, и я услышала стрекот шестеренок и пружинок; утка захлопала крыльями, и тут же из ее зада выпал крохотный катышек, – Она какает! – с громким хохотом пояснил Виктор, – Вот куда деваются зерна.

– Тайна химии пищеварения! – заявил барон. Заметив по моим глазам, что я ничего не поняла, он наклонился ко мне, чтобы добавить: – Электромагнитные токи. Основа самой жизни. Месье Вокансон учел это в своем изобретении. Он величайший естествоиспытатель нашего времени. Это его создание я ценю выше всех других.

Тем утром мы целых два часа осматривали комнату чудес. Мне показали автоматы, которые говорили, пели и выделяли акробатические трюки; я слушала крохотных механических скрипачей, арфистов и гитаристов. Барон просто сиял от гордости, когда Виктор представлял мне одного за другим «маленьких друзей» отца.

– То, что ты видишь в этой комнате, – сообщил мне барон, – наша самая большая семейная драгоценность, лучшая в мире коллекция подобного рода. Вот почему я храню ее здесь, в этой потайной комнате. Но я уже вынашиваю планы выстроить музей; и тогда мои маленькие друзья будут принадлежать миру, и все смогут любоваться и восхищаться ими. Это будет вклад нашей семьи в более глубокое понимание жизни человеком.

Виктор знал всех кукол и показал мне, как они действуют, хотя я мало что могла понять из его разъяснений.

– Вот этого акробата, – хвастливо сказал он, беря в руки клоуна, который раскачивался на трапеции, – я могу разобрать и снова собрать.

Я изобразила изумление, почувствовав, что ему нравится поражать меня, что моя реакция волнует его больше, нежели сами куклы, поскольку если барон сиял от гордости, видя, как меня восхищает его коллекция, то Виктор часто казался скучным.

– Прежде я верил, что эти куклы живые, – сказал он мне позже в тот же день, – когда был ребенком вроде тебя. Я был очень разочарован, узнав, что меня ввели в заблуждение. Теперь ты видишь, отец безоговорочно верит в механистическую философию; он хочет, чтобы я разделял с ним его убеждение. Но это всего-навсего куклы, как ты сказала. В них нет ничего живого.

– Отец верит, что есть.

– Но он ошибается! Ты трогала кукол. В отличие от нас, они не из плоти и крови и нервов. Они лишь имитация жизни, сделанная из дерева, проволоки и фарфора. Вот, видишь мою руку? Даже кончик моего мизинца большее чудо, чем все куклы в отцовском музее. Потому что он – живая плоть! Он может кровоточить, обжигаться, мерзнуть, болеть... *чувствовать*. Живое существо должно быть создано из плоти, как мы. Куклы играют музыку, но не слышат того, что играют; они танцуют, но не наслаждаются танцем. Кому бы захотелось быть машиной – пусть даже самой умной?

– Но ты сказал мне, что живая плоть должна когда-нибудь разложиться в земле и стать отвратительной. Может быть, куклы лучше нас, ведь они никогда не умирают и не гниют.

– Это так, – ответил Виктор, подумав. – И все же, пожалуй, лучше сгнить, чем никогда не быть живым.

– Как герр доктор решил задачу?

– Какое там решил! На самом деле кукла не считает; у нее вообще нет мозгов, только

шестеренки и пружины. Она просто пишет любое число, которое производит внутренний механизм. Иногда это девяносто пять, или сто двадцать три, или четыреста тридцать семь. Папа заранее знает, какое число напишет кукла; он сам устанавливает ее на нужное. Это просто трюк. Настоящая наука – это не какие-то там трюки.

– Что такое наука?

– Это море, которое огромней любого моря, по какому когда-либо плавал человек, бескрайнее и таинственное, как вселенная. Когда я думаю о плавании по этим водам, голова у меня чуть не раскалывается от вопросов, – сказал Виктор мечтательно, но, словно очнувшись, разразился смехом, – Я скажу тебе, чем наука не является. Это не та вещь, о которой нужно задумываться маленьким девочкам.

– Но почему?

Он с веселым прищуром посмотрел на меня.

– Отвечай быстро! Сколько будет сто пятьдесят плюс семьдесят два плюс тридцать три? Быстро, я сказал! – И он щелкнул пальцами.

– Ой! Так быстро я не могу.

– Понятно теперь? Вот поэтому. У тебя нет способности к математическим вычислениям. И у месье Вокансона тоже, как бы отец ни превозносил его. Он искусный мастер, и только. Жизнь слишком великая тайна, и никакой часовщик никогда не воссоздаст ее, в этом я уверен.

– Виктор.

– Что?

– Скажи мне одну вещь, я очень хочу это знать.

– Пожалуйста... какую?

– Сколько будет сто пятьдесят плюс семьдесят два плюс тридцать три? Быстро! – сказала я и щелкнула пальцами перед его носом.

– Ну, это будет...

Но прежде чем он смог сосчитать, потому что ему требовалось на это не меньше времени, чем мне, я показала ему язык и убежала, хихикая, а он погнался за мной. Наконец он поймал меня, как я и хотела, крепко схватил и придавил к стене, мои руки были подняты над головой, грудь прижата к его груди. Я часто дразнила его подобным образом, оттого он и погнался за мной и схватил, заставив покраснеть.

– Двести пятьдесят пять, – сказал он ответ, – И столько раз я стукну тебя за дерзость, маленькая шалунья!

Но вместо того чтобы стукнуть, он прижался ко мне губами; я притворно сопротивлялась, что заставляло его сжимать меня все крепче. *«Еще, еще!»* – воскликнула я про себя, когда он оторвал губы. Однако вслух завизжала:

– Перестань! Не делай этого!

– Почему ты кричишь «перестань!», если ты этого хочешь?

– Ты не можешь знать, чего я хочу, – запротестовала я, вырываясь. – Я не как те твои механические куклы, которых ты можешь разобрать и понять их секрет.

Если в моем ответе и была какая-то злость, то столько же на себя, сколько на Виктора. Ибо я не понимала этого противоречивого чувства, этого желания сказать одновременно «да» и «нет».

Мне предстояло не однажды побывать в личном музее барона, и всякий раз мне показывали еще более удивительные вещи. И все же не меньше, чем его маленькие друзья, меня поражало, когда он говорил о них как о живых существах. Ведь в конце концов, это были пусть хитро устроенные, но неживые игрушки, которые ничего не видели, ничего не слышали и ничего не чувствовали; и, как Виктор, я не могла не обращать внимания на их явную искусственность. Самый факт, что, исполненные с таким совершенством, они были будто живые, делал их еще более пугающими. Мог ли барон в своем энтузиазме и впрямь умолчать, насколько велика разница между этими автоматами и их человеческим образцом? Не была ли я в его глазах всего лишь куклой, которую можно разобрать и собрать с

помощью инструментов часовщика?

Часто я ложилась спать с подобными мыслями, чувствуя свое полное бессилие перед вопросами жизни и смерти, недоступными моему детскому пониманию. Ночью, в фантастических сновидениях маленькие друзья являлись мне и вели себя более зловеще. Иногда они, презрительно улыбаясь, глядели на меня, словно любопытствуя, как я устроена, подобно тому как я интересовалась их устройством. А однажды мне приснилось, что они собрались вокруг моей кровати, живые, и копались во мне, как вивисекторы, переговариваясь.

– Как она видит? – спрашивала пианистка, – Давайте вынем эти странные стекловидные шары, которая она называет своими глазами, и изучим их.

– Как она говорит? – вступал арап. – Давайте вытащим эту дрожащую ленту, которую она называет языком, и рассмотрим ее получше.

– И бьющееся сердце, – предлагал кто-то другой.

– И дышащие легкие...

Я было хотела подняться и убежать, но обнаружила, что они что-то сделали со мной, так что я с трудом могла пошевелить руками и ногами.

– А ее кровь, – раздавался голос. – Что это такое?

После той ночи я перестала просить показать мне маленьких друзей еще раз.

Что я узнала о своих родителях

– Для меня ты принцесса и всегда останешься ею. Это ничего общего не имеет с прозаической наследственной знатностью. Твое благородство заключается в благородстве души, а не в титулах и гербах.

Так леди Каролина отвечала мне, когда я в первый раз заговорила с ней о моих родителях. Естественно, становясь старше, я все настойчивей интересовалась тем, что Розина рассказала ей о моем королевском происхождении. Была в ее рассказе какая-то правда? Кто был мой безымянный отец, о котором я знала только, что он «король Юга»? И кто была моя несчастная мать, которая, как мне помнилось, принадлежала к английскому королевскому дому? Поскольку о своем рождении я знала только по историям, слышанным от безграмотной матери-цыганки, все это могло быть вымыслом. Или все же в моих жилах текла королевская кровь?

Меня удивляло то, с каким пренебрежением моя новая мать отмахивалась от этих вопросов – словно ей были безразличны истории о моем знатном происхождении.

– Возможно, при ее нищенской жизни в таборе, предыдущая твоя мать нуждалась в подобных полетах фантазии, я же в них не нуждаюсь. Видишь ли, милая, я родилась в бедности и знаю, что это такое, – а я жила среди всей этой титулованной знати; видела, как они пьянствуют на обедах, слышала их ядовитые сплетни в салонах, видела, как они всю ночь занимаются такими дурными делами, каких ты при своей молодости даже представить не можешь. Я знаю им истинную цену. Если купить любого из этих принцев за его действительную цену и продать за столько, сколько, как он полагает, он стоит, в результате одной такой сделки можно было бы стать богаче Креза. Поверь, будь ты даже дочерью императора, это ничего не прибавило бы к тому, что говорит о тебе доброта твоего сердца. Всегда помни, что люди, несмотря на то, что повсюду они в цепях, рождены свободными. Перед Небесами все мы равны. Это великий урок нашего века, хотя многим из самых прославленных наших умов еще предстоит его усвоить. Но это произойдет, произойдет! Хоть бы для них пришлось начертать эти слова кровью!

Даже когда я нарисовала по памяти фигуры, украшавшие верхушку герба моего отца, леди Каролина не выразила особого удивления. Небрежно водя пальцем по двуглавному орлу и крылатым львам, неумело изображенным мною, она заметила:

– В жизни тебе, дорогая, придется часто иметь дело с мифическими животными, и они будут намного важнее, чем простые геральдические символы.

Как ни странно, мой новый отец проявил большее стремление узнать правду о моем происхождении. Он услышал рассказ Розины, и любопытство его разгорелось.

– Возможно, мы обедали за этим самым столом с твоими тетками и дядьями, сестрами и братьями, – заявил он однажды вечером за обедом.

Такое вполне могло стать. В замке Бельрив не иссякал поток титулованных гостей: для путешествующих знатных особ он служил неким подобием гостиницы на пересечении дорог из Италии, Франции и германских государств. Я не представляла себе, какие дела могли привести их в наш дом; я знала, что часто они на целые часы уединялись с бароном, чтобы обсудить вещи, о которых можно было упоминать лишь за закрытыми дверями. За обедом я видела рядом принцев, графов и герцогинь, а еще послов, государственных министров и посланников, сновавших между королевскими дворами Европы. Любой из них мог оказаться моим родственником. Многие держали путь из Италии – из самого Милана. Может быть, кто-то из этих гостей был знаком с моим настоящим отцом или матерью или их семьями?

Позже я узнала, что леди Каролина потому не желала выяснять историю моей семьи, что опасалась того, на что я так надеялась, – вдруг к нам заедет кто-нибудь из моего рода. Вдруг барону удастся разыскать их? Не придется ли ей тогда расстаться со мной? По этой причине (как мне позже стало известно) она потребовала от отца торжественно поклясться не наводить в открытую никаких справок обо мне и не высказывать никаких предположений о моем роде, предварительно не посоветовавшись с ней. Он согласился, но это ничуть не умерило его безудержного любопытства, и особенно его занимало мое возможное родство с особами английского королевского дома. «Что, если эта маленькая беспризорница законная претендентка на трон короля Георга? – полушутливо спрашивал он, – Англичане уже смещали слабоумного монарха¹. Возможно, мы приютили в своем доме будущего представителя английского Просвещения. Ведь это дитя не сможет править хуже Георга Глупого, окажись она на его месте».

Я была слишком мала, чтобы понимать скрытый смысл высказываний барона о политике. Революционное брожение в Европе было далеко от круга моих детских интересов, но я прекрасно понимала, что значит знать своих родителей. Однако со временем, по мере того как уходившие годы делали попытки выяснить мое происхождение все бесплодней и я все более становилась членом семьи Франкенштейнов, история моего происхождения вновь превратилась в облако фантастических домыслов, неизменно далеких от правдоподобия. Я предпочитала думать о себе как о трижды рожденной: первая мать дала мне жизнь, со второй прошло мое детство, с третьей я выросла.

Примечание редактора

К вопросу о происхождении Элизабет Франкенштейн

Мне было чрезвычайно любопытно, что еще можно выяснить о родителях Элизабет Лавенца-Франкенштейн, особо учитывая ее воспоминания о своем знатном происхождении. Итак, летом 1806 года, когда представилась возможность побывать по своим научным надобностям на континенте, я поставил себе задачей воспользоваться случаем и удостовериться, насколько точны детские воспоминания Элизабет. Нельзя было не проверить достоверность ее рассказа о том, что ее отец принадлежал к миланской аристократии и направлялся на войну, когда заехал в табор, чтобы попрощаться с ней. К несчастью, исторические архивы Милана, естественная отправная точка моих расследований, были разграблены и по большей части уничтожены победившими революционными силами, которые, в альянсе с наполеоновскими армиями, учредили Цизальпинскую республику. В той деликатной политической ситуации я не нашел в городе никого, кто захотел бы говорить со мной о членах изгнанного правящего двора, а тем более о своем родстве с ними. Признаюсь, с определенного момента в моих изысканиях я

¹ Речь о свержении Карла I в середине XVII в. и о психиатрических проблемах Георга III (1738–1820).

почувствовал, что мой интерес к миланскому *ancien régime*², похоже, возбудил серьезное подозрение ко мне у революционных властей города и, возможно, поставил под угрозу мою безопасность.

Что до войны, о которой упоминала Элизабет и которую я отнес к началу 1770-х годов, то это был столь беспокойный период династических противостояний в европейской истории, что едва ли было возможно отделить одну войну от другой. В описаниях того времени упоминается, что Миланское герцогство было вовлечено в русско-турецкую войну в качестве вынужденного союзника Австрии; я обнаружил, что в 1773 году герцог направил сына, принца Алессандро, в Крым. На городском кладбище я видел надгробный памятник принцу, умершему год спустя. Кроме этого я не смог найти более никаких свидетельств об этом человеке, ни о его рождении, ни о смерти. В уцелевшей книге миланского кафедрального собора я разыскал запись о бракосочетании Алессандро с дочерью герцога Фарнезе из Пармы за пять лет до своей кончины. Имя его супруги было Джулиана, однако попытки узнать что-либо о ней или ее семействе не увенчались успехом. Что же до имени Элизабет, то оно мне нигде не встретилось.

Ну а запомнившийся маленькой Элизабет Франкенштейн герб, который она нарисовала в подтверждение своего рассказа? Чем может помочь это далекое воспоминание? Он не был эмблемой ни одного из итальянских аристократических родов, о которых мне удалось узнать. Поэтому по возвращении в Лондон я поспешил представить набросок, сделанный Элизабет, в геральдическую палату, куратор которой тщательнейшим образом изучил его.

– Обоюдоострый топор находится в неподобающем месте, – заметил он, – но существует только один герб, на верху которого такой топор соседствует с двуглавым орлом. Герб не итальянский, а германский. Саксен-кобург-готской династии, к которой принадлежит и наш королевский род, происходящий по прямой линии от ганноверского.

– Могли он быть как-нибудь связан с Миланским герцогством, – спросил я, – скажем, конца восемнадцатого столетия?

Мой ученый консультант в замешательстве призадумался, потом покачал головой.

– Я не углублялся в этот вопрос, но, насколько знаю, не был. Однако с другой стороны, генеалогия немецкой знати той эпохи исключительно сложна. Ее представители очень часто породнились путем браков.

Таким образом, украшение наверху гербового щита шло от предков по материнской линии, а не отцовской, то есть от английской родни германского происхождения. В основном разрешив таким образом тайну, я оставил консультанту последнее: имя Элизабет, попросив, если он может, сделать все, что в его силах, чтобы разыскать для меня его следы. Он пообещал и спустя несколько недель прислал записку, которую я здесь и привожу.

Сэр,

в архивах саксен-кобург-готской династии действительно содержится упоминание о дочери графа Альбертуса Готского Элизабет. О ней мало что известно; она умерла в 1773 году в возрасте девятнадцати лет и была, насколько я мог установить, незамужней. В биографии графа говорится о его дипломатической службе при миланском дворе с 1764 по 1775 год. Это все, что я имею вам сообщить.

Надеюсь, эти сведения окажутся полезны для вас.

С совершенным почтением,

Д.,

главный архивариус,

Королевская геральдическая палата

Хотя полностью положиться на эти сведения было нельзя, все же они позволяли строить вполне правдоподобные гипотезы. Не могло ли быть так, что Элизабет Саксен-кобург-готская сопровождала своего отца в его дипломатической миссии в Милан и

² Королевскому строю (фр.).

стала там возлюбленной принца Алессандро? В таком случае она могла родить дочь, которая, пусть и внебрачная, была аристократкой по рождению. Это объясняло бы странное решение молодого принца отдать младенца цыганке-повитухе, что было лучшим способом сокрыть грех.

Я нахожу единомышленника

Бельрив стал мне не только домом, но больше того – школой. Учителя постоянно сновали между замком и городом, все ради детей барона, из которых намеревались сделать истинный образец человека эпохи Просвещения. Утром и днем, когда позволяла погода, наши учителя в коляске или на лодке направлялись из города в замок. Герр Динхайм, известный немецкий ученый, не упускавший случая похвастать тем, что он член Берлинской академии короля Фридриха, преподавал нам классические языки, и его требовательность могла стать сущим наказанием, если бы он мудро не превращал наши уроки одновременно в игру. Похоже, «герр Фриц», как озорно звал его Виктор, когда тот не мог его услышать, изобрел умный метод, помогавший нам запоминать идиоматические выражения и особенности склонения существительных. Музыка нас учила мадам Браники; хотя у нее, дамы в годах, пальцы были жестче, чем клавиши, она играла на фортепиано как чудо-ребенок при дворе русской царицы Екатерины Великой или Людовика, короля Франции. От нее мы получали знания истории в не меньшей мере, чем о музыке, но не слышали ни одной дворцовой сплетни. На мадам Элоизу, личную горничную баронессы, была возложена обязанность обучать меня французскому и манерам; но ее особой любовью были танцы, в которых она демонстрировала грацию, достойную девицы вдвое моложе ее.

По мнению барона, было прекрасно, что девочку учат музыке и танцам, это пригодится ей, когда она начнет выходить в свет, но их истинная ценность, считал он, состоит в другом.

– Гармония, ритм, контрапункт, – объяснил он, – это искусства, основанные на математике: счет, приложенный к мелодии. Они подготавливают ум к восприятию вечных законов природы. В этом их главное достоинство.

Поэтому меня представили синьору Джордани, падуанскому ученому, под руководством которого Виктор успешно овладевал математикой и уже дошел до алгебры.

– Юная леди будет изучать математику? – немало удивившись, спросил он, – Может быть, барон имеет в виду арифметику?

– Нет, сэр, вы правильно поняли меня. Арифметике она уже обучена. Я имею в виду высшую математику.

– Нет, нет, нет, это невозможно, – запротестовал синьор Джордани пронзительным тенорком. – Женский ум лишен *l'esprit géométrique*¹. Это все равно что вливать вино в сито.

– Что касается способностей женского ума, сэр, – с негодованием сказал барон, – то не желаете ли посоветоваться с моей женой, которая не встречает ни малейших трудностей, читая трактаты месье Декарта, Паскаля и Лагранжа? Думаю, она сможет убедить вас, что тут вы ошибаетесь.

– Ах, но баронесса необыкновенная женщина, – возразил синьор Джордани. – У нее мужской ум.

– Тогда давайте проверим, не ошибаетесь ли вы и в отношении моей дочери, сэр, – упорствовал барон, – Ибо как без должного испытания можно судить, способен ли кто из женщин сравняться по уму с мужчинами?

Скрепя сердце синьор Джордани согласился, но мне предстояло доказать, что его мнение о женской ограниченности было ближе к истине, нежели противоположная точка зрения барона; откровенно говоря, у меня не было никаких способностей к математике. Если в геометрии я еще делала кое-какие успехи, ибо это наука видимых форм, которые могут быть изображены на листе бумаги, то алгебра и исчисление не задерживались у меня в голове, как песок, сыплющийся сквозь пальцы, оставляя на ладони лишь несколько

¹ Способности к геометрии (фр.).

крупинок. Когда я со стыдом призналась в этом леди Каролине, ее это не слишком озаботило.

– Занимайся тем, что тебе нравится, – сказала она, – Талантливых математиков в мире более чем достаточно.

– Но барон хотел, чтобы я доказала, что девочка может быть столь же сильна в математике, как мальчик.

Это чрезвычайно ее изумило.

– Неужели? Тогда позволь мне сказать, дорогая, что барону в жизни не удавалось разобраться с Паскалевым треугольником, потому что он сам не особо силен в математике. А я могла бы объяснить эту численную схему каждой служанке в замке, даже не умеющей читать.

Сколь ни важны были учителя, куда больше я узнала в салоне и за обеденным столом, чем за столом письменным, потому что в Бельриве наука была растворена в самом воздухе, которым я дышала. В сезон, когда альпийские перевалы были открыты, ни один путешествующий философ, художник или литератор, пересекавший Альпы, не пренебрегал радушным приглашением барона остановиться в замке. Бельрив был самым знаменитым местом встреч лучших умов Женевы (а следовательно, по утверждению барона, и всей Швейцарии, ибо, по его мнению, Женева и все остальные кантоны были «как мозг и живот»). Сюда они приезжали побеседовать, прочесть лекцию, продемонстрировать свой ум в благодарность за самое щедрое гостеприимство, если не считать королевского.

Это в большой мере способствовало тому, что в Викторе развилось чрезмерное высокомерие; он хвастал тем, что его, еще младенца, качали у себя на коленях величайшие научные мужи. Я не представляла, кто такие барон Д'Ольбак или аббат Кондильяк, но была представлена человеку, знакомством с которым Виктор особенно гордился и которого он взял себе за жизненный образец: профессору Соссюру, его крестному отцу и наставнику с малых лет. Профессора Соссюра, частого гостя в Бельриве, во всей Европе называли величайшим из всех швейцарских натурфилософов. Он мог рассуждать о небесах и земле и всем, что между ними. А еще он был отважнейшим скалолазом и совершил восхождение на самые неприступные вершины Альп, все, кроме Монблана. Он объявил, что того, кто покорит эту грозную вершину, ждет награда, которой Виктор, как любой швейцарский юноша, мечтал быть удостоенным. Когда профессор Соссюр приезжал в Бельрив, они с Виктором могли уединиться на несколько часов, изучая множество приборов, привезенных профессором в замок. Этот замечательный человек, казалось, посвятил свою жизнь изобретению аппаратов для измерения всего, что есть на свете, даже того, что я, будучи ребенком, считала не поддающимся измерению. Его приборы определяли вес воздуха, оценивали влажность облаков, вычисляли интенсивность солнечного излучения и даже синевы неба. Когда однажды я простодушно поинтересовалась, для чего вообще нужно измерять подобные вещи, он снисходительно рассмеялся. «Чтобы управлять, барышня, – ответил профессор, – сначала нужно познать». Другим изобретением профессора был маленький круглый стеклянный сосуд с подвешенными в нем двумя крохотными заряженными шариками, который позволял измерить силу электричества. Барон, бывший покровителем профессора, считал электрометр Соссюра самым выдающимся достижением нашего века. Но искра, проскальзывавшая внутри сосуда, была столь слаба, что, даже прижав глаз к стеклянной стенке, я ничего не видела и спрашивала себя, уж не обман ли все это. Почему, не понимала я, верить в ангелов, которых могут видеть лишь святые, значит, как считает барон, быть суеверным, а верить в проскакивающие искры, которые могут видеть лишь профессора академии, – нет?

Хотя Виктор и восхищался профессором, я безмерно радовалась тому, что у него и его идола разный склад ума. В противном случае он мог бы стать лишь еще одним «талантливым математиком», и ничем больше. Но Виктор, еще будучи маленьким, нашел куда лучшего учителя, чем любой из тех, которых приглашали к нему. И это был Бельрив: я имею в виду сам дом, обладавший магией, которая пробуждала детскую фантазию. В Писании читаем: «В

доме Отца Моего обителей много»¹. Так и в Бельриве, доме моего отца, было много обителей, нематериальных обителей разума, прячущих во всех углах и закоулках сокровища знания. Я не могла пройти от одной комнаты до другой, чтобы что-то не пленило мое воображение. Прежде всего это, конечно, были шедевры искусства, наполнявшие дом. Большая часть того, что я узнала из истории и литературы, до сих пор предстает перед моим мысленным взором в виде образов и сюжетов, оживленных гением мастеров Возрождения в их великолепных гобеленах и исторических полотнах. Но были и другие, не столь явные источники познания, и открыла я их для себя благодаря Виктору, который с увлечением показывал мне скрытые богатства замка. Он научил меня тому, что нет ни одного предмета мебели, ни одного шкафа, комода или карниза, прячущегося в тени, которые не могли бы чем-то поразить, – надо только иметь воображение, чтобы подметить это, и ум, чтобы это оживить. Он приучил меня видеть в каждом резном орнаменте, каждом плетении филигрании, каждой фигуре гербов на стенах повод для восхищения. Этот мир воображения был самым важным его подарком мне, и, предаваясь фантазиям, мы впервые стали единомышленниками – на всю жизнь.

Тонушие во мраке анфилады и темные галереи ночного замка лишь давали еще больше пищи воображению. Картины и скульптурные фигуры будто оживали в неверном свете свечей. «Посмотри туда, – мог сказать Виктор голосом, упавшим до предостерегающего шепота, когда мы проходили каким-нибудь сумрачным коридором, и показывал на резной лакированный сундук, привезенный бароном из татарского ханства или с аравийских берегов, – Видишь великана-людоеда, который притаился и поджидает нас?» Потом, подкравшись ближе, показывал пальцем на злобную физиономию, прячущуюся среди переплетающихся ветвей узора. А не то он останавливался перед большим шкафом с фарфором, подняв свечу, освещал расписные блюда и предлагал придумать истории на темы изображенных на них сцен. «Ну-ка, что единорог говорит деве, – командовал Виктор, указывая на изображение принцессы в саду, – Он ее друг или недруг? Если она сядет на него, куда он помчится?»

В замке не было такой стены или лепнины на потолке, которой вдохновенный мастер не украсил бы какой-нибудь сценой. Повсюду привлекали взор эпизоды рыцарских турниров, приключения витязей и их дам, злые колдуны и полчища язычников, воскрешая легендарные времена короля Артура и графа Орlando. Если внимательно присмотреться, то на кафеле камина и ножках стола, между которыми мы играли каждый день, можно было обнаружить целый зверинец: драконов и химер, минотавров и горгон, кентавров и тритонов. Часы с боем, стоявшие у дверей библиотеки барона, представили мне на своем циферблате образы олимпийских богов; по маркетри на ставнях в моей спальне я прочла легенду о Тристане и белокурой Изольде, изображенную, сцена за сценой, неким безымянным мастером. Я живо помню, как Виктор рассказывал мне их историю, не всю сразу, а долго, в течение многих вечеров, внимательно следуя в своем рассказе за каждой инкрустированной картинкой на дереве и говоря за любовников. Это была первая услышанная мною романтическая повесть, и сердце у меня сладко сжималось при мысли, что на свете может быть такая любовь.

– Посмотри сюда, – сказал Виктор, дойдя до последней серии картинок, – это ревнивая жена лорда Тристрама. Она обманывает умирающего рыцаря, говоря, что парус, который она видит в море, не белый, а черный; и потому он думает, что его возлюбленная не явится, и умирает в отчаянии. Прислушайся! Можно услышать, как стелет бедная Изольда, обнимая его. Ее сердце разрывается; она не может жить без него; наконец она умирает, чтобы соединиться с ним в смерти. Смотри, как деревья, выросшие из их могил, сплелись ветвями у них над головой.

– Они умерли от любви? – спросила я, напрасно пытаюсь сдержать слезы, вызванные его рассказом, настолько прочувственно воссоздал он легенду.

Виктор, внимательно глядя на меня, с любопытством протянул любопытный палец,

¹ Евангелие от Иоанна, 14:2.

чтобы коснуться горячей капли, которую заметил на моей щеке.

– Это всего-навсего литература, *piccola ragazza* – ответил он, – Она должна быть подлинной, только куда длится рассказ.

Тогда я решила, что буду возвращать ей подлинность каждую ночь в течение всей моей жизни, воображая себя горюющей королевой, а Виктора – рыцарем, умирающим у меня на руках.

Сатанинские картины

Но из всех произведений искусства, наполнявших Бельрив, ничто так не повлияло на меня, как сатанинские картины. Виктор познакомил меня и с ними.

Это случилось в скучный зимний день, когда никто из учителей не смог одолеть непроезжей дороги из города. Тем утром мы коротали время, изучая жизнь Жанны д'Арк по одному из гобеленов барона.

– Ее сожгли на костре как ведьму, – рассказывал Виктор, – Но позже церковь изменила свое мнение и назвала ее святой.

– А ты веришь, что когда-то существовали ведьмы? – тут же спросила я.

– Но они существуют. Могу показать их тебе, – В глазах его появился озорной блеск, которого я привыкла бояться: слишком часто он был прологом к какой-нибудь неприятной шутке, – Подожди здесь, – велел он и убежал, но скоро вернулся с большим кольцом, на котором звенели ключи.

Я узнала связку Жозефа, мажордома барона.

– Нужно успеть вернуть их, пока Жозеф не хватился, – сообщил он с вороватым видом.

Крадучись, что должно было подчеркнуть опасность нашего приключения, Виктор повел меня в дальнюю часть замка, в старейшую башню, развалины, где никто не жил (как я думала), а узкие окна давно заросли плетями винограда. Здесь он высек искру из кремня, зажег тусклый огонек и стал подниматься по узкой винтовой лестнице. Мы карабкались все выше в тесном и темном проходе, минуя на каждой площадке запертые двери, на некоторых из них висели ржавые замки. В неверном свете нашего светильника башня казалась еще более таинственной; но я боялась не столько того, что мы встретим призраков, сколько крыс и пауков, и с опаской поглядывала под ноги. К моему удивлению, каменная лестница, древняя и осыпающаяся, как вся башня, была чисто подметена, словно ею недавно пользовались. Да и воздух в тесном проходе вопреки ожиданиям не казался затхлым. Было очевидно, что тут часто бывали и другие.

Когда мы добрались до верхнего этажа, Виктор остановился и заставил меня поклясться, что я буду хранить тайну. Только после этого он нашел в связке Жозефа ключ и открыл массивную дверь, которая вела в южное крыло замка. Мне говорили, что здесь никто не живет – помещения пустуют многие поколения и используются лишь для хранения ненужных вещей. Однако я вошла не без трепета, ибо несколько раз видела, выглянув из окна своей спальни, фигуры, движущиеся в этой части дома. А после наступления темноты видела свет свечи в невидимой руке, скользивший по коридорам.

Оказавшись внутри, мы со всяческими предосторожностями пересекли темный холл, направляясь к комнате, тоже запертой на ключ. Вскоре дверь была открыта; на нас пахнуло затхлостью, когда мы шагнули вперед. Окна в комнате были плотно зашторены и царило ощущение зловещей тайны. «Смотри!» – тихо прошипел Виктор, раздвигая шторы, но только чуть-чуть, так что я не сразу разглядела на стенах вокруг меня ряды прямоугольников в рамах; затем он приоткрыл створку одного из окон в конце комнаты, и луч света прорезал сумрак. Картины, покрывавшие стены, тут же приковали мое внимание. Я увидела прозрачные, словно дымка, фигуры, скользящие по темному лесу, облаченные в бледные одежды, делавшие их похожими на призраки. Исполнены картины, как я со временем поняла, были грубо, даже примитивно, по сравнению с шедеврами в коллекции барона. Но они, что дал мне понять Виктор, и не были ее частью. «Он стыдится их, – шепнул мне

Виктор, когда мы шли вдоль полотен, многие из которых висели без рам. – Поэтому их и держат здесь».

Однако мое внимание привлекало не столько художественное достоинство картин, сколько присущая им странная потусторонность. Поскольку, хотя изображены на них были горы и леса, окружавшие замок, в этих знакомых ландшафтах была какая-то особая таинственность. По большей части это были ночные пейзажи, освещенные ущербной луной, словно залитые бледным сиянием. Особенно притягивали взгляд движущиеся в этом призрачном свете фигуры в белом, все женские, насколько я могла судить, хотя их лиц не было видно под низко опущенными капюшонами. Каким-то чудом художник сумел придать им жуткую, зловещую убедительность. Но что они делали в этом нездешнем лесу? На одной картине они лежали ничком на земле, раскинув руки; на другой – стояли, склонившись, словно в молитве, перед разрисованным и увешанным гирляндами пнем; на третьей – взявшись за руки, танцевали среди освещенных луной деревьев под звуки флейты и барабана, на которых играли женщины, их запрокинутые лица обращены к ночному небу, рты раскрыты, словно в вое. От картин веяло жутью – хотя ничего «сатанинского», как обещал Виктор, я в них не увидела.

– Почему ты говоришь, что картины сатанинские? – спросила я.

– Потому что это ведьмы! – возмущенно прошипел Виктор, – Видишь, вон там?

И он потащил меня к группе картин, на которых были изображены фигуры – тоже все как одна женские – без одежды. Я почувствовала, что краснею; Виктор рядом со мной едва сдерживался, чтобы не расхохотаться над моим смущением. По знаменитым произведениям в коллекции барона я уже знала, что в искусстве допускается изображение обнаженного тела, особенно женского. Однако на классических полотнах обнаженные фигуры безупречны по форме и непорочны, тела богинь гладкие, почти как мрамор. В этих же фигурах не было и намека на скромность или изящество. Напротив, они были изображены с чрезмерным реализмом, сидящие или раскинувшиеся, развязно выставив свою наготу – костлявые и толстые, уродливые и роскошные. Тут были безобразные древние старухи с жидкими седыми волосами и молодые статные женщины, кормящие младенцев. Немало было таких, кто ласкал свою нагую плоть, извиваясь в экстазе, что даже мне в моем юном возрасте казалось непристойным. На одном полотне женщина была изображена в необычном ракурсе: сверху, – как она могла бы сама видеть себя: груди, раздвинутые бедра, пальцы запущены в бесстыдно зияющую черноту между ног – сцена, по моим понятиям, немыслимая для искусства. В общем, откровенность, потрясшая и в то же время увлекшая мою детскую душу.

– Взгляни-ка на это, – посоветовал Виктор, указывая на полотно, которое висело в стороне, словно оно было самым шокирующим из всех.

Я сразу узнала то, что на нем было изображено, ибо однажды сама присутствовала при точно такой же сцене! В центре на столе сидела женщина со вздутым животом и отвислыми грудями, голова ее была запрокинута назад, а лицо искажено гримасой неимоверного усилия, ноги разведены в стороны – поза, живо помнившаяся мне. Вокруг нее стояли другие женщины с полотенцами и тазами, как это бывает в кульминационный момент родов, одна из них готовилась принять ребенка. Виктор ткнул пальцем в нарисованное лоно.

– Знаешь, что тут изображено? – спросил он, уверенный, что я наверняка не отвечу.

Но я ответила.

– Она рожает ребеночка, – сказала я с некоторой гордостью. – Я уже видела такое. Женщина тогда раскрывается вот так; я видела, как это происходит.

– Ничего ты не видела! – выпалил он.

– Нет, видела! Смотри, ребенок появляется отсюда. Повитуха готовится принять его. Я сама держала в руках новорожденного.

Виктор пришел в замешательство, но не хотел этого показывать.

– Подумать только, нарисовать такое! – И он сделал вид, что его сейчас стошнит.

Почему он вел себя так? Мне было интересно знать, но спросить его я не осмелилась.

Мы были вынуждены быстро завершить осмотр комнаты.

– Никогда не рассказывай отцу, что была здесь, – предостерег меня Виктор, когда мы покинули эту часть замка.

– Но откуда тут эти картины? Кто нарисовал их?

– Тсс! – шикнул Виктор. – Этого я не могу тебе сказать.

– Я увижу их еще раз? – спросила я, горя желанием снова побывать в той комнате.

– Возможно, но только когда я разрешу.

Несколько дней после этого я мысленно возвращалась к тем картинам; я воображала себе музыку, наполнявшую сцену, – завывающую флейту и неистовый барабан. В фигурах, даже в воспоминаниях вызывавших во мне дрожь, было какое-то очарование. Каково это, спрашивала я себя, безумно резвиться ночью голышом, при свете луны, чувствовать телом влажную землю? Это казалось мне верхом непристойности, и однако было нечто влекущее в том наслаждении, которое явно испытывали персонажи картин. Мне очень хотелось вновь посмотреть на полотна, но еще больше хотелось увидеть подобные сцены в жизни. Есть ли на свете люди – *женищины*, – которые так поступают? Неужели художник писал свои картины с натуры? И если да, то кто тот мужчина, которому они позволили стать свидетелем их предосудительного поведения?

Что я увидела на поляне

Хотя барон не считался с расходами, когда дело касалось образования своих детей, в одном он был неизменен. Будучи атеистом, он противился тому, чтобы в число предметов, которым нас обучали, входила также религия. Это обстоятельство заставляло баронессу страшиться, что моральное развитие детей останется без внимания. По ее настоянию дважды в месяц в замок приглашали пастора Дюпена из женеvской реформатской церкви просвещать нас в вопросах религии. Хотя барон, который считал всю теологию чистой софистикой, ворчал и открыто заявил, что не намерен оставаться дома на время визита пастора, он уступил желанию супруги. Он утешал себя тем, что в руках реформатской церкви (к которой относился с уважением, как патриот) юное поколение будет по крайней мере избавлено от влияния «иезуитской чепухи».

Пастор Дюпен оказался красивым, но суровым молодым человеком, чье постоянно хмурое лицо до времени превращало его в старика. Создавалось впечатление, что он прикидывается вечно угрюмым педантом кальвинистом, каким его хотело видеть начальство аббатства Святого Петра. Хотя со своими учениками он был довольно мягок, ни Виктор, ни я не больше барона радовались его приходу, ибо он появлялся в доме, как черная туча. Как ни странно, леди Каролина, похоже, тоже с прохладцей относилась к пастору, который ни за что не оказался бы нашим гостем, не пригласи она его сама. Меня озадачивало, что она позволяла себе передразнивать его, когда представлялся такой случай. Так, если кто-нибудь из детей дулся, она смеялась и предупреждала нас: «Берегитесь! Как бы вам не стать, когда вырастите большими, такими же угрюмыми, как пастор Дюпен!» И она пародировала его хмурый взгляд, морща брови и гримасничая, а Виктор неизменно подхватывал забаву.

При том что это, конечно, было забавно, я начинала сомневаться, что смогу серьезно относиться к урокам пастора, раз моя мать унижает его, высмеивая его у него за спиной. Я спросила у Виктора во время одного из наших занятий – пастор Дюпен в этот момент отлучился из комнаты, – зачем мать пригласила пастора в замок, если столь откровенно высмеивает его.

– Разве тебе самой не понятно? Все дело во Франсине. Неужели не заметила? – ответил он.

Я, конечно, замечала, что леди Каролина очень любит Франсину, жену пастора, которая всегда приезжала с мужем в замок. Больше того, казалось даже, что для нее приглашение баронессы значило много больше, чем для мужа. Но какой я должна была сделать из этого вывод?

Франсина была настолько же веселой и живой, насколько ее муж пастор мрачным.

Кроме того, ею можно было залюбоваться, ибо я в жизни не видела более прелестной особы. Как жене пастора, ей запрещалось пользоваться украшениями или косметикой; она всегда была в глухом черном платье, закрывавшем ее от горла до лодыжек, а блестящие черные волосы были забраны на затылке в тугий пучок. Но ее красоту не могла убить никакая строгость в одежде, которой она вынуждена была придерживаться. У нее были классически правильные черты лица, а большие добрые глаза сияли, как черный жемчуг. Кроме того, в ее движениях сквозила природная грация: казалось, она скользит, не касаясь ступнями земли. Я с особенным нетерпением ждала ее посещений, потому что леди Каролина дала мне понять, что хочет, чтобы Франсина стала мне близкой подругой, хотя не сказала, в каком смысле. Итак, пока пастор занимался с нами или водил по замку и читал нам лекции, используя в качестве примера библейские сюжеты гобеленов, леди Каролина и Франсина сидели, вместе вышивая, а чаще рисуя, в чем баронесса была большая мастерица. Ей доставляло удовольствие учить этому искусству других, а Франсина была благодарной ученицей. Сидя с Франсиной перед букетом цветов, леди Каролина показывала ей, как пользоваться углем или пастелью. Рисуя, они *sotto voce*¹ обменивались секретами, часто смеялись над только им понятными шутками. Иногда они уходили со своими альбомами в отдаленную часть дома или в сад, возвращаясь лишь к концу визита пастора.

Однажды пастор, как он это часто делал, дал нам задание и оставил одних. Не успел он выйти за дверь, Виктор скользнул ко мне и дернул за рукав. Я подняла глаза и увидела, что он знаком показывает, чтобы я молчала. Потом осторожно открыл окно и помог мне перелезть через подоконник наружу. Тут он пригнулся и быстро побежал, прячась за живой изгородью и приглашая меня следовать за ним как можно незаметней. Я держалась рядом, а он вел меня из сада к близкому лесу. Там, подобно охотникам, преследующим чуткую дичь, мы беззвучно двинулись к небольшой тенистой ложине, где среди огромных сосен бежал горный ручей. Это было очень уединенное место, где я никогда не бывала прежде. Чтобы попасть туда, нужно было боком протиснуться сквозь узкую трещину в скалах; когда мы пробирались сквозь нее, Виктор обернулся ко мне и приложил палец к губам, приказывая мне молчать.

Проход наконец вывел нас на скалистый выступ, с которого открывался вид на небольшую поляну, окруженную деревьями. Виктор жестом велел мне лечь на землю и ползти за ним к краю выступа. Неподвижный воздух над поляной раскалился от горячего солнца. Сосны источали сильный аромат. Я посмотрела, куда показывал Виктор, и что я увидела! Баронессу, сидевшую на одеяле, рядом стояла корзинка с едой. В нескольких шагах от нее я увидела Франсину, которая в одной сорочке, босиком бродила в ручье. Баронесса на этой жаре тоже разделась до белья и сняла чулки. Через несколько минут Франсина вернулась к леди Каролине; они о чем-то говорили. Они были недалеко от нас, но громкое журчание ручья не давало расслышать слова. Баронесса показала на упавшее дерево на другом краю поляны, которое лежало наполовину в воде. Франсина направилась к нему и села на ствол. Но прежде она одним быстрым движением сняла сорочку через голову и дала ей упасть на землю. Оставшись совершенно нагой, она подняла руки, распустила узел на затылке, тряхнула головой, и волосы рассыпались по ее плечам и спине. От небрежности, с которой Франсина проделала это, и от вида ее наготы кровь горячей волной бросилась мне в лицо. По просьбе леди Каролины Франсина, прежде проведя ладонью по стволу упавшего дерева, томно, как сонная кошка, растянулась на нем и посмотрела на баронессу, которая указывала, как ей повернуться. Наконец Франсина нашла позу, которая удовлетворила леди Каролину. Ее волосы, струясь, падали на плечи и грудь, руки были закинuty за голову, веки прикрыты, словно она уснула. Некоторое время баронесса смотрела изучающим взглядом на фигуру Франсины, потом взяла альбом и принялась рисовать.

Виктор лежал рядом со мной на земле, и я чувствовала его невероятное напряжение. Он пожирал глазами тело Франсины. Можно подумать, что мне, еще такой юной, почти ребенку, была непонятна природа его возбуждения. Но я понимала, пусть и инстинктивно. Мое

¹ Вполголоса (ит.).

восхищение Франсиной – и, несомненно, определенная женская солидарность подсказывали мне, что одобрять его подглядывание – это предательство; и все же мне отчаянно хотелось знать, что эти женщины будут делать дальше. Разрываясь между любопытством и стыдом, я была в полном смятении, но боялась заговорить, чтобы внизу не услышали наших пререканий. Вместо этого я беспомощно уткнулась лицом в ладони. Через несколько минут Виктор шепнул мне на ухо: «Смотри!» Когда я помотала головой, отказываясь смотреть, он стал щипать меня за руку, пока я не подняла глаза.

Леди Каролина, отложив альбом, подошла к Франсине и села рядом; Франсина не изменила позы и продолжала лежать на стволе упавшей лиственницы. Разговаривая с ней, леди Каролина протянула руку и коснулась щеки Франсины, потом волос, нежно перебирая их пальцами. Секунду спустя баронесса наклонилась и быстро поцеловала Франсину в губы, потом снова, и на сей раз поцелуй длился дольше. Настолько, что мне стало не по себе. Он еще длился, когда рука баронессы нежно скользнула по шее Франсины, легла ей на грудь и принялась круговыми движениями раскрытой ладони ласкать сосок. Еще через несколько секунд ладонь поползла вниз по телу Франсины, и тут я не выдержала: быстро поднялась на колени и, стараясь не производить шума, поползла к проходу в скале. Вскоре я уже была на той стороне и бегом бросилась к замку. Мне было все равно, последовал ли Виктор за мной, но вскоре я услышала за спиной его шаги и пыхтение.

Догнав, он грубо схватил меня за руку и вынудил остановиться.

– Почему ты убежала? – сердито спросил он. – Они могли тебя услышать.

– Ты не должен подглядывать за ними. Это нехорошо.

– Неужели? И почему же?

– Сам знаешь. Ты мальчик. Тебе не следует этого видеть.

Виктор насмешливо скривил лицо.

– Сказать тебе кое-что? Моей матери все равно, вижу я это или нет.

– Нет, не все равно! – твердила я, не помня себя от замешательства и злости. – Не все равно!

Виктор, мчась бок о бок со мной, ответил лишь самодовольным взглядом.

– Тебе самой хотелось это видеть.

– Нет! – негромко крикнула я, но поняла, что он мне не верит.

– Теперь ты знаешь, почему она любит, когда приезжает пастор.

Когда мы вернулись в замок, пастор Дюпен, который всюду искал нас, был не на шутку рассержен. «В комнате было так жарко», – оправдывался Виктор, когда он обрушился на нас. На что пастор произнес импровизированную проповедь на тему, не раз поднимавшуюся им прежде, о благотворности умерщвления плоти для христианина. Разве нам не известно, с каким восторгом мученики за веру принимали смерть на костре? Что такое провести час в жаркой комнате по сравнению с их божественной агонией? Позже Виктор заметил: «Лучше гореть на костре, чем опять выслушивать его идиотскую лекцию!»

Наше приключение породило во мне множество мучительных и неотвязных вопросов. Хотя я злилась на Виктора, втайне меня влекло то, что он открыл мне. Больше того, хотелось, чтобы он объяснил мне хаос чувств, в которых я не могла разобраться и которые, как я предполагала, ему понятны. К моему удивлению, у него было не меньше вопросов, чем у меня.

– Хотелось бы тебе поцеловать Франсину? – спросил он.

– Да, – ответила я не колеблясь, потому что уже целовала ее при каждой встрече и расставании, – Я целовала ее много раз.

– Не так, как матушка. А как она, хотелось бы?

Я не знала, что ответить.

– Не могу сказать... Может быть.

– А трогать ее, как матушка? Здесь? – И он протянул палец, чтобы ткнуть меня в грудь, ничем не напоминавшую пышную грудь Франсины. – Или там? – Он потянулся вниз, но я ускользнула от его руки.

Что я должна была ответить? Может, он хотел, чтобы я осудила матушку? Я сама не знала, хорошо это или плохо; оба ответа застряли у меня в горле. По правде говоря, мне было любопытно, каково на ощупь тело Франсины, при том что я знала: скоро мое тело начнет походить на ее. Но леди Каролина трогала ее не из любопытства, это я понимала. «Она показывала свою любовь к Франсине...»

– Но ты могла бы? Хотела бы?

– Если матушка это делает, – тихо ответила я, но притворилась, что по-другому и нельзя ответить.

Я знала, что Виктор не посмеет осудить какой бы то ни было поступок матушки; но у меня голова шла кругом от растерянности, и я злилась, что он заставил меня почувствовать свою детскую наивность.

Матушка приглашает меня в свою мастерскую

На другие вопросы, которыми я задавалась, ответ нашелся совершенно случайно несколько недель спустя.

Как-то, обнаружив, что придется самой занимать себя, я снова прокралась по лестнице в южной башне на верхний этаж, надеясь каким-нибудь образом попасть в то крыло, где находились странные картины. К своему удивлению, я увидела, что дверь не заперта. Войдя, я крадучись пошла полутемным коридором, стараясь не скрипеть половицами, – но прежде, чем я нашла нужную комнату, дверь ее открылась и передо мной появилась леди Каролина.

– Элизабет? – не столько возмутилась, сколько удивилась она, словно не верила своим глазам.

Не зная, что сказать, я пристыженно молчала. Несколько мгновений она, прищурясь, вглядывалась в меня, словно я была призраком. Я никогда не видела ее такой. Растрепанные волосы кое-как закручены наподобие тюрбана, ноги босые, поверх платья серый рабочий халат до колен. Платье, в пятнах краски всех цветов, распахнуто на всю длину. В полусвете я не была уверена, но мне почудилось, что под ним нет корсажа и вообще ничего, кроме нижней юбки. Несколько мгновений она внимательно смотрела на меня. Потом шагнула ближе, дотронулась до моей щеки и как будто осталась довольна, что я не видение. Только тогда она запахнула платье и завязала пояс.

– Как ты здесь оказалась?

– Дверь была не заперта.

– Значит, тебе любопытно, что тут, в этой комнате?

Когда я робко кивнула, она улыбнулась, продолжая смотреть на меня странно рассеянным взглядом, как иногда с ней бывало. В подобные моменты казалось, что она задумчиво прислушивается к голосам, которых другие не слышат. Она могла стоять так долго, погруженная в свои мысли, безотчетно водя по щеке неизменной зеленой веточкой, которую держала в руке. Наконец она очнулась и сказала:

– Входи.

Оказавшись в комнате, я поняла, почему леди Каролина была в таком виде. В комнате, находившейся под самой крышей, царил невыносимая духота, даже несмотря на то, что окна были распахнуты. Густая пыль лезла в ноздри. Но я не обращала на это внимания, ошеломленно оглядываясь вокруг. Комната больше напоминала музей, чем кладовку. Балки и потолок были заняты фантастическими растениями и чучелами и частями скелетов, рогами, бивнями, шкурами животных. На столах навалены груды раковин и камней, полки забиты неведомой утварью, застекленные шкафы – чужеземными иконами и фигурками. В темных нишах я разглядела ряды сосудов и склянок, где в разноцветной жидкости плавали то ли стебли и усики, то ли части насекомых и животных. Повсюду на стенах – старинные схемы и загадочные эмблемы, многие из которых представляли собой ужасные анатомические рисунки частей человеческого тела.

В комнате царил невообразимый хаос. К тому же в воздухе стоял острый запах

химикалий, от которого у меня засвербело в носу.

– Совсем не похоже на покои миледи, да? – засмеялась леди Каролина. – Как видишь, слуги здесь не убирают; им это запрещено. Предпочитаю беспорядок, лишь бы ничто не мешало моей работе. Ты, наверно, хочешь спросить: какой работе? Ну, раз уж ты оказалась здесь, позволь удовлетворить твоё любопытство. Пора тебе это узнать.

Она повела меня по комнате. Вокруг было много вещей, привлекавших внимание, но скоро я забыла обо всем, когда мы свернули в альков в дальнем конце комнаты и увидели мадам Ван Слик, сидевшую на плюшевой кушетке в нише окна.

– Добро пожаловать, мышонок! – сказала она.

Мадам Ван Слик и ее муж были знатными гостями из Амстердама; они гостили у нас уже несколько дней. Это была экстравагантная женщина, может быть, несколькими годами старше леди Каролины. Если судить по ее разговорам, можно было заключить, что она прочла все книги на свете, говорила на всех языках, о каких я только слышала, даже на языке индейцев племени алгонкинов в Новом Свете. Венгерка по происхождению, она утверждала, что является перевоплощением принцессы краснокожих индейцев. Ван Слики, последователи великого мыслителя барона Сведенборга, вызвали необычайный ажиотаж в Женеве, прочитав там лекцию о поразительных доктринах философа. Неудивительно, что их тут же пригласили погостить у нас.

Пригласив Ван Сликов, барон с нескрываемым удовольствием объявил дома: «Итак, теперь мы услышим, какой вклад сей выдающийся человек, Сведенборг, должен внести в великое дело Просвещения и в укрепление человеческой нравственности».

Пока Ван Слики гостили в замке, в гостиной и за обеденным столом не прекращались оживленные дискуссии по поводу учения барона Сведенборга, обсуждались предметы метафизические, которые, нет нужды говорить, были далеки от моего детского понимания. Леди Каролина как замороженная слушала все, что говорилось, постоянно о чем-то увлеченно беседовала с мадам Ван Слик. Но я обратила внимание, что барона, неизменно настроенного скептически, скоро стало раздражать то, что он слышал. Особенно мне запомнился один горячий спор, к которому меня, к моему удивлению, привлекли в качестве «живого доказательства» глупости Сведенборга. В тот вечер за обедом отец принялся высмеивать Сведенборга за предсказание конца света к исходу 1757 года – а больше за упорное утверждение, что конец света действительно произошел! Хотя сам пророк прожил после этого еще семь лет. Как могло случиться, что конец света произошел, а я его не заметил? Барон показал вилкой через стол прямо на меня и спросил:

– Слышишь, Элизабет? Вот сидит человек, верящий, что конец света произошел до того, как ты родилась. И однако ж ты тут, с нами, уплетаешь замечательнейший десерт Селесты. Правда вкусно, дорогая?

– Да, – ответила я, смутившись под устремленными на меня взглядами сидевших за столом.

– Вот вам, сэр, – заявил отец, торжествующе повернувшись к минхеру Ван Слику, – довод от миндального крема. Съедая очередную ложку десерта, ребенок становится живым доказательством глупости Сведенборга.

Но минхер Ван Слик, нервный, сморщенный человек, с выпученными, вечно воспаленными глазами за толстыми стеклами очков, не сдавался и поспешил поправить отца.

– Нет-нет, сэр! Вы не понимаете. Речь шла о том, что в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году настанет конец мира материального. Материального. Согласно Сведенборгу, мы перешли в царство Небесного человека, разве не ясно? Мы, все из нас, возродились в духовном мире.

– Прекрасно, сэр, – ответил отец с некоторым раздражением, – если так, то я мог бы недурно сэкономить, велев моему духовному повару приготовить вам духовного гуся. И полагаю, смог бы предложить к нему больше духовного вина, чем то, весьма реальное, которое вы уже выпили. Однако сомневаюсь, чтобы ваш духовный желудок хоть в половину почувствовал бы приятную тяжесть, которую чувствует сейчас.

Из всего, что было сказано дальше, лишь одно вызвало у меня интерес. Виктор, который, как обычно, делал вид, что понимает, о чем разговаривают взрослые, сообщил мне, что барон Сведенборг, когда был жив, говорил с ангелами и ходил в небесах. Это побудило меня тайком спросить у отца, правда ли это.

– Действительно, этот человек *утверждая*, что это так, – с иронией сказал отец. – То же самое утверждает каждый сумасшедший у дороги. Вот и весь ответ. Мы живем в эпоху Разума, тем не менее безумие по-прежнему ходит среди нас – часто на ходулях.

С мадам Ван Слик отец держался не намного любезней. Если леди Каролина относилась к ней с теплотой, то ему претила ее самоуверенность. Хуже всего, что она осмелилась высказать в лицо отцу свое критическое мнение о Вольтере.

– Мудрый человек, – заявила она, – но и вполнину не такой умный, как мои предки, индейские вожди, которые почерпнули свою мудрость в Природе.

То, что она объявила дикарей людьми более талантливыми, чем великий Вольтер, было слишком, такого отец не мог стерпеть. Позже я нечаянно услышала, как он назвал ее «мужиком в юбке». Вот эта дама и поздоровалась со мной теперь в алькове мастерской матушки.

– Элизабет пришла навестить нас, Магда, – сказала леди Каролина.

– О, вот как! А мы гадали, кто это крадется по коридору, шпионит за нами, – сказала мадам Ван Слик, маня меня к себе. – Ты еще не была в студии мамы?

– Нет, не была. Не знала, что здесь студия.

– Тогда тебе предстоит многое узнать о талантах твоей мамы. Она одна из самых замечательных женщин нашего времени. Верю, что она, как великий Сведенборг, ходила в небесах.

Вид у мадам Ван Слик был такой же немыслимый, как у леди Каролины. Распущенные волосы рассыпались по плечам, от тела разлило потом. Казалось, она переводит дух в изнеможении: щеки и шея горят, дыхание тяжелое. Платье валялось на полу, а на ней только одна сорочка, почти прозрачная и прилипшая к влажному телу, сквозь которую просвечивали большие торчащие груди, словно голые. Но больше всего меня поразила сигара, которую она поднесла к губам. Такие же отец предлагал нашим гостям мужчинам; но чтобы женщина курила, этого мне не приходилось видеть.

– Твоя мама рисовала мой портрет, – сказала она. – Хочешь посмотреть, что у нее получилось?

– Очень хочу.

Уголкем глаза я заметила, как леди Каролина быстро отрицательно мотнула головой. Потом что-то сказала подруге по-немецки.

– Ах да, конечно; тогда покажи девочке что-нибудь более подходящее, – ответила мадам Ван Слик.

Леди Каролина направилась к картинам, сложенным у стены. Внимательно перебрала полотна и поставила одно на мольберт.

– Вот, – сказала она, – посмотри.

Хотя картина была еще не закончена, я узнала в ней одну из «сатанинских», взглянуть на которые я и пришла сюда. На ней были изображены те же призрачные, в белых одеяниях женщины, бродящие по лесу; на сей раз, собравшись в круг и взявшись за руки, они кружились в неистовом танце. Я сразу узнала фигуру в середине круга, хотя ее лицо было еще не прописано. Это была Франсина, раздетая и лежащая точно так, как мы с Виктором видели ее тогда на поляне.

– Ну, каково твое мнение? – весело спросила леди Каролина.

– Это вы нарисовали? – изумилась я.

– А тебе кажется странным, если женщина рисует? – спросила леди Каролина, которую явно забавляла эта ситуация, и подмигнула мадам Ван Слик, – Ну конечно, это моя картина – хотя я понимаю, что мне далеко до настоящего художника.

– Полно тебе! – возразила мадам Ван Слик, – Ни один мужчина не признает женщину

настоящим художником, даже если она превосходит Рафаэля. *Наше* искусство – это не *их* искусство. Но какое имеет значение, что они говорят? Скажи, Элизабет, что ты думаешь о картине леди Каролины?

– Я думаю, она очень странная. И красивая... по-своему.

– Ты правда так думаешь? – нахмурилась леди Каролина. – Ты очень любезна.

– Девочка наблюдательна. И умна, – заметила мадам Ван Слик, – В ней пробуждается женщина.

– Но разве есть такие люди, как на картине? – спросила я.

– О, конечно есть, – ответила леди Каролина.

– Ведьмы?

Она в явном беспокойстве сдвинула брови.

– Кто тебе сказал, что они ведьмы? – спросила мадам Ван Слик.

– Они похожи на ведьм... мне так кажется.

Женщины снова заговорили между собой по-немецки.

Снова волна задумчивости как бы отнесла от меня леди Каролину.

– Это не ведьмы, каких ты знаешь по сказкам, дорогая, – ответила мадам Ван Слик, – Нет, они не ведьмы. Они скорее *искусительницы*.

– А в нашем лесу есть такие люди?

– В один прекрасный день, – улыбнулась леди Каролина, – ты это узнаешь, когда время придет. Тогда я покажу еще много картин. А пока относись с уважением к этим комнатам, как к моим личным покоям, куда можно входить только с моего разрешения. Тебе понятно?

– Понятно. Но мне хотелось бы узнать больше.

– И ты узнаешь. А до тех пор пусть остается секретом, что ты была здесь, со мной и Магдой, и о чем мы говорили. Ведь у тебя уже есть секреты?

Она говорила так, будто знала, что они у меня есть. И конечно, у меня был один особый секрет, о котором я тут же подумала. И ответила: «Да».

– Обещаю уважать твой секрет.

– Вы меня когда-нибудь нарисуете? – спросила я, когда она выводила меня из мастерской.

– Непременно. Мне очень хочется.

– А когда?

Казалось, ее мысли опять унеслись куда-то далеко.

– Думаю, скоро. Когда ты станешь одной из нас.

Несколько дней спустя визит Ван Сликов завершился почти скандально. Как-то поздним вечером, после того как меня отослали спать, в замке раздались возмущенные вопли. Я была уверена, что один из голосов принадлежит барону; такого разозленного голоса я у него еще не слышала. Наутро Ван Слики бесславно покинули наш дом. Хотя леди Каролина и мадам Ван Слик сердечно обнялись, перед тем как карета тронулась по дороге в город, барон и минхер Ван Слик не обменялись ни словом, явно рассерженные друг на друга; отец даже не вышел пожелать гостям доброго пути. Вместо этого я услышала, как он прорычал, когда карета отъехала: «Скатертью дорога! Наконец-то избавились от этой сведенборгианской швали. Он подлец, а его жена просто шлюха». Леди Каролина попыталась было вставить слово в защиту мадам Ван Слик, но барон только отмахнулся: «По своему опыту знаю, мадам, что только шлюха способна остаться в комнате, когда делается подобное предложение – и только сводник делает его. *Ergo*¹, они шваль; они с их поездками имеют одну цель – развращать доверчивых».

В этот день по дому разнесся слух, что барон Франкенштейн вызвал минхера Ван Слика на дуэль! Неужели правда? Виктор это подтвердил.

– Но из-за чего? – спросила я.

– Из-за того, что Сведенборг учил, что мужчина должен иметь любовницу.

Это был излюбленный способ Виктора поддразнивать меня, способ действенный:

¹ Следовательно (лат.).

употреблять непонятные слова и вынуждать просить разъяснения. Я призналась, что не имею понятия, что такое «любовница».

- Что-то вроде второй жены, которую мужчина берет с собой в постель.
- Разве такое дозволяется?
- Только сведенборгианской церковью. И конечно, еще среди безбожников.
- Но почему мужчина хочет иметь вторую жену?
- Потому, видишь ли, что у мужчин слишком сильная потребность.
- Потребность в чем?
- О, в том самом! В том, чем мужчины и женщины занимаются в постели. И животные на скотном дворе у всех на глазах. Думаю, ты видела, как бык и корова делают это самое.
- Если и видела, какое это имеет отношение к потребностям мужчины?
- Такое, что мужчине мало одной женщины, чтобы утолить желание; может, и нескольких женщин мало. Поэтому мужчины вынуждены заводить себе любовниц.
- К женщинам это тоже относится?
- Ни в коем случае. У женщин потребность в этом очень мала. Мужа им больше чем достаточно.

– Что ж получается, мужчины созданы, чтобы быть как быки на скотном дворе? Это ты понял, наблюдая за животными?

В первый раз я осмелилась так дерзко говорить с Виктором, и это доставило мне большое удовольствие.

– Я понял, что женский пол создан для материнства. Этим потребности женщин и ограничиваются.

– Удивляюсь, откуда ты так много знаешь о потребностях женщин, Виктор. А барон Сведенборг? Или вообще всякий мужчина?

Он ответил с усталым вздохом:

- Это общепризнанный факт.
- Неужели? Общепризнанный только для половины человечества? Странная арифметика для такого математика, как ты.
- Половина может знать обо всех.
- Половина может думать, что знает. Откуда у нее возьмется уверенность, если не спрашивать другую половину? Я скажу тебе, что я слышала от наших судомоек: «Un coq suffit à dix poules, mais dix hommes ne suffisent pas à une femme»¹.

Он покраснел, что снова доставило мне огромное удовольствие.

– Я говорю только о мнении барона Сведенборга, – запротестовал он.

– А почему папа так разозлился?

Виктор ухмыльнулся.

– Потому – представь себе! – что минхер Ван Слик предложил: он переедет в Женеву и возьмет с собой маму как свою любовницу.

– Ты имеешь в виду, чтобы она делила с ним постель?

– Да, конечно. А взамен он предложил отцу взять себе в любовницы мадам Ван Слик.

Я подумала о минхере Ван Слик с его кривыми зубами и хлюпающим носом. И сказала, что не могу поверить, чтобы он очень понравился маме.

– Ну, – объяснил Виктор, – это не имеет значения. Потребность мужчины прежде всего, так считал Сведенборг.

– Ты тоже так считаешь? Хочешь иметь любовницу или пятьдесят любовниц?

– Вот еще! Сведенборг призывал учиться всему этому у духовного мира. Я вольнодумец. Как я могу серьезно относиться к подобным понятиям? Кроме того, я собираюсь стать ученым; для чего мне понадобится пятьдесят женщин? – Заметив мой насмешливый взгляд, он добавил: – Или даже одна?

Примечание редактора

¹ Одному петуху достаточно десятка кур, но одной женщине мало десятка мужчин (фр.).

Четыре сохранившихся полотна Каролины Франкенштейн

Только в 1806 году, когда представилась первая возможность посетить Бельрив, я понял, в какой мрачный готический покров я облек родовое поместье Франкенштейнов. Поскольку это был дом, где Виктор Франкенштейн выносил нечестивые замыслы и развратил душу своей невесты, я подспудно начал представлять его себе как образец романтического замка, населенного призраками.

Только увидев собственными глазами, что случилось с Бельривом, я понял, насколько нелепы были мои ожидания. Ибо, увы! – он мало напоминал себя прежнего. Некогда величественный *château*¹ пережил несметное число набегов; сокровища искусства, украшавшие его от пола до потолка, были вынесены, сорваны, выломаны – причем варварски. Даже обоев не осталось, а на деревянных панелях были нацарапаны революционные лозунги. Тягостное зрелище! Где некогда привилегированные особы *ancien régime* вели беседы за обеденным столом, там теперь расположилась простая солдатня. Большая часть семейной собственности была бессмысленно уничтожена или революционными элементами, которые хозяйничали в Женеве, ввергнутой в хаос в период Гельветической республики, или стаями мародеров, следовавшими за войсками во время многочисленных кампаний за эту спорную территорию. Я обнаружил, что в поместье расквартирована целая бригада швейцарских и миланских наемников, служивших императору. Француз-комендант, некий маршал Шабанне, позволил мне осмотреть замок и надворные строения, но посоветовал не слишком надеяться найти что-либо из сокровищ искусства, некогда украшавших особняк. Все это – особенно знаменитая коллекция автоматов – исчезло, как он был уверен, в первую волну официальных конфискаций при революционной власти Водуа. Об участии автоматов я уже знал и сам; некоторые из кукол, о которых рассказывала Элизабет Франкенштейн, всплыли в музеях и частных коллекциях Европы и даже Нью-Йорка. Я, впрочем, питал некоторую надежду на то, что в поместье уцелели семейные бумаги или что я смогу порасспрашивать слуг. Я ошибался; тщательный осмотр дома не дал ничего, представляющего научную ценность. Даже библиотека Франкенштейна не сохранилась – была выметена подчистую. От мебели и личных вещей тоже не осталось ни следа, так что я даже не узнал комнат, принадлежавших когда-то членам семьи. Что же до домашних слуг, то я смог найти нескольких из самых молодых, которые жили по соседству, но они или ничего не знали, или притворились, что не знают о местопребывании хозяев. Люди, чаще упоминавшиеся в истории Элизабет, – мажордом Жозеф и повариха Селеста – уже умерли. Элоиза, камеристка баронессы, уехала неведомо куда.

У меня не было иного выбора, как дожидаться более мирных времен. Я так и сделал, и год спустя после поражения Наполеона под Ватерлоо поместил в нескольких французских и женевских газетах объявление, что ищу вещи, принадлежавшие Франкенштейнам. Мне невероятно повезло, и в апреле 1816 года я получил отклик на свое объявление – письмо от одного парижского торговца предметами искусства с извещением, что в его распоряжении находятся четыре картины, подписанные «К. Франкенштейн». По началу я не понял, что это могло бы означать, так далеко были мои мысли от живописи баронессы Франкенштейн. Но едва я прочитал краткое описание полотен, сопровождавшее письмо, то, конечно, понял: речь идет о «сатанинских картинах», фигурирующих в воспоминаниях Элизабет Франкенштейн.

Ниже я привожу это письмо, содержащее суждение независимого критика об этих картинах, который ничего не знал об их происхождении.

Дорогой сэр,
я прочел Ваше объявление в «Ле курьер франсез», касавшееся имущества,
принадлежащего когда-то семье барона Альфонса Франкенштейна из Женевы. В

¹ Феодальный замок (фр.).

моих руках находятся четыре курьезные картины, подписанные неким К. Франкенштейном, художником, с чьим творчеством я совершенно незнаком.

Картины в высшей степени необычны как по теме, так и по исполнению. Говоря по чести, не могу признать за ними хотя бы относительных художественных достоинств; они свидетельствуют о слабом знании автором как анатомии, так и перспективы. Скажу больше: наличествует почти преднамеренное искажение того и другого, отчего возникает неприятное впечатление, что работал любитель. Если манера художника раздражает, то содержание полотен тем более внушает отвращение. Попытаюсь, как могу, описать их; но, пожалуйста, имейте в виду, что я делаю это с неохотой и единственно ради того, чтобы Вы могли на чем-то основываться, решая, то ли это, что Вы ищете.

На картинах изображены сплошь обнаженные женские фигуры, все, кроме одной, на фоне пейзажа, причем в крайне вызывающей манере. Если откровенно, все это походило бы на порнографию, не будь женщины, послужившие автору моделями, крайне непривлекательны. Собственно, я не знаю художника, который захотел бы изобразить на своем полотне настолько уродливые женские тела, да еще с такой отталкивающей прямоотой. Одна из картин являет собой ужасно безвкусный анализ беременности, представляя группу нагих женщин на разных ее стадиях. Другая картина – бесстыдная иллюстрация сапфических ритуалов, о которых умолчу. На третьей – некое празднество в лесу, где женщины окружили объект в форме мужчины, сделанный из прутьев. По моему мнению, это реконструкция доисторического обряда друидов, возможно праздника урожая. На четвертой картине, наиболее тщательно исполненной из всех, запечатлена нагая утопленница.

Не буду утомлять Вас рассказом о том, каким образом попали ко мне эти картины, просто скажу, что серьезно подумывал уничтожить их, как не представляющие художественной ценности и во всяком случае недостойные того, чтобы выставлять их на обозрение публики. Я отложил исполнение своего намерения только из желания узнать что-либо об авторе. Если сможете сообщить какие-либо сведения о месье Франкенштейне, буду весьма Вам признателен. И конечно, я был бы не прочь договориться о продаже одной или всех картин.

*Искренне Ваш,
Гастон де Роллина.
Галерея Ламенне,
Бульвар де Гренель, 14*

Как только позволило время, я условился о встрече с месье де Роллина, который оказался обаятельным человеком, обладавшим тонким вкусом. Он сообщил, что приобрел картины вместе с имуществом одного французского офицера, который, видимо, без разбора хватал предметы искусства, участвуя в наполеоновских походах. Месье де Роллина предпочел не углубляться дальше в этот вопрос, указав, что согласился приобрести все вещи, не спрашивая об их происхождении. Он предположил, что картины, как и остальное имущество полковника, были военной добычей. Ставя передо мной полотна в задней комнате галереи, он извинился и напомнил, что откровенно предупредил об их характере. «Вы, англичане, – заметил он, – относитесь к такого рода произведениям менее терпимо, нежели те из нас, кто занимается торговлей в парижском мире искусства».

Картины действительно были любительские и вызывающе эротические, как он и предупреждал. Та, которую он назвал «сапфической», была особенно шокирующей. Скажу только, что на ней изображены были женщины, предающиеся совместным любовным утехам и ублажающие себя собственноручно. Но к этому времени изучение франкенштейновских воспоминаний заставило меня познакомиться с известными индусскими эротическими иллюстрациями, что смягчило мое потрясение; тем не менее я никогда, ни в искусстве, ни в литературе, не встречал столь выразительного изображения лесбийского совокупления. Я был в замешательстве и чувствовал необходимость как-то оправдать свой интерес к этим работам – но не раньше, чем договорюсь с месье де Роллина о цене на них. Я опасался, что

если он узнает больше, то может запросить за них слишком много. Заключив сделку, в результате которой четыре картины перешли в мою собственность за тридцать гиней, я объяснил, что обстоятельства вынудили меня заняться историей семьи Франкенштейнов. Эти картины, сообщил я, написала женщина, баронесса Каролина Франкенштейн. Он не мог скрыть изумления. Спросил, не ошибся ли я, случаем; ему трудно было поверить в то, что женщина способна написать столь аморальные картины. Так или иначе, если это правда, меня надо поздравить с удачной сделкой. Поскольку если на легальном рынке подобные работы имеют малую коммерческую ценность, то, уверял он, в других, не столь добропорядочных кругах я без труда найду покупателей, готовых предложить высокую цену за эти полотна только потому, что их автор – женщина, помешанная на сексе. Я поспешил уверить его, что меня нисколько не интересует такая торговля.

Картины и ныне у меня, хотя я, как месье де Роллина, не нашел возможным повесить их на стену. Они бесценны в другом отношении. По крайней мере в моих глазах они являются неоспоримым вещественным доказательством того, что Элизабет Франкенштейн, по существу, точно охарактеризовала леди Каролину. Автор этих картин – личность извращенная, какой Элизабет и описывает ее в воспоминаниях. Так что хотя бы это я могу предъявить в подтверждение правдивости ее рассказа.

Мои многолетние поиски вещей, принадлежавших семейству Франкенштейнов, лишь еще однажды увенчались успехом. Всего несколько лет назад, летом 1838 года, возникла механическая утка, которую Элизабет упоминает в рассказе о принадлежавшей барону коллекции автоматов. Утка работы французского изобретателя Жака Вокансона была выставлена в Венском государственном музее. Время, однако, сделало свое дело, и механизм игрушки пришел в полную негодность. О ее былых способностях ныне можно только догадываться.

Что касается картин, приобретенных у месье де Роллина, коротко упомяну об одной, которая кажется мне самой захватывающей, поскольку ей суждено было сыграть особую роль в жизни Элизабет Франкенштейн. Это самое маленькое из четырех полотен, но выполнено оно наиболее искусно. Есть признаки того, что автор возвращался к нему, внося поправки. Оно необычно своим сновидческим подводным миром. Полотно изображает нагую утопленницу. Опутанная свинцовыми цепями, молодая, хорошо сложенная женщина погружается лицом вниз в морские глубины; кожа слабо светится в темной воде; роскошные черные волосы покрыли тело, как саван. Поразительная деталь: из ее половых органов вытекает струя крови и поднимается вверх, окрашивая море вокруг нее в алый цвет. Над пенной поверхностью вод виднеется среди низко мчащихся туч удаляющаяся птица (так кажется на первый взгляд). При более внимательном рассмотрении оказывается, что это крылатый лев; в пасти он держит человека.

Я даже отдаленно не мог представить, в каких темных источниках умственного расстройства или духовного помрачения, мифах или кошмарных видениях леди Каролина Франкенштейн нашла образы, представленные ею на этом холсте. Картина содержала лишь один неопределенный намек на ее смысл: написанное на обратной стороне полотна темной краской единственное слово «Розальба». И все же, когда я вернулся домой в Лондон, что-то побудило меня повесить картину у себя в кабинете, где она часто притягивала мой вопрошающий взгляд. Некое внутреннее чувство подсказывало, что картина символизировала всю трагедию Элизабет Франкенштейн. Хотя тогда я этого не понял, всю оставшуюся жизнь мне предстояло разгадывать загадку, которую видел я перед собою всякий раз, как поднимал глаза и смотрел на противоположную стену кабинета.

Неистовство

В свой двенадцатый день рождения, три года спустя, как баронесса приютила меня в своей семье, я узнала о главной цели моего удочерения. Хотя я еще была слишком мала, чтобы понять всю значительность ее признаний, мне помнится вечер, в который леди

Каролина, когда пришло время ложиться спать, отвела меня в сторонку, чтобы рассказать, насколько моя судьба связана с судьбой Виктора. Как обычно, когда она заговаривала о своем старшем сыне, ее глаза заволокла грусть. Она говорила, часто задумчиво замолкая, будто искала путь к островам точного смысла, рассеянным по огромному озеру молчания.

– Тебе отведена особая роль в нашей семье. Я хочу, чтобы между тобой и Виктором возникло родство более тесное, чем кровное; это будет нечто, чему еще нет названия. Назовем это просто – союз. Виктор гений, наделенный редкостным даром. Он управляет дьяволом – или тот им. Это порождает в нем определенное неистовство, которое необходимо укрощать. Его разум может совершать странные повороты. Что-то утверждает себя через него... что-то, что мне неподвластно...

Она замолчала и печально задумалась. Потом безотчетно поднялась, как во сне, и направилась к полке с книгами в дальнем конце комнаты. Провела ладонью по корешкам томов и, просунув руку в глубину, извлекла книгу из второго ряда. Вернулась и протянула ее мне.

– Поначалу она покажется тебе сложной, но прочти ее с особым вниманием, дорогая. Когда ты в достаточной мере овладеешь французским, эта книга поможет тебе понять Виктора.

Я раскрыла книгу. Она называлась «Эмиль». Хотя я не знала, о чем она, автор был мне знаком, по крайней мере его имя: Жан-Жак Руссо. Оно несколько раз всплывало в разговорах за обеденным столом и в гостиной. Я сказала «в разговорах», но уместней было бы сказать – «баталиях». В присутствии барона о месье Руссо лучше было не упоминать, чтобы не приводить его в ярость. Это было единственное, из-за чего между ним и леди Каролиной возникали неистовые споры.

– Я слышала, как папа называл месье Руссо «бесстыдным дикарем», – заметила я.

По правде говоря, я также слышала, как барон называл его «мошенником», «животным», «деревенщиной неотесанной» и «болтливой обезьяной». Я запомнила все эти выражения, потому что не часто приходилось видеть, чтобы барон так выходил из себя. Но «бесстыдный дикарь» застрял у меня в голове, потому что дальше отец сказал, что, если бы месье Руссо добился своего, «все мы сейчас скакали бы голыми по деревьям». Мне было интересно, неужели это правда?

Леди Каролина улыбнулась, но немного грустно.

– Руссо был Прометеем чувства. Из всех писателей нашего века он один нес в себе огонь вдохновения, без которого невозможно описать страсть, проникающую прямо в сердце, – описать бесстрашно. Я верю, что он будет философом нашего будущего. Барон, однако, не согласен с этим – решительно не согласен. Ты услышишь и от других схожие жестокие суждения. Конечно, и ему была свойственна некоторая ограниченность, как это бывает с великими умами; в частности, он во многом бывал несправедлив к нашему полу. Он не понимал того, какую роль женщина должна сыграть в защите страсти от мертвой руки Разума. Сам он, однако, глубоко восхищался эрудированными женщинами. Возможно, лишь те из нас, которым выпало счастье знать его, способны в полной мере понять, какой это был великий ум.

– Вы знали его?

– Недолго, когда он жил по соседству. Я была очень молода, а он, увы, очень страдал – особенно из-за своих отношений с женщинами. Это был один из серьезных его недостатков. Кто не может уважать, как равную, женщину, с которой делит жизнь, тот вряд ли вправе говорить от лица всех людей, ибо не принимает в расчет половину человечества. Я горда тем, что, по его признанию, в моем обществе его истерзанная душа обретала покой. Обычно я играла для него на клавесине. Музыка была единственным его утешением. Книга, которую ты держишь в руках, – его подарок. Она стала для меня своего рода Библией. Барона же каждое слово Руссо, запечатленное на бумаге, приводит в ярость, поэтому советую читать ее так, чтобы он не увидел. В Женеве найдешь не много экземпляров этой книги. «Эмиля» отцы города сожгли на городской площади вместе со всеми остальными сочинениями Руссо. К

честь барона, он пытался предотвратить это варварское деяние. Предложил выкупить все экземпляры книги, чтобы спасти ее от огня, но ему отказали.

– Виктор читал ее?

– Ему это не нужно. Виктор сам Эмиль – или настолько близок к этому идеалу, насколько мне удалось воспитать его таким. Я пробуждала определенные силы в его душе. Думаю, я делала правильно. Природа, в конце концов, – наш единственный надежный водитель по жизни. А Руссо, я считаю, – наш единственный надежный водитель по Природе. Доверяйте, доверяйте, доверяйте! – твердит он. Доверяйте естественному человеку, ибо «все, что создал Господь, – хорошо». Но в случае с Виктором произошло непредсказуемое. Видишь ли, Природа... – Ее мысли снова поплыли по озеру молчания; долгие секунды она сидела, поглаживая шею зеленой веточкой, которую ей каждое утро за завтраком клали возле тарелки. Наконец она вернулась к разговору: – Ты увидишь, что Виктор временами бывает импульсивным, входит в азарт и тогда забывает обо всем на свете, становится бездушным. Будь с ним терпелива, Элизабет, умоляю. Передай ему свою мягкость, раскрой свое нежное сердце. Думай о нем как о чем-то большем, чем брат, и что ты для него больше, чем сестра.

Хотя леди Каролина сказала лишь часть того, что имела в виду, я поняла ее лучше, чем она думала. Мне уже было знакомо неистовство Виктора. Мне быстро стало ясно, что он беспокойная душа, прирожденный исследователь неведомых краев, для которого прелести цивилизованной жизни все равно что невыносимые оковы. Сам дом, в котором мы жили, такой огромный, был тесен для него, как келья монаха. С малых лет Виктор восставал против домашнего упорядоченного быта, предпочитая вольную первобытность Вуарона, где лишь полуодичавшие овцы, пасущиеся на горных лугах, указывали на принадлежность этих земель барону. Четырехлетним ребенком Виктор ушел в эти суровые и опасные места и заблудился. Спустя трое суток его, умирающего от голода и холода, нашли в ледяной пещере у подножия отвесного утеса; только препятствие, которого не смог бы одолеть и горный козел, вынудило его остановиться. С того дня Виктор стал источником постоянного беспокойства для своих родителей и наставников. Пока он достаточно не окреп физически, чтобы уверенно и без риска ходить по этим суровым местам, существовало опасение, что он вновь уйдет из дому и с ним что-нибудь случится в горах, куда его влек исследовательский зуд.

По этой причине дома Виктор никогда не был в таком приподнятом настроении, как во время ежегодных переселений семьи в шале неподалеку от Мон-Салэв. Здесь он был ближе к горам, устремленные к небу вершины которых, укутанные облаками и покрытые вечными снегами, неизменно вызывали в нем исступленный восторг. Даже из шале нужно было часами добираться до мест, где Виктор больше всего любил проводить дни, углубляясь в скалистые горы, пока ноги несли. Я неизменно отставала, не в силах взбираться так быстро, как он; иногда, останавливаясь передохнуть, я смотрела, как его фигура стремительно удаляется в горы, становясь все меньше и меньше. Когда я снова догоняла его, он мог упрямо попытаться одолеть неприступный гранитный склон или опасно балансировать на осыпающемся краю над горным потоком. Особенно он любил эти пустынные места на пороге зимы, когда разыгрывалась буря; ему доставляло наслаждение бежать наперегонки с ветром, под секущим дождем. Он стремился достичь твердыни гор до того, как взбешенные небеса начнут извергать молнии. Тогда мы укрывались в какой-нибудь пещере или под *couvercle*¹ и смотрели, как буря бросается вперед, словно орды варваров, захватывающих гремящие ущелья.

– Я украшу голову молнией, как короной! – восклицал Виктор, стараясь перекричать вой ветра, который уносил его слова прежде, чем я успевала услышать половину, – В этом огне разгадка тайны самой жизни.

– Что ты имеешь в виду?

– Наверняка ты слышала: вначале был свет. Тот свет был огонь – этот огонь. Уверен, он высек жизнь из земли. Мы созданы из этой силы. Она в нас.

¹ Козырек (фр.).

Неистовство, которое овладевало им в такие моменты, было столь яростным, что я чуть ли не в ужасе успокаивала себя, что это говорит всего лишь мой брат-мальчишка.

– Никогда такого не слышала, – возражала я, – Ты это выдумал.

– Да. Выдумал. Но знаю, это правда.

– Правду нельзя выдумывать. Правде нужно учиться.

– Меня учили. Молния – мой учитель. Она – мой Бог.

Душа моя затрепетала, потрясенная неистовым пылом, с каким он это сказал; однако я понимала, что это богохульство. И хотя не могла поверить, что Бог обрушит свой гнев на какого-то мальчишку, но инстинктом почувствовала: моя задача в том, чтобы умирить его пыл. Иначе что будет, если вдруг подобные настроения, вполне безобидные в детстве, пустят корни и когда-нибудь полностью завладеют возмужавшим интеллектом? Итак, при любой возможности я старалась передать Виктору свои ощущения от Природы, ее мягкости и благожелательности.

– Горы, – сказала я ему однажды, – это спящие гиганты. Я слышу ночью их глубокое дыхание. Может быть, мы только снимся им, снимся спящей земле.

– Вздор! – ответил Виктор, – Они существуют для того, чтобы покорять их, как это делал отец. Когда мы стоим на их вершине, тогда мы гиганты.

– Папа называет каждую из них по имени, как старых друзей, – напомнила я ему.

– Это всего лишь игра, в которую он играл с нами – делал вид. Альпы – это нагромождение мертвых скал, только и всего. Когда-нибудь мы построим города на их вершинах. Мы подчиним их себе – и Монблан тоже. Я буду первым, кто получит награду месье Соссюра, но не приму ее. Я поднимаюсь не ради денег, как и он, а только ради познания света и воздуха и бури.

Получить награду месье Соссюра за покорение Монблана стало заветной мечтой швейцарской молодежи, и Виктор грезил о ней не меньше своих приятелей-мальчишек. Играя, они часто выбирали какой-нибудь из ближайших холмов, называли его именем горделивой горы и состязались, кто окажется первым на его вершине. Я не разделяла страстного увлечения Виктора подобными безрассудными упражнениями.

– Сидеть здесь и любоваться – это такая привилегия, – сказала я ему однажды, когда мы сидели на тихой лужайке. – Того, что я вижу отсюда, достаточно, чтобы наполнить сердце радостью. И когда я слышу...

– Да? Что тогда?

– Замолчи! И слушай со мной. Все имеет голос, все может рассказать свою историю. Повсюду прячутся истории. Взять хотя бы траву... ее листья как множество зеленых язычков. Я бы лучше научилась языку травы, чем слушать гром, орущий на вершинах гор.

Иногда Виктор бывал менее возбужден, и мои слова действовали на него; он пытался научиться спокойному взгляду на Природу, которая находится рядом, в непосредственной близости. Но каждый раз беспокойный его нрав вскоре снова брал верх. Его мысли устремлялись к явлениям более диким: буре, грозе, молнии. Я придумала только одно развлечение, которое заинтересовало его. Мы брали лодку на одном из горных озер и отплывали недалеко от берега. Потом ложились рядом на дно лодки, мягко покачивавшейся на волнах. Так мы лежали, безмолвно устремив взгляд в ясное и бездонное небо, и наши мысли уносились вдаль, как перышки на ветру. «Подожди, – говорила я ему, – полежим еще чуть-чуть». И бывало, он чувствовал то же, что я. Голова начинала приятно кружиться; небеса вращались хмельным вихрем, наполняясь необычными красками и блуждающими огоньками. И какие потом являлись картины!

Виктор наслаждался этим ощущением, хотя не так, как я. Мне было достаточно ощутить этот ирреальный миг, но он всегда приходил в себя, полный вопросов. Он хотел знать причину необычного состояния. Это, он уверен, какая-то причуда сознания. Для меня – пустые слова, разве что они всегда заставляли удивляться тому, насколько разные у нас натуры. Мне было достаточно созерцать великолепие мира.

– Почему тебя *интересуют* такие вещи? – спросила я.

– А почему тебя они не интересуют? Разве не любопытно знать, что происходит здесь? – Он коснулся пальцем своего лба, – Откуда берутся сны и мысли?

– Откуда? Ниоткуда, из воздуха.

Он расхохотался.

– Это не ответ. Ответить – значит раскрыть тайну, не догадывалась?

«Но, – подумала я про себя, – баронесса говорит, что иметь тайны хорошо. Может быть, мир тоже должен хранить некоторые свои тайны от любопытных человеческих глаз».

Чем обернулась детская игра

Скоро Виктор и я стали верными друзьями и товарищами в приключениях, бродя в цветущих лугах вокруг поместья, как невинные души в возрожденном Эдеме. Едва заканчивались занятия, мы отдавались играм, настоящие вольные дети Природы. Поскольку мы никогда не разлучались, наши отношения становились все более доверительными и близкими. Мне льстило, что он стал предпочитать дружбу со мной компании местных мальчишек, которые после моего приезда все реже и реже появлялись в поместье. Я знала, что первоначально это было вызвано тем, что леди Каролина строго велела ему защищать меня от постоянных преследований Эрнеста, который льнул к матери, когда она была рядом, и так и не примирился с моим появлением в семье; но года не прошло, и я увидела, что Виктору действительно приятней водить компанию со мной, чем с его буйными товарищами. Однажды он неожиданно для меня признался:

– Ты лучше соображаешь, чем они, даже если сложить их мозги вместе. У тебя есть воображение, а у них его нет.

– Что такое воображение? – спросила я, решив развивать в себе эту способность, раз она нравится Виктору.

– Это глаз разума, который проникает в иные миры. Оно ценней золота, потому что за золото его не купишь.

– И у меня есть этот глаз?

– Есть, совершенно точно. Вот почему тебе нравится лежать в лодке и мечтать.

У нас было любимое озерцо, лежавшее среди горных лугов, гладкое и светлое, как зеркало. Глядя с берега на его ясную гладь, можно было вообразить, что стоишь меж двух небес, одним наверху, другим внизу. Озерцо, питаемое донными ключами, лежало в горной долине, невообразимо зеленой, усеянной весной и летом редкостными цветами и благоухающей тимьяном. По всему горизонту стояли остроконечные вершины отдаленных гор – как стражи, берегущие уединение этого места, отчего казалось, что оно принадлежит только нам. Часто, в теплое время года, мы купались в нем голышом, как невинные дикари, подставляя свои стройные юные тела солнцу и ветру. Виктор был не первым мальчишкой, которого я видела без одежды; в раннем детстве меня не раз купали вместе с моими бывшими братьями-цыганами. Но в их младенческих телах мужская природа еще почти никак не проявлялась. Конечно, не имея возможности заглянуть за пределы детского круга, я не представляла, что в них происходят такие изменения. Виктор, на несколько решающих лет старше меня, был первым, кто привлек мое внимание к телесному различию между нами или, скорее, сделал это различие достойным больше чем просто беглого взгляда. Ибо мы оба балансировали у той тонкой черты, за которой любопытство к другому полу, как какой-нибудь чертенок, выскакивает из засады, заставляя нас врасплох и придавая невероятную соблазнительность признакам нашей мужественности и женственности.

Однажды мы, наплававшись, вышли из воды и растянулись на траве, подставив тело солнцу. Виктор мгновенно задремал; повернувшись к нему, я любовалась его красивым профилем. Потом приподнялась на локте и прошептала ему на ухо стишок, которому он меня научил:

Пчелка жалит в алую щечку,

Блошка за ушком кусает – беда!
Вредный комарик впивается в шею,
А я поцелую тебя... сюда!

И прильнула к его губам, не просто чмокнула, а не отрывалась до тех пор, пока наши губы словно сплавились в единую плоть. Когда я наконец оторвалась от него, я была как одурманенная: голова кружилась, сердце колотилось в груди. Опустив глаза, я была поражена, увидев, что он возбуждился. Я никогда прежде не видела подобной необычной метаморфозы, происходящей с мужским телом. Резкая дисгармоничность превращения ошеломила меня; эта штука, предьявлявшая себя так бесцеремонно, казалась совершенно неуместным придатком. Почти вопреки желанию мои глаза изучали его форму, заметив вокруг его основания легкую тень волос, которых я раньше не замечала. Не в силах оторвать глаз от зрелища, сжигаемая изнутри каким-то огнем, я разрывалась между желанием рассмотреть его получше и отвести глаза. Я не могла припомнить, чтобы кто-нибудь говорил мне, что это дурно – вот так пялиться на мальчишескую наготу; тем не менее как необъяснимым образом дети будто с воздухом впитывают науку жизни, так я усвоила мнение, что неприлично так себя вести. Возможно, по этой самой причине я не могла оторвать глаз от восхитительной картины. Привлекательный, каким я всегда находила Виктора, сейчас он был еще прекрасней какой-то новой, волнующей красотой. Я видела, каким крепким стал его торс, мускулистый вместо прежней детской пухлости. А лицо – я подняла на него глаза: оказывается (почему я не замечала этого раньше?), оно похудело, черты определились, – стало лицом изящного молодого мужчины. И оттого что я стояла перед столь прекрасным юношей, разглядывая его нагое тело, дыхание у меня перехватило – до сего момента я не знала подобного смятения. Почувствовав мою растерянность, Виктор, которого ничуть не смущал мой взгляд, громко засмеялся и беспечно предложил рассмотреть поближе все, что мне хочется; он и впрямь получал явное удовольствие от впечатления, которое произвел на меня.

– Как ты называешь вот это? – спросил он, указывая на свой напрягшийся пенис.

Существовало много названий, которые я узнала от сыновей Розины; но я постыдилась выговорить их, поняв сейчас, что все они хороши лишь для детей. Обстоятельство требовало взрослого языка, которым я не владела. Потому я ответила, что не знаю, как это назвать.

– Я скажу тебе, – почти безжалостно хмыкнул он, забавляясь моей неловкостью, – Мальчишки называют его своей пикой. Можешь сказать почему?

Покраснев еще жарче, я призналась, что не представляю почему.

– Разве не видишь, что он как пика? Твердый и остроконечный, как нагая сталь?

Не сравни его Виктор с пикой, мне бы в голову не пришло видеть в нем нечто столь грозное. Какое там, он у него вовсе не был похож на оружие. Совсем наоборот – я бы сказала, вид он имел беззащитный и трогательный. Уж не думал ли Виктор меня напугать? По правде говоря, я была благодарна Природе, что она не наградила меня чем-то столь нелепым и столь очевидно уязвимым.

– Мой солдат принял боевое положение, так я это называю, – продолжал Виктор, – Он готов к бою, – Потом лукаво спросил: – Понимаешь, что я имею в виду?

Я снова призналась, что не понимаю, и меня обдала горячая волна смущения от своего невежества. Но даже если бы знала, то попросила бы его объяснить, чтобы ощутить волнение, возникающее, когда слышишь запретные вещи. Я и стыдилась, и жаждала узнать, что, как я надеялась, он скажет. Страдала и наслаждалась одновременно. Инстинктивно я понимала, что затеяла игру у самой черты, отделяющей ребенка от взрослого.

– Давай, – дерзко предложил Виктор, – потрогай его, если хватит смелости! Смотри, как он рвется в бой! – Он говорил так, будто затеял очередную игру; но я знала, что это намного серьезней, чем любая игра. – Ну же! – снова скомандовал он и расплылся в широкой пренебрежительной улыбке. – Я не против; он тебя не укусит. Потрогай. Или боишься?

Это был вызов; я протянула руку и легко сомкнула пальцы вокруг его пениса. Твердая

плоть внезапно дернулась; я непроизвольно отдернула руку, словно он и правда уколол меня. Виктор разразился смехом.

– Ага, видишь, он атакует тебя! – И, вскочив, с шутливо-грозным видом встал надо мной, смеясь и покачивая торчащим пенисом из стороны в сторону, – Беги, девчонка! Беги! Он нападает!

Я перекатилась на бок, встала и помчалась по открытому лугу, изображая ужас, но голова у меня радостно кружилась. Волнение мое росло тем сильнее, чем ближе раздавался топот Виктора, который, неистово хохоча, догонял меня. Наконец он схватил меня, повалил на траву и уселся верхом, уткнувшись торчащим пенисом мне в живот. «Все, сдавайся!» – воскликнул он, словно предъявляя ультиматум, быстро скользнул ладонью по моему телу, остановился между ног и грубо потер меня. Я завизжала, сопротивляясь, и что есть силы принялась сталкивать его с себя, но безуспешно. Он не убрал руку, а даже проник глубже между мягкими складками моего тела. Меня вдруг охватила необъяснимая паника. Что-то изменилось в поведении Виктора, и я была совсем не уверена, что ему можно доверять.

– Я тебе не разрешала! – закричала я, в злом удивлении глядя на него.

Но он невозмутимо продолжал, пока я не испугалась, что он собирается силой войти в меня.

– Неужели! – ответил он, неверно истолковав мое отчаяние. – Не притворяйся. Тебе ведь нравится.

– Нет! Прекрати!

Только когда из моих глаз хлынули гневные слезы, он убрал руку. Он наконец позволил мне сесть и сказал чуть ли не с обидой:

– Неужели тебе и правда было так неприятно?

– Ты был тороплив и груб. Сделал мне больно, – Я отодвинулась от него подальше, готовая убежать.

– Я думал, тебе нравится, как мне, – недоуменно пожал он плечами, – Думал, девочкам хочется, чтобы мальчишки приставали к ним; любят, когда они слегка грубы, чтобы защищать свою невинность.

– Откуда ты это взял?

– Ты не первая, с кем я имел дело, – хвастливо ответил он.

– Ну и с кем еще? Скажи! Никого у тебя не было. Ты врешь.

– Правда! Я был с Соланж и делал с ней, что хотел.

Соланж была пышной, тупой девицей на год старше Виктора. Дочь Анны Греты, горничной леди Каролины, она помогала Селесте на кухне.

– Соланж! Да она тупая, как бревно! – воскликнула я ревниво, вызвав у него самодовольную ухмылку, – Я не верю. И как ты умудрился остаться с ней наедине?

– У нее дома, когда ее матери не было.

– И хорошо тебе было с ней?

Он опять пожал плечами, будто не придавал этому значения.

– Мне было просто любопытно. Я изучал ее, как мог бы изучать книгу.

– Тогда ты мало чему научился, если так ведешь себя – как бандит.

– Соланж не сопротивлялась.

– Потому что она ваша служанка, Виктор! Неужели не понимаешь? Если бы эта глупая корова могла свободно высказать, что она думает, она сказала бы тебе другое. Но кому какое дело до ее протеста, кто хотя бы поверит ей? Ты ее господин и можешь делать с ней, что хочешь. Но мне ты не господин.

На его лице наконец появилось выражение неподдельного раскаяния.

– Я не хотел сделать тебе ничего плохого, Элизабет. Просто забылся. Такое случается, когда человек возбужден.

– Насколько могу видеть, теперь ты не возбужден. А потому ты снова мой друг и брат.

Будучи рассерженной, я сказала это мимоходом, не думая уязвить его. Но мое замечание вызвало в нем неожиданное замешательство. Он мгновенно прикрылся руками,

словно его больше смутило то, что я вижу его пенис поникшим, а не торчащим. «Как легко смутить мужчину, сбить с него спесь, – подумала я. – Этот солдат, готовый к бою, уже и разоружен».

– Но я все равно твоя сестра, – продолжала я, – даже когда ты возбужден. А не книга, способная удовлетворить твое любопытство.

– И тебе никогда не захочется, чтобы я повторил попытку?

Я колебалась, не зная, что ответить.

– Я этого не говорила. Но то, что ты делаешь без позволения, никогда мне не понравится.

Немного погодя, когда мы возвращались домой и нас уже было видно из шато, Виктор остановил меня.

– Не говори никому! – Он умоляюще стиснул мне руку – Если проболтаешься, нас накажут.

И пока я не дала обещание, он не отпускал меня.

* * *

Ничто так не свидетельствует о пробуждении в девочке женщины, как первые признаки тщеславия. В этом отношении то, что произошло в тот день на лугу, произвело необычные перемены в моих привычках. Прежде я обращала внимание на свою внешность не более любой моей сверстницы. Но отныне лицо, которое я, пробуждаясь, видела в зеркале, стало тираном, постоянно требовавшим служения ему. Теперь мне было недостаточно мельком глянуть в зеркало, чтобы убедиться, правильно ли повязан бант, не посадила ли я на себя жирное пятно за столом. Теперь я внимательно рассматривала каждую черточку моего лица, словно сам этот процесс мог улучшить то, что я видела перед собой. А то, что я видела, очень не нравилось мне, ибо показывало, что я попала в ловушку безотчетного соперничества со всем женским родом. Все в моем лице казалось мне далеким от совершенства, если не просто ужасным. Скулы, до последнего времени, к счастью, скрытые детской округлостью щек, стали слишком высокими и торчащими. Лоб, конечно же, слишком низким, больше чем на дюйм, – обстоятельство, которое я пыталась исправить, зачесывая волосы назад и стягивая так, что было больно. Это мало помогло, да к тому же становился виден шрам на виске. Почти разгладившийся, этот шрам можно было заметить, только внимательно приглядевшись, тем не менее мне казалось, что он недопустимо выделяется. Нельзя ли его замазать кремом или пудрой, спрашивала я себя? А брови, конечно, расположены слишком близко, почти срослись над переносицей. Это, однако, можно легко поправить, выщипывая лишние волоски. Глаза, хотя и красивого, по моему мнению, цвета, грозили стать чересчур большими, а ресницы были недостаточно длинными. Нос невыразительный, так, какой-то небольшой выступ, но хотя бы прямой. Что до губ, то они безнадежны – не бантиком и не пухлые, как мне хотелось бы. Разглядывая себя еще внимательней, я обнаруживала изъяны повсюду: на щеках, шее, лбу – тут прыщик, там веснушку, которые, казалось, становились все заметней каждый раз, как я гляделась в зеркало.

С другой стороны, мне нравилось, что подбородок выглядит волевым, а шея стройная. Но когда я делала шаг назад, чтобы видеть больше, то с трудом могла смотреть на себя. Ибо зеркало являло мне прямую, тонкую фигуру, с плоской, как у мальчишки, грудью. Даже когда я набирала в грудь воздух и выпячивала ее до предела, округлости обозначались лишь слабым намеком. А ниже – никакой талии, бедра узкие, а то, что между ними, – по-детски голо и скромно. Как далеко еще до настоящих женских форм!

Но что было для меня мерилom женской привлекательности, с кем я столь придиристо сравнивала себя? С Соланж, которую Виктор сделал своей игрушкой? Я мысленно представила ее и искренне возблагодарила небо за то, что вряд ли когда-нибудь буду выглядеть как она. Такие неряшливые толстые девицы, да еще ведущие себя развязно,

вызывали откровенное презрение у мужчин. Нет, истинным образцом, который стоял у меня перед глазами, была Франсина, первая, на кого Виктор посмотрел с вожделением, и я это заметила. Она стала для меня идеалом женщины, критерием, с которым, я это знала, мне никогда не сравниться. Но я также знала, что она ничего не делает, чтобы выглядеть красивой, во всем полагаясь на Природу. Даже с волосами, стянутыми на затылке в тугой узел, и без единого следа косметики она источала красоту. А ее тело, которое я видела обнаженным, было для меня идеалом женственности, хотя, опять же, я не надеялась когда-нибудь достичь подобного совершенства.

Детям не надобно слов, чтобы выразить свои наиболее глубокие впечатления. Порой самое отсутствие слов делает переживание еще сильнее. У меня не было слов, чтобы выразить то, что я усвоила в тот день на озере; они должны были прийти позже; но чувства, мгновенно вспыхнувшие во мне, тем не менее явились для меня открытием. Отвращение и восторг, тревога и бесстрашие, стыд и приятное возбуждение – все смешалось в этом новом знании. С тех пор, когда мы купались с Виктором голышом, все стало иначе, необычайней: словно с наэлектризованным воздухом, окружавшим нашу невинную наготу, в нас вливалось сладостное беспамятство.

Оглядываясь назад, я понимаю: в тот день мы оба перешли черту, отделяющую неведение от познания. Тот мучительно горький миг расставания с детством открыл новую главу в нашей жизни, полную неимоверной страсти и неимоверного трагизма. Мы более не были братом и сестрой, как в прошлом, – хотя теперь стали братом и сестрой, связанными иными, нежели общепринятыми, узами. Не сознавая, куда ведет нас сладостное искушение плоти, мы сделали первые неуверенные шаги к химической свадьбе.

Примечание редактора

Уцелевший портрет Элизабет Франкенштейн

Оценка автора сих мемуаров своей внешности, какой она виделась ей в девичестве, излишне критична, чтобы можно было оставить ее без соответствующего комментария. Тут я представляю вам противоположный и менее субъективный ее портрет.

Среди бумаг Элизабет Франкенштейн сохранилась небольшая выцветшая акварельная миниатюра. Хотя на ней нет подписи, ниже в мемуарах будет упомянуто, что это ее портрет, написанный при необычных обстоятельствах в 1788 году. Миниатюра изображает невероятно очаровательную юную девушку. Волосы, естественные, не напудренные, забраны сзади в небрежный пучок, лицо обрамляют локоны, но не в обычной современной французской манере. Именно о такой прическе пишет Элизабет, как о способе скрыть шрам на виске.

В чертах лица видны живость и незабываемая утонченность – высокие скулы, гордый подбородок, полные губы. Взгляд открытый и проницательный, ни намек на девичью робость, скорее выразительный и свидетельствующий о высоком интеллекте и пытливом уме, нетипичном для ее пола, – именно это, полагаю, Виктор Франкенштейн как ученый должен был ценить в той, которая была предназначена ему в жены. Шея и плечи гармонируют с утонченным лицом, то же и упругая молодая грудь. Я, естественно, не мог смотреть на эту нежную шею без горькой мысли о том, как сдавили ее мощные руки, прервав жизнь этой женщины; задушить ее было не трудней, чем певчую птицу.

Признаюсь, этот портрет стал источником серьезных раздумий во время моих изысканий. Когда мне стала ясна истинная сущность алхимических опытов Виктора, я всем сердцем посочувствовал девушке, которую, как я поначалу предположил, он, вскружив ей голову, привлек к осуществлению своих нечестивых замыслов. Но по мере того как из мемуаров Элизабет становилась ясней ее собственная роль в этих деяниях, меня все больше волновала ужасная вероятность, что она, юная и прекрасная, оказалась вместилищем столь порочных страстей. С момента, как я приступил к изучению этого документа, пленительный ее портрет неизменно находился передо мной на столе, за которым я сейчас пишу эти строки.

Еще и день не миновал, а я вновь обратил к нему пристальный взгляд, пытаюсь понять, что таится за этой невинной внешностью. Я спрашивал себя: «Не должны ли подобные порочные страсти проявиться какой-то тенью или нюансом, каким-то легким намеком на растленность души?» Но вынужден был согласиться с горькой мудростью, которая учит: «Никто не распознает душу по лицу»¹.

Возможно ль, размышлял я, чтобы развитие в женщине самосознания и высокого интеллекта несло в себе риск морального вырождения, что привело Элизабет Франкенштейн к падению? Неужели нет способа сделать так, чтобы интеллектуальное развитие нашей второй половины не свело ее с пути добродетели? Или, как это ни прискорбно, должно делать выбор между одним и другим? Думаю, это останется одним из неразрешимых вопросов нашей революционной эпохи.

Посвящение

В последующие недели я с особым вниманием присматривалась к Соланж, изучая ее со всех сторон. Пробовала презирать ее, неряшливую простушку; со злорадством отмечала ее грубый крестьянский говор и неуклюжие манеры. Как отвратительно от нее пахло кухней! Но при всем при том, хотя я и не признавалась себе, в ее присутствии меня жгла тайная ревность. Может, как раз такая неряха служанка вызывала у него желание? – спрашивала я себя. Может, ему нравилась ее вульгарность: развязная речь, бесстыдство, с каким она выставляла ноги и толстую грудь, работая по дому? Какие вольности он позволял себе, застигнув ее где-нибудь одну и не смеющую сопротивляться? Правда ли, что он пускал в ход лишь любознательную руку, а не больше? Ночью, перед тем как уснуть, я представляла их вместе, голыми, как я с Виктором на лугу; но Соланж позволяла ему все – и, может быть, получала удовольствие от его распутства. А если это она соблазнила Виктора? Я слышала, хитрые служанки часто прибегают к таким уловкам, чтобы добиться расположения господина. Но с другой стороны, я не могла поверить, что у Соланж хватило на это Ума. Всякий раз, как представлялся случай, я засыпала ее распоряжениями, так что она носилась как угорелая, выполняя их; а я громко жаловалась на то, какая она бестолковая и нерасторопная. Будь моя воля, я бы выставила ее из дома и отправила в поле или на скотный двор, где ее молочно-белая кожа потемнела бы от солнца, а спина согнулась от тяжелой работы.

* * *

То, что предстало моим глазам, когда я разглядывала тело Виктора в тот день на озере, было прелюдией к моему собственному созреванию; я знала, что меня ожидают еще более разительные перемены. Стану ли я тогда походить на множество женщин с широкими бедрами и обвислыми грудями, которых видела, помогая Розине при родах? Меня совершенно не привлекала перспектива стать обладательницей такой фигуры. И конечно, женские фигуры на картинах художников казались мне бесформенными и нескладными; я не горела желанием расстаться со своим гибким девичьим телом, которое позволяло мне вольно резвиться, в обмен на то, что, я боялась, окажется грузной тушей. И все же, несмотря на опасения, я жаждала догнать Виктора в его взрослении, ожидая, что мне откроются тайны, которых ребенок знать не может.

Я приблизительно представляла, чего ожидать; и тем не менее момент созревания был для меня потрясением, как для всякой девочки. От своей цыганской сестры Тамары, бывшей на несколько лет старше меня, я узнала о месячных; но одно – услышать о такой вещи, и другое – пережить самой. И когда это произошло со мной, я совершенно забыла все, что мне рассказывали. В одно прекрасное утро я проснулась и увидела, что ночная сорочка красная и липкая. Меня ранили? – перепугалась я и тут же помчалась по коридору к комнате леди

¹ Шекспир У. Макбет, акт I, сц. 4. (Перевод М. Лозинского.)

Каролины. Но ее не было у себя; вместо нее я увидела камеристку Анну-Грету, убиравшую постель. Когда она обернулась ко мне, я съежилась, испуганная и пристыженная. Она мгновенно поняла мое состояние.

– Боже! Не пугайся, дитя, – сказала она мне. – Мама все расскажет тебе об этом.

Она отвела меня в ближайший ватерклозет и дала мне все необходимое, чтобы я привела себя в порядок.

– Подожди тут, – нежно сказала она. – И успокойся. Тебе нечего стыдиться, – Потом она направила ко мне леди Каролину.

Едва увидев леди Каролину, появившуюся с мягкой улыбкой на лице, я поняла, что нет причин для тревоги. Одного ее заботливого присутствия было достаточно, чтобы я воспряла духом.

– Ты знаешь, что произошло, моя дорогая? – спросила она. – Ты стала большой. Кое-что изменилось здесь... и здесь. – Она положила руку мне на низ живота и грудь. – Это таинственное и удивительное превращение. Ты переродилась внутри, как перерождается гусеница, чтобы стать бабочкой.

– Но разве кровь должна течь?

– Кровь – это твой источник силы, ты еще узнаешь это. А теперь слушай внимательно, – говорила она, усаживая меня рядом с собой на софу. В ее глазах появилось отрешенно-печальное выражение. – Считай это своим вторым рождением. Когда ты появилась на свет, тебе оставили страшную отметину – вот тут, – Она провела пальцами по едва заметному шраму на моем виске, – Это сделал принимавший тебя невежественный человек, который осмелился назвать себя врачом. В этот раз о тебе позаботятся женщины, и это будет время радости и торжества. После этого не останется ни шрамов, ни кошмаров.

О своем кошмаре я поведала баронессе вскоре после прибытия в поместье. Как-то ночью, когда я с криком проснулась, она настояла, чтобы я рассказала, что потревожило мой сон. Когда она услышала о жестоком человеке-птице, являвшемся мне по ночам, думаю, впервые я увидела, как ее спокойное лицо покраснело от гнева.

«Тебе нанесли не только телесную рану, ранили и твое сознание, – сказала она и постаралась успокоить меня. – Такого существа нет в природе. Это плод фантазии, и со временем он изгладится из твоей памяти». Сейчас, когда она говорила о торжестве, я не могла сдержать любопытства. Мне хотелось знать *когда, когда!* – и я спросила об этом с неприличным нетерпением.

– Скоро, – ответила она. – Необходимо тщательно выбрать время.

Мне было сказано, что следует дожидаться первого летнего полнолуния, до которого было еще два месяца. До этого дня месячные случились еще дважды, и я сделала все, как меня научили. Страхи мои прошли, но не беспокойство. Я быстро примирилась с тем, что придется терпеть это досадное неудобство, но не могла понять, почему леди Каролина уверена, что нужно гордиться происходящим с тобой. Несмотря на ее уговоры, мне это казалось столь неестественным, что я была убеждена: на мне в эти дни словно стоит клеймо. Конечно же, все догадывались о моем состоянии и считали меня нечистой. Поэтому я с растущим нетерпением ждала события, которое мне обещали, надеясь, что оно принесет что-то большее, нежели мучивший меня стыд.

Июнь шел своим чередом, и я каждую ночь глядела в окно, как прибывает луна, превращаясь из тоненького серпа в огромную сверкающую жемчужину. Наконец прошла последняя ночь перед полнолунием, и утром Анна-Грета разбудила меня со словами:

– Нынче ночью, малышка. Будь готова.

Днем мадемуазель Элоиза закончила уроки пораньше и отвела меня в спальню. Это было необычно.

– Послушай, – сказала она, – Баронесса предупредила меня, что ночью тебя поднимут. И сейчас ты должна отдохнуть.

Я не видела леди Каролину весь день и поинтересовалась, где она может быть. Мадемуазель Элоиза тряхнула головой.

– Ушла, дорогая. Занимается приготовлениями.

Я постаралась заснуть, как было велено, однако безуспешно. Ожидание висело в воздухе. Чем-то этот день отличался от остальных, хотя я не могла сказать, что в нем было необычного.

Вечером мне не подали ужина, вместо этого мадемуазель Элоиза велела идти в свою комнату, умыться и надеть новую одежду, которую она принесла мне; потом я должна ждать, пока меня позовут. На кровати лежала белая ночная сорочка, доходившая мне до лодыжек. Неужели, удивилась я, опять надо ложиться спать? Озадаченная, я тем не менее повиновалась: надела сорочку, села у окна и принялась ждать, глядя на встающую луну, которая заливала сад и поля вдали тусклым серебром. До сих пор я не замечала странности этого света, одновременно холодного и текучего, придающего ртутный блеск всему, чего он касался. Тогда все предметы обесцвечивались, их очертания жутковато менялись, словно они становились своими собственными призраками. Не могу сказать, как долго я ждала, потому что помимо воли задремала у окна. Проснувшись я от прикосновения руки к плечу; это была мадемуазель Элоиза, пришедшая за мной.

Мы крадучись, молча, как воры, прошли спящий дом и выскользнули через кухонную дверь. Снаружи нас ждала Анна-Грета, на которой, как и на мадемуазель Элоизе, был просторный плащ с капюшоном. Не задавая вопросов, я последовала за ними. Хотя тропа, по которой мы шли, все время петляла, я поняла, куда она ведет: к маленькой ложине, где мы с Виктором подсматривали за баронессой и Франсиной. Я вздрогнула, когда из темноты на тропу вышла фигура в плаще с капюшоном – за ней другие, такие же. Я догадывалась, что это женщины, хотя лиц было не разглядеть. Одна несла фонарь, другая длинные, раздвоенные на конце палки. Мадемуазель Элоиза смело шагнула к ним, словно желая, чтобы ее узнали. Мы прошли вперед, оставив три фигуры позади, в лесу; но не успели мы отойти на несколько шагов, как одна из них закричала по-совиному, так что у меня кровь застыла в жилах. Не зная я, что кричит женщина, наверняка решила бы, что это вопль хищной птицы. Клич повторился дважды; эти трое, сообразила я, были часовыми, ждавшими нас на тропе. Каждый новый пост провожал нас таким же сигналом. Последняя группа встретила нас у входа в ложину. В этот раз, протиснувшись сквозь узкий проход, я увидела, что роща освещена фонарями; они висели на деревьях, стояли в каждой трещине окружающих скал, и мягкое сияние разливалось среди деревьев – ни ночь, ни день.

На первый взгляд поляна показалась мне безлюдной. Но когда мадемуазель Элоиза и Анна-Грета свели меня вниз с выступа скалы, я разглядела молчаливые неподвижные фигуры, прячущиеся за стволами деревьев. Посреди поляны, где мне велели опуститься на колени, располагался шершавый престол из поставленных друг на друга камней. На нем были чаша, колокольчик, два скрещенных ножа необычной формы, на ножах венки из цветов, а за всем этим стояли три высокие незажженные свечи. Мадемуазель Элоиза и Анна-Грета сбросили плащи и остались в свободных серых балахонах с капюшонами. Набросив капюшоны на голову, они опустились на колени рядом со мной у каменного алтаря. После минуты тишины, когда единственным звуком было журчание ручья, из близкого леса донесся высокий клекочущий крик. Он был похож на вопль орла, бросающегося на свою жертву, но я знала, что его исторгло женское горло. Он прозвучал трижды, и это был сигнал. Лес вокруг ожил: зазвучали барабаны, трещотки, тамбурины, отбивая ритм; высоко над ними голос флейты выводил прихотливый узор мелодии. Это была музыка какого-то иного мира или иных, давно минувших времен; в ней пульсировал ритм крови и дыхания; тело жаждало слиться с его стихийным движением. С четырех сторон рощи вереницами двинулись фигуры в капюшонах, все одетые так же, как женщины рядом со мной. Одни несли инструменты, звуки которых я слышала, другие скользили рядом и между ними, кружась в медленном танце. Сердце заколотилось у меня в груди, не от страха, а от неясного предчувствия, когда фигуры окружили меня. Мадемуазель Элоиза, словно желая придать мне мужества, взяла меня за руку и крепко стиснула ее.

Не могу сказать, сколько именно женщин было передо мною и позади меня, во всяком

случае, не меньше сорока. Окружив меня, они остановились и сели на землю, продолжая играть, и запели песнь на языке, которого я не могла понять. Наконец голоса и инструменты стихли. Я услышала у себя за спиной шелест шагов по траве. Две фигуры прошли между сидящими женщинами и встали напротив меня у дальней стороны алтаря. На них были те же балахоны с капюшонами, как на остальных женщинах. Одна продолжала стоять, произнося что-то, что я приняла за молитву; вторая наклонилась зажечь свечи и благовония, горкой насыпанные в резные серебряные сосуды. Затем они подняли головы и сбросили капюшоны. Я узнала обеих. Одна была леди Каролина – я подозревала, что она появится в какой-то момент; но при взгляде на другую раскрыла глаза от удивления. Это была Селеста, повариха! Она стояла передо мной с торжественным и строгим лицом, ее седые выющиеся волосы рассыпались по плечам. Появление здесь Селесты, в этом наряде, и ее столь царственный вид – все это поразило меня.

– Встань, Элизабет! – приказала Селеста сильным глубоким голосом, – Ты здесь для того, чтобы стать Женщиной, Женщиной среди Женщин.

Я быстро вскочила, думая, что должна немедленно повиноваться любым ее требованиям; хотя прежде она была для меня лишь домашней прислугой, сейчас она была такой же пугающей, как эти темные фигуры, а не простой кухаркой, командующей мной. По кивку Селесты мадемуазель Элоиза и Анна-Грета встали слева и справа от меня и принялись развязывать тесемки и расстегивать пуговицы моей рубашки. Я поняла, что они раздевают меня. Хотя сердце у меня бешено колотилось, я храбро глядела в лицо Селесты, твердо решив не показывать своих страхов. Когда я наконец оказалась голой, женщины, окружавшие нас, встали и тесно обступили маленький алтарь; затем они сбросили с себя просторные балахоны и остались нагими, как я. Украдкой взглянув на стоявших ближе ко мне, я узнала несколько лиц. Трое из них были наши горничные и Жермена, жена егеря, – эта держала самый большой барабан. Тут были мадам Лапланш, жена нашего управляющего, рядом с ней мадам Перру, жена судьи, которого барон часто приглашал к нам на суаре. По другую руку от меня стояли мадам Жюсье, жена лодочника, и мадам Гримальди с двумя дочерьми, которые со своими мужьями ухаживали за нашим виноградником. Я также узнала нескольких женщин, которых видела работающими в поле, когда наша карета проезжала мимо по дороге, и женщин из Белотта, чьи мужья ловили рыбу для нашего стола. Долго же пришлось им идти этой ночью до лошины! От самого озера, ища дорогу в свете луны. И как необычно видеть их здесь в таком виде: раздетые, с распущенными волосами, стоят, не испытывая стыда, в свете фонарей. Без одежды и украшений, которые отличали их друг от друга, они превратились в общество равных, так что нельзя было сказать, кто из них знатная, а кто из низшего сословия. Как это смело, подумала я, сбросить с себя одежду. Ибо заодно пришлось отказаться от того, что одних выделяет среди других. Я обратила внимание, что на некоторых было нечто вроде набедренной повязки; позже мне дали такую же, чтобы остановить кровь; знатные и простолюдинки, они находились в одинаковом положении и в нагой компании ничем не прикрывались, но и не выказывали никакого недовольства, оттого что все это видят. Тут были бледные и согбенные, тощие и жилистые, дородные, морщинистые и невероятно красивые. Я даже вздрогнула, увидев в рядах женщин ту, которую, впрочем, втайне ожидала увидеть: рядом со своей матерью гордо стояла Соланж. Формы ее были в точности такие пышные, как я с завистью представляла. Но как хорошо она справлялась со своей ролью этой ночью, танцуя под музыку с изяществом придворной дамы.

Поглядывая по сторонам, я видела женщин, согнувшихся под грузом лет, как бабушка Жака, помощника конюха, и других, цветущих красавиц вроде Марианны, дочери сборщика налогов, девушки не намного старше меня. Тела некоторых были отмечены жестокой судьбой – шрамами и синяками, скрюченной рукой или ногой, горбом. Как много рассказывает о нас наше тело, но эта наша история скрыта одеждой от глаз мира. С особым интересом я смотрела на голую Селесту. Я всегда знала ее корпулентной, пышущей здоровьем; теперь она предстала передо мной во всей своей красе. Ее груди, обычно туго стянутые и торчавшие, как два огромных каравая, сейчас тяжело свисали на живот

величиной с небольшую бочку, толстые складки которого скрадывали срам, как фартук. Короткие ноги, с меня величиной в обхват. Невозможно было вообразить, чтобы такая туша пользовалась властью. Однако ж это было так – никаких сомнений. С гордым и суровым видом она стояла рядом с леди Каролиной, вместе с ней руководя этой толпой.

Баронесса взяла с алтаря венок-корону, повернулась ко мне и подняла его над моей головой. Улыбнулась мне и произнесла:

– Мы приветствуем Элизабет, обладательницу цветов и шипов. Кто из собравшихся представляет ее?

– Я, – раздался голос у меня за спиной, который я сразу узнала.

Я обернулась и увидела Франсину. На ней тоже ничего не было, кроме светлого серебряного диска на цепочке. Она сделала шаг вперед, широко улыбаясь, и шутливо ущипнула меня за нос. Потом, став позади меня, положила руки мне на плечи. Баронесса водрузила венок мне на голову и отступила назад. Из-за алтаря вышли две женщины, неся на вытянутых руках два блюда: на одном лежало яблоко, на другом стоял металлический кувшин. Селеста взяла яблоко и подняла его высоко над головой. Стоявшая рядом леди Каролина легонько махнула колокольчиком, а Селеста сосредоточила все мысли на яблоке; потом она протянула его Франсине со словами:

– Вкусите в память о Матери Еве, не виновной в наших скорбях.

Франсина откусила маленький кусочек и передала яблоко мне. Когда и я откусила, яблоко вернулось к Селесте, и та съела остальное вместе с леди Каролиной. Затем Селеста взяла кувшин и наполнила хрустальную чашу, стоявшую на алтаре. Подняла ее над головой, и вновь прозвучал колокольчик. Обращаясь к Франсине, Селеста сказала:

– Выпейте в память о Матери Лилит, первой, кто пострадала через Мужчину.

Кувшин перешел к Франсине, и мы отпили вина, после чего она шепнула мне на ухо: «Идем!» Я встала и последовала за ней. По поляне прокатился низкий звук барабана, словно гром из-под земли.

Теперь я стояла в центре круга женщин, Франсина позади, так тесно прижимаясь ко мне, что я чувствовала спиной, как вздымаются и опускаются от дыхания ее груди. Селеста вышла вперед с огромным пожелтевшим пергаментным свитком толщиной с ее руку, перевязанным кожаным ремнем с тиснением. Не разворачивая свиток, она крепко прижала его к груди и, закрыв глаза, принялась читать нараспев, как мне показалось, молитву на неведомом языке. Это продолжалось долго, лоб ее собрался складками от напряжения, взволнованное лицо пылало; тихо рокотал барабан, постепенно убыстряя ритм. Ее голос звучал со все большей страстью; Селеста входила в транс, раскачиваясь из стороны в сторону, ее тело сверкало от пота. Молитва превратилась в перечисление имен, сначала незнакомых и старинных, потом более привычных, женских, имена и фамилии, французские, итальянские, немецкие, испанские... Наконец она внезапно замолчала; прозвучала быстрая дробь барабана и оборвалась. Селеста протянула свиток Франсине, чтобы та поцеловала его, потом мне.

Баронесса выступила вперед; в руках она держала ножи, которые я видела на алтаре. Протянула их мне; белый нож вложила в правую руку, острием к небу, черный – в левую, острием к земле. Франсина сзади подсказала, чтобы я широко раскинула руки. Из круга выступила женщина – мадам Клейст – и протянула леди Каролине глиняную миску. Баронесса опустила в нее руку, а когда вынула, рука была окрашена в темно-красный цвет. Повернувшись, провела пальцами по моему лбу, начертав какой-то знак. Снова и снова окуная пальцы в краску, таким же манером провела мне по губам, груди, животу, между ног, над самой расщелиной, и по одной и другой ноге. Едва она коснулась моих губ, я поняла, что это кровь, и вздрогнула, почувствовав ее вкус. Я опустила глаза, чтобы посмотреть, какой знак она чертит; это была шестиконечная звезда, состоявшая из двух пересекавшихся треугольников.

Франсина повернула меня лицом к себе, а леди Каролина прижала меня к своему телу. Я вновь широко раскинула руки, держа ножи. Флейта заиграла загадочную печальную

мелодию, Франсина сняла с шеи цепочку с висевшим на ней диском и, воздев ее над головой, словно хотела коснуться сияющей луны, заговорила на языке, который я наконец стала понимать. Женщины на поляне вторили каждой ее фразе.

Жемчужная Госпожа,
Посмотри вниз, посмотри вниз.
Королева всех звезд,
Спустись к нам, спустись.
Серебряная ладья,
Уплыв, приплыви.
Перл Ночи,
Нас благослови.
Голубка Тьмы,
Слети к нам, слети.
Клинок Хатор,
Защити, защити.

Затем Франсина медленно опустила диск, так что он легко коснулся моего лба в месте, где был кровью начертан шестиконечный символ.

– Она благословляет твой лоб, чтобы чисты были твои помыслы, – сказала Франсина и поцеловала место, где меня коснулся диск.

Потом таким же образом коснулась диском и поцеловала везде, где баронесса начертила символ.

Губы:

– Она благословляет твои губы, чтобы чисто было все, что ты скажешь.

Грудь:

– Она благословляет твою грудь, чтобы чиста была твоя любовь.

Пропустив вопреки моему ожиданию живот, она прижала диск к паху:

– Она благословляет тебя здесь, чтобы чисто было все, что дает тебе наслаждение.

И, наклонясь, прижалась губами к моему паху. Я было дернулась, чтобы уклониться от смелого ее жеста, но леди Каролина крепко держала меня. Затем Франсина вернулась к животу:

– Она благословляет твое чрево, чтобы чисты были дети, коих ты в радости произведешь на свет.

И наконец, склонившись передо мной, чтобы коснуться диском и поцеловать ступни:

– Она благословляет твои ноги, чтобы чист был всякий путь, коим ты пойдешь.

Когда она закончила, загремело неистовое крещендо барабана, женщины издали радостный вопль. Франсина надела диск мне на шею и горячо поцеловала в губы. Сказала: «Поздравляю, сестра!» Все в круге восторженно закричали. Приветствия и поздравления неслись со всех сторон.

Несколько женщин выступили вперед и увлекли нас в танцующую процессию. Все танцевали величавую сарабанду, усыпая землю перед нами лепестками цветов. Я была изумлена, увидев, как красиво движутся под музыку даже старые и неуклюжие, словно музыка придавала их движениям особую горделивость. Меня, шедшую между леди Каролиной и Франсиной, вели к деревьям в дальнем конце поляны. Селеста, крепко прижимавшая к груди свиток, и другие шли сзади, радостно звучали барабан, флейта и бубен. Сквозь деревья я увидела другой свет, свет жаровни, ярко пылавшей на открытом месте. В круге света виднелась фигура, сидевшая на некоем подобии трона из ветвей. Подойдя ближе, я увидела, что это женщина, нагая, как мы, но совсем дряхлая и согбенная. Кожа ее обвисла, лицо было обрамлено редкими прядями белоснежных волос. Я не знала ее, но, похоже, она была здесь главной. Мы остановились перед ней, и я увидела несколько ожерелий на ее шее и браслетов на костистых руках. Она казалась невообразимо старой, однако в ее глазах, когда она

смотрела на меня, горел огонь.

– Подойди ко мне, Элизабет, – подозвала она меня, показывая на подножие своего трона. Голос у нее был скрипучий, но в нем звучала доброта. Она внимательно вгляделась в меня, потом погладила по волосам и проговорила: – Красавица Элизабет, золотоволосая, – Я изумилась, услышав ее, ибо она говорила по-цыгански, на языке моего детства. Она улыбнулась, видя мое удивление, – Да, я немного говорю на вашем языке, но, боюсь, уже недостаточно хорошо, – И спросила по-французски с явным итальянским акцентом: – Ты знаешь, кто я?

– Нет.

– Меня зовут Серафина. Я настолько стара, насколько ты молода. Кровь, которая щедро течет из твоего тела, в моем давным-давно высохла. Но обе мы женщины – в начале и в конце пути. И мы сестры. Ты веришь в это?

Я ответила, что не верю, и она скрипуче засмеялась. Во рту у нее не было ни одного зуба.

– У тебя больше сестер, чем ты думаешь, Элизабет. По этой самой земле, на которой ты стоишь, ступали ноги сестер – твоих и моих – с незапамятных времен. Тут есть ручьи, к которым женщины приходили говорить о важных вещах еще в столь давние времена, что даже эти огромные горы недостаточно стары, чтобы помнить об этом. Мужчины называют знание, следы которого находят в надписях, высеченных на камне или запечатленных на пергаменте, древним. Но на взгляд женщин, даже самые великие из мужчин – Аристотель и Пифагор – просто юнцы. До того как мужчины стали читать по свиткам, наши матери и бабушки читали по деревьям, звездам и камням. Эта роща – один из наших древнейших свитков; любое дерево, которое ты здесь видишь, знает больше, чем величайший натурфилософ. Они наши учителя.

Тут я вздрогнула от шума крыльев у самого уха. Огромная темная птица плавно слетела с дерева на руку старухе. Потом подняла голову и внимательно посмотрела на меня. Я никогда не видела таких птиц; она была величиной с ворона, но не черная, а пурпурная с радужными переливами. Ее крючковатый желтый клюв был больше головы. По тусклому потертому оперению я поняла, что птица очень стара. По-видимому, она была слепа на один глаз, он у нее был полузакрит и затуманен под прищуренным морщинистым веком. Я не знала, бояться ли ее, но никого из стоявших вокруг ничуть не встревожило ее неожиданное появление. Больше того, Серафина, которой, видимо, принадлежала птица, погладила ее пальцем под горлом, на что птица довольно заворковала, подняла лапу и почесала шею.

– Не бойся, – сказала Серафина, улыбнувшись широкой беззубой улыбкой, – Это моя личная подруга, Ал-Усса¹. Она прилетела познакомиться с тобой. Она сама решит, достойный ли ты человек, но посмотрим, смогу ли я склонить ее на твою сторону. – Серафина что-то прошептала птице: среди слов на неведомом языке я расслышала свое имя, – Уж насколько я стара, но Алу все же старше. Она моя спутница с тех времен, когда мне было столько же, сколько тебе сейчас.

Старая птица уже потеряла ко мне интерес и перелетела на плечо Серафине, откуда наблюдала за происходящим с рассеянным и даже скучающим видом.

– Все женщины, стоящие перед тобой, – объяснила Серафина, – мои сестры, так же как и твои – твои в час радости, и страха, и печали. Они были мне хорошими и благодарными подругами. Никто из них не знал бы того, что они знают, если бы я не учила их. Чему же я учила? Никогда не сожалеть и не стыдиться того, что они женщины. Я учила их помогать друг другу. Учила, что их сила в крови, ибо в ней могущество неба и земли. Смотри, я объясню тебе. Покажи мне ножи.

Я протянула ей ножи.

– Они теперь твои, береги их, Элизабет. Они будут напоминать тебе об этой ночи и обо всем, что ты узнаешь. Спрячь их подальше, как прячешь что-то самое для тебя дорогое. Вот серебряный нож – он связывает тебя с луной, которую ты видишь в небе. Луна – это женская

¹ Арабское название (и имя небесной богини) Венеры.

звезда; она управляет приливами и отливами твоей крови, как управляет морскими приливами. У мужчин нет ничего подобного, что сказало бы им об истинном порядке вещей. Поэтому они думают, что могут установить собственный; но это не в их силах. Мы должны напоминать им об этом. А вот темный нож. Он связывает тебя с землей. Земля – женщина, как мы. Она рождает детей, как мы рожаем. Она творит деревья, и хлеб, и животных из своей плоти. Нам знакомо это могущество по собственному телу. Мужчины не обладают ничем подобным, что связывало бы их с землей; их невежество внушает им странные фантазии. Они кромсают землю, и лепят ее на свой лад, и роют. Крадут драгоценные камни и минералы, которые она скрывает в своем чреве. Они передвинули бы горы, если бы смогли, и заставили бы реки изменить свой естественный путь. Они думают, что способны сделать с миром что хотят. Они ошибаются. Мы должны напоминать им об этом.

Она наклонилась вперед и протянула дрожащую руку.

– Подойди ко мне, дитя. Подойди ближе. Я поведаю тебе тайну, – Я медленно шагнула вперед, к ее трону; она заговорила мне на ухо хриплым шепотом. – Глубоко-глубоко под землей, где их никто никогда не увидит, схоронены камни. И внутри тех камней, если их расколоть, найдешь чудеса и пьянящую красоту. Вот, смотри, – И, привлекая меня к своей груди, протянула дрожащую руку, чтобы показать браслеты на своем запястье. Один был украшен большим, круглым, как слеза, камнем, который сиял золотым, пурпурным и зеленым, отражая свет костра, – Что скажешь, дорогая? Не правда ли, он само совершенство?

– О да... правда, – ответила я, не в силах отвести восхищенного взгляда от крохотного фонтана сверкающих красок. Драгоценный камень словно светился изнутри, так ярко был исходящий от него свет.

– Чем дальше глядишь на него, тем дивнее он становится, – сказала Серафина. – Это радуга из глубин земли. И все же он не идет ни в какое сравнение с камнями, которые лежат там, откуда его извлекли. Теперь скажи мне: как думаешь, почему земля поместила подобную красоту туда, где некому ею любоваться?

– Я не знаю.

– Ты узнаешь ответ на эту и множество других загадок. Сама земля скажет тебе, – Она отпустила меня и велела стоять, – Теперь возьми ножи и положи на землю вот там крест-накрест, белый на темный.

Я быстро сделала, как она велела, осторожно положив ножи на землю возле трона.

– Слышала ее голос, когда делала это?

– Нет, не слышала.

– Но услышишь прежде, чем вернешься сегодня в кровать, – Она иссохшей рукой поманила Франсину. Франсина опустилась на колени рядом со мной у ее ног, – Все эти женщины – сестры тебе, Элизабет, как и я. Но Франсина будет тебе особенно близкой сестрой. Она научит тебя вещам, которым не сможет научить ни один мужчина, тому, что тебе необходимо знать, если желаешь быть женщиной самостоятельной. Она растолкует смысл всего, что ты увидела этой ночью. Ей ты можешь верить тайны, с которыми не должна делиться ни с кем другим. Ты уже отмечена во всех святых местах кровью, которую она щедро дала для этого торжества. С нею ты будешь связана кровью, текущей в твоих жилах. Желаешь ли ты этого?

Я ответила утвердительно, хотя чувствовала некоторую тревогу. Серафина взяла меня и Франсину за руку, закрыла глаза, склонила голову и что-то неслышно забормotala. Затем вперед вышла Селеста, держа нож; отерев лезвие листом, она кольнула указательный палец мне, потом Франсине. Серафина прижала их друг к другу с силой, какой я не ожидала от столь старого человека. Франсина вновь поцеловала меня в губы и отступила назад.

– Сегодня мы осветили рошу фонарями, – воскликнула Серафина. – Но зайдите на несколько шагов в лес и окажетесь там, где свет кончается и начинается тьма. То же и со словами. Есть много такого, чему никто не в силах тебя научить, много такого, что учит само, что никогда не выходит из тьмы на свет. То, что происходит в твоём теле, когда в нём зарождается жизнь, сокрыто во тьме. Но тьма может говорить на своем языке.

И, словно больше не было баронессы, а лишь служанка Серафины, матушка встала на колени возле старухи, протягивая ей небольшую чашу, из которой Серафина зачерпнула что-то кашеобразное. Поднесла на дрожащих пальцах к моим губам и скомандовала:

– Ешь!

Запах был сильный, но не противный. Однако на вкус вещество было невероятно горьким; горло сжалось, отказываясь глотать. Кое-как я заставила себя проглотить отраву и мгновенно спустя почувствовала растущее головокружение. Я старалась не шататься, но ноги и руки стали как ватные. Франсина и леди Каролина помогли мне отойти от трона и лечь на траву головой к ножам, которые я раньше положила на землю. Франсина устроилась рядом и положила одну ладонь мне на лоб, а другую на сердце. Головокружение сменилось приятным теплом, разлившимся по телу; вся кожа будто горела. Посмотрев вверх, я увидела луну, такую близкую, что ее можно было бы потрогать, просто взобравшись на верхний сук дерева; она плясала среди ветвей. Женщины тоже плясали, кружась вокруг меня. Барабан, флейта и бубен заполняли поляну. Радостная музыка то замирала, то вновь звучала в моих ушах, то гремела, то пропадала. Я постепенно начала ощущать, что земля подо мною подрагивает; ее дрожь передалась мне, пробежала по венам, охватила все тело. Это походило на приятную щекотку и одновременно нечто вроде речи, словно мое тело превратилось в говорящий язык; я хотела рассмеяться, и все вокруг засмеялись – пронзительным женским смехом. Земля подо мной тоже смеялась; я слышала это или чувствовала. Вокруг обращенного ко мне лица Франсины ореолом сияла луна. Мне было приятно и спокойно, даже почти весело в ее объятиях.

Я поклялась никогда не рассказывать о том, что произошло той ночью.

– Мы храним свои тайны не из стыда или страха, – поучала меня Серафина, – но из самоуважения. То, что мы делаем здесь, принадлежит нам. В мире мало такого, что женщины могут считать своим, но эти обряды только наши. Другие не поняли бы нас. Они увидели бы зло там, где мы видим добро. Покарали бы, уничтожили. Ты должна уважать то, что твои сестры хотят хранить как принадлежащее им. Обещаешь хранить то, что узнала, в самой глубине сердца?

И я дала обещание.

Даже теперь, когда я решилась поведать обо всем, как будто некая незримая рука протягивается из прошлого, чтобы запечатать мои уста и напомнить о клятве молчания. Но по правде говоря, остается много такого, о чем я не могла бы сказать, даже если бы хотела, ибо с наступлением ночи вещи странным образом теряют реальность, я погружаюсь в полубоморочное состояние, мысли расплываются. Я помню пляски и безудержную радость; они ели и смеялись, и подобной непринужденности и веселости мне не доводилось видеть у женщин. Прежде чем ночь кончилась, каждая подошла ко мне, чтобы обнять и заверить в своей любви; многие что-нибудь дарили мне в знак нашего сестринства, большей частью простые вещицы, которые, однако, были мне дороже золота или бриллиантов. Когда меня отвели в спальню, искупали и приготовили ко сну, я чувствовала такую легкость, словно в любой момент, стоит только пожелать, могу взлететь над деревьями, обнять луну и звезды. И не могла сказать, что было на деле, а что мне пригрезилось.

Наутро и в последующие несколько дней я чувствовала необычайный подъем, блаженное состояние, и хотелось, чтобы оно длилось бесконечно. Такое ощущение, будто меня вымыли не только снаружи, но и внутри или, скорее, отшлифовали до алмазного сияния. Будто я обрела ясность и прозрачность хрусталя. И еще на душе у меня царил покой, за что я была несказанно благодарна. Словно я стояла перед воротами, не зная, что найду за ними, и страшась этого, и вот я вошла в них, и оказалось, что бояться было нечего. Меня там встретили сестры.

И было еще одно, самое ценное. Впервые с тех пор, как она удочерила меня, эта женщина, к которой я относилась как к холодной и царственной баронессе, стала мне – так я считаю, и это не просто слова, – подлинной матерью. Между нами еще сохранялось различие, которое требовало от меня почтительности. Но в глубине своей мы были равны, и

я знала, что это наше равенство перерастет в нечто, что свяжет нас крепче всего. Я знала: она желала этого так же сильно, как я. Нас связала общая кровь, не как мать с дочерью, но как женщину с женщиной.

Я достигла совершеннолетия.

Две реки

Есть среди холмов Буа де Бати место не более чем в полулиге от крепостных стен Женева, где реки Арвэ и Рона сливаются и дальше текут вместе. Однажды отец повез меня полюбоваться этим удивительным зрелищем. Сойдясь, воды двух рек еще несколько сот ярдов бегут рядом – печально-серые воды Арвэ и королевской синевы воды Роны, – бегут бок о бок, словно могут вечно течь вот так, не соединяясь, по общему руслу. Но потом исподволь, мягко, они сливаются в единый поток – полноводную Рону, которая устремляется к югу, орошая по пути плодородные земли фермеров.

Вот такой, после того как я была допущена на мистерии женщин, мне представлялась и духовная сущность Бельрива. Он был не просто величественным замком, но перекрестком времени, где сходились два великих потока жизни. Воплощением одного были труды и надежды барона. Этот могучий поток, образованный упорными стремлениями всего человечества, мчался в будущее. Отец олицетворял ум, познание, открытия, мощь революционного порыва. Зигзаг молнии, смело выбранный им для родового герба, выдавал его неистовую мечту о силе, которая может принести миру свет – или огонь, который его уничтожит. Хотя он называл эту силу Разумом, она не имела ничего общего с холодной математической точностью. Это была страсть Души, которая способна из благородных побуждений смести все, что противостояло ей. Внешне, для всего мира, Бельрив был домом отца. Здесь устраивались грандиозные суаре и пышные приемы, на которые съезжались лорды, блестящие дамы и литераторы. Таким он виделся тем, кому выпадала счастливая возможность толпиться на его бархатистых лужайках, любоваться сиянием люстр в его окнах и скоплением гостей в залах. Но теперь я знала свой дом куда лучше. Даже когда замок снизу доверху заливал свет люстр, он был лишь крохотной точкой света среди бескрайней ночи и безмолвия. Отцовский остров Просвещения был окружен темными лесами и таинственными полянами, существовавшими там изначально, более древними, чем даже кости тех королей варваров, на которых он стоял. Эта окружающая тьма была вторым Бельривом – Бельривом матушки, рекою, что текла из глубин земли, неся в себе память о первобытной жизни. Отец держал путь вперед, ведя корабль цивилизации к неведомым континентам. Матушка была хранительницей древних источников. Только эти двое вместе, ищущий поток и река памяти, составляли настоящий Бельрив.

Временами у меня возникало искушение назвать один поток всецело мужским, другой женским. Но это было не так. Ибо вновь и вновь я на себе испытывала отцовскую доброту и нежность. И даже более того, замечала в матушке присутствие мужского остроумия. Ее интеллект был как талант ума; но он сглаживался тем, другим потоком, проявлявшимся в ней в виде сердечной привязанности. Как мне вскоре предстояло узнать, это равновесие, как свойство характера, она хотела воспитать во мне, а еще больше в Викторе, который, часто казалось, с головой бросался в поток познания. Ее намерением было соединить обе реки в счастливом союзе. Этот свой план она начала приводить в действие почти сразу после ночи моей инициации.

Начать с того, что в последнее время барон был очень кстати занят неотложными коммерческими делами и потому месяцами отсутствовал дома. Поскольку он работал не в своей резиденции в городе, до которого было больше двух часов на лодке при попутном ветре, для меня в основном оставалось тайной, чем он занимался. Я знала, что он торгует по преимуществу золотом, которое доставлял большими партиями на кораблях в крупнейшие торговые центры Европы и далеко за ее пределы. Но я не представляла, насколько далеко, пока однажды, незадолго до своего отбытия в продолжительную поездку, он не взял Виктора

и меня с собой в контору своего банка на рю Гранд. «Франкенштейн и сын» помещался в нескольких укромных комнатах, где с дюжину чрезвычайно сосредоточенных людей сидели, уткнувшись в биржевые сводки и гроссбухи. Примечательней всего, на мой непосвященный взгляд, была огромная карта, занимавшая целую стену, на которой были проставлены числа и линиями соединены места, где барон совершал деловые операции. Впервые я увидела, как широко в мире распространилось имя нашей семьи. Ибо куда бы ни заносила барона коммерческая необходимость, это место отмечалось на карте крохотным флажком с гербом Франкенштейнов. «В июне мне нужно быть здесь... в сентябре – здесь... а в декабре – вот здесь», – говаривал барон, втыкая новые флажки в очередные города. Флажки уже покрыли всю карту Европы от Португальского королевства до равнин Московии. Одно из путешествий пронесло герб Франкенштейнов аж до самого Нила и Великих Пирамид, другое – до земель Великой Порты и сказочных городов Багдада и Самарры.

– Разве можно торговать с мусульманами? – поинтересовалась я, вспомнив лекции о Крестовых походах.

– А почему нет? – возразил он, – Золото язычников не хуже любого другого. К тому же, – добавил он лукавым шепотом, – султана надуть куда проще, чем любого банкира-христианина... включая меня самого.

Но в последнее время его интересы устремились в новом направлении: за Атлантику, на далекий запад, где американские колонии недавно подняли мятеж против Георга IV, короля Англии. Рассказывая о предстоящей поездке, он воткнул флажки в города с названиями Нью-Йорк и Бостон.

– А вокруг этих аванпостов, – заявил он, обводя рукой остальную часть континента, – дикая земля. Пустыни, горы, дикари с раскрашенными лицами. Века потребуются, чтобы принести цивилизацию в эти забытые Богом края.

– Так ли необходимо отправляться в такую дикую страну? – спросила я.

– В этот раз, дитя, я еду не из соображений коммерции. Я не ожидаю вновь увидеть золото, которое послал в Новый Свет, да у меня и нет желания возвращать его. Оно потрачено на продолжение дела месье Вольтера, а для всякого просвещенного человека это достаточное вознаграждение.

Мне это было понятно. Как матушка дала мне книгу Руссо, так барон настаивал на том, чтобы я изучала произведения Вольтера, его любимого героя. Я должна была читать «Опыт о нравах и духе народов и об основных фактах истории» и каждый вечер за обедом отчитываться о прочитанном. Барон часто встречался и беседовал с фернейским мудрецом, которого называл «выдающимся социальным философом нашего времени». И когда, за несколько лет до моего появления в Бельриве, пришло известие о смерти Вольтера, барон, который не мог сдержать слез, дал тотчас обет стать верным апостолом великого мыслителя. Насколько я понимала, храбрые колонисты, укрепившиеся на лесистых берегах Америки, восстали против Британии, защищая свои свободы; в глазах барона это был удар по тирании, который Вольтер одобрил бы. Виктор тогда рассказал мне, как барон помог восставшим отстоять свою независимость: он отправил им корабль с грузом золота, чтобы они могли купить оружие, став таким образом поборником революции. Теперь, когда восстание закончилось победой, его пригласили посетить страну, рождению которой он способствовал, дабы воздать честь его заслугам перед нею.

– А вот здесь, – продолжал барон, втыкая флажок в город с названием Филадельфия, – как раз на границе с индейцами – поверите? – живет самый блистательный после Вольтера ум нашего времени.

Виктор уже знал, кого имеет в виду отец:

– Доктор Франклин!

– Верно. А ты, дорогая, слышала о докторе Бенджамине Франклине?

Я не слыхала о таком.

– Виктор может рассказать тебе больше. Он особенно хорошо знаком с исследованиями доктора Франклина в области электричества. Этот человек укротил для нас небесный огонь,

как некий современный Прометей. Когда-нибудь мы используем исследованный им электрический ток для создания новой цивилизации. Ибо он обладает чудовищной мощностью. Кто знает, на что он еще способен? Может быть, с его помощью мы оживим наших «маленьких друзей». Представь! Новая человеческая раса, превосходящая нашу, – Переведа глаза на Виктора, барон добавил: – Что скажешь, мой мальчик, если я признаюсь: мне обещали, что я буду иметь честь встретиться с доктором Франклином?

Виктор был ошеломлен:

– Правда?

– Правда. Он выговорил мне звание почетного гражданина его страны. Я привезу тебе что-нибудь в память об этом событии. Может быть, какое-нибудь из удивительных изобретений доктора Франклина.

– Расскажи мне об электричестве, – попросила я Виктора после обеда.

– Это опасное исследование, – ответил он, важно нахмуря брови, – Чтобы проводить его, нужно быть очень смелым. Доктор Франклин мог погибнуть во время опытов с молнией.

– Значит, молния состоит из электричества?

– Конечно. Это одно и то же. Что доктор Франклин и доказал. Скоро мы сможем обращаться с ней, будто с игрушкой; будем пользоваться ею, чтобы готовить пищу и обогревать дома. Люди приручат ее, как приручили диких лошадей, и заставят работать на себя, словно раба.

– Но как вообще можно приручить такую дикую вещь, как молния?

– Сперва ее нужно заманить из небесного эфира в лейденскую банку.

– У тебя она есть?

– Самая лучшая в Женеве. Мне купил ее отец. Она способна хранить в себе бесплотное существо электричества, так что его можно изучать.

– Покажешь мне эту банку?

– Я сделаю лучше, моя дорогая. Однажды, когда станешь достаточно большой, чтобы понимать, я проведу опыт для тебя и ты собственными глазами увидишь эту великую силу.

* * *

Прошло не слишком много времени, как отец отправился в дальний путь, и в нашей жизни произошло другое изменение, которое понравилось мне еще меньше. Виктору и Эрнесту предстояло надолго уехать с матерью; меня оставляли дома. Они должны были несколько недель провести в Тонон-ле-Бенс. Однажды мы всей семьей ездили туда на воды, подобно множеству людей из всех уголков Европы. Считалось, что это полезно для здоровья, но мне там не понравилось. Не понравились сырая духота ванн и запах немоши, висевший в воздухе. Куда интересней было посещать многочисленные романтические руины, украшавшие гористые берега озера. Поговаривали, что в некоторых из них обитают призраки и, мол, даже видели живой скелет, расхаживавший по парапетах герцогского дворца, в котором мы останавливались. Но наверняка матушка собиралась в Тонон так надолго не ради водных процедур или замков с призраками. Даже Виктор не представлял, почему она хотела взять его с собой; матушка настаивала, и он повиновался. Мы расставались впервые с тех пор, как меня привезли в Бельрив.

Франсина становится моей наставницей

Я утешала себя тем, что, пока Виктор отсутствует, обо мне будет заботиться Франсина. Пожеланием матушки было, чтобы сразу после моей инициации я как можно чаще оставалась наедине с Франсиной. Мне было сказано: «Она станет твоею личной наставницей. И научит тебя тому, чему другие научить не могут».

Теперь Франсина начала приезжать в замок самостоятельно; она появлялась, когда викарий отправлялся за границу, и оставалась иногда на несколько дней. Если нам хотелось

поговорить наедине, она чаще всего уводила меня на поляну, где совершались обряды. Есть ли у меня вопросы, спрашивала она меня, на которые я хотела бы получить ответ? Еще бы, конечно есть! Вопросов была столь много, что я терялась, не зная, который предпочесть. Откуда все те женщины? Часто ли они собираются на поляне? Кто их созвал? Почему надо было раздеваться? Что означает серебряный диск? И два ножа? И что произошло со мной в конце той удивительной ночи, когда я была уверена, что летаю над деревьями?

Франсина смеялась, слыша эту лавину вопросов.

– Спрашивай по порядку! И внимательно думай над моим ответом, не торопись задавать следующий вопрос. Потому что это не уроки, к каким ты привыкла, – нет, и даже не катехизис, который ты изучаешь с пастором. Тайное знание – знание иного рода, нежели обычное. Женщины, с которыми ты познакомилась, – мудрые женщины, чье учение невозможно записать и проповедовать. И все же они обладают простейшими знаниями об обычных вещах; если б мир был хорош, тебе не потребовался бы особый наставник и нам не пришлось бы искать укромное место, чтобы говорить о нем. Но поскольку мир таков, каков есть, то, если б женщины не учили девочек, ты никогда не смогла бы узнать о том, что окружает тебя так плотно, как собственная твоя кожа.

– А Серафина мудрая? – спросила я, желая как можно больше узнать о таинственной старой женщине.

– О да. Она старейшая и мудрейшая среди нас, даже мудрее твоей матушки, которая была моим учителем.

– Никогда не видала такой птицы, как у нее.

– Алу! Никто никогда не видал такой птицы. Серафина говорит, что она с островов в южных морях, где таких птиц почитают за оракулов.

– Она правда такая древняя, как говорит Серафина?

– Вполне может быть. Она, несомненно, умное существо. Серафина постоянно с ней разговаривает, но на языке, которого никто не понимает. Я слышала, Серафина посылает птицу вперед, разведать путь, когда путешествует, и предупреждать о подстерегающих ее опасностях. Умная женщина, которая путешествует по далеким странам, подвергается большому риску.

– Как она стала такой мудрой?

– Говорят, она происходит из цыганского племени, живущего на острове Сицилия, но тайным знаниям училась во многих странах – как ее мать до нее. Женщины, которые учили ее, помнят далекое-далекое прошлое; Серафина думает, что их воспоминания простираются до древних времен, до времен фараона и Великих Пирамид. В твоих книгах не найдешь их имен; у женщин, понимаешь ли, нет истории – кроме той, что мы храним в своей памяти. Вот почему, собираясь в первое летнее полнолуние, мы повторяем имена самых великих из нас. Ты видела огромный свиток, который держала Селеста? Это, наверное, древнейший манускрипт в мире, он целиком написан женщинами и на множестве языков. В него занесены имена женщин-мудрецов; Селеста выучила их наизусть. После нее кто-то из нас сделает то же самое. Многие из поименованных там претерпели великие муки за тайные знания; они умерли как мученицы христианской церкви. Над некоторыми именами ты увидишь ломаную линию – они были сожжены живьем на костре. Под другими увидишь волнистую линию – они были утоплены. Третьи обведены кружком – они были повешены. И всех пытали и насиловали прежде, чем позволить им обрести вечный покой. Знаешь ли ты, что означает «насиловали»?

Я ответила, что не знаю.

– Это означает, что мужчина насильно, против их воли, otvorил их лоно и вошел в него, это место, которое следует почитать как врата жизни. Такое употребление мужчины нашли своему пенису – не ради наслаждения, но дабы унижать и причинять боль, будто он их оружие. Мир не жалуется женщин, пострадавших от насилия, мы же чтим их. Ибо мы кровь от их крови и горды этим. Что эти женщины дали человечеству, не поддается исчислению. Все искусства жизни произошли от них, так учит Серафина, – все, что мы знаем о себе и

ткачестве, о приготовлении пищи и питании. Тебе известно, что великий Парацельс однажды сказал: если желаете узнать о врачевании, идите к женщинам и научитесь от них? Он сам был учеником чародейки, чье имя среди неизвестных.

– Но тогда почему мудрых женщин заставляли мучиться?

Франсина зло усмехнулась.

– Это великая загадка. Что до христиан, то тут виной желание отцов церкви очистить мир от суеверия; но они сами являются авторами худших суеверий – лжи и глупостей, которые они приписывают другим. Вообрази, они, например, верят, что мы можем летать по ночам, как летучие мыши! Выдумывают подобные нелепости, а потом называют нас ведьмами.

Даже когда Франсина со всей тщательностью объяснила, как она с помощью серебряного диска притягивала в ту ночь луну, чтобы та благословила меня, или как ножи становились двумя голосами мира – голосом неба и голосом земли, я так ничего и не поняла из того, чему она пыталась меня научить.

– Здесь я тоже не понимаю, – со смехом признала она и показала на свой лоб, – Но здесь, думаю, что-то понимаю, – Она коснулась рукой груди, – Есть знание высшего мира, светлое и чистое, это знание белого ножа. И есть второе знание, которое представляет тьму и безмолвие. Это знание черного ножа. Каждое по отдельности – полуправда, но когда они вместе, одно обогащает другое, – Она вытянула вперед руки и скрестила указательные пальцы, – Вот так иногда мы приветствуем друг друга. Мы пользуемся этим знаком, находясь среди чужих. Если перед тобой наша сестра, она отвечает таким же образом. Понимаешь? Это как два скрещенных ножа. Это знак того, что и тьма важна; поэтому мы должны уметь верить в нее так же, как верим в свет. То, что происходит внутри женщины, вот здесь, когда вынашиваем ребенка, происходит во тьме. Нашему телу не нужны слова для понимания того, что оно делает.

А серебряный диск? Для чего она прикасалась им ко мне и потом целовала это место, что все это означает?

– Для того, чтобы научить тебя не стыдиться быть женщиной, не стыдиться никакой части себя. Все их должно почитать в равной степени: ум, душу, плоть – все.

– Но ты целовала меня сюда, – Я показала куда.

– Да, и это тоже. Это тоже свято. Ни один мужчина не скажет тебе такого, но это правда. Церковь, христиане внушали мне, что лоно нечисто, что его нельзя касаться, смотреть на него, говорить о нем, даже когда вдруг понадобится лечение. Я должна скрывать свое тело, будто это что-то постыдное. Так мужчины учили мою мать и мать моей матери. Те, кто жаждет обладать нашим телом – а они жаждут, все до единого, – заставляют нас стыдиться его и скрывать, как если бы мы были коварными искусительницами. Вот почему, собираясь вместе на поляне, мы снимаем одежды: показать, что больше не стыдимся, вопреки тому, что думают о нас мужчины. И чтобы напомнить себе, что мы все равны в нашем женском естестве, в нашем страдании. Природа не создала ничего такого, чего следует стыдиться. Природа, в конце концов, сама женщина; некоторые называют ее богиней.

Это было большой неожиданностью. Подобное слово встречалось мне лишь в книгах, где рассказывалось о древних временах.

– Богиня?

– А ты считаешь иначе?

– Бог – мужчина... Так меня учили. Разве есть другой бог помимо Его?

Франсина почесала лоб.

– О господи! Твоя матушка сможет лучше меня ответить на этот вопрос. Или, может быть, Серафина. Мне такие вещи не по уму. – Она рассмеялась, – Вспомни, я всего лишь жена пастора. Моя бедная голова забита пустопорожним мужниным катехизисом и его бесконечными многословными проповедями. Только и слышу: Бог, Бог, Бог! Что до меня, то я чувствую: повсюду вокруг нас существуют силы, подобные Божественной, в деревьях... и

в горах... и в благородных животных. Я не могу сказать, где кончается Бог и что в мире не Бог, а нечто иное и считается низким и отвергается. Серафина учила нас, что даже отвратительные вещи – гниющие и смердящие – следует почитать, ибо они порождают земную жизнь. Но мало кто понимает это. Это я знаю и хочу предостеречь: неразумно говорить вслух о каком-нибудь еще боге, кроме Бога, о котором кричат христиане. Христианам нравится считать, что миру не потребовалась никакая мать, чтобы родиться, только отец. Так что будь осторожней со словами. В некоторых частях мира – не в Женеве, слава богу! – за неверие в Бога-Отца приговорили бы к сожжению на костре или утоплению.

Когда мы таким образом беседовали о мире и Боге, в голове у меня царила полная неразбериха. Но были и другие предметы, вполне доступные моему пониманию. Лишь теперь, учась у Франсины, я наконец поняла, как мало знала о своем теле! Хотя каждый день, глядя на себя в зеркало, я видела все более явственные перемены, я понятия не имела, почему это происходит.

– Отчего женщина так меняется? – спрашивала я и краснела, стыдясь своего невежества.

– Нет, не в пример другим девочкам, ты не настолько невежественна, – успокаивала меня Франсина, которую забавляло мое замешательство, – Твоя цыганская мать брала тебя с собой, чтобы ты видела, как дети появляются на свет. Ты не осознаешь, какая тебе выпала удача. Можешь поверить, что есть женщины, которым не позволяли видеть подобное – из страха, что они слишком чувствительны? Им приходилось ждать, пока самим не наступало время рожать.

– Неужели?

– Конечно. Я сама была такой. Когда я была в твоём возрасте, мама ничего мне не рассказывала. Мне не разрешали купаться без нижней юбки. Я не знала собственного тела.

– Ты никогда не присутствовала при рождении ребенка?

– До самого последнего времени. Лишь несколько лет назад Серафина помогла мне увидеть, как одна из ее женщин разрешалась от бремени.

К тому времени я знала, что Серафина была повитухой, как моя приемная мать Розина; она принимала роды у многих дам округа; она помогала появиться на свет Виктору и Эрнесту. Теперь, слишком слабая для этого занятия, она посылала вместо себя повитух, обученных ею, и часто разрешала женщинам из тайного общества наблюдать за родами.

– Что еще хуже, – продолжала Франсина, – девочки не должны были знать, как дети попадают в них, – из-за боязни, что это их потрясет.

– А как они попадают? – спросила я, поскольку даже Розина никогда мне об этом ничего не говорила.

– Да очень просто! – засмеялась Франсина, – Тем не менее нас воспитывают так, что это кажется нам тайной из тайн.

И с беспечным видом принялась просвещать меня; но когда она дошла до роли отца в появлении ребенка, я, несмотря на данное Виктору обещание держать все в секрете, не смогла удержаться.

– А я видела мальчика в таком состоянии, – выпалила я чуть ли не самодовольно. – И даже... трогала это у него.

– Вот как! Об этом мы должны поговорить подробнее, – посерьезнела Франсина. Ибо она поняла, что я имею в виду Виктора, – Скажи мне, дорогая, что ты почувствуешь, если однажды утром проснешься и обнаружишь, что у тебя ребенок вот здесь, в твоём девичьем теле? – Она положила руку мне на живот.

От одной мысли об этом я пришла в ужас.

– Во *мне*? Откуда, как?

– Подумай о том, что я рассказала тебе. Все, что сейчас происходит с твоим телом, готовит тебя к этому, еще такую юную. Ты часто остаешься наедине с Виктором, да? В замке и здесь, в лесу? Или нет?

– Да.

– Виктор может стать отцом этого ребенка – если ты позволишь. Это может походить на игру. Простую детскую игру. Но последствия будут куда серьезней. Многие девочки в окрестных деревнях обнаруживают, что беременны; некоторые не представляют, что с ними, пока не приходит время рожать. Я знаю это по своим поездкам с Шарлем. Бедные девочки и не собирались становиться матерями, но неожиданно оказывались перед фактом – а некоторые даже были еще недостаточно сильными и неспособны на такое напряжение. Какую цену платят женщины за свое невежество! Никогда не верь, что мужчина способен владеть собой. В них сидит зверь; и чем больше они отрицают это и притворяются добродетельными, тем меньше им можно доверять. Излюбленный прием подобных лицемерных мужчин – проявлять свою фальшивейшую сущность только по отношению к женщинам, которых потом могут растоптать.

Сказанное Франсиной вызвало во мне отвращение и страх. Этого я желала меньше всего. Хотя я внимательно слушала ее, лишь единственная мысль – что я могу стать матерью! – помогла мне наконец понять ужасающий смысл всего ею сказанного.

– Но что же мне делать? – спросила я, будто мне грозила непосредственная опасность забеременеть.

Франсина обняла меня и весело ответила:

– Не допускать таких вещей, детка!

– А если я не смогу заставить Виктора понять, что не надо этого делать?

– Он все поймет, будь уверена. Ему рассказали все, что знаешь и ты. А он разумный мальчик.

Но то, каким я увидела Виктора, говорило не столько о его разумности, сколько о неистовости, и я сомневалась, что смогу умерить его пыл. Слишком он был быстр и смел. Франсина заметила мое беспокойство.

– Конечно же, в таких делах одного знания недостаточно. Вот поэтому ты и Виктор должны помочь друг другу быть осмотрительными.

После этого разговора я впервые стала бояться того, что вырасту и превращусь во взрослую женщину. Он породил во мне желание избегать Виктора, чья пылкость теперь неожиданно показалась мне угрожающей. Когда в очередной раз мы с Франсиной уединились на поляне и я призналась ей в своих тревогах, она отнеслась ко мне с необыкновенной заботливостью.

– О, я вовсе не хотела тебя пугать. Совсем наоборот. Это приносит такую радость, – Потом, посмотрев мне в глаза, спросила: – Ты веришь, что я тебе настоящий друг, Элизабет?

– Верю, – не колеблясь, ответила я.

– Тогда пойми, все это я делаю из чувства дружбы, и только. Иногда нужно дать нашему телу говорить самому; думаю, оно наш лучший учитель. Сейчас я тебе покажу.

Она встала и принялась сбрасывать с себя одежду.

– Ну что же ты, присоединяйся, – (Я последовала ее примеру.) – Мне надо научить тебя очень простой вещи, – говорила Франсина, – всего лишь понимать свое тело. Кто еще это делает?

Когда одежды на нас не осталось, я не могла отвести глаз от тела Франсины, разглядывая его с завистливым восхищением: она была сложена как богини на картинах. И я не могла не сравнивать ее налитое округлое тело со своим, худым и неоформившемся.

– Ты такая красивая, Франсина, – сказала я, – Хотелось бы мне когда-нибудь быть похожей на тебя.

Франсина рассмеялась с легкой горечью.

– Женщины так часто гордятся своей внешностью – словно это их заслуга. А она дана нам – и ты, надеюсь, это усвоишь, – чтобы породить тщеславие и разделить нас, красавиц и невзрачных. Со временем все женщины, даже самые прекрасные, теряют красоту плоти. Значит ли это, что мы должны жить в постоянном страхе? Но все же благодарю тебя, дорогая. Теперь слушай внимательно. – Она поискала в сумке и достала крохотное зеркальце, – Теперь представь, что я твоя няня и учу тебя ухаживать за своим телом.

Она заставила меня широко раздвинуть бедра и поднесла зеркальце так, чтобы я могла видеть свое лоно, как не видела прежде. Вместе мы разглядывали это укромное место. Франсина, касаясь пальцем там и здесь, называла различные его части; меня страшно смутило бы подобное исследование, если бы Франсина не делала этого с видом учительницы, будто у нас был урок географии! Однако это было мое тело, которое я изучала, словно неведомую землю.

– Знаешь, что тут у тебя? – спросила она и положила палец на нежную выпуклость впереди. Потом принялась легко поглаживать ее, пока по моим бедрам не пробежала знакомая дрожь.

– Да, – призналась я. – Иногда я трогала себя тут.

– И было приятно?

– Да... но я думала, что, наверно, не должна этого делать.

– Да? Кто сказал тебе это?

– Прежняя мать, Розина... до того, как я приехала сюда. Как-то она увидела, что я трогаю себя там, когда меня купали. Она схватила меня за руку и сказала, что этого делать нельзя.

– А она объяснила, почему нельзя?

– Сказала, что если буду этим заниматься, по лицу пойдут прыщи и все будут считать меня дурнушкой. А еще сказала, что мужчины станут презирать меня и не захотят за мной ухаживать.

– Глупости! – воскликнула Франсина со смехом. – Есть же еще женщины, которые верят в такое! Я тебе покажу, для чего это существует.

И, став против меня, показала несколько способов ласкать то, что ей нравилось называть жемчужиной, потому что это и впрямь пряталось, как жемчужина в складках устрицы.

В тот день я впервые получила предельное наслаждение от своего тела, не испытывая ни стыда, ни страха. Узнала, какие позы принимать и как дышать, чтобы ощущения были острее, и способы почти бесконечно продлевать наслаждение. Франсина дала мне масло, которое, казалось, еще больше повышало возбуждение, и горький ликер, нескольких капель которого хватило, чтобы надолго погрузиться в блаженное состояние... не могу сказать, сколько оно длилось. Наслаждение стало менее острым, зато ярче были картины, чудившиеся мне.

– О чем ты думаешь? – поинтересовалась Франсина, когда в голове у меня несколько прояснилось.

Поколебавшись, я ответила:

– О Викторе... Я представляла, что это он ласкает меня.

– Когда-нибудь такое произойдет, если научишь его.

– А это хорошо – если мужчина будет трогать меня, как ты?

Франсина улыбнулась, однако сквозь ее улыбку сквозила грусть.

– Не просто хорошо; это чудесно, восхитительно. Но некоторых мужчин это не интересует. Увы, у них странное представление о женщинах, даже о собственных женах. Они думают, мы годимся лишь на то, чтобы рожать детей, что любовь не приносит нам наслаждения, – иначе бы не вынуждали нас так поступать. Вот почему... иногда женщины ласкают друг друга – как я тебя сегодня.

– А может, это нехорошо, когда женщины делают это?

– Думаешь, то, что мы делали, нехорошо?

– Нет...

– Я была уверена, что ты так не думаешь, иначе воздержалась бы. Я верю: то, что женщины делают из любви и душевной доброты, желая доставить друг другу удовольствие, не может быть дурно. Но еще раз предупреждаю: есть люди, которые не одобряют подобных вещей. Они назвали бы их противоестественными. Однако, если женщина живет без любви, с ощущением стыда и отчаяния и не ведает, какой источник наслаждения скрывается в ее

теле, – это, по их мнению, «естественно».

– Можно мне научить Виктора тому, чему ты научила меня?

– Ах! Не в моей воле что-либо разрешать или запрещать. Ты должна спросить леди Каролину. У нее наверняка собственные планы, в которые она посвятит тебя в свое время. Но умоляю, пока она сама не заговорит с тобой, будь осторожна, дорогая.

В последующие дни Франсина научила меня многому другому. Она рассказала о полном цикле женского года, каждый сезон которого отмечался новолунием. Научила обрядам и песнопениям тайного общества, а также смыслу символов и предметов, использовавшихся в наших церемониях; рассказала о мудрых женщинах прошлого, многие из которых подвергались травле и преследованиям за свои верования; открыла мне секреты целебных трав, умеряющих боль, которою сопровождаются месячные. И вновь и вновь предупреждала, чтобы я была осторожной и выбирала, что и кому говорить.

– Мы не открываем никому наши тайны не потому, что стыдимся их, но из предосторожности, – сказала она. Особенно мне следовало остерегаться говорить о наших собраниях мужчинам, из которых мало кто способен понять нас.

– А барон знает о том, что происходит на этой поляне? – спросила я.

– Барон человек проницательный. Не могу представить, чтобы он не догадывался о делах своей жены. Несомненно, он знает о ее картинах, хотя не признается в этом.

– Тогда он, может быть, одобряет то, чем занимается матушка?

Франсина мягко улыбнулась.

– Барон человек Нового времени. Как месье Вольтер, он за свободу даже для тех, чьи верования презирает. Кроме того, он всем сердцем любит леди Каролину. Она единственная женщина, какую он знал за всю жизнь; он буквально преклоняется перед ней. Думаю, он позволит ей все, чего она ни захочет. Слышала выражение «закрывать глаза на что-то»? Именно это он предпочел. Как многие мужчины в округе, которые знают, чем занимаются их жены. Конечно, есть мужчины, от которых надо держать в тайне наши собрания. Как в моем случае. Шарль никогда не потерпел бы подобного богохульства. Потому предупреждаю тебя! Ты уже не дитя, Элизабет. Надеюсь, ты умеешь держать язык за зубами.

Ее слова обеспокоили меня, потому что был один мужчина, который многое знал о нас. Встречаясь с Франсиной, я каждый раз чувствовала себя все более виноватой, оттого что не сказала ей об этом. Наконец, не в силах дольше молчать, я объявила:

– Виктор знает об этом месте. Он приводил меня сюда, подсматривать... за тобой. Возможно, он увидел и другие вещи.

Франсина задумалась, но не выказала ни удивления, ни досады. Наконец со смущенным видом призналась:

– Я знаю об этом. Это было желание леди Каролины, чтобы Виктор иногда наблюдал за тем, что мы делаем здесь. Она рассказала ему о поляне, – И торопливо добавила: – Но даже наши сестры не знают об этом. И ты должна молчать.

То, что я услышала, поразило меня.

– Но почему она позволила Виктору подсматривать?

Франсина ответила, с великой осторожностью подбирая слова; я видела, как нелегко ей говорить об этом.

– Она хочет, чтобы Виктор знал тайны женщин; это, говорит она, служит его просвещению. Ты должна понять, дорогая, что Виктор очень дорог ей. Много из того, что она делает, делается ради него. Я не преувеличу, если скажу, что в нем вся ее жизнь.

– И тебя не беспокоит, что он наблюдает за всем, что вы делаете здесь?

Она взволнованно ответила:

– Беспокоит. Но не потому, что считаю постыдным то, чем мы тут занимаемся, пойми. Тем не менее я вовсе не одобряю того, что Виктор наблюдает за нами. Я лишь хочу сказать, что доверяю леди Каролине. У нее на это свои причины. Как тебе известно, она последовательница месье Руссо, который учит не ограничивать любопытство молодежи.

Франсина видела, как я силилась понять книгу, которую дала мне матушка. Я одолела

не больше половины, но, конечно, так и не увидела в авторе «Эмиля» обещанной гениальности. Больше того, обнаружила глупые вещи. Руссо считал, что девочки не созданы для бега и не должны даже пытаться это делать! Уж я-то знала, что утверждать подобное нелепо, поскольку была прекрасной бегуньей.

– Леди Каролина говорит, что Виктор – это Эмиль, – сказала я Франсине.

– Ей хотелось бы, чтобы так оно и было. Она пытается воспитывать его в согласии с Природой, как советует месье Руссо.

– И что это значит?

Франсина смущенно рассмеялась, но в ее смехе было больше досады, чем веселья.

– То, что ему позволено делать все, что хочется!

– Так ты не одобряешь то, чему учит Руссо?

Франсина стиснула пальцами виски, словно у нее разболелась голова.

– «Учит». Он *учит*. Понимаешь, опять слова. Жалкие слова! Порой мне кажется, что от них одни неприятности. Неужели нет иного способа учить, как только посредством слов? У месье Руссо голова забита словами. Но своих детей он бросил, поместил в приют. Не думаю, что слова вообще способны повлиять на нашу истинную природу.

Последовало долгое молчание. Наконец я спросила:

– Ты не любишь Виктора?

Она ответила с явной осторожностью:

– Я скажу тебе кое-что, хотя леди Каролина, наверно, предпочла бы, чтобы я не говорила об этом. До того как ты стала членом ее семьи, она надеялась, что я стану Виктору близкой подругой, чем-то вроде сестры. Я не вполне представляю, чего она намеревалась этим добиться. Я уже говорила, леди Каролина что-то задумала; мне в ее замысле была отведена определенная роль. Но теперь, когда у него есть настоящая сестра, она отстранила меня от участия в ее планах. Признаюсь, я этому рада. Хотя, конечно, Виктор юноша одаренный и очень красивый, – Она отвернулась, чтобы скрыть краску смущения. – Я мечтала, каким он станет всего через несколько лет – прекраснейшим из мужчин. Представляла, что он не устоит передо мной и будет моим любовником. Ну вот, проболталась! Я говорю это по секрету, как сестре. Но он оказался стойким. Стойким... и еще странно холодным. *Идеи* для него, похоже, такие живые, – сказала она и добавила с насмешливой улыбкой: – Я почти убеждена, что он вожделеет к ним, как другие мужчины вожделеют к женщине. Это меня озадачивает. Я знаю, леди Каролина хотела бы, чтобы ты любила Виктора как родного брата. И это правильно, но будь осторожна. Не торопи событий, не совершай необдуманных поступков. Это может быть трудным, но обещай мне.

И я дала обещание.

Под руководством Франсины я усвоила все, что нужно знать новичку, и стала таким же полноправным членом тайного сообщества, как другие девочки, мои ровесницы. Тем не менее мне не приходило в голову смотреть на себя как на ведьму. Мне всегда казалось, что ведьмы – это особенные женщины, с которыми меня нельзя и сравнивать, – мудрые древние старухи. И потому себя так не называла. Я совершенно искренне считала себя младшей сестрой женщин, что стояли рядом со мной во время наших обрядов, не более того. Их радостное настроение передавалось мне, рождая чувство сопричастности; подобно им, я давала выход восторгу в песнях, танцах, веселье. А возбуждение, которое я испытывала вместе со всеми, когда наши радения достигали апогея, могло граничить с беспамятством. О чем я не подозревала в своей полудетской вере, так это о том, что пребывание в компании этих женщин может запятнать меня в глазах других. Ибо насколько терпимым было женевское общество, настолько трудно было встретить дружелюбные отношения здесь (как, несомненно, и среди людей в церкви), среди этих буйных женщин, которые выдумали себе новую веру и скрывали ее.

Не сделала ли, думаю я теперь иногда, моя матушка ошибку, вовлекая меня в это тайное сообщество прежде, чем я осознала опасность, которую оно могло представлять для меня? Знаю, она желала мне добра, надеясь, что тайное знание придаст мне смелости и

гордости. Так и произошло. Но это было не единственной ее целью. Был у нее и другой, более скрытый мотив, влекший ее вперед, подобно морскому приливу. Дело было в Викторе – и по этой причине, если бы что случилось, думаю, она палец о палец не Ударила бы ради моей безопасности, ибо материнская любовь заглушила бы в ней голос совести.

Примечание редактора

Следы мистерий плодородия в сельских местностях Европы

Описание Элизабет Франкенштейн тайных обрядов, совершавшихся женщинами в лесах вокруг Женевы, самым неожиданным образом проливает свет на некоторые страницы ее воспоминаний. При первом чтении я не мог не задаться вопросом: не рождены ли они воспаленным воображением? Большая часть свидетельств автора «Воспоминаний», в конце концов, представляет собой дикую мешанину картин, если не просто видений. В поисках дополнительных сведений я обратился к недавно появившемуся труду сэра Генри Монмаута «Суеверия, распространенные среди сельских жителей Европы конца семнадцатого столетия». В нем мы найдем многочисленные описания точно таких же атавистических практик, уцелевших до нашего времени, отдельные из которых он имел возможность наблюдать лично. По его мнению, мы имеем здесь дело с последними, слабыми отголосками празднеств плодородия, восходящих к дохристианской эре. В те далекие времена, когда даже лучшие умы не понимали действия законов природы, было обычным предполагать, что урожай злаков и плодovitость скота зависят от повторяемости обрядов, посвященных мифическим божествам природы. Там, где цивилизация больше отставала от современного мира, подобным практикам иногда удавалось дожить до нашего времени. Несомненно, ритуалы, которые описывает Элизабет Франкенштейн, давным-давно были определены как связанные с дьяволом и, как дьявольские, преследовались в менее просвещенные времена. Но более разборчивый современный ум видит здесь всего лишь прискорбный намек на убожество человеческого здравомыслия, факт скорее трагический, нежели преступный.

Наблюдения, подобные сделанным сэром Генри, неизменно ограничивались сельскими районами и крестьянским населением Южной и Восточной Европы. Мемуары же Элизабет уникальны тем, что позволяют предположить интерес к этим тайным обрядам у женщин всех сословий, включая знатных и образованных дам. Роль, приписываемая здесь баронессе Франкенштейн, особенно поразительна, ибо она, видимо, была жрицей культа и в этом своем качестве отвечала за вербовку – можно сказать, буквально «совращение» – молодых женщин города, включая собственную приемную дочь, в тайное общество. Но тут имеет значение один факт. В отрыве от далеких сельских областей Европы, что у этого культа остается от «плодородия», основной его социальной функции? Лишь единственное – вульгарная пародия на первоначальную задачу, женская сексуальная распущенность.

По ее собственному признанию, Элизабет Франкенштейн постоянно предавалась эротическим фантазиям; но можем ли мы по здравом рассуждении поверить, что группа в несколько десятков женщин страдала той же патологической склонностью? Не увидь я результатов увлечения баронессой Франкенштейн живописью, свидетельствующих о ее нездоровых пристрастиях, я мог бы подумать, что Элизабет воспользовалась случаем, чтобы по неведомым причинам опорочить в воспоминаниях свою мать. Но даже если бы мы пришли к заключению, что леди Каролина разделяла с Элизабет ее манию – а вероятно, и способствовала ее зарождению, – как далеко за пределами одинокого замка могли бы мы искать отголоски похотливости двух женщин?

Этот вопрос продолжал преследовать меня, пока я работал над «Воспоминаниями» Элизабет. Поэтому летом 1834 года, хотя и будучи не вполне здоров, я предпринял стоившую мне чрезвычайных усилий поездку, чтобы продвинуться в своих изысканиях. Я решил посетить Женеву и попытаться найти следы участниц ритуалов, о которых упоминала Элизабет Франкенштейн. Я не нашел ничего лучше, чем обратиться за помощью к тамошним церковным властям. Пастор собора Сен-Пьер, месье Антуан Лаватер, неожиданно изъявил

готовность побеседовать со мной на эту тему. Он испытывал что-то вроде научного интереса к данному периоду и потому встретил меня с особым радушием.

Как ни старался я, чтобы мои вопросы звучали по возможности академично и обтекаемо – я не упоминал ни о Элизабет Франкенштейн, ни о ее мемуарах, источнике моей осведомленности, – пастор мгновенно понял, какие ритуальные практики я описываю. Он поведал о культе, существование которого было раскрыто при его предшественнике. Больше того, за принадлежность к этой секте была осуждена жена одного из молодых пасторов конгрегации – Шарля Дюпена. Он забыл имя той женщины, но мадам Лаватер, присутствовавшая при разговоре и принявшая в нем живейшее участие, припомнила, что ее звали Франсиной. Не известно ли ей что-нибудь о дальнейшей судьбе Франсины? Только то, что муж отрекся от нее, а позже ему удалось добиться, чтобы их брак признали недействительным.

Пастор Лаватер, будучи необыкновенно просвещенным человеком, не соглашался ни с одним мнением, которое приписывало дьявольский характер тем женским сборищам.

– Ведьмовство, – признал он, – это пережиток древних суеверий. Благодарение Богу, мы больше не видим ничего дьявольского в подобных делах!

Но он был весьма озабочен сексуальной распущенностью, которой сопровождаются подобные культы; это, чувствовал он, бесспорно, оказывает развращающее влияние. Особенно потому, что жертвами становятся женщины общины, эти культы подрывают самую основу семейной жизни и по этой причине должны быть искоренены. Есть ли у него, осведомился я, какие-либо основания полагать, что подобные практики уцелели до наших дней? Чуть ли не с негодованием он ответил, что может уверенно подтвердить: подобных сект в Во не осталось, а в этом кантоне, напомнил он, главенствуют культурные традиции франкоязычной Швейцарии. Что до других кантонов... ну, это другое дело.

– Швейцарских немцев, как вы знаете, притягивает варварское. Итальянцы, – дипломатично кхекнув, добавил он, – безнадёжны, когда нужно держать жен в руках. Думаю, редкая итальянка не ведьма. Им от рожденья присущ *malocchio*¹.

В отличие от дружелюбно откровенного викария главный синдик города, некий Франсуа Ребюфа, оказался очень раздражителен и груб. Я заранее послал ему письменную просьбу назначить мне встречу; но если бы его жена сама не открыла мне дверь и не проводила меня в покои, я решил бы, что мне отказано в приеме. Я лишь на шаг продвинулся в своих расспросах о баронессе Франкенштейн и Франсине Дюпен, когда почувствовал, что между синдиком и мною опустилось нечто вроде стены из льда. Я заключил было, что причина имеет политический характер; его семья, как я узнал, очень пострадала в общественных катаклизмах при предыдущем поколении; видимо, он до некоторой степени возлагал на Франкенштейнов ответственность за гонения, которым подверглись его предки. Исторические связи с савоярами, чувствовал он, ставили под серьезное сомнение верность Франкенштейнов городу. Особое раздражение синдика вызвало то, с какой гордостью барон продолжал носить свой титул: «Только чужак-савояр будет похвастаться баронским титулом». Понятно, что теперь он смотрел на события той эпохи с позиций реакционера. Уж не затронул ли я своими расспросами, гадал я, тему, слишком для него болезненную? Но вскоре заметил, что его раздражение имеет личный характер. Наконец он сам открыл причину.

– Надеюсь, сэр, что целью сих ваших изысканий не является дальнейшее очернение репутации нашего города.

– Очернение? Но, сэр, я никогда не совершал ничего подобного.

– Но это уже случилось. Многие женевцы не приветствовали публикацию ваших бесед с Виктором Франкенштейном. Мы бы предпочли, чтобы все до единого забыли об этом чудовищном отклонении в истории нашего города. Вы же вместо этого увековечили имя этого человека. Безумные ученые! Монстры! Наши богобоязненные, уважаемые граждане не желают, чтобы их связывали с ними.

¹ Дурной глаз (ит.).

Хотя я искренне просил извинить меня за возможный ущерб репутации женевцев и уверил, что такого не было в моих намерениях, смягчить синдика не удалось.

– Вам следует знать, сэр Роберт, что многие из нас рассматривают изданную вами историю всецело как порождение нездоровой фантазии. Чьей фантазии, вашей или доктора Франкенштейна, я не мог ясно решить до этого момента. Но теперь, когда вы явились расспросить меня о ведьмах... ведьмах!

На этом наша беседа и закончилась, возмущенный синдик покинул комнату, предоставив обескураженной жене самой выходить из неловкой ситуации. Добрая женщина принесла искренние извинения за поведение мужа, объяснив, что Франкенштейны и Ребюфа враждуют уже много поколений.

– Барон Франкенштейн, несмотря на титул, который он пожелал носить, – либерал, много содействовавший тем политическим процессам, в результате которых семья мужа сильно пострадала во время волнений. Воспоминания об этом до сих пор кровоточат.

Не могла бы она, спросил я у дверей, чем-нибудь помочь мне в моих поисках? Она уверила, что не может.

– Женщины, которых вы пытаетесь найти, давным-давно изгнаны из нашего города. Мало кто захочет говорить с вами о них – по понятным причинам. Советую вам оставить свои замыслы, пока вы не привлекли к себе более опасного внимания.

Вопреки совету мадам Ребюфа я продолжил поиски, но теперь прибегая к помощи жительниц города: двух учительниц, сестры милосердия, знатной дамы... Даже останавливался поболтать с женщинами, которых встречал по дороге к виноградникам. Учтя все, что я теперь знал об этой буколической культуре, я представлялся женатым человеком, чья супруга ожидает ребенка и нуждается в помощи повитухи, каковые, как я узнал, доньше практикуют в здешних местах. Женщины, к которым меня направляли, все как одна были тоскливыми старухами, почти в точности такими, какими я представлял себе деревенских колдуний. Каждой из них я задавал один и тот же вопрос: не слыхала ли она о Франсине Дюпен или женщине по имени Серафима? Я надеялся, что эти имена помогут повернуть разговор в нужном мне направлении. И каждая уверяла меня, что слыхом о них не слыхивала.

Лишь когда я уже собрался покинуть город, я получил любопытное предложение оказать содействие моим розыскам. За день до того, как я должен был погрузиться в *diligence*¹, отправлявшийся в Базель, хозяин постоялого двора постучал в мою дверь и сообщил, что ко мне посетитель. Я спустился вниз и увидел девушку лет пятнадцати, ожидавшую меня. Чрезвычайно надменная девушка со свежим личиком и развитыми формами, не говоря ни слова, вручила мне записку. Записка содержала единственную фразу: «Если желаете больше узнать о Франсине Дюпен, следуйте за подательницей сего». Подписи не было, но почерк был явно женский; несомненно, записка была от одной из женевских дам, к которым я недавно обращался с подобной просьбой. Я полагал, что знаю, кто она, но тем не менее спросил девушку, не может ли она сказать, кто послал ее. Как я и ожидал, она не назвала имени. Просто помотала головой, развернулась и направилась к двери, будто ей было безразлично, последую я за ней или нет. За дверью нас ждали два мула. Мы уселись на них и тронулись в путь.

Дорога вела вверх по крутому лесистому склону Мон-Салэв. Девушка смотрела на меня дружелюбно, но разговорчива была не больше, чем немая. Несомненно, обещала пославшей ее хранить тайну до конца пути. А путь наш спустя час закончился на поляне, с которой открывался обширный вид на озеро и город. На востоке в синем небе знакомо сверкала вершина Ден-Данфер, а дальше едва виднелся Монблан, укутанный вечной пеленой облаков. Местность была знакома мне, я уже бывал тут, чтобы полюбоваться видом; но я никогда не углублялся так далеко в лес, куда сейчас вела меня девушка. День быстро клонился к вечеру, и на деревья опускался холодный туман, ложась на землю облачным ковром. Прошло еще четверть часа, и я вздрогнул, увидев похожую на тень фигуру, двигавшуюся среди деревьев

¹ Дилижанс (фр.).

слева от нас. Девушка повернула мула и направилась к ней. Теперь я разглядел, что это женщина, закутанная в серый плащ с капюшоном, которая ждала нас у подножия огромного ореха. Девушка остановила мула и знаком показала, что здесь мы должны спешиться. Когда мы подошли ближе, женщина продолжала стоять, отвернув от меня лицо и одной рукой натягивая на него капюшон. Я не видел ее черт, но голос сразу узнал.

– Не просите меня назвать себя, – сказала она, – Полагаю, вы понимаете почему.

Я ответил утвердительно. После чего она опустилась на колени под деревом возле заросшей могилы. Я не заметил бы камень, отмечающий место захоронения, если бы она не указала мне на него, а тем более надпись на нем, не приложи она мои пальцы к буквам.

– Вы приехали, чтобы узнать о судьбе Франсины Дюпен. Здесь покоятся останки ее земной сущности.

В гаснущем свете я едва мог различить знаки, которые нащупала моя рука, но осязание и зрение помогли мне догадаться, что изначально надпись гласила: «*Soeur Francine*»¹.

– Несчастливая, нежная душа! Она много претерпела от мужчин и Церкви. Она была вынуждена бежать из Женевы, иначе бы ее побили камнями на улицах города. О да, такая судьба могла ее настигнуть; даже в нашей стране есть нетерпимые люди, которые не могут оставить колдунью в живых. Много лет она, как пария, скрывалась в этих лесах, выживая только потому, что сестры приносили ей пищу и прятали ее. Спустя годы она стала одной из наших старейшин. Ее похоронили здесь в тысяча восемьсот девятнадцатом году после долгой, полной лишений жизни.

– Вы знали Элизабет Лавенца?

– Я была ребенком, когда она встретила смерть, и знаю о ней лишь по слухам. Среди женщин ходит молва, что ее убил злой дух. Другие говорят, что муж.

– Могу точно сказать, Виктор Франкенштейн не убивал своей жены. Вы знали его?

– Он покинул город после ее смерти. И больше не возвращался. А их семья плохо кончила. Я слышала, они были прокляты.

Поблагодарив ее, я не мог не спросить:

– Почему вы встретились здесь со мной и столько много рассказали?

– Я поверила вам на слово, что вы преследуете лишь научный интерес, ищете истину, а не порочащие Франсину выдумки. Она была моим учителем. Я хочу, чтобы о ней помнили как о достойной женщине. Мы храним свои тайны не потому, что они порочны.

С этими словами она достала из-за пазухи пакет и протянула мне. Это было что-то прямоугольное, увесистое, завернутое в замшу и туго перетянутое ремешками.

– Это доверила мне Франсина, а ей – Элизабет Лавенца перед свадьбой. Элизабет наказала ей хранить пакет до тех пор, пока она не сможет, в свою очередь, передать его на сохранение тому, кто непременно постарается сообщить миру правду о ее жизни. Знайте, я никогда не вскрывала пакет; то же самое и Франсина. Я лишь прошу с уважением отнестись к пожеланиям женщин, которые так тяжело страдали, – Когда я поклялся в этом, она добавила: – Теперь я свободна, долг мой исполнен.

Прежде чем уйти, она еще раз попросила обещать не выдавать ее тайны. После чего углубилась в лес, где, как я предположил, ее ждал мул или карета. Девушка, все еще стоявшая на коленях возле могилы, достала из кармана плаща сложенный платок и развернула его. В нем находились цветочные лепестки и щепотка сухих трав. Она разбросала все это по могиле и, склонив голову, застыла в задумчивости. Так прошло несколько мгновений, в течение которых слышался лишь голос ветра в деревьях; наконец она подняла голову, вытянула руки, скрестила указательные пальцы в знак приветствия и коснулась ими могильного камня. Я, конечно, узнал этот жест, упоминавшийся в мемуарах Элизабет. Потом она посмотрела мне в глаза с такой прямоотой, что я опешил. До этого момента она казалась скромным юным созданием, стеснявшимся даже глянуть в мою сторону. И вот неожиданно взгляд не просто откровенный, а вызывающий. Я увидел перед собой вовсе не девочку, но молодую женщину, которая выполняла миссию, требующую отваги. Я узнал это выражение;

¹ Сестра Франсина (фр.).

я уже видел его раньше, этот смелый, прямой взгляд. Но где?

И тут я понял: я будто глядел в лицо самой Элизабет Франкенштейн, какой знал ее по портрету на миниатюре, что вот уже много лет стояла на моем письменном столе. И в глазах девушки я прочел тот же вопрос, который видел в глазах Элизабет: «Могу я доверять тебе?»

Не этому ли – откровенной манере, прямоте – обучались женщины на своих лесных ритуалах? В тот миг, под пристальным взглядом девушки, я уверился, что подошел настолько близко, насколько позволяло мое внутреннее сопротивление, к пониманию малой части того, что тайное знание давало своим женщинам-адептам, – пониманию недостаточному, чтобы перебороть и крупицу моих глубоких нравственных сомнений, но, возможно, способному внести нотку сострадания. Могу лишь сказать, что, надеюсь, моя юная проводница увидела в моих глазах утвердительный ответ.

Мы вновь уселись на мулов. На обратном пути на постоянный двор не обменялись ни словом.

Это было в 1834 году. С тех пор я неизменно соблюдал обещание не раскрывать имени таинственной дамы, с которой встретился тогда на склоне Мон-Салэв; но, услышав о ее смерти не далее как в прошлом году, почувствовал себя свободным от клятвы. Поскольку это может служить лишним свидетельством правдоподобности моего рассказа, замечу здесь, что она была женой синдика, – мадам Ребюфа, это с ней я встречался. Хотя, повторю, я так и не увидел ее лица, я все же сразу узнал ее голос. Что до девушки, я почувствовал, что тут необходимо придержать свое любопытство. По сей день я не имею понятия, кто бы это мог быть.

Вернувшись вечером на постоянный двор и плотно закрыв дверь своей комнаты, я нетерпеливо развязал пакет. И что же я почувствовал в следующий миг?

Сейчас, читатель, ты это поймешь.

Вообрази ученого начала этого столетия, который посвятил свою жизнь изучению египетских древностей. И вот, вообрази, что однажды заходит капитан наполеоновской армии и кладет перед ним на стол источенный временем каменный обломок с неповторимыми, узнаваемыми знаками на поверхности. Капитан выиграл камень в карты у сослуживца. Может быть, он представляет какой-то интерес?..

А теперь вообрази, что этот ученый – Шампольон. А положили перед ним на стол Розеттский камень.

Быть может, теперь ты поймешь, как затрепетало мое сердце при виде сокровища, лежавшего передо мной. Две старинные книги, переплетенные в кожу: одна бледно-красная, с тисненой розой на переплете; другая гладкая, бледно-лилового цвета. Далее, читатель, ты увидишь, что эти тома – «Книга Розы» и «Лавандовая книга» – были не чем иным, как ключом к иероглифическим тайнам жизни Элизабет Франкенштейн.

Я знакомлюсь с «Книгой Розы»

Когда Виктор вернулся из Тонона, я прежде всего постаралась не забывать о предупреждении Франсины. Решила, что буду держаться с ним как можно холодней и по мере возможности под каким-нибудь предлогом избегать его компании. Когда они подъехали к замку, я не бросилась навстречу, чтобы горячо обнять его, но вела себя крайне сдержанно, как если б нас только что познакомили друг с другом. Я спрашивала себя, что он подумает о моем поведении? Но я могла не волноваться. К моему удивлению, Виктор после возвращения из Тонона держался еще более отстраненно, чем это получалось у меня. Словно чья-то рука задержала между нами странный завес. Я не могла понять причины столь резкой перемены, пока однажды утром матушка не позвала меня к себе.

Теперь она говорила со мной еще печальней и еще рассеянной, нежели прежде. Она будто постоянно прислушивалась к голосу, которого я не слышала и который подсказывал ей слова.

– То, что я скажу тебе, я уже сказала Виктору, – начала она, – Для этого я и увозила его.

Я взяла с него клятву, что он ни на минуту не забудет моих слов. Теперь я потребую того же от тебя. Ты и Виктор не похожи на других детей; да вы больше и не дети. Вас обоих ждет особая судьба. Я иногда уже намекала вам на это, сейчас попытаюсь объяснить, насколько могу. Видишь ту книгу на серванте? Прошу, принеси ее, – Я принесла фолиант, на который она указывала, массивный, старинный, в кожаном переплете и с золотым обрезом, – Я попрошу тебя, изучай этот труд. Я не жду, что ты поймешь все, что прочитаешь, но буду объяснять, насколько хватит моих знаний. Со временем меня сменит другой учитель, кто сведущ более моего.

Я перевернула книгу. На переплете была вытиснена прекрасная алая роза. Открыла на титульной странице. Мой взгляд приковал сверкающий красками рисунок. Он изображал двух ангелов: мальчика с красноватой кожей и огненными волосами и ослепительной красоты девочку с распущенными белокурыми кудрями почти до пят. Едва вышедшая из младенческого возраста, нагая парочка слилась в жарких объятиях, мальчик лежал на девочке, его напряженный пенис уютно устроился в ее теле. Они плавали в голубой воде; ниже был изображен зеленый луг, и из травы выглядывала голова, похожая на голову ящерицы. Над водой, раскинув крылья, парила прекрасная разноцветная птица; яркие золотые лучи расходились от нее к краям страницы.

– Прочти вот тут, – сказала матушка, проведя пальцем по надписи над рисунком. Надпись была на латинском языке, но моих знаний хватило, чтобы прочитать ее.

– «De Coniunctibus Chymicae», – сказала я.

– Можешь понять, что это значит?

– «Химическая... женитьба», так мне кажется.

– Да, обычно переводят «женитьба», – сказала матушка. – Но я предпочитаю «союз».

«Женитьба» или «союз», я все равно не представляла, что может означать эта фраза.

– Она вся на латинском? – спросила я с некоторым беспокойством, поскольку была не слишком сильна в латыни.

– Это было бы слишком большим испытанием! – засмеялась матушка. – Я приготовила для тебя перевод. Ты сможешь читать страницу за страницей на нашем родном языке.

Она достала сложенные листки, засунутые в конец книги, и развернула их. Они были покрыты французским текстом, написанным от руки.

– Вы сами это сделали? – спросила я.

– С помощью ученых, заезжавших к нам погостить.

– И я узнаю, что такое химическая женитьба?

– Рисунок, который ты видишь здесь, – это символ такой женитьбы. Мальчик и девочка обручены. Рисунок изображает их союз; но ты должна понять это правильно. Их союз – непорочный; вот почему они изображены сущими детьми. Тебе понятно, что значит «непорочный»?

Я покачала головой.

– Непорочность – обязательная вещь для молодых, особенно для молодых и красивых. Я открою тебе секрет. Непорочность – великое чудо, но только если жаждешь ее так же сильно, как другие жаждут любовных наслаждений. Я понимаю, то, чего я прошу от тебя, трудно выполнить; но это необходимо, – Она надолго замолчала, словно поджидая идущие издалека нужные слова, – Мне известно, что у вас с Виктором есть привычка вместе купаться в горном озере. Скажи мне, тебе не хватало этого в последние несколько месяцев, когда Виктора не было? Скажи чистосердечно.

– Да, немного не хватало... иногда.

– Тебе нравится быть с Виктором обнаженной?

– Да... немного...

Она понимающе улыбнулась.

– Думаю, ты скромничаешь. Не стесняйся, мне ты можешь сказать.

– Очень нравится.

– У тебя никогда не возникало чувства опасения, когда ты бывала нагишом наедине с

Виктором?

По привычке, оставшейся с детства, я порывисто ответила: «Нет!» Выпала прежде, чем успела покраснеть или начать заикаться. Это был мой способ говорить неправду.

– Ты не удивишься, узнав, что Виктору тоже не хватало игр с тобой. Это чувство, от которого вам хочется быть вместе нагишом, имеет название. Знаешь, как оно называется?

Я не представляла, о чем она спрашивает. Перебирала слова, приходившие в голову, но ни одно не годилось.

– Нам потребуется найти правильные слова для множества вещей. Например, для этого чувства: одни могут назвать его желанием, другие – похотью. Пастор Дюпен непременно назвал бы его похотью. Прямо видишь, какую отвратительную, угрюмую физиономию он скорчит при этом, правда?! А знает ли он, почему мы созданы способными на такое чувство? Он мог бы ответить, что это козни дьявола. Христиане горазды приписывать все, что их пугает, дьяволу. Почему, думаешь, они боятся плотских наслаждений? Как показал Руссо, причина ясна: они боятся тела, потому что их неправильно воспитали. Они перестали верить в невинность детей. Но в этом, как во всем остальном, мы должны следовать Природе. Этому учит нас великий философ. Предположим, мы говорим об этом желании как о голоде, своеобразном голоде. Ибо голод естественная вещь. Но голод по чему? Да, по наслаждению. Какому наслаждению? Наслаждению видеть? Прикасаться? Когда наш желудок испытывает чувство голода, мы выбираем среди многого, что способно утолить его; и каким бы сильным ни было это чувство, мы не станем есть что-то отвратительное. А этот голод, который мы называем страстью, чего он действительно жаждет? Можем ли мы быть уверены, что знаем? Многим известен лишь один род пищи, который их насыщает. Ты и Виктор узнаете, что есть нечто другое, что способно утолить этот голод и что он предпочитает. Дьявол не в аппетите, а в том, чем его утоляешь. Меж тем, боюсь, в вас пробуждается обоюдное желание. Я хочу, чтобы на время твои отношения с Виктором стали, строго говоря, невинными. Даже попрошу вас относиться друг к другу, словно вы чужие – по-дружески, конечно, и все-таки сдержанней. И не только в физическом смысле. Я бы хотела от вас сдержанности даже в мыслях. Верьте мне, когда я говорю, что это для вашего же блага. Тебе суждено стать землей для его неба. – Она странно посмотрела на меня и добавила: – Вижу, ты не понимаешь. Но ты веришь мне?

Я заявила, что верю.

– А Виктор читал эту книгу?

– Для этого мы и уезжали в Тонон. Там он прочитал ее от первой до последней страницы, под моим руководством и очень внимательно. И не только эту книгу, другие тоже, которые мы привезли обратно. Я хотела, чтобы он изучил их как можно тщательней; поэтому мы уехали, чтобы ничто его не отвлекало. Со временем он поделится с тобой усвоенным. Всему, чему я научила его, он научит тебя. Ваш союз начинается с этих книг и уходит в далекое будущее. Дорогая моя Элизабет, я уже кое-что рассказывала тебе о своем детстве. Сейчас расскажу больше. Когда мне было столько же лет, как тебе, и я была сиделкой при больном отце и жила в нищете, мне несказанно повезло обрести благодетеля. Нет, я говорю не о бароне. До того как он появился в моей жизни, был другой человек, женщина. Она услышала о моем тяжелом положении. Она сама была бедна и поэтому могла помочь лишь малым, однако это позволяло мне и несчастному моему отцу как-то продержаться. В другом отношении она была бесконечно богата, намного богаче барона. Она раскрыла предо мною сокровища своего ума. Пусть я была нищим ребенком, но она увидела во мне то же, что позже я увидела в тебе: ищущую душу. Она научила меня тому, чему я теперь смогу научить Виктора, – спагирическому¹ искусству, или, по крайней мере, какой-то его части. Тебе это слово незнакомо, как многим другим. Оно отсылает нас к мудрости мастеров алхимии, с которой ты познакомишься в этой книге. Моя благодетельница тоже давала мне книги – эту в том числе. Говорю тебе, я отдала бы последний кусок хлеба в обмен на то, что она принесла в мою жизнь: необозримый мир.

¹ То есть искусству химии (лат.). Вышедшее из употребления название алхимии, приписываемое Парацельсу.

Годами я постигала знания, насколько позволяли мои слабые силы. Но наступает момент, когда возникает потребность в другом человеке – спутнике жизни. Бог создал нас мужчинами и женщинами. Есть глубокий смысл в том, что лишь немногие получают привилегию учиться. Моя обязанность, – внушала она мне, – передать полученные мною знания сыну и дочери, которые извлекут из них пользу. Ты и Виктор и есть эти сын и дочь. Я готова передать их тебе. Догадываешься, кто была та благодетельница?

Я призналась, что не знаю.

– Ты видела ее! Мудрая женщина, которая уже начала просвещать тебя. Сейчас она очень стара, но свет знания озаряет ее разум.

– Вы говорите о Серафине?

– Да, моя дорогая. Ты знаешь ее как старейшину наших ночных сборищ. Она человек куда более значительный. Выдающийся философ. Побывала далеко за пределами христианского мира, в местах, где до нее ни одна женщина не осмеливалась путешествовать в одиночку. Ей хватало смелости искать истину среди мужчин иной веры и обычаев, которые не подпускают женщин к своим тайнам; ей приходилось доказывать, что она ни в чем не уступает им, причем порой делать это с большим риском для жизни. Из своих странствий она вернулась с такими знаниями, которые могли бы до основания потрясти университеты Европы. Но ведь она всего лишь женщина, бедная ничтожная женщина. Кто бы отнесся к ней серьезно? Всему, чему она научила меня, я теперь буду стараться научить Виктора. Я хочу, чтобы он, вооруженный знаниями Серафины, довершил ее дело – это моя заветная мечта. Только мужчина может сделать это так, чтобы мир заметил. Но ему будет нужна твоя помощь.

С нашей первой встречи на поляне я видела Серафину всего несколько раз. Она иногда посещала женские сборища в лесу, хотя лишь сидела в сторонке, наблюдая, и неизменно со своей пернатой подругой, которая сидела или где-нибудь на дереве поблизости, или у нее на плече. Она больше не заговаривала со мной, хотя я часто чувствовала ее взгляд, устремленный на меня.

– Серафина подавляет меня, – призналась я.

– Да, она внушает трепет. Но она хочет тебе только добра, и она очень тебя любит. Как тебе объяснить? Она видит, что у тебя золотое сердце, как увидела я при первой нашей встрече. Время от времени она будет требовать от тебя непонятные вещи. Молю, отнесись к этому с уважением. Ее методы могут показаться странными, однако она необыкновенный учитель. Ты не поймешь этого, пока не пройдешь за нею весь путь до конца и полностью доверяя ей. В этом и состоит парадокс.

После этого разговора мне было несколько раз дозволено почитать то, что мы по эмблеме на переплете называли «Книгой Розы».

– То, что ты здесь прочитаешь и увидишь, будет ставить тебя в тупик, – говорила матушка. – Запомни одно. Все на этих страницах имеет иной смысл, нежели представляется на первый взгляд, точно так же, как в окружающем нас мире ничто не является только тем, чем кажется. Все является самим собой и одновременно чем-то большим: образ внутри образа, слово внутри слова. Внешнее полезно знать, но то, что открывается позже, – окрыляет разум. Хотя это французский язык, думай о нем, как об иностранном, которым необходимо овладеть слово за словом, как ребенку, что учится языку родителей. То же самое с рисунками. Они требуют особой зоркости глаза. Ты научишься видеть сквозь изображения, будто они нанесены на стекло. Чтобы всем этим овладеть, понадобятся усилия большие, чем обычно. И наставник мудрей меня.

Изредка я получала дозволение унести книгу к себе в комнату, где сидела над ней до поздней ночи. Как меня и предупреждали, я почти ничего не понимала из прочитанного; на темном языке аллюзий в книге рассказывалось о мифических животных и птицах, временах и местах, о которых я никогда не слышала. Упоминались все планеты в небесах и достигающие их ангелы. Необыкновенно интересны были рисунки, фантастические, сводящие с ума! Не все они были красивые; большинство – странные, гротескные;

некоторые – чудовищные, как кошмар. И все же я не могла оторваться от них, особенно от мальчика с девочкой, о которых говорилось в книге. Они переплывали со страницы на страницу; их история оставалась для меня полной загадкой, но они постоянно являлись мне в мечтах.

Вот их история, как она запомнилась мне.

В некоем королевстве жили двое детей. Оно было окружено непроходимым лесом, в котором водились небывалые звери. Мальчик и девочка были с рождения помолвлены. Подошел день свадьбы, и по этому случаю должен был состояться пышный праздник. Но поскольку невеста и жених совершили грех (какой, не говорилось), их приговорили к пожизненному заточению в тюрьме с крепкими запорами, стены которой были из хрусталя. Их раздели догола и поместили туда на всеобщее обозрение, так что весь мир мог видеть их стыд и страдание. Они свернулись калачиком на тонкой соломенной подстилке, стараясь утешить друг друга, но слишком велики были их страдания. Шло время, поскольку за их тюрьмой никто не присматривал, в ней стало холодно и мальчик простудился. Невеста прижалась к нему, чтобы согреть, что пробудило в нем желание, приведшее к соитию. Или, во всяком случае, попытке такового; но прежде, чем они смогли достичь в своих любовных ласках верха блаженства, жених настолько раскалился, что буквально расплавился в объятиях возлюбленной.

Охваченная горем невеста залила слезами тело потерянного возлюбленного. Она плакала до тех пор, пока не затопила их тюрьму до потолка. Когда вода накрыла ее с головой, она умерла, прижавшись к возлюбленному. Оба быстро почернели, приняли отвратительный вид и источали зловоние, пока их земные тела разлагались. Но потом солнце, которое на рисунке держал в пасти громадный лев, стало греть сильнее и сильнее, и воды в тюрьме начали испаряться. И после сорока дней и ночей выпаривания и конденсации пары образовали сияющую радугу внутри тюрьмы; воды отступили, и вот мертвые тела невесты и жениха, омытые благодатным дождем, воспряли к жизни. В этот миг двери хрустальной тюрьмы распахнулись, и мальчику с девочкой, еще более прекрасным, чем прежде, и облаченным в сияющие золотые одежды, украшенные карбункулами, наконец позволили сочетаться браком.

На последнем рисунке они были изображены в виде существа с единым телом и двумя лицами, незабываемой фигуры с признаками обоих полов. Позади простер крылья огромный двуглавый ворон; но дети не были испуганы. Каждый держал в руке меч, черный и белый, один направлен к небу, другой – к земле.

Заканчивалась книга такими стихами:

Брат-Сестра, чья суть одна,
Мужчина и женщина, солнце и луна,
Звук и беззвучье, свет и тень,
Семя и ветвь, жаворонка песнь.
Отче славный, время без меры,
Средоточье, создатель, корень мира,
С радостной песней числ хоровод
Кружит в стройном танце Всего.

Я спрашивала себя: не изображают ли эти двое детей, брат-сестра, Виктора и меня? Какие же тогда приключения должны ждать меня в будущем! Откровенно говоря, я скорее была в страхе, нежели в восторге.

– Это близнецы, – объяснил Виктор, когда я пришла к нему с книгой. – Королевские близнецы. Рассказ об их женитьбе – это рассказ о Великом Делании.

– Великом Делании?

– Поиске философского камня, который превращает первичный элемент в золото. Вот что подразумевается под женитьбой. Но это не следует понимать вульгарно. Ничто из того,

что говорится о Великом Делании, не является тем, чем кажется на первый взгляд. Хрустальная тюрьма, например. Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Это реторта, сосуд, в котором смешиваются субстанции. Иногда он называется яйцом, или гробницей, или брачной комнатой. Реторта должна быть закрыта настолько плотно, чтобы воздух не проникал внутрь. Это называется Герметической печатью по имени Гермеса, который был величайшим из мудрецов алхимии. Тогда сосуд становится крохотным замкнутым миром, и можно видеть, как элементы вступают в нем во взаимодействие. Мне больше всего нравится наблюдать за этим процессом. В книге это называется «претерпевать страдания». Это, конечно, метафора, поскольку неодушевленные элементы не наделены разумом и ничего не чувствуют. Мальчик, как видишь, красного цвета, он означает серу; белокурая девочка – ртуть. Так субстанции смешиваются и образуют Вселенную.

Я ничего не поняла.

– Для чего нужно все так запутывать?

– Потому что это тайное искусство. Адепты не хотят, чтобы профаны знали о Делании. То, что они увидели, – не для всех глаз.

– Что они увидели?

– Великие видения. Видения, которые кого-то свели бы с ума. То, что делают адепты, сходно с работой Бога. Но если это делается с нечистыми намерениями, результатом будет зло.

– Матушка говорит, ты изучал книгу, пока был в Тононе.

– Это было самое чудесное из всех моих занятий там! Я не представлял, что мир может быть столь безгранично таинственным. Элизабет, душа моя была в таком восторге! Как если бы мне вот-вот должны были открыться глубочайшие тайны Природы. Понимаешь ли ты, что содержится в этих книгах? Тайны тайн внутри тайн. Вся сокрытая работа космоса. Надо лишь научиться понимать истинный смысл этих рисунков.

В этот момент он был охвачен тем же неистовым порывом, который поразил меня тогда в горах, когда он смотрел на полыхающие молнии. Только сейчас молния, казалось, полыхала в его уме, и это испугало меня еще больше.

– Ты можешь научить меня понимать то, что ты понял?

– Не только могу, но обязан! Ты должна быть во всем рядом со мной, как мое второе «я», близнец женского пола. Ты должна помочь мне узнать то, что я хочу узнать. Мы брат и сестра в этом приключении. Мы будем учить друг друга.

При этих словах моя тревога исчезла, как от прикосновения волшебной палочки. Вместо боязни меня переполнили восторг и надежда. Я больше не страшилась предстоящего, и прежде всего – одержимости, которую видела в Викторе. Только одна восторженная мысль билась у меня в голове: Виктор хочет, чтобы я разделила его страстное увлечение! Это приключение будет нашим общим приключением! О, я буду отважной ради него, я пойду на все, чего он ни захочет, не испугаюсь. Мне так хотелось обнять его, обнять не как сестра. Но я вспомнила обещание, данное матушке. И неожиданно поняла, что невидимый барьер, который она воздвигла между нами, лишь усилил желание, вспыхнувшее во мне. Необходимость изображать ледяное равнодушие еще больше разжигала пылавший во мне огонь, словно моя сдержанность была ему пищей. Хотя я не сознавала этого, но начало моих уроков ознаменовало новую степень любви.

В ту ночь, когда матушка показала мне «Книгу Розы», я стала вести дневник, понимая, сколь важно описать шаг за шагом приключение, которое мне предстоит.

Я ступила в темный лес, где мало кто бывал до меня. Матушка направляет меня, и я следую за ней, держась за шелковую нить; перед нами нет торных тропинок; я могу следовать лишь туда, куда она ведет меня. Мы углубляемся в страну, где, такое впечатление, будто никогда не светило солнце. Я едва различаю фигуру матушки, движущуюся впереди

меня среди деревьев. А если вдруг нить выскользнет?!

Мне страшно!..

Мне страшно!..

Часть вторая

Примечание редактора

Признаюсь, что приступаю к этой части воспоминаний с сильнейшим трепетом. Ничто не требует такого внимания, как роковой эпизод химической женитьбы, ибо это злоключение и предопределило трагедию Элизабет Франкенштейн. По этой причине я много времени посвятил изучению необычайного ритуала в попытке понять, в чем его смысл и каковы обряды. В то же время ничто не могло быть отвратительней с точки зрения общепринятой порядочности, чем роль, которую Элизабет Франкенштейн сыграла в этом эпизоде своей жизни и которую она описывает на страницах своих мемуаров. Пожалуй, можно простить откровенность ее рассказа, если вспомнить, что ее мемуары, в конце концов, предназначались для глаз единственного читателя и что этот человек, как будущий супруг, участвовал в ритуалах. Как бы то ни было, прошу снисходительности читателя, ежели в данном случае во имя исполнения моего долга как издателя позволю себе более беспристрастное, чем всегда, отношение к оригиналу.

Темнота и расплывчатость системы взглядов, унаследованной нами под именем алхимии, во всех отношениях вызывает не большее отторжение у цивилизованных людей, нежели ее эротический символизм. Рисунки, иллюстрирующие алхимические тексты, носят откровенно сексуальный характер. Нигде это не проявилось так ярко, как в двух фолиантах, которые я получил от мадам Ребюфа у могилы Франсины Дюпен. Не имея я редкостной возможности познакомиться с томами, известными как «Книга Розы» и «Лавандовая книга», я никогда не смог бы проникнуть в смысл многих темных мест «Воспоминаний». Эти книги полностью проясняют то, о чем Элизабет Франкенштейн в своих «Воспоминаниях» упоминает лишь смутно или мимоходом, а то и посредством тайных символов, понятных ей и ее fiancée. Я вовек не догадался бы, что в точности означают ее туманные ссылки на такие обряды, как «Спящий император» или «Кормление львов», если бы не нашел объяснения в упомянутых книгах.

Обе являются латинским переводом более древних и давно утерянных трудов. Нельзя ничего сказать о происхождении этих текстов; нельзя даже быть уверенным в том, каков был язык оригинала. Потому невозможно и оценить точность латинского перевода; в целом тексты написаны в высокопарном, классическом стиле, чья способность улавливать важные нюансы весьма сомнительна. (Могу добавить, что я не нашел следов французского перевода, сделанного леди Каролиной для Элизабет; уцелели лишь фрагменты, которые Элизабет переписала в свои «Воспоминания».)

Сами по себе поиски какого-нибудь намека на историю этих книг могли занять годы, ибо ничто не указывало на их подлинность или достоверное авторство, на время или место создания. Их анонимность явно была предумышленной, стена таинственности была возведена вокруг них с тем, чтобы оградить их читателей от обвинений в ереси. Букинисты, с которыми я консультировался, быстро определили, что книги были напечатаны в Италии в конце пятнадцатого века и, таким образом, являются одними из самых древних печатных текстов в истории литературы; но установить это было все равно что лишь просто смахнуть пыль с поверхности загадки. Ибо то, что новоизобретенное книгопечатание переводило на бумагу в 1480-х годах, представляло собой переиздание более древних текстов. Здесь я лишь кратко подытожу результаты моих изысканий, которые сами по себе достойны отдельной книги.

Во времена расцвета итальянского Возрождения итальянский ученый Марсилио Фичино основал в городе Флоренции школу, изучавшую некоторые тайные произведения древней философии. В те времена ходили слухи, будто эти произведения содержат в себе древнейшую мудрость мира, в сравнении с которой *opera*¹ Платона, Аристотеля, Эпиктета, вместе взятых, а возможно, и Священное Писание целиком были детским лепетом. Среди трудов, за сохранение которых мы должны благодарить Фичино и его флорентийскую Академию, есть любопытнейшее собрание документов, известных ныне как *Corpus Hermeticum*². Одна эта книга содержит в себе почти все, что нам известно о древней традиции алхимии. В то же время, опять же благодаря ученым Академии, были переведены и изданы две другие книги. Одна из них – та самая «Книга Розы», которую леди Каролина дала изучать Элизабет Франкенштейн. Этот прекрасно изданный фолиант вполне мог стать доступным читающей публике того времени, как *Corpus Hermeticum*, и завоевать такую же популярность. Кроме ярких иллюстраций, содержащих символические образы, каковые обычны для алхимической литературы, книга включает в себя подлинные формулы и процессы, позволяющие шаг за шагом произвести Великое Делание. Можно только предположить, что отсутствие в истории каких-либо упоминаний об этой книге есть результат преднамеренных усилий к тому, чтобы ее содержание оставалось известным только посвященным.

Что до сопутствующего ей тома, «Лавандовой книги», названной так по цвету переплета, ее сокрытие может быть объяснено много проще. Причина становится ясной, стоит лишь взглянуть на первый из множества рисунков, украшающих ее. Книга откровенно непристойна. Как в «Книге Розы», они представляют собой раскрашенные от руки гравюры на дереве, происхождение их явно восточное, арабское или индусское, но характер несравненно более гедонистический. В «Лавандовой книге» действие происходит во дворцах, роскошных садах или сералях, где короли, королевы и куртизанки предаются наслаждениям. Хотя анонимный автор книги утверждает, что это трактат по алхимии, она настолько ярко и откровенно эротична, что в равной степени могла бы служить каталогом сексуальных перверсий.

С «Лавандовой книгой» я, как только она попала мне в руки, оказался перед дилеммой. Если «Книгу Розы» я с самого начала был готов представить читающей публике сразу по завершении подготовки текста к печати, то относительно второй меня одолевали сомнения. За годы, когда слух о книге распространился за пределы круга моих знакомых, ко мне несколько раз обращались коллекционеры, предлагая за нее весьма порядочную сумму. Но, откровенно говоря, у меня нет веры к тем, кто сулит большие деньги. Опасаясь, что сей труд может легко оказаться в руках порнографов полусвета, которые несомненно оценят ее по высшему разряду, я наконец сделал выбор: договорился, что отдам «Лавандовую книгу» на хранение в библиотеку Ватикана, чье обширное собрание эротической литературы вот уже несколько поколений тщательно оберегается от глаз неразборчивой публики. Тех, кто желал бы получить книгу в целях научных исследований, я просил снестись с куратором Коллекции Ламбускини в Джардино делла Пинья в Риме.

Обращаю внимание читателя на одну новую особенность «Воспоминаний». Приступая к изучению алхимии, Элизабет Франкенштейн начала вести дневник; он представляет собой непосредственное описание ее и Виктора занятий.

В последний год жизни, работая над этими мемуарами, она включила в них отрывки из своего дневника наряду с частью стихотворений, связанных с различными стадиями Великого Делания. Эти стихи были, как множество других разрозненных страниц, вложены в тетрадь, в которой писались «Воспоминания»; многие из них разорваны и внизу не хватает слов. Уцелевшие отрывки, напечатанные здесь, отобраны мною собственноручно. Больше из подлинного дневника мне обнаружить ничего не удалось.

1 Труды (лат.).

2 «Герметический корпус» (лат.).

Серафина приступает к нашему обучению

Природа, ликуй! Близок Эдем!
Река рядом с Древом пылает огнем.
Злато яблоко наша Мать сорвала,
Путь наш – тернии, цель же светла.

Солнце низко висит беспросветной порою,
Черный ворон царствует над землею,
Плененной силою ледяною,
Весне не оттаять зимою глухою.

Начинается Работа в отчаянье жгучем,
Когда нет певчих птиц по голым сучьям.
Начинается Работа во мраке ночей,
Когда Природы красота сокрыта от очей.

Отыщи цветение среди тленья,
Отыщи огонь среди окамененья.
Среди тьмы, где жизни нет,
Отыщи воскресший Свет.

...ноября 178...

– Нам нужны кровь и семя, – объявила Серафина, – Прежде кровь, потому что ее раздобыть много проще, чем семя. А для этого необходимо набраться терпения. Ибо у крови есть свои сроки, точно так же, как у великой Природы.

С лета, каждый раз, как я встречалась с Серафиной, она интересовалась моими месячными. Внимательно трогала ладонью мой лоб, грудь, проверяя температуру. Прикладывалась ухом к моему животу; легко прикасалась пальцами к вене на шее и бедре. Перед сном матушка приносила отвар, приготовленный для меня Серафиной; потом мягко растирала мне спину и живот ароматными маслами. Она сказала, что Серафина пытается воздействовать на ритмы моего тела. Ибо за Делание можно приняться не раньше, чем месячные начнут совпадать с наступлением полнолуния. Этого нужно добиваться с осторожностью, на что может уйти несколько месяцев.

По приглашению матери Серафина поселилась в Бельриве. Ей предоставили один из домиков садовников поблизости от дендрария. Готовит она себе сама и ест в одиночестве. Дни проводит в размышлениях, редко показываясь обитателям Бельрива, которые смотрят на нее с опаской, ибо, когда она бредет по саду, вид у нее грозный. Скрюченная, она с трудом передвигается, опираясь на высокую раздвоенную палку. На ней пестрый цыганский наряд, а на шее, руках и ногах позвякивают цыганские монисто и браслеты. Если она когда и выходит днем из дому, то лишь на поиски целебных трав, которые складывает в холщовый мешочек. Алу всегда сопровождает ее, сидя у нее на плече или же иногда вышагивая впереди по тропинке. Нашим слугам, похоже, птица кажется даже более зловещей, чем ее хозяйка; и когда Алу, бывает, гуляет сама по себе и, каркая, ковыляет по саду, они разбегаются, словно завидев великана-людоеда. Мы с Виктором веселимся, наблюдая эту картину, ибо Алу – ласковая старая птица, ничуть не страшная. Однако, несмотря на возраст, она невероятно отважна; однажды утром, когда огромный мастиф управляющего имением бросился с лаем к Серафине, Алу, хрипло крича, принялась виться у самой морды пса, как бы норовя выклевывать ему глаза. Бедный пес с визгом помчался прочь.

Матушка сказала слугам, что Серафина – ее личный аптекарь, потому и живет у нас. То же самое она сказала барону, когда тот недолгое время между своими путешествиями находился дома. И хотя он с явным неодобрением относился к присутствию Серафины, больше вопросов он не задавал, разве что выразил беспокойство по поводу здоровья матушки. «Надеюсь, ничего серьезного?» – только и спросил он. Знаю, он предпочел бы, чтобы она советовалась с просвещенным врачом.

Серафина действительно лечит матушку; она готовит ей отвары и снадобья, в которых матушка испытывает серьезную необходимость. Матушка, которая с девических лет страдала чахоткой, в последнее время бывает иногда слабой и бледной; она легко простужается и тогда по целым дням не выходит из комнаты. Я верю, что снадобья Серафины очень помогают ей; но главная причина, по которой Серафина живет у нас, в другом. Она находится в Бельриве, чтобы обучать нас, и свои уроки она дает большей частью по ночам, иногда в своем домике, иногда на поляне в лесу.

Серафина говорит нам, что наши занятия не случайно начались в ноябре, когда все в природе постепенно умирает. Первое время мы на занятиях будем предаваться темным, мрачным раздумьям. Мы должны пройти Долину Тени, проникнуться мыслями об умирании земли, чтобы лучше понять чудо плодородия Природы.

– Мы постигаем основы жизни, – говорит Серафина. – Жизни и высших ее проявлений, что таятся повсюду в окружающем нас мире. Но чтобы понять существо жизни, прежде необходимо задуматься о смерти.

Виктор ушел намного дальше меня в изучении многообразия химического взаимодействия вещей. Осень, объясняет он мне, – это время Сатурна и увядшего розового куста, свинцового гроба и черного ворона, и Короля на ложе страдания. В «Книге Розы» он показывает мне рисунки, которые символизируют сезон смерти; нужно так много запомнить.

Он употребляет еще одно слово, рождающее в сознании наиболее скорбные образы, это слово *нигрето*¹. Оно означает состояние черной меланхолии, в которое должна погрузиться душа; и, чтобы помочь нам в этом, Серафина, по примеру учителей алхимии, велит нам взять «Книгу Розы», отправиться с нею на кладбище в Вандёвре и там вникнуть в рисунки, изображающие это мрачное время года.

– Вам нужно походить среди мертвых, – наставляла она. – Побывать среди них, как если бы они, даже лежа под землей, – наши товарищи, находящиеся в той роковой стадии, без которой жизнь не может продолжаться. Вы должны попытаться ощутить окружающее вас плодородие смерти, которая есть не конец, но начало. Время в точности представляет этот круг, как и образ, который я показывала вам в книге. Вспомните змею, кусающую себя за хвост. Мы забываем о круге времени, когда слишком много внимания обращаем на события, как они перечисляются в книгах по истории, разворачивающиеся последовательно от прошлого к будущему. Мы забываем, что все возвращается.

Сегодня мы с Виктором подошли на кладбище к могильщику, рывшему новую яму; он откопал старые кости, которым, по его словам, сотни лет. Они затвердели, как камень, и странно чистые, на что Виктор обратил внимание. Очищены в процессе распада, свободны от всякой памяти о жизни. Окончательно и навсегда обрели мир.

Но я говорю Виктору, что не желаю такого «мира». На мой взгляд, это тюрьма безмолвия и бесчувствия.

... ноября 178...

Наши занятия неизменно начинаются с того, что мы учимся думать. Серафина открывает одну из своих книг на каком-нибудь рисунке и кладет перед нами, чтобы мы поразмыслили над ним. На ее любимом рисунке изображена рука Господня, выпускающая Святой Дух в образе огненного голубя.

– Как Ной, выпускающий птицу, обозреть водную пустыню, – говорит Серафина, – Но

¹ Nigredo (лат.) – чернота, черный цвет.

пустыня – весь мир; больше того, нет мира, есть лишь одна пустыня, – Она ведет скрюченным пальцем по рисунку, показывая, как летит голубь, как опускается, чтобы истребить пустоту, когда-то простиравшуюся повсюду.

Алу наблюдает за нами, словно понимает каждое наше слово, хотя потом прячет голову под крыло и засыпает. Сегодня она подходит поближе и косит глазом на рисунок, который Серафина показывает нам. Это забавляет Серафину. Она спрашивает:

– Скажи нам, Алу, может, тебе знакома эта птица? Не твоя ли это приятельница? Ну-ка, не настолько ты стара, чтобы не помнить!

На что полулысая птица щелкает огромным клювом, издает хриплый крик и возвращается на свое место над очагом.

– Видите, огненный Дух истребляет тьму, отвоевывая огромное пространство, – объясняет Серафина, – А что означает эта дыра, которую он оставляет, это ничто внутри величайшего Ничто, эта пустота внутри Пустоты? То великая тайна, дети мои. Впустите этот темный космос в свое сознание; пусть ваша мысль проникнется им. Освободите свое сознание, пока в нем не останется ничего. А потом освободите сознание даже от этого ничего. Ибо Ничто, о котором мы говорим, было не пустотой космоса; это было Ничто, которое даже не космос. Представьте себе это Ничто, которое больше, чем вся пустота, представьте время, когда даже время не течет и не существует никакого разума, который бы запомнил это отсутствие времени или заглянул вперед. Представьте это безмолвие, которое существовало до того, как появилось что-то, способное произнести слово или издать звук. Ничего, ничего, совсем ничего. Эта пустота могла существовать бесконечно. Но подобного не случилось. Вместо того из этой дыры, прожженной во мраке, прорастает мир, как семя, развивающееся во чреве.

Но как это произошло? Как там вообще что-то оказалось? Что заставило спящую тьму проснуться? Что было там, в той Пустоте, такого, из чего мог возникнуть мир? Тайна столь велика, что не выразить словами. Это мгновение до возникновения мгновений, Время до возникновения времени, когда Высшая Любовь проникла в Первозданный Хаос, чтобы сотворить Первоматерию. Видите, как бессилен наш крохотный ум объять эту великую Пустоту? Но именно в нем зарождается всякое истинное знание.

Я пытаюсь выполнить то, что требует Серафина, но освободить сознание от всего не получается. Тем не менее через несколько занятий на неуловимое мгновение раз-другой ощущаю в себе пустоту, отчего начинает кружиться голова. Я как будто парю в пространстве, где некуда падать. И говорю себе: «Здесь есть мир!» Затем, тихим голосом попросив нас сосредоточить взгляд на темной дыре, изображенной на рисунке, Серафина легко, как падающая роса, касается своего бубна и вполголоса запевает:

Первоматерия,
Божье Зерно,
Чьи кровь и плоть
Дарят хлеб и вино.

Благословен плод
Утробы Твоей,
Золото с серебром,
Солнце с луной.

Первичные воды,
Что родили
Богатства, сокрытые
В недрах Земли.

Твоя мудрость как дождик

Благой над пустыней,
Дабы восславить
Нашей Матери имя.

...декабря 178...

Наша работа подразумевает целомудренность, но мы, Виктор и я, встречаясь, раздеваемся, как это делают женщины, собирающиеся на лесной поляне. Серафина тоже. Она сидит, скрестив ноги, рядом с нами, и весь ее наряд состоит из цыганских ожерелий на шее и браслетов на щиколотках.

Я уже привыкла находиться голой среди женщин; я понимаю, какой в это вкладывается смысл. Но быть обнаженной в присутствии Виктора не очень уютно. Это отвлекает меня от главного, рождает суетные мысли. Мне интересно, каюсь ли я ему столь же красивой, как Франсина, когда он подглядывал за ней в лесу. Мне хочется, чтобы он смотрел на меня такими же глазами, как на нее, хотя мои формы еще по-девичьи не развиты.

Всякий раз перед началом занятий мы совершаем омовение. Мы с Виктором помогаем друг другу. Омываем тело водой, настоянной на ромашке, и натираем друг друга душистым камфарным маслом. Это знак того, говорит нам Серафина, что мы смываем с себя прах смертности. «Мы не падшие создания, как учат священники, но посланники света, которым предназначено сделать совершенней земное творение». Но когда ладони Виктора скользят по моему телу, мне не до подобных высоких мыслей. Я вся во власти ощущения, будто мою кожу жалят языки огня. Я жажду, чтобы его руки касались меня везде. Жажду, чтобы он распластал меня на траве, как в тот день на лугу, и навалился на меня. И я бы раскрылась для него и держала бы его в себе. Дразнила бы его до тех пор, пока его возбуждение не достигло предела. И уступила бы его напору.

Боюсь, мое воображение рисует слишком живые и порочные картины.

Но это не самое главное, что смущает меня. Странно сказать, но мне больше становится не по себе от вида нагой Серафины, чем нагого Виктора. Она такая старая. Тело невероятно дряхлое, кожа на суставах висит морщинистыми складками. Почему, не понимаю я, она не прикроет его, чтобы другие не видели? Как женщина ее лет может быть столь нескромной, даже бесстыдной, что раздевается в присутствии Виктора? Меня беспокоит, что у Виктора это вызывает отвращение; я вижу, как он постоянно отворачивается, не желая смотреть на нее без необходимости. Наконец Серафина осведомляется о наших чувствах. Несмотря на старость, она женщина проницательная и властная. Ничто не ускользает от нее. Она как будто читает наши мысли. Наблюдает, потом задает прямой вопрос. Никогда не колеблется.

– Вижу, Виктор, ты часто отводишь глаза, когда мы разговариваем, – Ее голос резко шуршит, как сухая трава на ветру. Она часто мешает французский язык с другими, более близкими ей, – итальянским или греческим. – Тебе неприятна моя нагота? – спрашивает она полунасмешливым тоном, – Да, полагаю, так оно и есть. Но почему? Потому что это нагота старой карги? Уродливая нагота? – Виктор старается вежливо уйти от ответа, но от нее так просто не отделаешься. – Ну же, отвечай откровенно. У нас нет друг от друга секретов. Я слишком уродлива, чтобы смотреть на меня?

– Мне кажется, это не совсем... – старается Виктор не оскорбить ее.

Серафина смеется. Ее смех похож на бессильный кашель. Она берет в ладонь свою грудь, обвисшую, как пустой кулек, и протягивает Виктору.

– Никакого удовольствия смотреть на нее, да? Наверно, не верится, что влюбленные целовали этот высохший сосок? Да? А глянь сюда! – И, протянув руку, она без стеснения треплет мою левую грудь. Я отшатываюсь и заслоняю грудь скрещенными руками. – Нет-нет, моя дорогая! Убери руки! Пусть наш юный джентльмен посмотрит. Пусть сравнит, – Я неохотно опускаю руки. Серафина снова касается меня, но теперь нежным движением следуя округлости моей груди, – Не сжимайся так, моя девочка. Распрямись!

Держись гордо, как тебя учили. Пусть Виктор любит тебя, наслаждается твоей красотой.

Повинуясь ей, я расправляю плечи и выставляю грудь. Испытываю при этом восхитительное чувство отчаянной смелости. До начала наших уроков с Серафиной Виктор жаждал увидеть меня обнаженной; я понимаю, что и мне не терпелось продемонстрировать ему, насколько женственной стало мое тело.

– Смотри, как оно прелестно, – говорит Серафина, – как свежо и округло. Но я вижу, ты так же смущаешься, когда смотришь на Элизабет. Разве не так?

– Да... – соглашается Виктор в некотором замешательстве.

– Держу пари, что по совершенно другой причине. Я права? Ее тело смущает тебя, потому что оно так молодо и полно жизни. Мое – потому что я так изношена и истощена. Не правда ли, странно, что тебя тревожат и красота, и ее противоположность – как если бы ты не знал, чего ждать от женщины? Интересно, что тревожит тебя больше, желание или его отсутствие? Что тебе кажется правильным? А теперь позволь сказать кое-что, что поразит тебя, Виктор. Прежде чем наши занятия закончатся, ты сможешь смотреть на нас обеих, Элизабет и меня, одинаковыми глазами. Ты увидишь во мне ее красоту. Ибо она там, похоронена под безрадостным грузом лет. Ты возжелаешь старуху – о да, возжелаешь! И увидишь в Элизабет мою старость, ибо она тоже там – увядание, которому подвержена всякая плоть. Но если хорошо усвоишь науку, тогда увидишь то, что находится под этой оболочкой и что делает нас обеих женщинами. Ты обретишь способность по-новому смотреть на нас – без страсти и без отвращения.

Мне не совсем ясен был смысл слов Серафины. Она так часто говорит загадками. Я знаю одно: я ни за что не хочу, чтобы Виктор видел меня сморщенной старухой! Я жажду его страсти, причем страсти необузданной!

Матушка пишет мой портрет

...декабря 178...

Матушка тоже изучает мое тело, и с не меньшим вниманием, чем Серафина, – но по другой причине. Она рисует меня, как когда-то обещала. Она приступила к портрету вскоре после моей инициации. Теперь она регулярно пускает меня в свою студию, где я позирую ей для набросков. Работает она чрезвычайно сосредоточенно, редко когда проронит слово, а если заговорю я, то делает вид, что не слышит. Сначала я чувствовала себя тем более взрослой, что думала: мать захотела нарисовать меня так же, как когда-то рисовала Франсину и часто рисует своих подруг. Но иногда эти сеансы оставляют во мне неприятный осадок. От того, как пристально мать разглядывает мое тело, когда я без одежды, возникает ощущение беспредельной и окончательной наготы. Такого не бывает, когда я нахожусь среди женщин на поляне или когда Виктор смотрит на меня. Мне верится, что матушка видит то, что не видит никто другой, нечто, сокрытое во мне, о чем даже я не знаю. Ее глаза проникают в тайное тайных, открывать которое кому бы то ни было у меня вряд ли есть желание.

– Хочу видеть, как ты становишься женщиной, – говорит она. – Уловить самую суть этой перемены – не просто внешней формы, но также и души.

Чувствуя мое смтение, она во время сеансов зажигает особое благовоние. У него резкий травяной аромат; скоро от благоухания голова у меня становится легкой, а потом всякое напряжение, вызываемое позированием, улетучивается бесследно. Я теряю ощущение времени. Матушка говорит, что листья, которые она жжет, из Перу и их действие обнаружили верховные жрецы инков. Она получила их от Серафины; повитухи используют их при трудных родах.

Матушка показывает мне каждый набросок; на них я не похожа на себя. Лицо смутно, как облако; но тело выписано очень тщательно, не упущена ни малейшая деталь, ни

малейшая тень – как и малейший недостаток: крохотные темные родинки на плече, с которыми я родилась, почти исчезнувший шрам на виске, даже едва заметные светлые волоски вокруг сосков и завитки под мышками. Часто она просит меня принять нескромные позы: бедра широко раздвинуты, так что она может изобразить каждый волосок и складочку внутренней плоти. Ее рисунки крайне подробны, хотя она часто пускает ленту цветов и завитушек по моим груди и лону. Она спрашивает, что я думаю о ее рисунках. С легким недовольством в голосе отвечаю:

– На мой взгляд, чересчур уж они откровенны.

– Как так?

– Я бы не хотела, чтобы их увидел кто-то посторонний, знающий, что я послужила моделью. Слишком многое они обнажают.

– Наверно, ты имеешь в виду волоски, – смеется мать.

– Да.

– Ты обладаешь телом юной женщины, прекрасным во всей его естественности, и внутренней красотой, которая бьет из тебя, как свежий родник, и пребудет с тобой всю твою жизнь. На твой взгляд повлияло то, как мужчины изображали нас на своих картинах. Они восхищались живыми женщинами, позировавшими для них, но так часто предпочитали изображать наше тело ангельски-детским: бледным и безволосым, с крохотной, правильно округлой грудью, словно высеченной из мрамора. Если не считать того, что еще изображали нас в виде, так сказать, вакханок. О, как они очарованы вакханками! Женщинами, одержимыми страстью, которые, конечно, жили в очень давние времена и которых больше не найти. Мужчины не могут решить, какими желают нас видеть: сладострастными или непорочными. Судя по их произведениям, месье Давид и Фрагонар вряд ли вообще нуждались в обнаженной натуре; больше того, они изображали лишь свои фантазии. Разумеется, мы знаем, почему это были дамы, не так ли?

– Я никогда бы не смогла заставить себя позировать мужчине: целыми часами лежать перед ним обнаженной! Не знаю, что бы я чувствовала больше, стыд или скуку.

– Ты очень наивна, если считаешь, что чувствовала бы только это. В Древней Греции для большинства красивейших замужних женщин не было ничего почетней, как позировать обнаженной великому Праксителю. «Скульптура, – заявлял художник, – учит женщину подлинной скромности». И почему бы ему не утверждать подобное? Он уверял, что ничто так не свидетельствует о добродетельности афинских женщин, как то, что каждая из позировавших ему для статуи Афродиты вернулась к мужу такой же чистой, какой пришла. Разумеется, приходится верить художнику на слово. Подозреваю, что его модели уходили от него, не чувствуя ни малейшего стыда и уж тем более не испытав ни мгновения скуки.

Эти наброски матушка делала для большого полотна, над которым работала много месяцев: странной картины, которая приводит меня в замешательство, когда я гляжу на нее. Матушка говорит, что это самое амбициозное произведение, за которое она взялась, и сомневается, что когда-нибудь сможет его закончить. Она сделала для него несчетное количество набросков и этюдов как с Серафины, так и с меня – старой женщины и молодой, сведенных вместе на картине. Я изображена сидящей на колене матушки, которая, в свою очередь, сидит на колене Серафины. Все мы обнажены, а за спиной Серафины, поддерживая ее, тянется ряд нагих женщин, каждая сидит на колене у другой. Их лица смутны. Ряд, извиваясь, уходит в глубь картины, теряясь из виду, но рука каждой лежит на груди той, что впереди. В небе луна, одновременно во всех своих стадиях. Мы трое – Серафина, матушка и я – странно обнимаем друг друга. Рука Серафины лежит на груди матери, а рука матери касается моей груди. Серафина смотрит на матушку нечеловечески напряженным, я бы даже сказала, хищным взглядом. Взгляд матушки мягче и устремлен на меня; я же смотрю на свою раскрытую ладонь, которую держу возле соска. Но ладонь пуста. Я спрашиваю, что должно быть в ней, ибо пустая ладонь так и притягивает глаз.

– Еще увидишь, дорогая, – отвечает мать, – Тебя ждет сюрприз.

Я прошу матушку побольше рассказать о Серафине.

– Она разговаривала со мной по-цыгански. Она тоже цыганка, как Розина и Тома?

Мой вопрос вызывает у матушки улыбку.

– Серафина жила среди цыган, как жила среди многих других народов. Если я скажу, что она из племени тамиллов, тебе, думаю, это ни о чем не скажет, как и мне. Барону – может быть, благодаря его путешествиям в дальние страны. Родина Серафины дальше, чем даже Великая Порта.

– Это там она приобщилась к великой мудрости?

– Там и во множестве иных мест. Серафина – часть чего-то очень древнего. Существует непрерывно развивающаяся цепь мысли; она уходит в глубину времен, как эта цепочка посвященных женщин на моей картине, В исторических хрониках, написанных мужчинами, об этом ничего не найти, но тем не менее она существует. – Матушка закрывает глаза, словно мысленным взором устремляясь назад, в даль времен, – Цепь эта тонка, как паутина, но прочна, как бронза; она связывает учителя с ученицей через века. Звенья этой цепи – знания, которые не могут быть записаны, но передаются лишь устно. В химической философии женщины были среди наиболее уважаемых учителей; считалось, что они сообщают науке особое свойство. В древние времена в великом городе Александрия жила посвященная по имени Клеопатра. Не царица, а женщина, столь же знаменитая в ее эпоху, поскольку числилась среди великих адептов. Серафина с особым тщанием изучала ее деятельность и в один прекрасный день будет причислена к подобным женщинам.

Я пожаловалась, что не всегда понимаю то, чему учит меня Серафина.

– У нее тонкий ум. Будь внимательней, и не только к тому, что она говорит. Серафина учит не только посредством слов. Как ты увидишь, у нее есть для этого и другие средства. – Она замолчала, изучая выражение моего лица, – Что-нибудь еще? – спросила она, уловив в моем голосе нотку беспокойства. Да, признаюсь... кое о чем мне говорить не хотелось, – Ну же! У нас больше нет секретов друг от друга.

– Когда мы совершаем обряды... я остаюсь неудовлетворенной.

– Как так?

– Мы с Виктором никогда не касаемся друг друга, кроме как по указанию Серафины. Так всегда будет?

– Вовсе нет. В свое время ты станешь самым близким его другом.

– Так трудно терпеть и сдерживать себя. Вы говорили, что я испытаю желание. Это произошло. Но оно остается неудовлетворенным. – Мой голос упал до шепота, когда я призналась: – Я мечтаю, чтобы Виктор набросился на меня. И не стану сопротивляться; я хочу этого.

Матушка нежно, понимающе смотрит на меня.

– Ну конечно, конечно. Бедное дитя! – говорит она, направляется к шкафчику рядом с мольбертом и возвращается с небольшим бархатным мешочком, – Ты слышала, что посвященные женщины могут летать. Тебя никогда не удивляло, как им удается столь удивительная вещь?

– Они правду могут летать?

– Так же вправду, как птицы, но только другим способом.

Меня охватило невероятное любопытство.

– Каким же?

С веселым огоньком в глазах она протянула мне мешочек.

– Загляни. Внутри помело, на котором мы летаем.

То, что я вижу внутри, вовсе не походит на помело. Это небольшой тонкий прут, чуть длинней моей руки, лежащий в блестящем шелковом чехле. Снизу футляра торчит изящная рукоятка слоновой кости, покрытая резным узором в виде вьющихся стеблей и цветов. В мешочке еще находится небольшая склянка, которую матушка, забрав у меня, открывает.

– А вот это – крылья, которые поднимают нас к небу, – Она трясет склянку и, осторожно наклонив, капает две капли бесцветной, едко пахнущей жидкости на шелковый чехол, – С этим зельем нужно быть осторожней. Оно очень сильное. Ни в коем случае нельзя

пить.

– А что в нем?

– Это секрет Серафины. Но она говорила нам, что в его составе есть белладонна, смертельный яд. Нужно капнуть несколько капель на кожу, притом только в определенном месте, где тело лучше всего ощутит его силу даже от ничтожного его количества. Показать, что это за место?

– Да.

– Тогда опять ляг на спину и постарайся не думать ни о чем. Расслабь тело. Раздвинь ноги.

Я вытягиваюсь на одеяле и делаю несколько глубоких вдохов, чтобы мышцы расслабились. Мои бедра послушно раскрываются. Матушка дает мне прут и показывает, куда направить его. Нужно приложить его точно к моей расщелине и легко прижать к самому чувствительному месту. Она велит легко и быстро потрясти им, «как трепещет крылышками колибри». Едва шелк касается плоти, как всю нижнюю часть тела охватывает жар. Всю меня заливают краской, и следом накатываются мягкие волны наслаждения. Это пульсирующее беспмятство расходится ширящимися кругами. Через несколько секунд сознание затуманивается, словно на глаза мне накинута вуаль, и возникает ощущение, будто я отрываюсь от земли, как лист, подхваченный ветром. Я могла бы испугаться, но тело кажется невесомым, легким, как перышко. Я знаю, что мне не грозит падение. Более того, тело охвачено сладостным экстазом, который затмевает все мои страхи. Я действительно словно ровня птицам, летящим в небе. Слышу, как внизу, на земле, кто-то смеется в восторге; смотрю и вижу, что это я сама! А затем проваливаюсь в темный, жаркий сон, который неизвестно сколько длится.

Когда я открываю глаза, матушка сидит возле меня и поглаживает мне лоб. Тело звенит, как колокол, в который ударили и он все еще вибрирует. Чувствую слабое жжение между ног. Матушка протягивает мне лосьон; я смазываю там, и секунду спустя жжение прекращается.

– Скажи откровенно, – просит матушка, – можешь себе представить, чтобы мужчина доставил ощущение более приятное, чем то, которое, ты только что испытала?

– Но я еще слишком мало знаю.

– Умный ответ. И конечно, ты не обязана принимать на веру мои слова. Но уверяю, никакой мужчина не способен доставить наслаждение более дивное, чем твое сегодняшнее. Вот почему никто, кроме нас, не должен знать о настойке Серафины. Мужчинам хочется верить, что без них нам никак не обойтись. Они думают, что только их *grand batons*¹ способны дать нам ощущение полета! Мы не должны уязвлять их гордости. Конечно, есть другие причины искать общества мужчин, вещи, которые ты откроешь вместе с Виктором, восторги иного рода. Со временем ты научишься достигать их. – И добавляет с ласковым смехом: – А для этих маленьких развлечений у тебя есть волшебная палочка.

Но она не позволяет забрать мешочек с собой. Зелье, предупреждает она, требует осторожного применения. Ибо если им пользоваться излишне часто, оно превращается в своего рода тирана, который навсегда лишает душу покоя.

Жаба у девичьей груди

До сих пор помню бесконечные часы, проведенные за чтением «Книги Розы» с ее изобилием загадочных рисунков и стихотворений. Особенно зимними ночами, когда все в доме уже давно спали, а я сидела у себя в комнате, упорно стараясь найти связь между текстом и рисунками. Эти рисунки жили своей внутренней жизнью; они были одержимы жаждой, которая, казалось, побуждала их вливаться тебе в глаза, пока вся твоя зрительная сила не иссякала. Временами, могу поклясться, я видела, как фигуры на странице движутся, словно могут сойти с нее в комнату. И часто, когда, клюя носом, я сидела у гаснущего

¹ Большие палки (фр.).

камина, завернувшись в одеяло, не в силах отложить книгу, и глаза начинали неудержимо слипаться, рисунки перетекали в сны, в которых я видела себя принцессой, или мудрецом, или мифическим героем, совершающим подвиг. Вспоминаю, как матушка говорила мне о том, что Серафина одарила ее знанием, когда она была юной девушкой; знание это распахнуло двери ее воображения, и ум ее пустился в странствия по огромному миру мысли, закрытому для женщин. Теперь она преподнесла такой же дар мне, и я была просто опьянена! Хотя мне еще дозволили всего лишь пригубить вино, Думаю, никаким иным словом не передать мое ощущение. Уверена, точно так же, когда переберешь вина, восхитительно кружится голова, развязывается язык и говорятся восторженные речи.

То, что это было опороченное знание – опороченное грустной историей шарлатанства, слишком опороченное кровью гонимых его приверженцев, – не уменьшало для меня его притягательности. Я была прекрасно осведомлена о сомнительной репутации, которую за столетия заслужили алхимики. Ибо разве не слышала я, как сам барон за обеденным столом всячески поносил их ритуалы, называя химическую философию самым темным из суеверий?

Это произошло во время дружеской беседы с неким месье Казотом ¹, парижским оккультистом, недавно приехавшим в замок из Палермо, полным свежих впечатлений от встречи с печально известным графом Калиостро. Я очень хорошо запомнила месье Казота просто потому, что он рассказывал удивительные вещи; но сейчас я вспомнила о нем главным образом потому, что лишь недавно узнала о печальной судьбе этого фантастического человека, ставшего одной из жертв якобинского Террора и умершего на гильотине.

Итак, месье Казот сообщил, что граф Калиостро извлек из его уха частичку серы и на его глазах превратил в чистейшее золото. Как это часто случалось с нашими гостями, он пустился в жаркий спор с бароном, который, в приступе раздражения, спросил наконец: не является ли это несомненным доказательством того, что спагирическая философия есть выдумка лицемерных шарлатанов и фокусников? «Если б, месье, золото можно было получить, просто залезши в ваше немытое ухо, – заявил барон, – граф Калиостро был бы богаче меня, а с ним и всякий нищий на улицах Европы. Однако этого о них не скажешь. По моим сведениям, сэр, ваш жулик граф жалкий должник и банкрот, занимается, где может, как все ему подобные». Едва произнеся сии слова, он взглянул через стол на матушку и, покраснев, уткнулся в свой бокал, ибо прекрасно знал, как матушка интересуется этим предметом. Потом я спросила ее, чем объяснить враждебность отца. Я не могла поверить, что он относит ее и Серафину к числу шарлатанов, которым никогда не давал спуска. Устало вздохнув, она объяснила:

– Как многие скептические умы нашего века, барон знаком с древними учениями лишь в профанированном виде – к чему приложили руку шарлатаны; в его собственной натурфилософии такое происходит не реже, чем в оккультных искусствах. Прошлым летом в Страсбурге объявился некий физик-механик, который заявил, что изобрел вечный двигатель, чей принцип действия основан на точном следовании законам Ньютона. И что же человек, приобретший аппарат, обнаружил, заглянув внутрь? Голодную крысу, бегающую в колесе! Что Калиостро негодяй, не подлежит сомнению. И все истинные адепты почитают его за такового, но об этом барон не знает.

В своей наивности я поверила матушке на слово, что следует простить барону его ограниченность, а тем более, когда она добавила: «Он же, в конце концов, мужчина». Ибо ничто в моих занятиях не подчеркивалось с таким упорством, как факт, что я приобщаюсь к знаниям, принадлежащим женщинам. Однако если рисунки в «Книге Розы» были прекрасны, то текст ее был настолько темен, что мой женский ум отказывался его понимать. Я читала:

Терзай Орла, пока он не заплачет, а Лев ослабнет и, истекши кровью, умрет.
Кровь Льва, смешанная со слезами Орла, есть сокровище Земли.

¹ Казот Жак (1719–1792) – французский писатель и мистик, принадлежал к мартинистам.

Но даже поняв, что орел – это символ высшей добродетели и химического процесса, называемого возгонкой, а лев – символ философского камня, золота и солнца, я не могла разобраться в этом учении.

– Ты должна быть упорной, моя дорогая, – подбадривала матушка. – Хотя это сложные вещи, наш Высший Разум был создан, чтобы постичь их. Помнишь время, когда ты бродила с Виктором в горах и останавливалась на краю обрыва, чтобы заглянуть вниз? Представь, что ты стоишь сейчас на краю пропасти; и поверь, если бросишься в нее, полетишь, как огромный ястреб, подхваченная ветром. Поверь, что твой ум тоже имеет крылья.

Мое страстное девическое любопытство куда больше привлекало в «Книге Розы» то, что в ней говорилось о женитьбе (и особенно о том, что потом происходит в спальне), чем о символических львах, волках и драконах.

Се (читала я), ступает прекраснейшая из дев, облаченная в дамаст и шелк, и с нею прекраснейший из юношей в алых одеждах. Они идут, взявшись за руки, в розовый сад, и каждый держит в руке благоуханную розу. Там, завидя гостей, ожидающих их, дева обращается к ним с таковыми словами: «Вот мой возлюбленный жених. Сейчас мы должны покинуть этот чудесный сад и поторопиться в спальню, удовлетворить нашу страсть».

Тут же были рисунки, изображавшие влюбленных на брачном ложе, восхитительные одежды сброшены, тела сплелись в пылких объятиях. В другом месте я читала:

В сей день, в сей день, в сей день совершилось бракосочетание Короля. Ежели ты благородного рожденья, ступай в горы, на вершину трех храмов и стань свидетелем обряда.

Тут же были изображены Король и его красавица-супруга на ложе, он до упора вонзил в нее пенис и извергает мощный фонтан семени. И меня жгло желание, жгло желание...

Но не все сцены ухаживания и женитьбы были столь же пленительны. Одна из них была отвратительна. Прекрасный принц приближается к очаровательной деве, с которой он обручен. Он протягивает руку, чтобы приласкать ее, но вместо этого бросает ей за пазуху ядовитую жабу. Девица в ужасе смотрит, как рептилия приникает к ее груди и принимается жадно сосать. Надпись под рисунком гласит: «Положите ядовитую жабу на грудь женщины. Женщина умрет, а жаба раздуется от ее молока. Из него вы можете приготовить превосходное снадобье, которое вытягивает яд из сердца и хранит от всякой пагубы».

Я не могла понять, что бы мог означать этот рисунок; больше того, он вызывал во мне такое отвращение, что я всегда пропускала его, не глядя, когда листала книгу. Какой же неожиданностью для меня было увидеть тот самый гротескный образ там, где, казалось бы, меньше всего могла его встретить: на картине матушки! Ибо именно ее она вложила мне в ладонь – эту уродливую маленькую тварь. Матушка изобразила меня смотрящей чуть ли не с нежностью на это существо, прижимая свой сосок к ее тонким зеленым губам, словно это был младенец.

Что это могло означать? Матушка много раз говорила мне, чтобы я отождествляла себя с женщинами на рисунках: королевой, сестрой, супругой. Но здесь даму заставили кормить грудью уродливую жабу, и это убило ее. Не означало ли это, что женщинам опасно изучать химическую философию?

– Совсем наоборот, – с некоторой тревогой ответила матушка, тут же направилась к книжной полке и достала толстый свиток. Она расстелила его на столе, и передо мной оказался непостижимо сложный рисунок Космоса: круг внутри круга внутри другого круга, мир внутри мира внутри другого мира, – Смотри, – объяснила она, – это изображение Великой Вселенной во всей ее целостности и совершенстве, какой ее никогда не увидеть никакому натурфилософу. Считай, что это ограниченное представление о Божественном уме. Вот здесь, связуя все уровни существования, проходит золотая цепь, которая соединяет все

времена и все пространства, от высших до низших. Работа Разума состоит в том, чтобы подняться по этой цепи и приблизиться к Божественному источнику, из которого возникает все на свете, чтобы мы могли все видеть так, как видит Бог. Жаба у девичьей груди символизирует первоматерию, которую ты видишь здесь в самой нижней точке космоса. Но и столь отдаленная от Бога, она тоже может стать священной. Молоко женщины, о котором говорится в «Книге Розы», есть философский камень, который способен очистить материю и превратить прах в золото. Это означает, что женщины тоже могут сыграть роль спасителей, так же как Христос, или Зороастр, или Гермес Трижды Величайший.

Она вернулась к полке и взяла книгу в кожаном переплете, которую вручила мне.

– В этой книге, как верят многие, говорится о будущем. Прошу, изучи ее вместе с другими трудами, которые я дала тебе. Она написана великим алхимическим философом, правда, в ней он отклонился от главного в иные, менее значительные области. На мой взгляд, это одно из его второстепенных произведений, хотя многие ставят его чрезвычайно высоко. Виктор поможет тебе, разъяснит трудные места. Читай со вниманием: узнаешь, как мужчины раскрывают тайны Природы.

Я мало что поняла из сказанного матушкой об этих мудрецах, однако, когда она говорила со мной таким образом, мне становилось ясно, что я – часть большого плана, ею задуманного. Я догадывалась, почему она так изобразила меня на своем большом полотне: женщиной в веренице, в потоке женщин, уходящем в глубь времен к знанию, древнему, как сама земля. Но я также чувствовала, что меня несет вперед этим потоком, волей всех женщин, прошедших до меня. Матушка рассматривала век, в котором мы жили, как переломный момент времен. Порою, касаясь подобных вещей, она начинала говорить почти как пророчица, как тот, кто прозревает века и пространства, как провидица – хотя была слишком скромна, чтобы претендовать на такую роль. Тем не менее, говоря о нашей работе, она неизменно подчеркивала ее важность и необходимость, отчего самое пустяковое действие приобретало величайшее значение, так что я норовила уклониться от задания под предлогом того, что не подхожу для этого. Но она мне не позволяла.

Возвратившись к себе в комнату, я нетерпеливо пролистала новую книгу, которую дала мне матушка. Ни одного рисунка, только числа и схемы, еще загадочнее, чем символы Великого Делания. Некоторые числа я смогла распознать; я увидела в них многие формы и теоремы, которые объяснял мне синьор Джордани, но истолковать их значение было мне не по силам. Когда я попросила Виктора помочь, удивленный Виктор рассмеялся.

– Мама дала тебе читать это?

– Она сказала, что ты pomoжешь мне понять, чего я не понимаю.

Он развеселился еще больше.

– Ты видишь, это сплошная математика. Она может выглядеть как геометрия, но это исчисления, которые мало кто способен расшифровать.

– Матушка смогла.

– Да, но она необыкновенная женщина.

– А я нет?

– Не настолько, моя дорогая. И в любом случае, ты еще не женщина, – И, понизив голос, словно матушка могла услышать, добавил: – Я расскажу одну историю о маме. Однажды, когда отец был на обеде в Фернее, месье Вольтер заговорил о своей бывшей приятельнице, знаменитой мадам дю Шатле. Ты, может, слышала о ней? – (Я ответила, что нет, не приходилось.) – Она писала об учении Ньютона, в котором разбиралась на удивление хорошо. Она ни в чем не уступала Вольтеру. Это заставило его сказать, что мадам дю Шатле «великий мужчина, чей единственный недостаток в том, что он уродился женщиной». Отец уверен, что, если бы Вольтер знал нашу маму, он сказал бы то же самое о ней. Только не проговорись маме, что я рассказал тебе об этом.

Хотя Виктор и обескуражил меня, я через силу заставила себя прочесть книгу от корки до корки; впрочем, то, что я в ней поняла, показалось мне сухим, как пыль, бесцветным и лишенным жизни. Скоро я отложила ее в сторону.

Книга называлась «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica»¹. Ее автором был сэр Исаак Ньютон.

Я становлюсь мистической сестрой Виктора

Я льну к земле, его пленяет высь.
Я в глубь стремлюсь, он – к вековой сини.
Во мрак и тайну я вперяю мысль,
Он мерит даль небесных пустыни.

Стою внизу, его полет следя,
Как он средь звезд блуждает одиноко.
Что он забыл, терзаюсь страхом я,
Мою любовь, взлетевши так высоко.

По возвращеньи мелок мир ему,
Тут дух его страдает, униженный.
Но корни и ручьи учат меня всему
И крепят сердца связь с землей блаженной.

Когда я сказала матушке, что великая книга Ньютона показалась мне смертельно скучной, она удовлетворенно улыбнулась.

– Я думаю точно так же! Этот трагический человек дал нам странный способ постижения мира: не глазами, чтобы увидеть его, не руками, чтобы его осязать, не сердцем, чтобы полюбить его, но только посредством чисел, чтобы его измерить. Не лишил ли он его цвета и вещественности, без которых человечество не может существовать? Он апеллирует к власти абстракции, к своего рода священности математики, ценя ее намного выше, чем другие натурфилософы. И к чему это привело?.. Увы! Боюсь, завтра вечером мы это увидим.

Матушка подразумевала очередное из грандиозных бельгийских суаре, которые вечно были причиной яростных споров между нею и бароном.

Общество собирали для того, чтобы представить заезжую парижскую знаменитость, некоего доктора Дюпи, члена Королевской академии. Основной сферой интересов доктора была пневматика, наука об атмосфере. Ее он и преподавал, разъезжая по разным университетам. В Женеве он оказался по пути домой из Италии, где искусные венецианские мастера-стеклодувы сделали для него необыкновенный новый инструмент: огромную стеклянную сферу высотой, как я слышала, в мой рост. Эта хрупкая вещь требовала чрезвычайно осторожного обращения при перевозке, и приходилось часто останавливаться в пути. *En route*² в Париж доктор на несколько дней остановился в нашем замке, где, по настоянию барона, согласился устроить демонстрацию прибора.

В упомянутый вечер, после пышного банкета, сферу водрузили на тумбу в центре салона; внутрь сферы доктор Дюпи пустил канарейку, которая принялась неистово биться о стенки этой необычной стеклянной тюрьмы. Потом надел кожаный шланг на горлышко наверху и плотно закрепил его. Сделав все приготовления, он привел в действие устройство, которое многими расценивалось как новое чудо света: воздушный насос, аппарат, способный выкачивать воздух из любого замкнутого объема и создавать в нем вакуум. Этот насос, который он присоединил к стеклянной сфере, был предметом его особой гордости; он пространно объяснил его достоинства. Спустя несколько секунд после того, как насос заработал, канарейка уже не могла летать, только билась на дне. Несчастной птице не хватало воздуха, опоры для крыльев; доктор Дюпи выкачал его. Пока бедняжка трепыхалась,

¹ «Математические начала натуральной философии» (лат.).

² По дороге (фр.).

Дюпи объяснял, чем замечателен прибор, который мы имеем честь лицезреть. Ибо среди ученых-пневматиков создание столь полного вакуума считалось огромным достижением. Могу только сказать, что его вакуум был просто полной пустотой, конечным ничто. И разумеется, канарейке, находившейся в этой пустоте, было мечем дышать. И потому после недолгой бессильной агонии ей ничего не осталось, как умереть, подтвердив тем самым гениальность доктора Дюпи. Впрочем, убийство птички было встречено бурными аплодисментами собравшихся – не аплодировали лишь я и матушка, которая стояла с каменным лицом.

Столь восторженная реакция побудила доктора Дюпи выступить на бис; он поместил в сферу зяблика и повторил свой эксперимент, результат был тот же. Зяблик затрепетал крылышками, упал на дно, и полный вакуум навек успокоил его. Затем объектами эксперимента стали более крупные птицы, ворон и сыч, – результат повторился. Птицы все до одной погибали в вакууме. Наконец, с благословения публики, доктор Дюпи поместил под стекло поочередно кролика, мышь, котенка – словно нужны были бесконечные доказательства убийственного воздействия всемогущего вакуума. Все они погибали после непродолжительной агонии. Смерть под стеклом была абсолютно демократична; это подтвердил бы всякий человек, помещенный в вакуум. Вскоре пол у ног Дюпи весь был усеян безжизненными телами его подопытных.

Матушка не могла дольше сдерживаться. Обратившись к доктору Дюпи через головы гостей, она спросила:

– И что, по вашему мнению, вы доказали своей демонстрацией, сэр?

В первый миг доктор опешил, услышав такой вопрос. Но, увидев, что он исходил от хозяйки дома, ответил с величайшей учтивостью:

– Это доказывает, миледи, способность отличного насоса создавать глубокий вакуум.

– Вы не правы, сэр, – осмелилась возразить матушка. – Вы доказали жестокость вашей науки и ее опасность для человечества. Ибо взгляните себе под ноги, сэр. Вы стоите по колено в трупах.

И попросила прекратить показ. Этот порыв матушки вызвал негодование гостей барона, готовых, казалось, любоваться тем, как дьявольский насос уничтожит все животное царство. Барон был в большом замешательстве; позже тем вечером я стала свидетельницей единственного случая, когда он позволил себе отругать матушку за неучтивость. Но она и не думала жалеть о своем поступке; она просто объяснила ему, что одержимость доктора Дюпи его великолепным насосом не может служить оправданием смерти хотя бы одного существа.

Но как ни опечалила матушку гибель несчастных созданий, ее больше тревожило другое. А именно Виктор, рядом с которым я стояла весь вечер. И я, как матушка, заметила жадный интерес, с которым он наблюдал за демонстрацией действия прибора. Изумленное лицо его горело. Матушка не могла удержаться от того, чтобы показать ему, как сильно ее возмущение происходящим. Но ее авторитет не подействовал. На другой день Виктор уединился с доктором, чтобы научиться готовить образцы для последующего препарирования. Отец с энтузиазмом пообещал, что у него будет собственный вакуумный насос, самый лучший, который будет убивать животных по десятку за раз.

– Я не смогла стоять и наблюдать молча, – сказала матушка, когда мы встретились у нее в спальне, – Я хотела показать ему свое отвращение к происходившему. Но может быть, мне стоило попридержать язык.

– Я так признательна вам, что вы тогда заговорили, – ответила я, – Я ни за что не осмелилась бы на подобное в столь важном собрании.

Матушка засмеялась:

– Доктор Дюпи был любезен и снисходителен. Позже он принес извинения, сказав, что его показ был неподходящим для дам. На что у меня хватило смелости сказать, что в таком случае наш мир во власти не того пола. Природа безусловно была бы рада, если б женщины унаследовали Землю, ибо они предпочитают любить животных, а не машины.

– Он не рассердился?

– Ничуть! Разве, в конце концов, мои слова что-то значат, разве обыкновенная женщина может на что-то претендовать? Уверена, доктор Дюпи считает все, что я сказала, следствием фантазий, которые затмевают разум женщины.

Суаре с выступлением доктора Дюпи имело далеко идущие последствия. На взгляд матушки, демонстрация в тот вечер смертоносного вакуума сыграла роль злых чар, и Виктор не избежал их воздействия.

– Самонадеянность – величайший порок нашего века, – сказала она мне однажды вечером, сидя у моей постели, – Искушение велико, особенно для одаренных душ. Если она пускает корни в человеке, от нее трудно избавиться, – Матушка протянула мне книгу. Она была не столь велика, как «Книга Розы», и переплет ее был менее изыскан; но матушка вручила ее с выражением очень серьезным и откровенно опасливым, – Помнишь, я говорила тебе, что ничто, относящееся к Великому Деланию, не является тем, чем оно видится профану? Все таково, каково есть, но и также нечто большее. Будем надеяться, ты занималась достаточно прилежно, чтобы всегда помнить об этом. Ибо эта книга потребует от тебя еще больше усилий, чтобы увидеть то, чего не увидишь с первого взгляда. – Она наклонилась, запечатлела поцелуй на моем лбу и удалилась, оставив меня наедине с книгой, – Ты еще слишком молода, дорогая, – сказала она у порога, – Не думала, что придется начать так Рано, но, полагаю, у нас нет выбора.

«Лавандовая книга» – это название мы дали ей по цвету ее кожаного переплета – не имела собственного названия, не был указан и автор. Она тоже была на латинском, но текст проще. Даже не прибегая к помощи перевода, который матушка приложила к книге, у меня не должно было возникнуть трудностей в понимании большей части того, о чем в ней рассказывалось, поскольку текст представлял собой практически обычные подписи под рисунками, которые во множестве заполняли том. Рисунки были не столь прекрасными, как в «Книге Розы», но куда более захватывающими. Они были сгруппированы в серии, каждая из которых представляла собой как бы последовательно развивающийся рассказ. Я скоро поняла, что рассказы также должны были восприниматься как указания.

Годом раньше меня смутило стремление матушки делать мне подарки, которые можно было счесть непристойными. Теперь меня еще больше удивило собственное безразличие, с которым я разглядывала книгу, где на каждой странице изображались мужчина и женщина, совершающие акт любви, – причем куда более необычными способами, чем в «Книге Розы». Здесь пары развлекались в столь диковинных, иногда акробатических позах, что скорее рождали во мне любопытство, нежели неловкость. Может быть, спрашивала я себя, так принято заниматься любовью у другого народа? В конце концов, мужчина и женщина были экзотической наружности: он – индийский принц, она – одна из его многочисленных наложниц. Особенно меня поражало бесстыдство этих женщин, их вызывающие позы, обещающие удовлетворение самой необузданной похоти. В книге подробно показывалось, как нужно румяниться, украшать и умащать благовониями свое тело, чтобы быть как можно соблазнительней, а особенно как услаждать мужчин, исполняя любую их прихоть. Описывались такие позы, какие я вряд ли смогла бы принять, а если смогла бы, то наверняка не удержалась бы от смеха. Ежели верить этой книге, у женщины нет ни одного местечка, которое нельзя было бы использовать, чтобы усладить мужчину, ее господина. Разглядывая рисунки, я поняла, сколь бедна на воображение любовная практика добропорядочных христиан, среди которых я жила. Если они вообще заговаривали о подобных вещах, то были немногословны; а в постели, насколько мне вообще было известно, ограничивались тем, что торопливо делали свое дело и тут же отваливались, что, полагаю, радовало мало кого из женщин. Но с другой стороны, женщины, которых я видела в книге, были распутницы, всего лишь безвольные рабыни мужчин. Должна ли я следовать их примеру?

Когда я попросила матушку помочь разрешить мои сомнения, она похвалила меня за то, что я не подошла к книге легкомысленно.

– Ты задаешь умные вопросы. Я не дала бы тебе эту книгу, будучи не уверена, что ты уже достаточно взрослая, чтобы отнестись к ней критически. К сожалению, ты совершенно

права. Женщины на этих рисунках воспитаны так, чтобы быть наложницами; с ними обращаются не по-человечески только потому, что они продали себя мужчинам. Мужчины, разумеется, не испытывают угрызений по поводу подобной сделки. Нет, Элизабет, я хотела не того, чтобы ты научилась у этих женщин разврату. Эти рисунки принадлежат другому миру и другому времени, когда мужчина знатного рода мог иметь столько наложниц, сколько пожелает. В том мире женщина могла полностью насладиться своим телом, только став проституткой и торгуя своей любовью. Печально, что Великое Делание стали связывать с теми постыдными временами. Обращаясь к этим книгам, мы должны быть осторожны в суждениях; нам необходимо развивать собственное понимание этих учений. Тут, моя дорогая, есть парадокс. До тех пор пока в женщине уважают телесное, в ней всегда будут унижать духовное. Пока будут считать, что мы слишком «чисты», чтобы иметь в себе что-то животное, к нам будут относиться как к инфантильным простушкам и игнорировать.

– Значит, нужно подражать тому, что я вижу на этих рисунках?

– Тебе предстоит сыграть свою роль в Великом Делании. Роль *Soror Mystica*, мистической сестры. Объяснить, в чем она состоит, непросто, ибо в нашем мире этому нет аналога. Может статься, что Серафина попросит тебя повторить определенные вещи, которые ты видишь на этих рисунках, хотя она позаботится о том, чтобы это совершалось в соответствии с их истинным духом. Ты доверяешь ей?

– Да. Но боюсь, Виктор сочтет меня распутной, если я буду вести себя как эти женщины.

– Виктора особо учили думать о женщинах иначе, нежели другие мужчины. Он знает: все в этих книгах имеет свой, скрытый смысл. Небольшой пример. Видишь мужчину и женщину на рисунке? Обычно, если они занимаются любовью, мы считаем, что их свела вместе жажда получить физическое наслаждение. А теперь представь, что здесь изображена единая душа, поделенная между ними двумя. Тогда эти любовники уже не отдельные люди, а части, жаждущие полного слияния. Великий Платон учил, что каждый из нас не что иное, как половина полного человека. То, что мы называем любовью, есть жажда обрести в другом недостающую половину. Таким образом, даже похоть проститутки может говорить о более высокой страсти. К тому времени, как ты завершишь Делание, ты будешь знать множество подобных вещей лучше меня, ибо у меня нет мужчины, с которым мы были бы единым целым.

Примечание редактора

Роль Soror Mystica в химической женитьбе

Пока Элизабет изучала «Лавандовую книгу», ее тщательно готовили к выполнению роли мистической сестры в алхимическом Делании. Эта странная задача женщины, не имеющая соответствия в религиозном обучении в нашем обществе, стала предметом моего особого внимания в те несколько лет, что я работал над мемуарами Элизабет. Проблема оказалась из наиболее трудноразрешимых среди всех, с которыми я столкнулся.

В иллюстрациях к алхимическим трактатам женщины, изображаемые обычно в виде мистических существ, богинь, которые олицетворяют силы природы, королев или астрологических знаков, занимают заметное место. Но в письменных текстах, сопровождающих подобные иллюстрации, образ женщины всегда видится смутно, как бы сквозь стекло. Письменное слово почти исключительно принадлежит мудрецу, то есть, по всеобщим понятиям, мужчине. Это неизменно ученый муж, одиноко трудящийся в своей лаборатории. Однако еще в третьем веке от Рождества Христова мы замечаем пусть трудноуловимые, но изменения. Мы наталкиваемся на мимолетные упоминания о «*femina*» или, чаще, «*puella*»¹. Это женщины-помощницы, которые явно обладают сокровенным знанием и участвуют в алхимическом процессе. Например, в руководстве святого Зосимы «*Manipulationes*» мы находим следующее указание: «Пусть женщина поместит все

¹ Девушка, молодая женщина (лат.).

необходимое с северной стороны печи и там же совершит потребное моление». Или вот другой пример: «Пусть теперь женщина приготовит тинктуру и нагреет ее до первого уровня». Подобные редкие упоминания можно встретить в арабских текстах семнадцатого и восемнадцатого веков, в которых вновь говорится о некоей неведомой женщине, обладающей высоким мастерством. На иллюстрациях более позднего периода в лаборатории может появляться женщина, готовая помогать адепту. Арнольд Вилланова и Раймонд Луллий, оба говорят об этой фигуре как о «sogor» и ясно дают понять, что адепт зависел от ее участия в работе, где у нее были свои задачи. На иллюстрациях неизменно изображена женщина смиренного вида, обычно прекрасная и молодая, одетая скромно, иногда стоящая в молитвенной позе обочь своего господина. По меньшей мере на одном рисунке с изображением выдающегося голландского алхимика Гельвеция роль *soror* исполняла его верная супруга, которая, как говорят, была не менее сведуща в тайных знаниях. Все это заставляет нас гадать о том, какие конкретно обязанности исполняла женщина; но ничто не указывает на их аморальный характер.

Как же огорчительно было мне узнать, что непристойные алхимические рисунки, изображавшие любовное соитие в вопиюще извращенной форме, не содержали никакого символического смысла! Они были точной иллюстрацией обычаев, практиковавшихся теми, кто изучал алхимию. Теперь мне ясно, что на каждой ступени его оккультного ритуала алхимику должна была ассистировать женщина, чье участие в Делании, хотя и на второстепенной роли, считалось существенно важным. Как мы ясно видим из собственного рассказа Элизабет Франкенштейн, использование в алхимическом процессе вагинальных выделений и менструальной крови было обычным делом. Женщина должна была позволить алхимику собрать их собственноручно. Если в данный момент она не могла быть в этом смысле полезной, мудрец мог обратиться за подобной услугой к обычной проститутке. Больше того, согласно некоторым текстам, чем ниже пала женщина, тем лучше она подходила для исполнения своей роли, ибо тем самым подчеркивался предельный уровень, с которого начинается Великое Делание. Иногда сам философский камень даже уподоблялся месячным проститутки! И это не было простой метафорой. В трудах Филалета Александрийского эта таинственная *Soror Mystica* сравнивается с храмовыми проститутками халдеев; а то, что он называет «небесным рубином», есть не камень, а половой орган такой проститутки в менструальный период, которая затем непосредственно и физически участвует в его ритуале. Порою лирический восторг, с каким Филалет превозносит вагину, относясь к ней чуть ли не как к объекту поклонения, заставляет густо краснеть. Так что эти пассажи выдают в нем несомненного поклонника куннилингуса и гематофагии. Половые акты описаны разве что не во всех подробностях; необходимо только понимать, где в таких текстах проходит линия, отделяющая буквальное от метафорического.

Однако роль женщины заключалась далеко не в одном предоставлении некоего количества телесных выделений. Как это становится очевидным из «Лавандовой книги», в кульминационный момент Делания женщина, предварительно продемонстрировав богатый арсенал экстравагантных приемов обольщения, совокуплялась с господином способами поразительно разнообразными и необычными. Каждому пальцу рук куртизанки приписывалась особая эротическая функция; целые главы посвящены способам удовлетворения посредством груди и ягодиц. То же и о разнообразных формах орального секса: искусным ласкам губами, языком и гортанью. Задача состояла в тотальной эротизации женского тела. Эти обряды, конечно же, были скрыты под покровом религиозной риторики, но на практике имели явно оргиастический характер. О некоторых подобных актах упоминается в мемуарах Элизабет; другие живописно изображены в «Лавандовой книге». Именно эти описания и рисунки подсказали мне в поисках надежных сведений обратить свое внимание на Восток, откуда европейские ученые и миссионеры в последнее время начали привозить множество Древних книг. Среди них есть работы, вызывающие ассоциации с таинственной индуистской школой, называвшейся Тантрой левой руки, которая поощряла извращенные формы секса, предположительно как средство окончательного освобождения

адепта от ограничительных пут общества.

Принято полагать, что соединиться с божественным могут лишь те, кто достиг свободы от всяких законов морали. Те же обычаи процветали в определенных китайских школах философского мистицизма, существовавших до Конфуция. В книгах, принадлежащих обеим этим традициям, можно обнаружить эротические рисунки, являющиеся точной копией рисунков в «Лавандовой книге».

Но каким путем подобные практики, в корне противоречащие христианской морали, могли утвердиться среди европейских алхимиков, остается предметом гаданий; сквозь даль времени невозможно разглядеть ни единого связующего звена. Однако мы можем с уверенностью сказать, что первых алхимических адептов взрастили города Ближнего Востока, и именно там мы обнаруживаем первые известия о *Soror Mystica*. Разумеется, в христианский период подобные эротические практики должны были осуществляться тайно, а сведения о них передаваться только из уст в уста; несомненно, этим объясняется крайняя затемненность текстов.

Таким образом, можно сделать вывод, что Серафина, родословная которой начинается на карнатакском побережье Индии, где некогда расцвела Тантра левой руки, ответственна за отвратительное влияние этой практики через тайное знание, которое она передала своим последовательницам. Если бы она и баронесса Франкенштейн преуспели в своих намерениях, думаю, результатом было бы полное падение нравов христианского общества. Самые интимные отношения между мужчиной и женщиной были бы перевернуты с ног на голову; поведение, долго считавшееся извращенным и непристойным, стало бы обычной практикой; традиция приписывания подобным действиям статуса трансцендентного должна была бы чрезвычайно укрепиться. В чем же причина? В том, что на взгляд этих своенравных и неуравновешенных женщин существовала глубокая связь между эротическим и духовным, полностью игнорируемая европейской религиозной и философской мыслью.

Как далеко за пределы дома Франкенштейнов могло распространиться это влияние, трудно сказать; можно только надеяться, что культурный климат Европы, столь долго находившейся под воздействием очищающих ветров христианства, окажется слишком суров для подобного экзотического саженица. Несомненно, что европейских женщин, которых сии доктрины побуждают предаваться пороку, не ждет ничего хорошего.

Кровь и семя

...января, 178...

Мужчина не мужчина,
Тебя я жажду,
Женщина не женщина,
Быть ею стражду,
Камень не камень,
Я вся в огне,
Смерть не смерть,
О приди ко мне!

Работа продолжается. Я грежу, грежу, грежу, и какие предо мной проплывают видения!

Мне видятся глубины земли, озаренные внутренним светом, жар минералов, которые она скрывает в своем чреве. Металлы – не то, что думают люди, не бесчувственная материя, которую они грубо отнимают у почвы, раскаляют и куют. Это живое тело звезд; это золото солнца, серебро луны; это медь и железо – тайные символы Венеры и Марса; это свинец и олово, любимые Сатурном и великим Юпитером. Как великолепно они поют! И к их хору присоединяются драгоценные камни: опал и аметист, рубин и бирюза, сердолик и сапфир,

яшма и нефрит, лучистый хрусталь и благородный алмаз. Вся земля поет.

– Почему такая красота скрыта от глаз? – спрашивает Серафима и сама отвечает: – Чтобы внушить, что мир обилен чудесами, внушить, что мы никогда не познаем всех чудес. Как бы глубоко ни проник наш Разум, глубже лежат еще большие чудеса. Чудеса у нас под ногами, мы ступаем по ковру чудес.

Этим вечером, когда мы встретились в ее домике, Серафина объявляет:

– Сегодня я попрошу тебя сделать нечто особое. Это позволит нам быстрее продвигаться вперед. Леди Каролина и я решили, что пора ускорить твоё обучение.

По знаку Серафины мы с Виктором снимаем одежду и совершаем привычное омовение. Затем она просит меня лечь у огня и зажигает благовоние, от дыма которого у меня все плывет в глазах. Она приносит две маленькие глиняные чашки и ставит на пол возле меня.

– Я начерчу на твоём теле фигуру, Элизабет, – говорит она.

Достает из мешочка, висящего на шнурке на её шее, что-то, похожее на звериный клык. Окуная его попеременно то в одну чашку, то в другую, принимается рисовать им, как пером, фигуру на моем животе вокруг *mons veneris*¹. Она делает это с осторожностью, монотонно что-то напевая. В одной чашке вещество красного, в другой белого цвета. Им она рисует кольцо из двух переплетающихся змей: красной и белой.

– Красное и белое, сера и ртуть, мужчина и женщина, Виктор и Элизабет. Теперь я хочу, чтобы ты, Виктор, сосредоточил свои мысли на этом символе; Элизабет, пристально гляди на Виктора, словно можешь увидеть символ его глазами. Отрешишься от всех мыслей. Напоминаю, дети мои, что химическая женитьба – это акт любви, который делает невесту и жениха единым существом. Грубая материя может быть зеркалом этого единения; но то, к чему мы стремимся в Великом Делании, не отражение, а подлинник, который Духовен. Прошу вас представить, будто это дитя, растущее в теле Элизабет, плод вашей любви. – Она велит Виктору поместить ладони близко над двойным змеем, соединив большие и указательные пальцы над местом, где сходятся мои бедра. Таким образом, его пальцы образуют треугольник, обрамляющий мое лоно, – Теперь думайте о том, что вы брат и сестра, любящий и любящая, муж и жена. Думайте о союзе, о котором мечтали детьми, как о любви, которая когда-нибудь родится. Это – истинное золото, которое мы ищем.

Она берет в руки маленький барабан, под который мы иногда медитируем. Легко ударяет по нему: так могло бы стучать сердце ребенка во мне. Я пристально смотрю на Виктора. Его взгляд устремлен на мое лоно, и я все больше воспаляюсь; я словно читаю его мысли, и его желание передается мне. Его и мои мысли образуют круг: смотрящий и та, на которую смотрят, сливаются в одно существо. Близость его пальцев возбуждает невыносимо; я жажду, чтобы он коснулся меня. «Коснись меня!» – слышу собственный мысленный зов, но знаю: он не сделает этого. Постепенно начинаю ощущать пугающее тепло, которое исходит от моей плоти, сладостный жар, который, знаю, угас бы, если Виктор не просто бы смотрел на меня, а сделал что-то большее. Чувствую, мое тело начинает золотисто светиться; и в этом неземном жаре его и мое сознание соединяются в одно. Вижу себя в образе странного, прекрасного существа. Женщины? Или юноши... юноши с девичьей грудью, который невесомо парит над нами. Знаю, это я – он, она, фигура, сотканная из света. Какой-то миг – но сколько он длится? – нет ни Виктора, ни Элизабет; есть только это Другое, которое – мы оба.

– Я был чем-то другим, – говорит мне после Виктор. – Одновременно тобой и собой, юношей и девушкой. И парил в воздухе, как дух.

Я говорю, что испытала то же самое, но не могла удержать это чувство. Оно ускользнуло из сознания.

– Но я знала, ты желаешь меня, Виктор. Я чувствовала это. И никогда не усомнюсь в том, как сильно ты желаешь меня.

¹ Холма Венеры (лат.).

...февраля 178...

Наконец периодичность моих месячных стала совпадать с прибывающей и убывающей луной. Серафина добила своего.

– Тебя учили скрывать это от других, – говорит она мне. – Так и должно быть; это касается только самой женщины. Но теперь я попрошу сделать неприятную вещь. Нужно будет позволить одному мужчине увидеть кровотечение. Я хочу, чтобы ты показала это Виктору. Ты согласна?

Мне вовсе не хотелось этого, но я помнила, что обещала матушке делать все, что потребует от меня Великое Делание.

– Да, – ответила я, но Серафина уловила сомнение в моем голосе.

– Пойми, это нужно только для того, чтобы просветить Виктора. Мы не можем продолжать Делание, пока он не будет иметь представление о наших женских тайнах, и не просто со слов, а увидев собственными глазами.

В эту ночь мы собрались на лесной поляне под ясным холодным небом, усыпанным звездами. Пока мы ждем, чтобы луна достигла зенита, Серафина велит Виктору собрать сучья и разжечь четыре костра, чтобы нам, посередине, не было холодно. Она расстилает расшитый плед, на который я ложусь; она сама соткала его и украсила символами, которых я не понимаю. Когда начинают трещать сучья, охваченные огнем, Серафина и Виктор раздеваются, я тоже, но остаюсь в нижней юбке. Серафина просит меня бросить в пламя сухие листья и лепестки разных цветов. Ароматические вещества, содержащиеся в этих цветах, говорит она нам, воздействуют на жизненные органы тела и вызывают жар второй степени. Костер у моей головы будет благоухать шандрой, костер слева – горечавкой, справа – болотной мятой, а костер в ногах – аирным корнем. Костры заполняют поляну душистым смешанным ароматом цветов. Когда луна наконец начинает сиять прямо над нами, Серафина произносит короткое заклинание над каждым из костров на своем родном языке. Затем достает из матерчатой сумки хрустальную чашу и протягивает Виктору.

– Вот тебе задание, дитя, – объявляет она, – Я хочу, чтобы ты собрал кровь, которая нам нужна. Элизабет раскроется для тебя. С ее стороны это жест любви и доверия. Ты со своей стороны должен вложить любовь и доверие в то, что совершаешь.

Серафина садится у меня в изголовье и кладет мою голову себе на колени. Она гладит меня по лбу и тихо напевает веселую песенку, успокаивая меня; но этот странный обряд вызывает у меня мучительно противоречивое чувство. Я не стыжусь того, что Виктор видит меня в таком состоянии; больше того, мне хочется, чтобы он знал, что я настоящая взрослая женщина, хотя и могу казаться маленькой и худенькой, когда стою рядом с ним. Но я боюсь, что ему будет противно выполнять поручение Серафины, и боюсь, как бы он не решил, что я бесстыдная, раз так откровенно раскрываю себя. Но я знаю, он так же страстно, как я, желает продолжить Делание и узнать все, чему учит нас Серафина. Наконец я набираюсь смелости и раскрываюсь перед ним, сначала чуть-чуть, потом полностью; моя тайная плоть раскрывается перед его глазами, как цветок. Я почти чувствую телом его взгляд. По знаку Серафины Виктор опускается на колени между моими податливыми бедрами; но я вижу, он не может заставить себя прикоснуться ко мне. Я чувствую его замешательство, поворачиваюсь к Серафине и взглядом спрашиваю, должны ли мы продолжать. Она подбадривает меня улыбкой, но остается твердой.

– Кровь и семя. Необходимо то и другое. Очень важно, чтобы Виктор знал и это, как каждый адепт до него. Он хочет быть учеником Природы, разве нет? Так вот она, Природа, прямо перед ним, и он мог бы даже сказать, что вид ее желанен ему. Но он не говорит! Я вижу это, как и ты. Тебе неприятно выполнять мою просьбу, Виктор? Скажи правду.

– Да, неприятно.

– Тело Элизабет вызывает в тебе отвращение, когда наступают ее дни, это так?

– Отчасти.

– Только отчасти? А может, больше? Почему?

– Из-за крови.
– Ах да, кровь! Но разве ты не проливал кровь животных, убивая их для своих опытов? Мышей, птиц – разве не разрезал их нежные тельца? Разве кровь не текла по твоим рукам, когда отделял их крохотное сердечко?

– Да, – отвечает Виктор, хмурясь.

– Ты не чувствовал при этом отвращения?

– Нет...

– Почему же?

– Не позволял себе...

– Что же ты чувствовал? Что познаешь тайны Природы?

– Да.

– Так в чем же разница? Это возможность для тебя узнать тайны женского тела.

Я вижу, как мучительны для него ее вопросы.

– Нет! – отвечает Виктор. – Разница есть.

– Действительно, есть! Эта кровь не то, что любая другая кровь. Это не кровь болезни или раны. Это не кровь чего-то умирающего. Это рана, которая заживает сама. Кровь течет по собственной воле; у нее собственные циклы, как У луны над нами. Кровь – это символ жизни, которую женщина дарит, равно как земля. Эта кровь – чудо, Виктор, и в то же время – запомни мои слова – это *единственная* кровь, безвредная жидкость, о чем знает каждая женщина.

Серафина внезапно вытягивает руку и скользит пальцами по моей раскрытой плоти. В голове возникает образ: разломленный на две половинки спелый красный плод, сочащийся соком. Серафина убирает руку, на ней темно-красный след.

– Вижу, ты ежишься. Но это так просто! Это тебя не испачкает. Или ты хочешь, чтобы Элизабет в такие периоды замыкалась в себе, словно у нее есть причина сторониться других?

– Возможно... да.

– Ты слышишь, Элизабет? Понятно теперь, почему женщин заставляют стыдиться? Ты помнишь, когда стала стыдиться месячных?

Я это помню. И во мне вспыхивает гнев оттого, что Виктор вынудил меня вернуться в прошлое.

– Элизабет узнала от других женщин, что в нашем теле нет ничего, что было бы позорным, – говорит Серафина Виктору. – Всякий мужчина, чтобы стать отцом, должен овладеть телом женщины; тем не менее он с презрением относится к этому телу, а особенно когда оно напоминает о своей главной задаче – рождать. Рассуди сам. Вот перед тобой Элизабет, которую ты любишь как сестру, а может, больше, чем сестру. Но когда видишь кровь, отворачиваешься. Не желаешь касаться ее. Кровь Жизнетворяща, так же как собственное твоё семя. Что ты узнаешь о жизни, если будешь считать женскую кровь нечистой? Или, может, тебе известна какая-то лучшая, «более чистая» форма жизни, которая рождается не от крови и семени?

– Нет.

– Женщине приходится касаться крови, ухаживая за своим телом. Не хочешь ли и ты сделать то же, хотя бы раз в жизни?

Виктор снова пробует выполнить просьбу Серафины. Я вижу, как он нерешителен. И без слов говорю, надеясь, что он услышит: «Это называется „вагина“». Восхитительное слово, ласковое, цветущее слово. Представь, будто это плод, спелый, свежий. Он размыкается, открывая глубокий проход в плодоносную темноту. Я уступаю тебе, Виктор. Пожалуйста, не бойся меня! Не презирай!» Но опять ему не хватает смелости; он не может протянуть руку и коснуться меня. Его гордость унижена, и это вызывает во мне чуть ли не жалость, но гнев пересиливает. Сначала мне было стыдно предстать перед Виктором в таком виде. Теперь во мне вспыхивает чувство совершенно противоположное. *Пусть видит! Пусть знает! Больше не буду ему верной подругой, раз он считает меня нечистой!*

Наконец Серафина смягчилась и забрала у него чашу.

– Лучше будет, если ты сделаешь это, оставшись с ней наедине, Виктор. Но нам нельзя упускать благоприятный случай. Необходимо собрать кровь нынче ночью. Я лишь прошу помочь мне. Положи свою руку на мою.

Виктор повинует; Серафина снова проводит пальцами у меня между ног, нежно собирая кровь. Потом дает ей стечь с пальцев в чашу.

– Я не хочу ставить тебя в неловкое положение, Виктор, – мягко объясняет Серафина, – Только дать тебе знания. Подумай, что ты действительно чувствуешь. И над тем, почему не смог сделать, как я велела. Кровь, к которой ты не смог заставить себя прикоснуться, – почему она так тебе противна? Потому что вид ее тебе неприятен? Нет, не думаю. Твою руку останавливает страх. Страх перед могуществом женщины, которого ее нельзя лишить. Хотя ты и говоришь, что любишь Элизабет, к твоей любви примешан страх – как к любви каждого мужчины к женщине. Мы недалеко продвинемся, пока этот страх не покинет тебя и останется одна твоя истинная любовь.

Позже Виктор приходит попросить прощения, зная, что своим поведением оскорбил меня.

– Серафина права, – говорю я ему, – Ты очень стараешься... но все же недостаточно. Эта кровь не более нечистая, чем та, которой ты касаешься, убивая животных. Что же тогда заставляет тебя отворачиваться?

– Это другое, как говорит Серафина. Я боюсь притрагиваться к ней. Чувствую, что не имею права приближаться так близко к подобным вещам.

– Но я разрешила тебе. Я не хочу, чтобы ты шарахался или отворачивался. Ты должен знать мое тело; иначе заставишь меня испытывать стыд, Виктор, – скрывать это от тебя.

Вижу, что мне не удастся его убедить. Он снова просит прощения, повторяя, что вел себя так из глубокого уважения ко мне; но я не верю его оправданиям. Считаю, что это обычная мужская уловка. Мужчины прикидываются, что испытывают к женщинам огромное уважение, а потом сооружают из этого уважения клетку, в которой держат нас.

Спящий Император

...марта 178...

Ночами льнем друг к другу я и ты,
Крепки объятья наши, и чисты,
Палимы не желанием убогим,
То жар огня, какой даруют боги.

Любовь крепка, но нет стыда в помине,
Поскольку дружба – ей иное имя.
Тебе свое сокровище вверяю,
И все же непорочной пребываю.

Есть святость помыслов, она
Лишь истинным возлюбленным дана.
И из таких прочнейших в свете уз
Куется вечный двух сердец союз.

Мы в домике Серафины. За окошком с темного неба густо сыплет снег, укутывая мир белым саваном. Серафина подбрасывает в очаг сучья – вечер предстоит долгий. Мы знаем, зачем собрались у нее на этот раз; пришла пора собрать семя.

– *Чистое* семя, – говорит Серафина, – пожертвованное добровольно и не опороченное животным желанием. Ты дашь то, что нам требуется, Виктор?

Виктор мужественно отвечает согласием. Он готовился сделать то, что от него ждали, с крайним тщанием выполняя указания Серафины. Несколько вечеров подряд он пил крепкий бульон, в котором Серафина растворила крохотный темно-красный шарик. Она говорит, что в его составе есть толика очищенной киновари, столь ничтожная, что не взвесить никакими весами. Это, говорит она, усилит отделение семенной жидкости и сделает ее более активной.

Она просит Виктора лечь на спину у очага и сжимает его голову коленями. Его худое, плоское тело вытянуто, вялый член весь на виду. Серафина кладет свои скрюченные пальцы ему на виски и принимается нежно поглаживать. Склонившись над ним, она напевает ему на ухо, но так тихо, что я не могу разобрать ни слова. Алу, нахохлившись наблюдающая за происходящим, вдруг оживляется и, выпрямившись на жердочке, вытягивает шею, чтобы лучше видеть. Горловым голосом вторит пению Серафины. Обычно Алу издает что-то похожее на хриплое карканье; но я обнаружила, что иногда, когда они с Серафиной переговариваются, голос ее меняется на мягкое тихое бормотание, будто они перешептываются тайком. Сейчас Алу этим убаюкивающим голосом подпевает Серафине, чьи седые космы падают на лицо Виктора, как завеса, скрывающая его лицо от посторонних глаз. Она будто увела его за собой в потаенное место. Спустя несколько минут Виктор погружается в сон наяву; вижу, как расслабляются его напрягшиеся мышцы. Дыхание становится глубоким, ровным. Серафина продолжает тихо напевать ему на ухо. Временами ее голос начинает звучать странно, словно доносясь из глубокой пещеры. В такие моменты мое сознание затуманивается, я как будто иду где-то далеко отсюда, перед глазами плывут полутени фигур. Это женщины из книг, но сейчас я нахожусь среди них и делаю то же, что они: прихорашиваюсь для моего господина, озабоченная тем, чтобы доставить ему наслаждение. Я смотрю на себя как на актрису на сцене воображения, дивлюсь тому, как владею этим искусством. Мое тело роскошно, груди как у женщин из «Лавандовой книги», изумительные бедра. Я кажусь себе прекрасной, как Франсина. Я могу обвиться, словно змея, вокруг моего ждущего любовника. Серафина вновь наклоняется к уху Виктора; теперь она вполголоса напевает экзотическую колыбельную, гнусавую, чувственную, в которой я узнаю песню ее далекого народа. Постепенно голос ее меняется, становясь светлей, текучей, чуть ли не сладкозвучным. В нем явно слышатся лукаво-веселые нотки, манящий смех. Я стряхиваю сонливость и с любопытством смотрю: неужто это все та же Серафина? Голос звучит обольстительно, словно это другая, молодая женщина страстно шепчет своему возлюбленному. Мне хочется увидеть ее лицо, убедиться, она ли это. Но завеса ее волос, ставших будто темней, блестящей, почти как черный шелк, вновь скрывает ее от меня.

Спустя несколько мгновений вижу, что мужской орган Виктора оживает и начинает увеличиваться. Еще мгновение, и он окончательно восстает. Внутри, в глубине ощущаю сладостный ответный спазм. Это беззвучный язык тела, на котором мы с Виктором начинаем общаться все уверенней.

Той ночью я впервые совершаю ритуал Спящего Императора, о котором узнала из «Лавандовой книги».

Не могу сказать, как долго это продолжалось. Я потеряла всякое ощущение времени, проходя все стадии ритуала. Я будто плыву на волне экстаза, пока Серафина не возвращает меня к реальности. Слышу, она шепотом зовет меня:

– Элизабет...

Прихожу в себя и вижу: я склонилась над Виктором и крепко держу в руках его член, у самых своих губ. Оглядываясь на Серафину: она протягивает мне хрустальную чашу.

– Виктор готов. Подставь это под него вот тут и будь внимательна. Ни капли не должно пропасть.

Я повинуюсь: свободной рукой подставляю чашу и жду. Дыхание Виктора прерывается, легкая дрожь сотрясает его тело; рукой чувствую содрогание – и вдруг его член извергает шелковую струю. «Быстро!» – раздается требовательный шепот Серафины, напоминающей о том, что от меня требуется. Пора Дракону погрузиться в Нил; я ублажаю зверя, как учила меня Серафина, пока поток не орошает все царство. Это так волнующе:

видеть, как Виктор исторгает семя! Ведь это таинство мужского тела, долженствующее совершаться во тьме и скрытно от глаз. Серафина, мурлыча одну из своих песен, поднимает чашу над головой и медленно вращает ее, пока семя и сгустившаяся кровь не смешиваются.

Несколько мгновений Виктор недвижно лежит, погруженный в состояние, близкое к трансу. Наконец он открывает глаза и видит склонившуюся над ним Серафину.

– Ну не говорила ли я тебе, – спрашивает она с ироничной усмешкой, – что ты возжелаешь старуху? – (Он удивленно хлопает глазами, потом резко садится и смотрит на нее в яростном недоумении.) – Эти кровь и семя не станут новой жизнью, – говорит Серафина, – как стали бы в женском чреве. Это мертвая материя в чаше. Но они обладают иной силой, дети мои. Они позволяют вам заглянуть в чрево Самой Природы. Однако придется вам набраться терпения. Глубины мира еще скрыты от вас. Всему свое время.

Серафина переливает смесь в хрустальную вазу – вазу Гермеса, иногда называемую философским яйцом, – в которой ей предстоит храниться в плотно закупоренном виде. Потом убирает вазу в шкаф, до следующего занятия.

Понимает ли Виктор, что произошло? Позже, когда я рассказываю ему об этом, он пытается собрать обрывки воспоминаний. Но все, что он помнит, – это беспокойный сон, который нелегко пересказать. Он припоминает женщину под вуалью. Хотя он не видел ее лица, он был уверен, что она невероятно прекрасна. Она сказала ему: «Многие погибли, совершая наше Делание; но доверься мне и благополучно пройдешь свой путь». Затем она прижала его к своей груди и обняла, как любовница.

– Сначала, – признается Виктор тревожным шепотом, – я подумал, что это *матушка!* Я почувствовал такое волнение, что почти проснулся. Но женщина будто управляла моим сном и не позволила этого сделать. «Мне придется приподнять вуаль, если захочу поцеловать тебя», – сказала она. Я стал умолять ее не открывать лица, ибо боялся узнать, кто она. «Тогда ты должен поцеловать меня сюда, – не отступала она, – ибо нам нужно твое семя». И она распахнула одежды и обнажилась, – Он проводит рукой по моей груди, показывая, куда он поцеловал, – Она была до того красива... я не мог не исполнить ее пожелание. – Голос Виктора стал еще тише и напряженней. – Но когда я прильнул губами к ее груди, то смог очень смутно различить ее лицо под вуалью. И увидел, что это Серафина! Не та Серафина, какой мы знаем ее сейчас, но какой она могла быть когда-то, молодой и таинственно прекрасной. Нет, не так. Не молодой. Вне возраста. Могущей одновременно быть девушкой и матерью. Она так крепко прижала меня к груди, что я едва мог дышать. А потом, помню, все мое тело содрогнулось и ощущение было сладостным, как мед. Такого дивного ощущения я никогда не испытывал! После этого меня охватил глубокий покой, и мне было все равно, жив я или мертв.

– Ты не против, что я получила твое семя таким способом?

Он покраснел на мгновение.

– Если Делание требует этого... Но я бы предпочел не спать. Предпочел бы, чтоб ты не давала мне уснуть, как Серафина не давала мне проснуться.

Примечание издателя

Ритуал Спящего Императора

Элизабет Франкенштейн упоминает о ритуале, описанном в «Лавандовой книге». В ней мы находим историю о легендарном Императоре, который тяжело заболел. Символ больного Властелина известен по алхимическому учению; там он имеет различные интерпретации. В терминологии алхимиков это стадия Делания, называемая «растворением» или «черной» стадией, когда материя, как представляется, переходит в состояние окончательной смерти. Даже могущественный «порошок проекции» (растертая ртуть) не в состоянии восстановить материю столь униженную: отсюда использование символов, связанных со смертью, разложением, болезнью и прочая. Теологически это иногда понимается как падение человека, выраженное в первородном грехе.

По причине немощного состояния Император не в состоянии исполнять свои обязанности; его царство приходит в упадок, разорение неминуемо. Его владения поражает засуха, длящаяся десять лет, за которой следует мор, продолжающийся еще десять лет. Земля становится бесплодной; народ мрет от голода. Наконец отчаявшаяся Императрица решает, что надо действовать. Она понимает, что только царское семя обладает силой, которая возродит королевство. Однако Император в результате болезни стал импотентом. Но Императрица, учившаяся науке обольщения, знает выход. Ночами она заставляет Императора погружаться в глубочайший сон, спокойный, как сон зародыша в утробе. Затем она приводит в императорскую спальню самую юную и прекрасную из его наложниц, чтобы та помогла ей осуществить свой замысел. Она велит наложнице, еще девственнице, которую потерявший мужскую силу Император не успел познать, опуститься на колени между ног господина и ласкать его член. Та оmyвает его, умащает благовониями, поглаживает и ласкает губами. Наконец у Императора появляются признаки возбуждения. Девушке показывают, как массировать яички господина, нежно и вкрадчиво. В тексте подробно разъясняется, как это делать, особо указывая на то, что указательным пальцем девушке следует надавливать на уретру в точке под самой мошонкой. Делается это для того, чтобы как можно дольше сдерживать поллюцию. Тем временем Императрица качает спящего мужа на руках и нашептывает ему о божественных наслаждениях. Император во сне испытывает бесконечную череду оргазмов, но эякулировать ему не позволяют. Наконец после продолжительного старательного стимулирования императорские яички набухают от скопившегося семени. И наложнице велют убрать палец и позволить семени исторгнуться; результат – настоящая река царской спермы, изображенная текущей по иссушенной земле, возвращающей ей плодородие. Это долго сдерживавшееся истечение семени называется «Дракон плавает в Ниле». Дракон здесь – символ мужской силы. «Ублажение зверя» – это пространно описанные в трактате способы возбуждения члена, с целью добиться длительного семяизвержения.

Рассказ о Спящем Императоре смутно напоминает позднейшие средневековые сказки о Короле-Рыбаке, чья неисцелимая рана навлекает несчастья на его королевство; алхимическая версия, разумеется, куда более эротична. В случае Виктора роль императрицы сыграла Серафина, а девственницы-наложницы – Элизабет. Судя по ее рассказу об этом эпизоде, мы должны допустить, что от сонного Виктора добились оргазма схожими способами, и Серафина смогла получить то, что ей требовалось.

Сколь ни безжалостным может показаться обряд Спящего Императора, но в своем обучении адепты алхимии проходили еще более суровое испытание. Оно состояло в полном отказе от семяизвержения, как бы их ни соблазняли.

Адепт, например, мог обладать одной за другою несколькими женщинами, чье разнообразие гарантировало бесконечное желание, но никогда не позволял себе завершать акт оргазмом. «В обладании Женщиной, – говорит глубоко почитавшийся китайский мудрец Ко Сучун, – обуздывай себя как можно чаще, чтобы сперма возвращалась через спинальный канал и питала головной мозг». Удерживаемая таким способом сперма становилась легендарным *Elixir Vitae*¹.

Теперь ясно, что долгое время существовала тайная алхимическая традиция применения столь гротескных способов обучения. К примеру, приписываемый Олимпиодору Фиванскому поздний александрийский текст, который опирается на тантрический источник, поощряет пристальное изучение женской анатомии. Каждую складочку и впадинку женского тела, каждую пору и волосок, всякий его запах и особенность строения должно досконально знать и любить. Малейший физический недостаток должен быть отыскан и использован как эротический стимул. Вот типичный отрывок, где адепта учат:

Ищи божественное в несовершенстве Возлюбленной, ибо божественное засияет еще ярче в присутствии несовершенства. Ищи высокое в низком, чистое в

¹ Эликсир жизни (лат.).

отвратительном. Каждый волосок Возлюбленной принимай как Откровение. Самыми пылкими мольбами склоняй Возлюбленную открыться твоему восхищенному взору, чтобы ты мог постичь и восхититься самым потаенным в ней. Учи Возлюбленную истинному назначению ее усладительной плоти, коя есть Врата Непоименованного.

Только потратив годы на изучение подобных текстов и связанных с ними обрядов, я окончательно понял, чего баронесса Франкенштейн надеялась достичь, возрождая ритуал химической женитьбы. Замысел ее в своем коварстве шел даже дальше разрушения христианской морали. Думаю, она надеялась лишить европейскую науку ее мужского характера. Вспомните, как часто она признавалась во враждебном чувстве к научному прогрессу и какую зависть испытывала к мужчинам, пролагавшим ему путь вперед. Ясно, что она не намеревалась ограничиваться жалобами и проклятиями. Она предполагала подменить научную работу разнообразными эротическими игрищами, которые уничтожили бы сущностный – и необходимый – мужественный аскетизм науки. В таком случае «Книгу Розы» и «Лавандовую книгу» лучше всего рассматривать как песню сирены, чья цель заманить натурфилософию в обитель опустошающих наслаждений.

Готов допустить, что леди Каролина, по крайней мере, как самой ей представлялось, действовала из лучших побуждений; возможно, она хотела благотворно повлиять на свою эпоху. Доброта, которую она проявляла к братьям нашим меньшим, весьма трогательна. О том, сколь поверхностно ее понимание натурфилософии, говорит ее заблуждение, что дискредитировавшее себя знание адептов алхимии способно играть и дальше какую-то роль в продолжающемся наступлении нашего общества на невежество и суеверие. Это такая мешанина! Фантазия и факт, символическое и вещественное, игра воображения и правда... все свалено в одну кучу, без различия. Алхимическая вселенная была царством иллюзии, а не точного знания. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что если бы что-нибудь наподобие нелепого плана леди Каролины сумело укорениться в нашей культуре, оно распространилось бы, как ядовитый сорняк, отравляющий источники нашей нравственной силы.

Саламандра

Власть розы в красоте,
Любовь сердцами движет.
Подвластным Высоте
Быть радо все, что ниже.

Хожу среди двух львов,
Львом золотым, зеленым.
Брожу в глуби лесов,
Доступных посвященным.

Из львиных пастей алых
Кровь алая бежит.
Не страшно мне средь ярых,
Их грозный рык смешит.

Связует все миры
Закон гармонии.
Сковала звезды цепь
Нежнейшей тирании.

...марта 178...

Серафина учит нас Кормлению Львов.

Виктор и я долго рассматривали изображение этого ритуала в «Лавандовой книге». Я много раз спрашивала себя, будем ли мы сами участниками его.

– Тебе нужно быть предельно восприимчивым всю долгую ночь, – говорит Серафина Виктору, – Вот, это поможет сохранять кристальную ясность ума.

Она заваривает ему чашку крепкого чая с цикорием. В первую ночь Серафина сама исполняет роль партнерши; меня просит только смотреть.

– Помните, – предупреждает она нас обоих, – вы учитесь видеть все не таким, каким оно кажется на первый взгляд. Если будете уверены, что есть что-то большее, то и увидите больше.

Теперь Виктор знает, что Серафину надо воспринимать не как старую каргу, каковой она выглядит; он знает ее женскую власть. Не проходит и часа, как он погружается в себя, отрешенный взгляд неподвижен, словно устремлен на прекраснейшую из женщин. То же и Серафина. Она становится похожей на сомнамбулу. Я наблюдаю за ней и сомневаюсь, что смогу оставаться столь же спокойной и терпеливой. Говорю ей об этом, и она улыбается, успокаивая меня.

– Не бойся, дитя. Я дам тебе кое-что, что поможет сохранять спокойствие. В дальнейшем для этого тебе не понадобятся посторонние средства. Мысли Виктора станут твоими мыслями; не могу объяснить, но вы станете единым существом. Ночь для вас обоих промелькнет в одно мгновение. Только думай, что Виктор предлагает тебе самозабвенную любовь истинного жениха, любовь, дарящую упоение возлюбленной.

Еще трижды в эти две недели мы с Виктором повторяем Кормление Львов под присмотром Серафины. От зелья, которым она поит меня, я словно плыву над землей; оно также возбуждает во мне невероятную чувствительность. Я могу ощущать телом взгляд Виктора, как будто он касается его, и не настолько нежно, как мне бы хотелось. Он порой слишком страстен, слишком настойчив. Вновь я понимаю, какой беззащитной становится женщина, когда ее тело раскрывается. Но, доверяя Виктору, я уступаю и испытываю при этом не чувство опасности, а иное, пьянящее чувство. Мы во власти предвкушения, рождаемого странной невинностью того, что мы делаем: жгучий взор Виктора устремлен на меня, и, однако, мы не касаемся друг друга.

На первых порах я, так сказать, исполняю роль бесстыдной соблазнительницы; я не вижу ничего, кроме выражения похоти в том, что меня призывают делать. Но со временем, по мере того как проходит ночь за ночью, я начинаю воспринимать все иначе: похоть может быть узкой дверью, которую мы проходим и за которой находится нечто большее, наслаждение, которое спокойней, тоньше, возвышенней.

...июня 178...

Каждый раз после Кормления Львов Серафина спрашивает, о чем мы в это время думали. Поначалу у меня нет желания говорить об этом – у Виктора тоже. Воображение рисует нам столь непристойные картины, что мы не хотим признаваться. Серафина не настаивает, но каждую ночь возвращается к этому вопросу. Наконец Виктор набирается храбрости.

– Я представляю, что дотрагиваюсь до нее, – говорит он, – Хочу дотронуться.

– И где ты хочешь ее потрогать? – интересуется Серафина с озорной ноткой в голосе. Виктор стесняется отвечать, – Здесь? – спрашивает Серафина, медленно проводя рукой по моему телу от груди к лону, – Или здесь? Тебе хотелось бы сделать то, что я делаю сейчас?

– Да, – признается он, невольно краснея.

– А почему?

Вопрос застает Виктора врасплох.

– Наверно, было бы неестественно не захотеть. Ее тело... воспламеняет меня.

В голосе Серафины слышится искреннее сострадание, когда она говорит:

– Да, я заставила тебя гореть от желания к ней. Это естественно для такого молодого и горячего человека. А ты, Элизабет? О чем ты думаешь?

Сказанное Виктором заставило меня сознаться:

– Я хочу, чтобы Виктор обнял меня, как настоящий любовник.

– Только обнял?

– Нет! Чтобы он вошел в меня. Каждый раз я жажду этого все больше. Я представляю это себе, схожу с ума, вижу во сне.

Это мой протест против жестокости того, что требует от нас Серафина. Но пока я выплескиваю свой гнев, я не сознаю, насколько он жгуч или насколько жгучим стало мое желание.

– Знаю, ты считаешь меня слишком суровой, – отвечает она печально, но ничуть не оправдываясь, – Но в том, что я делаю, есть великий смысл. Я учу тебя жаждать, дорогая. Я возвращаю в тебе эту жажду. Если мужчина и женщина торопятся сразу удовлетворить желание, они никогда не узнают, какой силы оно может достичь и какую великую жажду ему предназначено утолить. Им не откроется, что означает их союз. Наслаждение длится недолго, и они никогда не узнают, что есть иное наслаждение, которое ожидает за первым. Со временем вы поймете, что это второе наслаждение, о котором я говорю, – оно в горении; горение станет вашими крыльями и вознесет к небесам. А теперь посмотрим, какой степени близости вы достигли.

С этими словами она велит мне принести вазу, в которой хранились кровь и семя, и ставит ее перед нами на пол. Мы много раз изучали содержимое сосуда; нам было сказано: то, что мы увидим, есть черный период нигредо. Она добавила в него другие ингредиенты: разные травы, стружку жемчужины и сурьмяное масло – и поставила прогреваться в навоз жеребой кобылы. Все это разлагается и бродит в плотно закупоренном сосуде, выделяя зловонный запах в драме очищения.

На этот раз, когда мы садимся и рассматриваем содержимое вазы, Серафина дает нам отпить смеси; у нее горький вкус пустырника, который я пила на женских сходках на поляне, но сильней запах брожения. Серафина говорит, это придаст остроту зрению. И в ожидании, пока подействует зелье, тихонько напевает себе под нос смутную ночную песенку.

– Поднимите бутыл, – командует она некоторое время спустя, – Переверните, покрутите, а потом взгляните внимательней.

Сначала я довольно долго ничего не вижу, кроме илистого черного осадка на дне.

– Смотрите же, смотрите! – шепчет Серафина.

И тут, и тут... мне показалось, что я вижу радужный проблеск. И еще, и еще. Пламя выскакивает из мертвой гнили и мечется по внутренним стенкам сосуда. Я вижу, как его языки проскальзывают сквозь горлышко и выются, как быстрые змейки, вокруг рук и плеч Серафины. Я так поражена, что отшатываюсь, словно боясь, что они прыгнут на меня.

– Что ты видишь?! – кричит, почти рычит Серафина.

– Огонь.

– Какого он цвета? – нетерпеливо спрашивает она; ослепительная полоска света продолжает метаться вокруг нее.

– Голубого, – отвечаю я. – Голубой огонь...

– Замечательно, дорогая. Впивай его. Ощути всем нутром. Пусть он согреет тебя от головы до ног. Не бойся смотреть на него!

Неожиданно я кричу:

– О боже! Там что-то движется!

Серафина взволнованно наклоняется, поднося вазу вплотную к моему лицу.

– Смотри внимательней! Что ты видишь, говори?

– Я вижу... вижу...

Но тут мои глаза подводят меня. Свет слишком слепящ; все расплывается.

– Очень хорошо, – говорит Серафина, – Достаточно на один вечер. А ты, Виктор, – что ты видел?

– Но я ничего не видел, – отвечает он в замешательстве.

Серафина спокойно кивает:

– Всеу свое время, всеу свое время. С каждым вечером мы будем продвигаться немного дальше по пути к этой тайне.

Так оно и происходит. Каждый раз, когда мы заканчиваем Кормление Львов, она выставляет вазу. Каждый раз я вижу, как внутри ее вспыхивает яркий голубой огонь, и всегда там начинается что-то медленно шевелиться – думаю, что-то живое. Но что может жить в таком яростном огне? Наконец в одну из ночей мне удастся справиться со своим зрением, ничто не дрожит, не расплывается в глазах. И я отчетливо вижу: «*Живое существо!* Ящерка!» Ибо это в самом деле похоже на ящерицу с быстрым ищущим язычком и мечущимся хвостом, и огонь лижет ее гибкое мерцающее тело.

– Какого цвета? – спрашивает Серафина.

Я теряю из виду существо; оно растворяется в сиянии. Я продолжаю смотреть, пока заслезившиеся глаза не высыхают.

– Спокойно, дитя, – предостерегает Серафина, – Смотри ласковой, приветливой. Попроси ее показаться тебе.

Я послушалась. Вместо того чтобы напрягать глаза, пытаюсь что-то разглядеть, я умоляю существо в сосуде показаться мне. Постепенно ящерицу становится видно, ее чешуйчатый бок объят огнем; она словно в облачении из огня.

– Она разноцветная, – говорю я, – Красная, серебряная, оранжевая.

– Что еще ты видишь?

– Она ходит в огне, но не сгорает.

– Можешь сказать, нравится ей огонь?

– Да. Она катается и резвится в нем.

Серафина подносит чашу Виктору.

– Теперь ты, Виктор. Ты тоже видишь это существо?

Но Виктор не настолько зорек. Хотя он старается изо всех сил, но видит только черный осадок на дне.

– Ничего не вижу! – нетерпеливо выпаливает он. – Нет там ничего, кроме дряни, которую ты набросала.

– Неважно, дитя, – успокаивает Серафина. – Со временем увидишь. Это животное – особый знак; это саламандра, возникающая из продуктов распада. Хотя она и может показаться свирепой, она – наш верный водитель. Она появляется как знак того, что нигредо завершается. Начинается возрождение – и в вас, и в сосуде. Помните: все, что вы видите в мире, должно прежде всего существовать в вас. Великое Делание не будет совершено, пока оно не совершится внутри вас. Самое важное: следите за тем, как ящерица появляется в огне. Огонь – ее элемент. Она наслаждается, будучи в огне, и так же вам пламя будет в наслаждение. Запомните мои слова: все на свете есть знак чего-то большего, что стоит за ним. Почему существуют отдельно мужчина и женщина? Зачем мужчина входит в женщину? Зачем мы созданы как двое, которые горят желанием соединиться? Затем, что важно единство. Ради этого стоит гореть всю жизнь.

– У тебя глаз быстрее, – говорит мне позже Виктор. – Я ничего не могу разглядеть в этой склянке. Или ты прикидываешься? – Он смотрит подозрительно, в голосе недоверие, и это между нами впервые.

– Я бы не пошла на такое! Не стала бы пытаться обмануть Серафину, не смогла бы.

– Возможно, вы обе меня дурачите.

– Зачем нам тебя дурачить? – изумляюсь я.

Он пожимает плечами и делает обиженное лицо:

– Вы женщины и не хотите допускать мужчин к таким делам.

– Это не так! – возмущаюсь я, – Я бы ничего не стала скрывать от тебя.

– Тогда почему я не вижу ящерицу? Я так напрягаю глаза, что, наверно, мог бы видеть сквозь каменную стену.

– Может, как раз потому, что слишком стараешься; слишком тебе не терпится. Смотри спокойней. Верь, что увидишь.

Но на другую ночь и на следующую, когда Серафина ставит сосуд, Виктор ничего не видит, и это его начинает бесить. Наконец он взрывается: «Я не способен это увидеть!» – и отказывается продолжать наш сеанс.

– Терпение, Виктор, – говорит Серафина. – Она явится тебе по-другому. Часто именно Sorog видит первой эти знаки; таким способом саламандра проявляет осторожность.

Виктор раздосадован. На следующую ночь я из сочувствия к нему притворяюсь, что тоже ничего не вижу. Серафина озадачена.

– Ты уверена, дитя мое? – спрашивает она.

– Ничего... ничего нет. Никакой ящерицы, правда.

– Как интересно.

Серафину беспокоит мой ответ. Думаю, она знает, что у меня на уме, знает, что я лгу. Но я лгу оттого, что люблю Виктора. Я не хочу опережать его ни в чем.

Примечание редактора

Кормление Львов и влияние Тантры левой руки на европейскую алхимию

Эротический ритуал с загадочным названием «Кормление Львов», возможно, выполнялся Виктором и Элизабет наиболее часто, нежели иные упражнения, применяемые для обучения алхимиков. Я без колебания назвал бы его влияние на формирование их отношений самым важным и, очень возможно, самым губительным. Серия иллюстраций в «Лавандовой книге» изображает этот обряд таким образом: старик алхимик стоит на коленях в молитвенной позе перед своей помощницей. Она, раскинувшись, лежит на оттоманке, освещенная двойным кругом светильников, ее бедра бесстыдно раздвинуты. На следующем рисунке над ними изображены движущиеся солнце и луна, указывая на то, что алхимик проводит в таком положении всю ночь, не сводя с нее глаз. Взгляд его исследует каждую деталь женского тела, надолго задерживаясь на самых интимных.

В какой-то момент на протяжении ночи мудрец начинает галлюцинировать. Фигура помощницы превращается в его глазах в лес, освещенный яркой луной, деревья усыпаны цветами. Среди них вспыхивает пара глаз, потом другая. Два льва, золотой и зеленый, выходят из темноты женской вагины. Из их пасти капает кровь. Они приближаются к алхимику, погруженному в созерцание. Даже когда львы хватают его, это не нарушает его сосредоточенности. Львы пожирают его, не оставив и маленькой косточки. Они возвращаются в тело женщины, легко проходя в глубокую щель вульвы. В пасти у каждого кровавые куски алхимика. Далее следует рисунок, изображающий львов, укладывающихся спать в животе женщины. Утром, когда первые лучи солнца озаряют небосвод, львы исчезают; останки алхимика, принесенные львами в женское чрево, приобретают форму зародыша. На последнем рисунке женщина рождает алхимика, который появляется на свет вполне взрослым, сияющим мужчиной. Он поворачивается, опускается на колени между ее бедер и кладет поцелуй на ее лоно.

В алхимических текстах часто появляется образ адепта, сожранного живьем. Это явно символ тяжелого испытания, которое ведет через страдания к просветлению. У алхимических философов этот опыт часто изображался как *regressus ad uterum* : возвращение в утробу. Поэтому у Парацельса мы читаем: «Входящий в царство Божие прежде должен войти телом в свою мать и умереть». В текстах Тантры левой руки эта ритуальная смерть часто ассоциируется с кричащим проявлением женского эротизма. Довольно странно, что в этих обрядах, как описывает Элизабет, присутствует своеобразная и почти извращенная невинность, поскольку между любовниками не происходит никакого непосредственного

физического контакта. К тому же, если верить рассказу Элизабет, целью их было преодоление вожделения, выход за его границы. Результатом подобного постоянного, крайнего возбуждения было притупление желания, угасание страсти. Как мы увидим ниже в этой повести, когда речь пойдет о так называемом «Полете Грифона», опасности, сопровождающие подобные практики, требовавшие, все как одна, предельной самодисциплины, были чрезвычайно велики.

Василиск

...октября 178...

Тревожный поворот событий...

Три вечера назад мы вновь собрались в домике Серафины, чтобы повторить львиный ритуал. С самого начала все у нас не ладится. Виктор раздражителен, не может сосредоточиться. В таких случаях Серафина говорила нам, чтобы мы представили себе горящую свечу и сосредоточили все мысли на ней. Вокруг свечи бушует ветер, и мы будто укрываем свечу ладонями, чтобы она горела ровно, не трепеща, яркой точкой света.

Но этим вечером Виктор в отвратительном настроении, он словно костер на ветру, сыплющий искры во все стороны. Даже успокоительное питье, которое приготавливает для него Серафина, не действует. Когда он так возбужден, я не могу спокойно лежать под его пристальным взглядом. Плотью ощущаю, как его глаза впиваются в меня, нетерпеливо, настойчиво. В своих упражнениях мы теперь достигли настолько тесной мысленной близости, что я могу уловить малейшее движение его настроения. В этот вечер, как и в другие, он заставляет меня чувствовать себя проституткой, когда я лежу перед ним голой. Проходит сколько-то времени (не знаю сколько; очень трудно определить, как долго продолжаются эти наши медитации), мне становится так стыдно, что я готова попросить прекратить сеанс, чтобы можно было прикрыться. Но в следующий момент чувствую, его настроение изменилось, мысли омрачились. Он смотрит на меня уже не с вожделением, а с ужасом, отчего мне хочется заплакать. Волны печали накатывают на меня.

Что происходит?

Серафина, которая, кажется, читает наши мысли, тоже чувствует тревогу Виктора. Успокоясь, оглядываюсь и вижу, что она сидит рядом с Виктором и, обняв, утешает, успокаивает его. Она спрашивает, не хочет ли он рассказать ей, что его так встревожило, но он ничего не говорит, единственное его желание – уйти.

В тот день он удаляется к себе, не пожелав мне покойной ночи. Наутро он до завтрака уходит бродить среди скал Мон-Салэв. Я не вижу его два дня; он возвращается еще более подавленным и не желает ничего говорить.

И вот нынешняя ночь. Я просыпаюсь от звука шагов в моей комнате. Спрашиваю в темноте: «Кто здесь?» Но ответа нет, только шорох в изножье кровати. Я впериваюсь во тьму, обращаюсь в слух. «Кто здесь?» – спрашиваю снова и в ответ слышу звук, от которого мурашки бегут у меня по коже. Кто-то плачет в моей комнате. Дрожащей рукой нащупываю огниво, зажигаю свечу и вижу Виктора, стоящего нагим у моей постели. Зову его, но он не слышит. Да Виктор ли это, сомневаюсь я, может, он мне мерещится? Придвигаюсь ближе и вижу, что глаза у него закрыты; он спит! Я беру его за руку и осторожно усаживаю рядом с собой на кровать. Даже в неверном свете свечи вижу, как он бледен, по щекам его бегут слезы. Он содрогается от рыданий. Обнимаю его и стараюсь успокоить.

Скоро он просыпается и с удивлением обнаруживает, что он в моей спальне.

– Мне снился сон, – говорит он дрожащим шепотом, – Боюсь закрыть глаза, чтобы не увидеть снова.

Я укладываю его рядом с собой и обнимаю, пока он окончательно не успокаивается. Он прижимается ко мне, утыкается лицом мне в грудь, как напуганный ребенок. Я уговариваю

его рассказать, что ему приснилось. Он долго отказывается; но я продолжаю просить, и наконец он начинает рассказывать.

– Мне снилось, что ты беременна и у тебя должен родиться ребенок, *наш с тобой* ребенок. Ты была так горда. Прибежала ко мне сказать, что наконец наш союз осуществился, наше Великое Делание завершено. Ты была так восхитительна, Элизабет; от тебя шло золотое сияние. Твое тело стало красиво округлым: налитым и зрелым. Я понял, что наконец ты стала настоящей женщиной. Мы бросились к матушке поделиться новостью; но она не обрадовалась, как мы ожидали. «Элизабет слишком молода, чтобы рожать этого ребенка, – заявила она, – Я его выношу за нее». И в тот же миг по какому-то волшебству ребенок переместился из твоего тела в ее. Она видела наше замешательство и отчаяние, но ее это не тронуло. «Я всегда считала, что ребенок должен быть моим, – объяснила она. – Элизабет не подходит для брака». Трудно передать, что последовало за этим. Беременность оказалась для матушки пыткой. Ее отвратительно разнесло, она чувствовала себя все хуже. Что-то было не так. «Он отравляет меня!» – кричала матушка и взывала ко мне, чтобы я избавил ее от ребенка. Я был в ужасе. Сказал, что не могу. Сказал: «Позволь Элизабет помочь тебе. Она знает, как помогать при беременности». Но матушка повторяла, что это могу сделать только я. Тебя она не подпускала к себе. «Это ты виновата! – вопила она на тебя. – Ты завидуешь мне; цыганское отродье, вот ты кто!» И выгнала тебя из комнаты. Я был в ярости, но не смел перечить ей. Я, как мог, приготовил ее к родам. Обложил подушками и начал раздевать, но слишком неуклюже и медленно. «Скорей!» – не выдержала она, сорвала с себя одежду и осталась передо мной голой, с огромным животом. Это было так противоестественно, что я задрожал от стыда, стоя над ней. Мы ждали, ждали. Родам пора было начаться, но ребенок все не появлялся. Я умолял матушку тужиться сильнее, но она не могла и кричала, чтобы я помог ей. «Вытащи его из меня!» – приказала она и широко раскрылась предо мной. Я проник в ее тело, чтобы ухватить ребенка: словно какой-то огромный сосущий зверь проглотил мою руку, – но нащупал лишь что-то шершавое, чешуйчатое, что, извиваясь, ускользнуло от меня глубже в утробу. Матушка начала кричать от боли; я понимал, что должен извлечь это из нее, иначе она наверняка умрет. И наконец, собравши все силы, просунул руки дальше и сумел ухватить и вытащить того, кто был в ней. Но то, что я держал в руках, не было человеческое дитя; существо походило на отвратительную птицу и свирепо оглядывалось вокруг. У него был смертоносный клюв, горящие глаза и хвост, похожий на змеиный, которым оно хлестало по сторонам. Оно остановило свой яростный взгляд на матушке и попыталось было броситься на нее, но я крепко держал его. Наконец оно вырвалось из моих рук и с хриплым криком исчезло в небе. Я обернулся к матушке и онемел от ужаса. Она лежала на кровати: безучастная, серая и неподвижная. Я коснулся ее... и обнаружил, что она обратилась в камень.

Он вновь затрясся от рыданий.

Мне пришло в голову, что Виктор в первый раз заговорил со мной о своих снах. Когда-то он похвалялся тем, что вообще не видит снов и что если такое все же произойдет, то приучит себя выбрасывать их из памяти, как глупые фантазии. Но я не верю, что ему удастся выкинуть из памяти этот сон. Остаток ночи он так и провел – прижимаясь ко мне. Мы с Виктором много лет не делили одну постель – с тех пор, как были детьми. Как мне было бы хорошо оттого, что он со мной, рядом, не будь он так несчастен и испуган. Перед рассветом он забылся беспокойным сном; а когда проснулся, ему стало стыдно своей слабости и он поспешил удалиться.

* * *

После этого случая Виктор резко переменялся. Или, скорее, произошедшее помогло мне заметить эту перемену, совершившуюся раньше. Позднее, оглядываясь назад, я отчетливо видела, что уже много недель, как интерес Виктора к Деланию остыл. Нетерпеливость, которую я замечала в нем всякий раз, когда наши занятия становились

скучны ему, была признаком душевной неудовлетворенности. Некоторое время он стремился подавлять раздраженность и занимался с удвоенным рвением; но ему трудно было пересиливать себя. Что-то в самом его характере восставало против Делания – и, думаю, против меня. В самом начале наших занятий не проходило дня, чтобы мы с Виктором горячо не обсуждали уроков Серафины. Нам не терпелось остаться одним, чтобы обсудить то, что каждый из нас узнал нового для себя. Но шли месяцы, и мы говорили об этом все меньше и меньше. Когда занятия прекращались или переносились на день-другой, Виктор избегал моей компании, предпочитая одиночество; уходил в горы, но меня с собой не звал. Или уединялся в своей комнате, ссылаясь на то, что устал от наших упражнений.

Серафина быстро почувствовала это внутреннее сопротивление в Викторе. Каждый раз, как мы собирались, она всячески старалась щадить его чувства. Ради него она больше времени уделяла грубым веществам, демонстрируя, как они смешиваются, взаимодействуют и при этом чудесным образом меняют свою природу. Она называла это малым деланием, занятием откровенно заурядным; но Виктор проявлял к нему огромный интерес. Он немедленно оборудовал себе небольшую лабораторию в одной из надворных построек. Устроил там печь из кирпича и начал собирать всякого рода перегонные кубы, реторты и разнообразные вещества для опытов. Месье Удар, аптекарь из Лозанны, сам страстный алхимик (хотя и сугубо материалистического толка), оказывал ему в этом большую помощь и даже одолжил древний атанор, приобретенный им в Александрии. Скоро лаборатория Виктора превратилась в место столь смрадное и закопченное, что было очень неприятно бывать там. Но Серафина, поддерживая Виктора в его увлечении, велела нам проводить там больше времени и даже давала Виктору советы по части необходимых инструментов, какие могут понадобиться ему. Хотя Серафина считала опыты с веществами низшей формой Великого Делания, тем не менее она обладала на удивление обширными знаниями о процессах, которые Виктору хотелось исследовать, и это внушало ему огромное уважение к ней.

Целых три лунных цикла – время, которое она намеревалась использовать иначе, – Серафина потратила на то, чтобы открыть нам тайны химического огня.

– Каждый огонь обладает собственной душой, – рассказывала она нам, – и требует, чтобы ему относились с подобающим почтением. Дух огня своенравен, и его нелегко укротить.

Уступая настойчивым просьбам Виктора, она показала нам, как пользоваться сухим огнем и влажным и как умирять вырвавшееся на свободу пламя. Она учила нас, как создавать жар, применяя черный уголь и антрацит, камфарное масло и нашатырь, древесный уголь и торф. Мы узнавали, что каждый материал горит по-разному. Тис горит жарко, но скоро прогорает, и применяется, когда адепту нужна скорость; у дуба капризный характер и приходится повозиться, чтобы он разгорелся, но уж тогда он ведет себя, как римский солдат, послушный приказу, и горит ровно всю самую долгую ночь. Береза проказлива и часто бывает вредной, так что не годится при тонких процессах, но только при грубой перегонке; лиственница дает огонь Близнецов, веселый, танцующий, который лучше всего подходит для тонкого нагрева; что касается кедра, то он дает жреческое пламя, и адепты берегают его для священного ритуала. Серафина также учила нас использовать конский навоз, тепло которого ровней и спокойней всего и способно греть самую тонкую субстанцию и столько времени, сколько предписано рецептом. Последним она с большими предосторожностями продемонстрировала яростную селитру, чей взрывной характер стоил многим экспериментаторам потерянных конечностей, а то и жизни. Что до самих химических процессов, то она научила нас молитвам и песнопениям, сопровождающим элементы в их одиссее превращения.

Я терпеливо слушала все ее наставления, но исследования были мне малоинтересны; я была... далека от этого. Они не имели ничего общего с теми образами и соответствиями, что разжигали мое воображение. В них не было души. Однако Виктор получал от опытов огромное удовольствие; он с увлечением следил за малейшими переменами в исходном

веществе: как оно постепенно раскаляется, плавится и меняет свою форму. Даже когда нужно было поддерживать огонь день и ночь и спать только урывками, чтобы концентрат не переставал кипеть, он готов был и на это: сидел всю долгую «философскую ночь», наблюдая за тем, как элементы меняют цвет и консистенцию. Он по-детски радовался, видя, как киноварь, доведенная до нужной температуры, превращается в текучую ртуть; как потом ртуть, соединенная с сурьмой, «свирепым серым волком», застывает, образуя черный ком; как, наконец, этот черный шлак, если его несколько раз посыпать негашеной известью, неожиданно вспыхивает сотней дивных красок и это называется «хвостом павлина».

Чудесные опыты стали настоящей страстью Виктора, ему хотелось добиться от веществ еще большего, чем они ему открывали. Серафина напомнила ему, что Делание – не кухонная стряпня.

– Это духовное искусство, – не раз говорила она ему. – Изменения, которые ты видишь в земном материале, не более чем знаки их философского смысла. Ты должен знать, что мы ведем эти наблюдения испокон веку.

Виктор делал вид, что с уважением слушает, однако ее наставления не находили отклика в его душе.

– Меня занимает совсем другое, – признался он мне. – Мне скучно действовать ее методами. Все эти вещества, которые она называет по имени и уговаривает своими песнями – я имею в виду металлы и камни, – они ведь не имеют ушей, не слышат, когда она обращается к ним. По мне, это всего-навсего ведьмовство.

Когда я возразила, что он слишком нетерпелив, он охотно признал свою вину, но нашел себе оправдание:

– Боюсь, у меня нет способности к «женским мистериям».

Но когда я потребовала, чтобы он больше доверял Серафиме, он вспылil:

– Не думаю, что Серафина понимает истинную суть Великого Делания. Если возможно превращать низшие металлы в золото, я хочу овладеть этим искусством.

– Но зачем? Неужели золото так важно для тебя?

– Во все нет! Дело не в самом золоте. Что до меня, я бы тут же обратил золото обратно в свинец. Но мне важно понять, что за сила управляет этим превращением, неужели тебе не ясно? В ней вся суть. Это бы означало, что вся материя едина в своей невидимой природе. Подчини мы эту силу, мы могли бы переделать мир собственными руками. Пески пустыни превратить в плодородную почву, камни – в хлеб, чтобы накормить голодных. Изгнать болезни из человеческого тела и сделать людей неуязвимыми для смерти. Заставить неведомую энергию пахать и строить для нас. Не трудиться больше в поте лица своего ради хлеба насущного. Возможно, Бог оставил эту задачу для нас: создать племя счастливых и прекрасных людей.

Я держала в тайне неудовлетворенность Виктора; но лето еще не прошло, как странный поворот событий прервал наши занятия.

Виктор взял с меня клятву, что я никому не расскажу о его сне. Я пообещала; но тем не менее тайна раскрылась сама собой. Я не могла забыть то, какую матушка была во сне Виктора: нетерпимой, деспотичной и суровой ко мне. Мне постоянно приходилось убеждать себя, что это было лишь сновидение Виктора. И все же порою чувствовала, что становлюсь холоднее к матушке, отдаляюсь от нее. Будучи проницательной, матушка не могла не заметить во мне тени отчуждения, но молчала несколько недель после ночного появления Виктора у меня.

Я пришла к ней в студию, чтобы, как обычно, позировать для большой картины. Она несколько раз коснулась кистью полотна, потом неспешно отложила кисти.

– Оденься, Элизабет, и сядь со мной рядом.

Некоторое время она задумчиво приглаживала волосы, собираясь с мыслями.

– Скажи мне, – прервала она наконец молчание, – что-нибудь беспокоит тебя на занятиях в последнее время?

– В каком смысле?

– Я думаю о Викторе. Делился он с тобой своими чувствами в отношении занятий?

– Да. Мы часто разговариваем о них.

– Не выказывал ли он недовольства?

Мне не хотелось отвечать, но я знала, что должна быть правдивой.

– Иногда он расстраивается оттого, что мы слишком медленно продвигаемся вперед. Он нетерпелив.

– Он и с тобой торопится – когда вы призываете львов? Он бесчувствен?

– Иногда. Но он не хочет быть грубым, уверена.

– Тебе это бывает неприятно?

– Я знаю, он делает это ненамеренно.

– Есть ощущение, что тебе трудно мысленно соединиться с ним?

Тут я поняла, что дальше нужно быть осторожной. По правде сказать, действительно, всякий раз, когда мы с Виктором возвращались к Кормлению Львов, я чувствовала себя все неуютней под его взглядом. Как предсказала Серафина, мыслями мы становились все нераздельней; я начинала чувствовать, что грежу с ним в унисон. Но это мысленное слияние было не совсем то, чего я ждала. Мыслями Виктора владело вожделение, которое мы должны были отбросить, а оно проявлялось все сильнее, что рождало во мне тревогу.

– Уверена, Виктор не всегда смотрит на меня так, как, думаю, должен был бы.

– А как он должен был бы смотреть?

– Подразумевалось, что он будет видеть во мне сестру.

– А этого не происходит?

– Нет. Он видит кое-что другое.

– Это тебя беспокоит?

Ответить было непросто.

– Нет, не беспокоит. Потому что мне не всегда хочется, чтобы он видел во мне свою сестру.

– Серафина встревожена, – после долгой паузы сказала она, – Опасается, что Виктор отдаляется от нас. Что он, возможно... не подходит для нашего дела. А ты как считаешь?

Воздух вдруг стал хрупок, словно стекло; одно опрометчивое слово – и расколется. Я испытующе посмотрела на матушку, прежде чем открыть рот. Хотя она сделала вид, что спросила об этом мимоходом, в голосе ее слышалось явное беспокойство. Я поняла, что ей стоило усилий спросить об этом, и нужно отнестись к ней с предельным тактом. Если ответить, что и по моим ощущениям Виктор неспособен продолжать наши занятия, это будет ударом для нее.

– Виктор говорил, что, по его мнению, Делание больше подходит женщинам, чем мужчинам. Не могу сказать, почему он так думает. Я иногда старалась не слишком усердствовать на наших уроках, чтобы ему не казалось, что я обгоняю его.

Она долго размышляла над тем, что услышала. Наконец, больше себе, чем мне, сказала:

– Плохо.

И, дважды шепотом повторив: «Плохо», поднялась, медленно пересекла комнату и остановилась у окна; лоб ее собрался в глубокие морщины. На лицо тенью легла печаль. Я понимала, что она переживает тяжелый момент своей жизни, и я тому свидетель. Она молчала долго, так долго, что я уже было подумала, не следует ли извиниться и уйти, оставив ее наедине со своими мыслями. Но я должна была спросить ее кое о чем; вопрос несколько недель вертелся у меня на языке. Я взяла со стола палочку угля и нарисовала в раскрытом альбоме свирепую птицу со змеиным хвостом.

– Матушка... что это за зверь?

Она подошла взглянуть и тут же узнала:

– Птицезмей по-французски, или, иначе, Василиск.

– Что он означает?

– Дурной знак. Предупреждение. Знак того, что Делание пошло в неверном направлении. Почему ты спрашиваешь? Видела его?

– Нет. Наткнулась в одной из книг.
– Неужели? Любопытно, в какой. Птицезмей – знак столь зловещий, что его редко изображают.

* * *

После этого прошел целый месяц, прежде чем мы встретились с Серафиной. На этот раз мы сошлись на утренней заре на поляне. Было прохладно – начало безоблачного прекрасного дня. Я знала, что Серафина и матушка часто встречались и говорили между собой и что их разговоры касались Виктора, но мне не хотелось предупреждать его. Виктор же был слишком занят в своей лаборатории, чтобы думать о чем-нибудь, кроме «испытаний и страданий Природы», как он называл свои опыты. Но когда Серафина снова позвала нас, он понял, что для него эта встреча будет последней.

– Она недовольна тем, как я продвигаюсь, – сказал Виктор. – И больше не хочет учить меня.

Однако Серафина сделала все, чтобы убедить его в обратном. Когда мы собрались тем утром, она сказала, обращаясь больше к Виктору, нежели ко мне:

– Не нужно думать, что я недовольна вами. Считайте, что мне хотелось бы, чтоб вы больше времени уделяли тому, чему я вас учу. Это тонкое искусство, и некоторым требуется вся жизнь, чтобы постичь его. – Хотя она старалась казаться бодрой, она была не такой, какой мы ее всегда знали. И без того старая, в тот день она выглядела еще старше – и мрачной, подавленной, – Леди Каролина уверена, что нам нужно сделать передышку. Думаю, она права. Вы много сил отдавали учебе, а вы еще так молоды. Придет время, и мы вернемся к нашим урокам. Кроме того, вашей старой наставнице нужен отдых.

Над нами на ветке старой лиственницы сидела Алу, пристально наблюдая за нами. Я не могла припомнить, чтобы птица смотрела на нас так внимательно, словно тоже понимала важность этой встречи и не хотела пропустить ни слова.

Серафина сказала, что во всех частях света есть женщины, которые чтут ее и каждый год ждут ее; она какое-то время поживет с ними. Зимой она обычно посещала своих подруг, когда отправлялась на юг, на родную Сицилию. Она любила время от времени пожить ближе к природе, среди полей и лугов, у моря.

– Среди дикой природы я порой чувствую себя больше дома, чем среди людей. Общение со зверями очищает. А будущей весной я возвращусь, и мы возобновим наши уроки.

Но что нам делать в ее отсутствие, спросили мы.

– У вас есть книги. Леди Каролина почитает их с вами. Она моя самая способная ученица и сможет ответить на все ваши вопросы. Ты, Виктор, наверно, захочешь продолжить свои эксперименты? Я оставлю трактаты, которые представят для тебя особый интерес. Великий фон Гельмонт составил несколько описаний того, как готовить волшебный порошок проекции. Эти труды дадут новую пищу твоей любознательности, ибо подобные приключения с *prima materia*¹ тоже есть часть Великого Делания. Но всегда помни, что наша работа – это прежде всего философские поиски. Великая перемена должна совершиться здесь, а уж затем придет очередь всех могучих сил. Думай, если можешь, о Делании не как о чем-то, что должно быть совершено или найдено, но как о чем-то, что хочет родиться в твоей душе, хорошо?

Она повернулась к своей сумке и достала из нее несколько вещей, которые заботливо разложила перед нами на земле. Первым она расстелила расшитое покрывало со множеством оккультных знаков на нем и вязью букв неведомого алфавита. На него она положила два своих ножа; это были старинные лезвия, тщательно начищенные, одно с черной роговой рукояткой, другое с белой костяной.

– Элизабет, – спросила она, – ты принесла свои ножи, как я просила? Тогда положи их

¹ Первичной материей (лат.).

сюда, так чтобы кончиками они касались моих.

Я положила ножи, и теперь они образовали квадрат. Внутри его Серафина поместила маленькую глиняную чашку и насыпала в нее каких-то трав. Повернулась к Виктору и сказала:

– Это обряд благословения, совершаемый женщинами, когда им приходится расставаться. Мужчины в него не посвящены, но ты исключение, Виктор. Мы хотим, чтобы ты был посвящен в наши учения и наши ритуалы.

Она высекла огонь и подожгла травы в чашке. В воздухе повеяло приятным медовым ароматом. Соколиным пером Серафина погнала дымок поочередно в сторону каждого из нас и к себе.

– Теперь возьмемся за руки, – сказала она и запела негромко. Алу на дереве, широко распустив крылья, вторила Серафине горловым мягким воркованьем, словно ей знакома была эта песнь. Невозможно было вообразить, что птица способна на такую печаль.

Прости и прощай, грусть расставанья.
Прости и прощай, до нового свиданья.
Прости и прощай, на долгую разлуку.
Прости и прощай, на сердечную муку.
Прости и прощай, чтобы радость и любовь,
Прости и прощай, вернулись вновь.
Хатор, храни
Нас всех в пути.

Мы еще долго молча сидели так, держась за руки. Когда она наконец отпустила нас, Виктор достал из кармана вещицу, которую я сразу узнала. Это была небольшая призма величиной примерно с его ладонь. Я видела, как Виктор много раз использовал ее в своих опытах, но дорога она была ему не поэтому. Ее подарил ему на десятый день рожденья месье Соссюр и показал, как ею пользоваться для изучения свойств света. Виктор повесил призму на серебряную цепочку, и вот теперь собирался преподнести Серафине в качестве прощального подарка. Она долго рассматривала вещицу, вертя ее, чтобы поймать радужные отблески.

– Кристалл – один из древних духов света. Мать радуг. Смотри, как призма родит разноцветные лучи. Они – ее любимые дети. Вижу, тебя забавляет то, как я говорю об этом, Виктор. Но надеюсь, хотя бы это ты извлек из наших Уроков: что вещи обладают душой точно так же, как мы, и могут страдать, плакать и создавать красоту. И Великое Делание учит: всем в мире движет воля и дух. *Ничто* не мертво, даже сама Смерть. Все говорит, – Она протянула призму Виктору, – Это прекрасный подарок. Я буду дорожить им. Повесишь ее мне на шею?

Он исполнил ее просьбу. Опершись на палку, Серафина поднялась, сказала на прощание: «До весны!» и побрела по лесу, держа путь на юг; с трудом верилось, что она уйдет от нас дальше чем на лигу, так медленно она двигалась. Алу следовала за ней и перепархивала с ветки на ветку, легко взмахивая огромными крыльями; наконец обе скрылись среди деревьев. Но позже в тот день, глядя в подзорную трубу в сторону Вуарона, я четко различила в далеком небе крохотное черное пятнышко – Алу, медленно кружащую над своей хозяйкой.

Мы с Виктором еще долго чувствовали себя одинокими и покинутыми. Хотя Виктор жаловался на методы Серафины, он переживал ее отсутствие так же остро, как я. Напряженную противоречивость их отношений Виктор воспринимал как приятное испытание. Больше всего его, почти помимо воли, восхищала таинственность, окутывавшая ее. Ибо она была магической личностью.

Как и говорила Серафина, теперь матушка заняла место нашей наставницы, пообещав читать вместе с нами и объяснять скрытый смысл книг. Втроем, она, Виктор и я, мы читали

мудрые трактаты мастеров алхимии. Изучали великие видения Парацельса, Роберта Фладда и Василия Валентина, задерживались на каждом образе и символе на странице, потому что всегда в них открывалось что-то большее, если рассматривать внимательно.

* * *

С наступлением весны я почувствовала, как нарастает нетерпение матушки, ожидавшей возвращения Серафины. Она призналась, что каждый раз, когда они расстаются, боится, что это навсегда. «Она стара и слаба и не так осторожна, как прежде. Боюсь, не случилось бы с ней чего». Раз в месяц она звала меня к себе перед сном, чтобы вместе помолиться о благополучном возвращении Серафины. И вот однажды утром меня разбудил знакомый звук. Это был хриплый крик Алу. Я бросилась к окну, глянула в одну сторону, в другую, но ничего не увидела с этой стороны замка. Я сбегала по лестнице в столовую и заметила за окном матушку, которая стояла на коленях на лужайке, закрыв лицо ладонями. Я никогда не видела ее в таком положении и кинулась к ней. Она рыдала, сотрясаясь всем телом; Алу была над ней, сидела на вязе. Птица кричала безостановочно, словно в нее всадили нож.

– Где Серафина?

– Алу вернулась одна, – проговорила матушка сквозь слезы.

Почти со злостью я крикнула неумолкающей птице:

– Где Серафина? Где? Где?

Потом я заметила что-то на шее Алу. Это был один из браслетов Серафины. Немного погодя, словно закончив свое сообщение, птица замолчала и слетела к матушке, сидевшей на траве. Не ожидая приглашения, Алу устроилась у нее на плече, как прежде устраивалась на плече Серафины. Она что-то ворковала ей на ухо, но матушка не обращала на нее внимания, сидела, словно окаменев, холодная и молчаливая, и до конца дня не произнесла ни слова.

Женщины-посвященные были как бы соединены некими невидимыми живыми нитями знания. Известия о случившемся с ними могли распространяться на сотни миль, от деревни к деревне, словно переносимые ветром. Кто говорил, что они используют для этого птиц, другие – что они умеют общаться посредством древесных корней, находясь в разных концах царства. Таким способом они узнавали об опасностях и несчастьях быстрее любого царского Двора. Судьба столь видного учителя, как Серафина, у которой были сотни учениц во всех концах Европы, не могла долго оставаться неизвестной; так что ранней весной на одной из общих встреч на поляне мы узнали, что произошло с ней. Месяц назад недалеко от ее дома на Сицилии ее схватили за колдовство. Инквизиторы, посланные на остров, допрашивали ее о снадобье, которое она дала одной из местных женщин. К ней применили пытку водой, осудили на костер и сожгли. Четверо сицилианок благородных фамилий пробовали спасти ее, но их тоже схватили и посадили в темницу. Сожгли еще нескольких женщин, последовательниц Серафины. Женщины на всем юге Франции и Италии были предупреждены.

Насколько верным было это страшное известие? Матушка сразу восприняла его как свершившийся факт. Свидетельством тому служила Алу. «Птица никогда не оставила бы Серафину, будь та жива, – сказала она, – Алу вернулась ко мне, как и говорила мне Серафина, – что она перейдет ко мне после ее смерти. Я надеялась не дожить до этого дня».

Спустя несколько недель, в полнолуние, женщины собрались на лесной поляне; я никогда не видела их в таком возбуждении. Царила атмосфера страха, гнева и скорби, смешанных с невозможностью поверить в случившееся. Селеста снова прочитала свиток имен; слезы душили ее, мешая говорить. Она с трудом закончила чтение и, сделав паузу, заставила себя произнести последнее имя: «Серафина Сицилийская». Раздались вопли и причитания, которые становились все громче и неистовей. Некоторые женщины катались по земле, корчась и воя. Матушка с Алу на плече сидела онемевшая и окаменевшая посреди этой бури яростной скорби; она уже выплакала все слезы. Я сидела рядом с ней и пыталась не давать воли отчаянию. Но тщетно. Всеобщие скорбь и плач заставили меня отбросить всю

сдержанность и присоединить свой вопль к другим воплям, несшимся в ночи. Я упала на колени и билась на земле, пока не иссякли силы. Да, в моем плаче было горе, но больше ярости от собственного бессилия. Что достойная женщина может противопоставить столь ужасной, бесчувственной силе и добиться, чтобы ее поняли? Почему никто не заглянул в сердце моей наставницы, не увидел в нем мудрость и доброту? Они мучили ее, руководствуясь нелепой верой, будто она летает на помеле и обращает материнское молоко в укус? И сожгли ее для того, чтобы можно было по-прежнему твердить: *Бог, Бог, Бог?* Я представила, как меня бросают в костер, и содрогнулась от ужаса.

Виктор был в не меньшей ярости, чем я. Ледяным от гнева голосом сказал:

– Отец прав. Они все должны сгинуть, эти тираны, прикрывающиеся Богом. Они враги истины. Не странно ли, что у колдуний и людей науки единый враг?

После случившегося матушка совершенно охладела к нашим занятиям. Былая ее энергичность пропала, появилась физическая слабость. Снова обострилась чахотка, которой ей удавалось сопротивляться годами; лихорадка и жестокий кашель часто вынуждали ее оставаться у себя в комнате. Виктор винил в страданиях матушки себя, зная, что его неспособность завершить Делание приводила ее в отчаяние. Он разложил перед ней все наши книги и едва ли не умолял продолжить чтение с нами; но было видно, что свет этих трактатов померк для нее. Ей доставляло чуть ли не физическую боль читать о мистериях, совершения которых, как она чувствовала, никогда не увидит. Теперь, когда на нее навалилась болезнь, все, чем мы занимались, она воспринимала с углублявшейся безысходностью.

– Я возлагала на него слишком большие надежды, – призналась она как-то вечером, когда я сидела у ее постели, ожидая, чтобы утих приступ лихорадки. Болезнь истощила ее, мысли ее путались, – Возможно, интуиция его не подводит; возможно, Великое Делание – тайна, доступная только женщинам. Однако женщина не может осуществить мистический союз одна. – Матушка в замешательстве потерла лоб, как человек, видящий крушение дела всей жизни, – Что с нами станет? Неужели в Новом веке женщинам придется вновь быть простыми нулями, оставить мир в руках бездушных математиков?

С каждым месяцем она все больше замыкалась в себе. Не принимала участия в обрядах на поляне, где ее очень не хватало. Еще более говорящий знак того, что матушка окончательно пала духом, – она перестала работать в студии. Ее полотна валялись там, забытые, наравне с прочими многочисленными свидетельствами прежней жизни. Я часто посещала это унылое святилище, беспорядок в котором когда-то неприятно поражал меня; теперь я видела в студии внешнее воплощение матушкиной души, место сказочного очарования и неземной роскоши. Даже прогорклый запах, стоявший в комнате, и густая пыль, плававшая в солнечных лучах, придавали ей в моих глазах особую прелесть. Открывая дверь студии, я попадала в царство высших переживаний, мной испытанных. Здесь мне впервые открылось иное знание, языком которого был язык грез и фантазий, лучше всего проявлявшийся в грандиозных, ярких символах, наполнявших живопись матушки. Хотя она не давала мне разрешения внимательно изучать ее картины, я всякий раз, когда бывала в студии, рассматривала новую грудку ее рисунков и полотен. Как необычен был мир матушкиных фантазий! Студия была полна эскизов с изображением сокровенных частей женского тела и чувственных наслаждений, которых, как считается, женщины не жаждут. Я нашла целую полку картин, изображавших пещеры, ущелья и гроты в горах, окружающих замок, – им тоже были приданы женские формы: все странно напоминали женские половые органы. Но было также и множество видений – небеса и ад женской души. Прежде всего, это огромное полотно, над которым она работала так долго и на котором я была главной фигурой; оно было не закончено и стояло на мольберте. Я не могла смотреть на него без острого чувства утраты. Я видела на нем себя, застывшую во времени, девочку-женщину, балансирующую между детством и зрелостью, в нежных объятиях своей матери, Серафины и всех женщин, живших до нас, – их цепочка тянется в даль времен, к тем дням, когда, как верила матушка, мужчина и женщина жили в гармонии друг с другом. Ее заветнейшей

мечтой было то, что Великое Делание покажет путь к обретению того потерянного рая. Какое-то время я была участницей этого великого поиска, теперь покинутая! Я не могла не представлять себе, какие восторги души и духа ожидали меня впереди, уже совсем близкие.

Была среди картин одна очень мрачная, которую, помнится, я разглядывала много раз. Несомненно, было некое инстинктивное предчувствие в том любопытстве, которое так влекло меня к этой матушкиной картине, где она изобразила нашу несчастную сестру, деву в цепях, чью трагическую судьбу мне вскоре предстояло разделить.

После каждого нашего посещения матушки Виктора все больше мучило, что он не смог исполнить самое заветное ее желание.

– Я потерял ее любовь, – сказал мне Виктор. – Для нее Делание – самое важное в жизни, а я не оправдал ее надежд. Я был эгоистичен и слеп и довел ее до предсмертного состояния.

Разубеждать его было бесполезно, ибо еще более его я была убеждена, что так оно и есть. Наконец, в отчаянии, что ничем не может искупить вину, Виктор предложил смелый выход.

– Мы остановились, когда цель уже была близка. Давай завершим Делание самостоятельно.

Я ошеломленно возразила:

– Но мы не знаем как.

– Чепуха! Нас хорошо учили. К тому же у нас есть книги. Какой будет подарок матушке, если мы совершим химическую женитьбу!

Прекрасно помню, с каким жаром он предложил это; ту же страсть я впервые услышала в его голосе, когда вдвоем, еще детьми, мы смотрели на грозовые тучи в горах. Он сказал тогда – мне живо вспомнились его слова: «Как бы я хотел, чтобы эта молния была моей короной». Втайне меня покорял воинственный восторг, охватывавший его в такие мгновения. Несмотря на великую опасность, его предложение было захватывающе заманчиво. Как ни страшно мне было, я согласилась в ту же секунду. Больше всего на свете мне хотелось доказать, что я достойна его.

Той ночью мы впервые совершили Кормление Львов самостоятельно, без чьего-либо руководства. Никогда еще ритуал не был столь восхитительно соблазнителен, и никогда мы еще так не торжествовали, преодолев этот соблазн. Значит, Виктор прав, думала я. Мы можем без страха двигаться вперед.

Грифон

С той ночи Великое Делание приобрело для нас новую притягательность. Виктору и мне приходилось держать наши занятия в тайне от всех. Пока нашей наставницей оставалась Серафина, уроки происходили от случая к случаю, но мы особо не скрывались; мы не чувствовали ни вины за собой, ни страха. Серафина сумела поставить все так, что со стороны это казалось удовлетворением невинной любознательности. Защищенные авторитетом матушки, мы не опасались чьего-то назойливого внимания. Даже барон, в очередной свой приезд домой, доверился ее здравому смыслу и позволил нам продолжать. Но теперь мы держали свои занятия в тайне и от матушки, которая, мы знали это, не считала нас готовыми двигаться дальше самостоятельно. Самая атмосфера скрытности делала нас подлинными исполнителями Делания, ибо мы теперь были в положении адептов алхимии, которые веками скрытно трудились, опасаясь преследования властей, считавших, что они занимаются черной магией. Не думаю, что мы четко осознали подлинную необычность Делания, пока не перестали быть учениками, о которых заботится наставник. Наша тайна стала *преступной* тайной, а занятия – проявлением смелости, если не вызовом.

Как ни захватывающ был наш поиск, все же мне трудно было избавиться от сомнений. Как мы могли быть уверены, что следуем правильным путем? Книги были настолько полны скрытого смысла, что не могли служить надежным руководством к действию; для нас

оставались незаметными знаки и указания, которые отыскивала в них Серафина. Тем не менее Виктор был совершенно уверен, настолько, что я не могла открыто спорить с ним. Он был слишком волевой личностью; там, где я колебалась и отступала, он бросался вперед, убежденный, что знает истинную цель химической философии – и даже лучше, чем Серафина или матушка. Для него она состояла в «сокровенном знании о мире».

Чем дольше мы с Виктором изучали книги, тем больше его внимание привлекала загадочная фигура гомункулуса, появлявшегося во многих алхимических текстах.

– Вот где, – с воодушевлением сказал он, – Великое Делание больше всего уподобляется работе Бога.

Гомункулус, или «маленький человек», был живым подобием человека, способным говорить, читать и учиться, но размером не больше пяди. Он всегда изображался внутри колбы алхимика, в которой заключался весь его мир. В книгах говорилось, что это крохотное существо действительно было создано в прошлые века. Парацельс, непревзойденный гений медицинской химии, заявлял, что с помощью заклинания вызвал его из хорошо перепревшего навоза и духа ртути, смешанных под воздействием надлежащих звезд. «Меня долго преследовали неудачи, – пишет великий врач в своем трактате об алхимических составах, – покуда наконец я не открыл способ поддерживать в атаноре температуру, в точности соответствующую температуре кобыльей утробы в течение сорока дней». Виктор скептически отнесся к этому описанию, как, впрочем, и к большей части того, что говорили мастера.

– Думаю, Парацельс был великий лгун. Ведь если он создал гомункулуса, тогда почему он не вырастил его до большего размера, чтобы тот мог быть ему полезен? Почему не выпустил его в мир, чтобы гомункулус жил и трудился среди нас? Если бы он сделал это, мы сейчас имели бы племя рабов, исполняющих наши приказания.

Значит ли это, что Виктор считал бесплодной идею создания гомункулуса? Вовсе нет.

– Убежден, что создать гомункулуса можно, – сказал он, – но только при помощи электричества. Это, безусловно, подлинная животворящая сила, более способная порождать жизнь, чем тепло любого чрева, которое есть всего лишь слабая плоть. Посредством небесного огня мы в один прекрасный день будем способны создать нового человека, который будет жить, не думая о болезни, боли или смерти.

Но для исполнения этого великого замысла требовалось пленить и укротить электричество, что было непростым делом.

Начало увлечению Виктора электричеством положил один случай. Как-то, за год до того, как матушка привезла меня в замок, Виктор наблюдал дикую и ужасную бурю с грозой. Она так внезапно появилась из-за отрогов Юры и пронеслась над озером, что он не успел укрыться в замке; гром оглушительно гремел сразу со всех сторон. Все бросились наутек, только Виктор стоял, с любопытством и восторгом глядя на бушующую бурю. Вдруг он увидел, как поток пламени охватил старый величественный дуб, росший в двадцати ярдах от замка; и когда слепящая вспышка погасла, дуб исчез; ничего не осталось от него, только расщепленный пенёк. Виктор на другой день посетил это место и признавался потом, что в жизни не видел столь разрушительных последствий чего бы то ни было.

С того дня законы электричества стали предметом его постоянного изучения. Это придавало дух опасности его опытам, поскольку они проходили с применением огромной лейденской банки, которую отец привез из Лондона, еще когда Виктор был мальчишкой. Меня это устройство пугало; я видела в нем грозную и таинственную силу, словно за его стеклянными стенками сидел плененный джинн, буйный и невидимый. Я читала сообщения об ученом, который произвел электрический разряд такой силы, что целый батальон папских гвардейцев, державшихся за провод, забился в судорогах. В Ирландии ученый физик, искавший способа усилить искру, даваемую банкой, был покалечен, а во Франкфурте электрический удар убил упряжку быков. Виктор ругал меня за мои страхи, называя их женскими. Но дело было не только в страхе; еще я испытывала отвращение. Я ненавидела опыты, в которых Виктор подвергал воздействию электричества живых существ. Он уверял,

что электричество омолаживает растения и животных. Он воздействовал на деревья и видел, что они лучше плодоносят; зоофиты в растворе, через который пропусклся ток, размножались активней. Но что касалось животных – кошек, домашнего скота или птицы, – то им удар электричества явно причинял боль. Как-то Виктор пригласил меня посмотреть, как он коснется оголенными проводами одной из отцовских гончих; я закричала, чтобы он прекратил мучить бедное животное, и он нехотя смиловился.

– Когда-нибудь электрический ток излечит все болезни, какие мы только знаем, и сделает весь мир здоровым. Несильная боль не слишком большая плата за это.

Спустя несколько дней он пришел ко мне; глаза его лукаво блестели.

– Я придумал один опыт с электричеством, который, думаю, понравится тебе. Идем со мной!

В лаборатории он велел мне встать на лист стекла рядом с лейденской банкой и встал на него сам.

– Держи. – Он подал мне провод, сам взяв другой.

Я с трепетом повиновалась. Затем он потянулся ко мне, словно желая поцеловать. Но за мгновение до того, как его губы коснулись моих, между нами проскочила внезапная искра и уколола меня в верхнюю губу. В испуге я отскочила назад, едва не упав, чем вызвала хохот Виктора. Мне было вовсе не смешно, и тут я показала, что могу и разозлиться.

– Это называется «электрический поцелуй», – объяснил он, даже не попытавшись извиниться, – Повальное увлечение парижских салонов. Смотри!

И он раскрыл журнал, который держал в руке. На иллюстрации были изображены мужчина и женщина, стоящие перед электрическим аппаратом, за которым сидел оператор и крутил колесо. Пара целовалась, как мы только что, и между ними пролетала крохотная искра.

– Парижские дамы говорят, что это восхитительное применение науки об электричестве, – ухмыльнулся Виктор.

Я знала, что он потешается надо мной; Виктору доставляло удовольствие прикидываться, что, на его взгляд, женщины способны воспринимать науку только в приложении к банальным вещам. Но прежде, чем я успела выразить негодование, он стал необычайно серьезен, что всегда неотразимо действовало на меня. Он перевернул страницу.

– Вот, в том же журнале рассказывается о болонском физике по имени Гальвани, который сделал нечто совершенно невероятное. При помощи электричества он вернул мертвой материи способность движения! Посредством электрического шока смог оживить конечности мертвых существ. Видишь, лягушка дрыгает лапками? А это прибор, который он изобрел, что-то вроде электрического колеса, которое может производить последовательную серию разрядов определенной силы. Разве не удивительно, что человек придумал такое устройство? Только представь, что это сулит в будущем! Скоро мы будем в состоянии обеспечить органы трупов жизненным теплом и возрождать их. Тогда можно будет заменять поврежденный орган и продолжать жить. Не придется умирать! Это и есть подлинный эликсир бессмертия, о котором мы читали в книгах Серафины. Я бы отдал все свое состояние, чтобы заниматься исследованиями вместе с Гальвани; он штурмует последнюю твердыню Природы.

Увлечение опытами с электричеством ничуть не мешало Виктору продолжать свои занятия химической философией. Даже напротив. Он поставил себе целью стать и метафизиком, и изобретателем механических устройств. Ибо оставался убежден: все, что искали химические адепты со времен Гермеса Трижды Величайшего, достижимо, если только вооружиться правильной системой; и до этой системы, уверен был он, теперь рукой подать. Ее величественное здание уже обретало в его уме стройные черты, в которых сочеталось прошлое и будущее, фанатичная вера древних адептов и искусность последователей Гальвани.

– Разве не был Ньютон величайшим из всех алхимиков? – часто спрашивал он, – Я лишь следую его путем. Знай он об истинной мощи электричества, уверен, он использовал

бы его в своих алхимических изысканиях. Но это предстоит сделать мне – или, скорее, нам с тобой. Потому что я не пойду вперед без тебя, Элизабет. Думаю, все, чему Серафина и моя матушка учили нас, говорит об этом: женитьба наших душ откроет секрет золота.

Мы с Виктором часто разглядывали рисунки в «Лавандовой книге», изображавшие обряд Грифона, и спрашивали себя: предложила бы нам Серафина исполнить столь смелый обряд? Мы говорили о нем в последнюю нашу встречу с Серафиной. Разговор был нелегким. Серафина старалась уклониться от наших вопросов; пришлось Виктору проявить настойчивость. Ему хотелось знать, в чем смысл этого обряда. На что Серафина ответила: Полет на Грифоне столь близок к совершению самой химической женитьбы, что нам не следует торопиться. Полет Грифона, предостерегла она, понимается превратно даже наиболее умудренными адептами.

– Видите ли, дети мои, книги, которые я дала вам для изучения, – великое сокровище, но требуют благоразумия от читающего. Неверное применение изложенных в них знаний способно причинить огромный вред. Всегда помните: мы имеем дело с заимствованной мудростью – я говорю «заимствованной», вместо грубого «краденой». Она была заимствована у тех, кто понимает истинный смысл Делания и роль женщины в нем. Были времена, когда женщина почиталась за то, что в ее власти давать жизнь. Это считалось великим таинством. И до сих пор остается таинством; но теперь есть мужчины, которые думают иначе, и потому должное почтение отсутствует. Мне рассказывали, что есть учебные заведения, где мужчины вскрывают тела женщин, чтобы посмотреть, как в них развивается жизнь. Они вырезают чрево и рассматривают его через лупу...

Виктор, услышав, как я охнула, поспешил поправить Серафину:

– Эти женщины мертвы. Они трупы. Мертвые не чувствуют боли.

– Да. Но где они берут их, эти мертвые тела?

– Это все бедняжки, которые умирают на улице или в лечебницах.

– А может, их крадут из могил по ночам? Ты не знаешь, что врачи занимаются такими делами?

– А если и занимаются, что тут такого? Эти тела все равно сгнили бы в земле без всякой пользы для науки.

– Для тебя не имеет никакого значения, что тела воровски выкапывают из освященной земли? – спросила Серафина.

– Но почему их нельзя препарировать? Я же препарирую свои образцы.

– Ты не видишь причины, почему с телом мужчины или женщины нельзя обращаться как с лабораторным образцом?

– Не вижу, – заявил Виктор. – Ведь надо же знать, что находится внутри тела и как оно устроено.

– А когда эти ученые мужи заглянули внутрь и увидели, как устроено тело женщины, – продолжала Серафина, – знаешь, к какому выводу они пришли? Они думают, что жизнь, развивающаяся в нем, возникает из их семени, и только из него. Они думают, женское тело всего лишь сосуд для вынашивания жизни, которую мужчины посеяли в нее. Они говорят, в мужском семени прячется целый крохотный человечек, который ждет, чтобы его поместили во чрево, – Она хрипло засмеялась, заставив Виктора поморщиться. – Можешь себе представить! Мужчины, никогда не видевшие, как ребенок появляется на свет, сочиняют подобные вещи и пишут об этом книги, чтобы другие мужчины прочитали. Вот так появляется «знание»! Подобные мужчины, безмерно гордящиеся собой, переписывают книги, авторы которых женщины, и выдают их за свои. Вот почему, на что Элизабет уже обратила внимание, женщины, появляющиеся на этих страницах, сплошь очаровательные куртизанки и рабыни, существа подчиненные. Здесь, в «Лавандовой книге», *Soror* всего лишь наложница великого господина. У нее нет ни имени, ни положения, ни души. Это может быть любая женщина, незнакомка, которая приходит и уходит той же ночью, исполнив прихоть господина, словно какая-нибудь шлюха. Но это совершенно неверно. Великое Делание может быть исполнено надлежащим образом, если только мужчина и

женщина глубоко знают друг друга; они должны любить друг друга и дать обет верности. Должны подняться над плотским желанием, которое первоначально бросило их друг другу в объятия, чтобы они могли увидеть в нем более высокий замысел. Ты еще не готов к этому, Виктор. Было бы очень опасно учить тебя Полету с Грифоном прежде времени. Придет день, когда ты поймешь, что я имею в виду, говоря, что мужчина и женщина должны вместе держать зверя в узде или все рухнет – к огромному несчастью *Soror*, которой есть много чего терять.

– Я бы никогда этого не допустил, – запротестовал Виктор, не сдерживая раздражения.

– Это ты сейчас так говоришь, мой мальчик. Но Грифона нелегко укротить. В миг желания – о! – он полетит с тобой! Он яростен, как орел, и смел, как лев. Он может быть самым свирепым из всех зверей. Он убивает, рвет на куски и пожирает тех, кто не может справиться с ним. Мы, Виктор, имеем дело с пламенными страстями. С одной стороны – любовь, с другой – возжеление; по одну сторону – мудрость, по другую – буйная страсть. Людям нелегко отличить их. Даже ты, Виктор, можешь поддаться и пойти ложным путем. Это особенность твоей мужской натуры. Вот почему я так долго учу тебя; в тебе много такого, от чего ты должен *отучиться* – И, щадя его уязвленные чувства, добавила: – Элизабет тоже не готова для этого обряда. Хотя по иной причине. Скажу, по какой. В землях, где практикуют обряд Грифона, женщины учатся такому танцу, который делает их живот твердым, как железо, а самих их гибкими и ловкими. Те, кто овладевает этим танцем, могут извиваться телом изящно и энергично, как змея. Тем самым они укрепляют мышцы вот здесь, в глубине лона, и потому они одновременно и сильные, и нежные. Не многие женщины овладевают этим искусством, потому что оно требует долгих упражнений. Во многих землях эти вещи известны еще только проституткам; но когда-нибудь все женщины будут учиться им. Сейчас ты сам убедишься.

Она взяла руку Виктора и положила себе на живот; кончиками пальцев он касался ее кожи.

– Теперь дави, – сказала она, – Дави что есть силы. Посмотрим, как далеко вдавятся твои пальцы.

Виктор в замешательстве смотрел на нее. Она повторила просьбу, он послушно надавил. Сначала легко, потом сильнее. И наконец со всей силой, на какую способен, но тщетно. Живот Серафины был тверд, как каменная стена.

– Вот видишь, Виктор, – сказала она. – Я – старая женщина, но эти мышцы так хорошо натренированы, что не поддаются руке никакого мужчины. И внутри, Виктор: я могла бы стиснуть мужской член как тисками. Или нежно ласкать его, как мать малыша. Я могу так разжечь мужчину, что он исполнит любое мое желание. Элизабет пока не способна на это. Она еще не обладает властью над мужчиной. Мы обсуждали это с ней; она понимает лучше, чем ты, Виктор, опасности, которыми грозит Грифон.

Я видела, как уязвлен Виктор. После он жаловался на то, что ему казалось ее невежеством.

– Она ничего не смыслит в науке, просто суеверная старуха. Порочит анатомов, которые научили нас всему, что мы знаем о человеческом теле. И откуда такая уверенность, что в мужском семени уже не содержится законченный ребенок? Ван Левенгук верил, что это так; неужели она считает, что знает больше его? В любом случае, не подобает повитухе оспаривать мнение врача, словно она лучше разбирается в подобных вещах.

Пока продолжались наши занятия с Серафиной, Виктор с неохотой пообещал ждать, когда она начнет готовить нас к обряду. Но теперь, после ее ухода, он почувствовал себя свободным от обещания.

– Зачем дольше ждать? Того, что мы уже знаем, больше чем достаточно для такого простого ритуала.

Я возразила, что обряд вовсе не кажется мне таким простым. Но, как всегда, Виктор рвался в неизведанное. Помню, однажды он сказал мне, что неведение мучает его, подобно жгучей боли, от которой необходимо избавиться, тогда как знание действует словно

лауданум, успокоительная настойка, заставляющая забыть о боли. Я призналась, что один вид Грифона, не говоря уже о ритуале, носящем его имя, повергает меня в ужас. Я не видела никакой связи между любовью и этим чудовищным существом с хищными когтями и клыками. Не было ли это явным предупреждением, что обряд таит в себе опасности, о которых мы не подозреваем? Иначе почему в книге были рисунки, на которых Грифон пожирал любовников?

– Это только для того, чтобы отпугнуть малодушных, – убеждал меня Виктор. – Адепты желают хранить в тайне свое знание. Вот они и окружают его всякими ужасами и черной магией. Чтобы узнать новое, нужна смелость.

Тем не менее обряд по-прежнему страшил меня по причинам, которых Виктор понять не мог. Мое тело стало бы другим; я больше не была бы девственницей. Я не задумывалась об этом, пока Виктор не начал так настаивать на осуществлении ритуала. Теперь я осознала, что есть некая граница, которую мне не хотелось переступить прежде времени и из простого любопытства. Нужна была женщина, которая придала бы мне решимости, но обратиться за такого рода советом было не к кому. Я знала, Виктор счел бы глупостью подобные колебания; он бы назвал это «женскими штучками», как называл все, от чего ему хотелось отмахнуться. А еще я знала, что придет время и я уступлю его желаниям.

Примечание редактора

Полет с Грифоном

Символ Грифона в алхимической мудрости имеет двойное значение. Как легендарный страж Золотого Клада, он символизирует тайну и подчеркивает неизменно оккультную природу алхимического Делания. Грифон также символизирует чувственность, понимаемую как необузданную животную страсть. Вместе оба лика этого мифического животного служат предостережением, что эротические ритуалы, исполняемые адептами, есть глубокая тайна, которую должно хранить в тайне от профанов, дабы те не поняли ее превратно.

Ритуал, называемый здесь Полет с Грифоном, представлен в «Лавандовой книге» детальными рисунками; он сводится к ряду замысловатых сексуальных поз, позволяющих партнерам, мужчине и женщине, продлевать половой акт на всю ночь. Мужчина и женщина проходят несколько стадий соития, которые, предположительно, соответствуют реакции химических веществ: серы (горячее / сухое / мужское) и ртути (прохладное / влажное / женское) в реторте, по мере того как эти элементы проходят процесс превращения в философский камень.

Сцена, где все происходит в «Лавандовой книге», представляет собой пышный сад наслаждений: цветущие плодовые деревья, стаи певчих птиц; на заднем плане садящееся солнце, плывущая луна, восход, что указывает на то, что ритуал длится всю ночь до утра или по крайней мере несколько часов. Мужчина, как всегда в этой книге, хорош собой, смуглокож и появляется в саду в царском наряде, овеваемый опахалами, в окружении одалисок. Женщина, ожидающая его, – это всегда типичная восточная наложница: с пышными формами, в роскошных одеждах, сверкающая драгоценностями, – и ожидает она его под цветущим деревом посреди сада. Она и ее царственный супруг нежно приветствуют друг друга, затем наложницы снимают с них одежды; гарем остается с ними, а они исполняют все, что предписано ритуалом, и подносят им в паузах яства, чтобы они подкрепили силы в течение долгой ночи. Соитие описывается как строгая, в высшей степени ритуализированная наука. Мужчине полагается быть постоянно возбужденным и не выходить из женщины несколько часов; он по большей части остается неподвижным. Роль женщины, долженствующей символизировать особо активный характер ртути в алхимическом процессе, весьма нелегка. Ей нужно принимать разнообразные соблазнительные позы, чтобы поддерживать у партнера постоянную эрекцию и в то же время не дать ему достичь оргазма. К исходу ночи, если женщина была достаточно искусна, желание мужчины должно ослабнуть, и наступает состояние высшего, не плотского,

блаженства. Мужчина тогда может еще несколько часов оставаться словно в трансе. Рисунки дают понять, что его сознание становится безмерным и бесформенно-расплывчатым, как океан света. Он общается с божественным; женщины омывают куртизанку и умащают ее благовониями; она почтительно ожидает возле господина, когда он вернется из неземных странствий.

Если относительно рисунков не может быть сомнений, что они служили руководством поколениям алхимиков, которые понимали их зашифрованный смысл, то отношения между Виктором и Элизабет значительно отличались от этой традиции. Влияние их необыкновенной наставницы сказалось в том, что здесь нет и намека на женское раболепство, какое мы видим в куртизанках из «Лавандовой книги». Безусловно, именно это стоит за фразой «вместе держать зверя в узде». В тантрических текстах, лишь недавно переведенных, мы находим упоминания о практике, названной «служение богине». Там описывается техника возбуждения и продления наслаждения женщины; но, конечно, это были опять-таки проститутки. То, чего Серафина требовала от своих учеников, имеет иное происхождение и расходится с алхимической традицией, как о том позволяют судить все уцелевшие документы алхимиков, какие мне удалось изучить.

Ритуалы, которым учила Серафина, восходят к раннему периоду матриархата, когда воспроизводящая способность женщин была окружена аурой таинственности. Ее далекое от реальности историческое объяснение имеет все признаки бабьих сказок. Следует, однако, заметить, что путешественники, побывавшие в определенных отдаленных уголках Южных морей и в глубине Африки, сообщали о племенах, в которых деторождение по сей день окутано таким непроходимым невежеством, что мужчинам не отводится никакой роли в этом процессе. Возможно ли, что алхимическая традиция имеет подобное происхождение, и как далеко в прошлое она уходит, смогут сказать только дальнейшие исследования.

Крах

...апреля 178...

Меня беспокоит чрезмерная настойчивость Виктора; его нетерпение лишь усиливает мою неуверенность. Столь многое зависит от его способности владеть собой. Однако он продолжает осаждать меня просьбами приступить к «Грифону». Говорит, что принимает киноварную настойку, которую нам оставила Серафина, и это поможет ему управлять поллюцией. Но я считаю, что риск слишком велик. Умоляю подождать до поры, когда до месячных останется совсем немного и будет безопасней совершать обряд. Он соглашается – но горит нетерпением.

...апреля 178...

Я спрашиваю Виктора, не станет ли он меньше любить меня, когда я лишусь девственности. Он отвечает мне вопросом:

- А ты не станешь меньше любить меня, когда я уже не буду девственником?
- Для мужчины это не то же самое, что для женщины, – отвечаю я.
- Только потому, что мужчины не боятся этого.
- Мужчины получают; женщины теряют. Так учат всех девушек.
- Я не собираюсь «получать» от тебя. Я не какой-нибудь гнусный совратитель – или ты считаешь меня таковым?

Он уверяет, что я для него образец чистоты, которую ничто не может запятнать, образец большего целомудрия, чем моя девственность. Я спрашиваю, постарается ли он не причинить мне боли. Хочу, чтобы он знал о моих страхах. Он обещает быть очень

осторожным; я верю ему, но меня бросает в дрожь от его пыла.

...апреля 178...

Этой ночью, кажется, можно... но я еще колеблюсь. Чувствую, как меня охватывает паника... прерываю обряд и умоляю Виктора подождать до другого дня. Он соглашается, но с большой неохотой.

...апреля 178...

Снова прошу отсрочки.

...мая 178...

Виктор злится, оттого что я так долго не могу решиться. Уходит на целый день в лабораторию и работает там в одиночестве.

– Ты думаешь, что мною движет похоть, – говорит он позже. – Не веришь в мою любовь.

Я клянусь, что это не так; за его любовь я бы жизнью поручилась – но любовь не защитит от опасности, которая страшит меня.

...мая 178...

Мой жуткий сон вернулся. Просыпаюсь ночью от собственного крика. Снова мне привиделось мое рождение... не могу сделать вдох. Вижу человека-птицу, который тянет ко мне когти. Проснувшись, бросаюсь к окну, распахиваю его, словно в комнате нет воздуха.

– Представь себе, – сказала Серафина, – что Великое Делание – это нечто, желающее родиться в твоей душе.

...мая 178...

Я вновь отказываюсь. Виктор говорит, что мне не хватает смелости.

– Вот отчего Делание так долго не может завершиться, – говорит он. – Из-за женских капризов. Матушка говорит, что в нем должна принимать участие женщина. А что, если женщина откажется? Что, если она слишком боится? Как тогда будет Делание продвигаться?

Он несправедлив, но я понимаю, виной тому его досада. Он жаждет узнать, чему должен научить нас Грифон, а я из осторожности удерживаю его от этого знания. И он правильно спрашивает: мол, как же тогда можно совершить химическую женитьбу?

Мне нечего ответить.

Франсина когда-то говорила мне, что матушка выбрала ее на роль *Soror* для Виктора. Как бы Франсина поступила на моем месте? Оседлала бы Грифона? Доверилась бы Виктору? Если б я могла спросить ее! Но мы с Виктором условились хранить все в тайне.

...мая 178...

Я заглянула в студию матушки и долго смотрела на картину с изображением девы в

цепях. Преследовал ли ее мужчина, как Виктор преследует меня? Что заставило ее в конце концов уступить, любовь или усталость? Или побоялась показаться малодушной – как я боюсь?

Если бы только можно было поговорить с матушкой... но Виктор прав. Если пойти к ней, она запретит нам продолжать. И Виктор скажет, что я предала его.

Он не знает, как трудно мне решиться. Он не желает мне зла. Просит быть его помощницей. Я должна быть смелой, какою он желает меня видеть ¹.

* * *

Сказала ли я это вслух? Или только хотела сказать? И услышал ли он? Или не желал слышать? Не могу вспомнить. Помню лишь охватившую меня животную панику. И сильную боль. И удивление, бывшее даже еще сильнее. И после мгновения спасительного замешательства – понимание, что произошло непоправимое.

Вот что я помню о той ночи, с которой миновало уже несколько недель.

Не замечая времени, мы лежали в сладостных объятиях. Я позволила его ладони вновь и вновь скользить по моей наготы, чтобы он мог успокоить меня; позволила прикасаться ко мне везде. Он жадно ласкал мое тело, подготавливая к решающему моменту. Я вся стала вода, серебристая уступчивая вода, а он весь – огонь, алый всепоглощающий огонь. Он у него так дивно восстал, так был тверд и напряжен, я любовалась его возбуждением. Хотелось ощутить его губами. Охватить, завладеть. Чувствовал ли он то же, что я? Хотелось ли ему насытиться моей страстью? Теперь я видела, как легко делать все, что делали женщины на рисунках, ведя мужчину по самому краю желания. Как восхитительно было балансировать вместе с ним на этом краю манящей пропасти! Еще миг, и мы вскочим на Грифона и полетим, вместе правя им.

Я приняла позу сидя, как было изображено на рисунке, глаза смотрят в глаза. Одну ногу опустила, касаясь ею пола, Другую оплела его талию, крепко прижимая его к себе. Наклонилась так, чтобы кончиками грудей легко касаться его груди. Мы замерли, дожидаясь, пока не ощутили биения наших сердец, пока его сердце не забилося в унисон с моим. Он подался ко мне и застыл, как изображено на рисунках, едва касаясь моего лона и ожидая, пока я увлажню его. Жар между нами был яростен, как в печи алхимика. Я прижалась тесней, вдавивши груди. Он вошел.

Полная близость... Растущее желание, растущий страх, неистовство слияния. Наслаждение от того и другого. Я жаждала вновь испытать это мгновение свободы перед мгновением, когда уже нет возврата назад. Жаждала и страшилась.

И наконец, когда уже казалось, что возврат невозможен, я прошептала ему на ухо: «Не сегодня, любовь моя. Подожди со мною вместе только одну ночь. Дай еще одну ночь наслаждения этим девственным телом».

Примечание редактора

Судьба девы в цепях

Она любви предалась так слепо,
Любови, что не вынести живым,
И вот сомкнула свои воды Лета
Над ней, и жребий наш неразделим.

Ни в один из моментов моих редакторских трудов не чувствовал я такой потребности сыграть роль сыщика от литературы, как в то время, когда решал загадку безымянной девы в цепях. Строки, приведенные выше, в которых она появляется неназванная, были на

¹ После этой записи в дневнике вырваны две страницы. Следующая запись не имеет даты. – Р. У.

отдельном листке, вложенном в мемуары Элизабет Франкенштейн; неведомо было, откуда этот листок и когда было написано стихотворение. Годами я хранил его, приклеив изнутри к переплету мемуаров, надеясь позже понять его место в хронике событий. Лишь когда я в 1816 году приобрел у месье де Роллина картины Каролины Франкенштейн, тайна начала проясняться.

Я уже говорил о четвертом и самом маленьком из полотен, купленных у месье де Роллина: напомним читателям, что на нем была изображена тонущая женщина, обвитая цепями. И лишь когда я взглянул на него, в памяти тут же всплыли загадочные стихи Элизабет. Дева в цепях, следовательно, Розальба, это имя было написано на обороте картины.

Но кто такая Розальба и что вкладывала Элизабет в слова «и жребий наш неразделим»?

Ответ на этот вопрос мне помогла найти чистейшая удача, которая так часто сопутствует ученому в его поисках. Зимой 1831 года, продолжая изучение алхимической традиции, я наткнулся на доклад сэра Олмрота Кросленда в текущем номере «Трудов Ашмоуловского общества». Названный «*Mysterium Conjunctionis*: ¹ алхимические аллюзии в поздних сочинениях сэра Исаака Ньютона», доклад сэра Олмрота содержал осторожный намек на то, к чему я к тому времени сам независимо пришел, а именно: алхимические ритуалы часто служили прикрытием эротических намерений. Сэр Олмрот особое внимание уделял (малоправдоподобному, с моей точки зрения) вероятности того, что Исаак Ньютон увлекался некоторыми формами содомии в процессе своих алхимических опытов. Это, убежден был сэр Олмрот, объясняет жестокие приступы депрессии, вызванные чувством вины, которыми великий ученый страдал в последние годы жизни. Сэр Олмрот мимоходом замечает: «Сколь опасны эти практики для разума и души, доказывает случай несчастной Розальбы ди Гоцци, могущий служить суровым предупреждением непосвященным. Исчерпывающая ее история содержится в „*Mémoires historiques*“ мадам Луизы Изабо Данвиль 1647 года». Могли я усомниться, что сия Розальба, упомянутая сэром Олмротом в связи с алхимическими изысканиями, есть та самая женщина на картине, которую видел всякий раз, как поднимал глаза от рабочего стола?

Источник, названный сэром Олмротом, впрочем, оказался весьма труднодоступным. Не менее трех лет ушло у меня на то, чтобы обнаружить следы мемуаров мадам де Данвиль. Тем временем я узнал, что их автор, просвещенная любовница французского дофина, по слухам, сама была кем-то вроде адепта алхимии. Когда мне наконец удалось выяснить местонахождение нескольких уцелевших экземпляров ее труда, я тут же понял, что мои поиски были не напрасны. История сей дамы все прекрасным образом прояснила, хотя открывшаяся правда потрясла меня.

Розальба ди Гоцци, героиня загадочной картины леди Каролины, была младшей дочерью Алессандро ди Гоцци, венецианского дожа начала семнадцатого столетия и главы печально известного Совета Десяти. Духовником семейства Гоцци был молодой доминиканец фра Лоренцо Куэрини, тоже отпрыск высокого венецианского рода. Куэрини был также мастером алхимических искусств, учившимся в Византии у Сендивогия; он славился тем, что, как гласила молва, отыскал сам философский камень и прилюдно превращал металлы. Его авторитет алхимика привлек внимание синьоры ди Гоцци, которая страстно стремилась познать алхимические искусства. Трудно дать оценку моральным качествам Куэрини; мадам де Данвиль высказывает предположение, что фра мог стать любовником супруги дожа. По причине этой неопределенности невозможно судить, каковы были его намерения в отношении Розальбы, которая, хотя ей исполнилось всего пятнадцать лет, вместе с матерью стала ученицей фра. Итог был скандален и трагичен.

Однажды утром осенью 1647 года Гоцци, проснувшись, обнаружили, что Куэрини и Розальба исчезли. Синьора ди Гоцци объявила о бегстве любовников. Агенты Совета Десяти устроили на них настоящую охоту, но поймали только Куэрини. Его нашли через две недели – полумертвого от голода, прячущегося в пещере на юге Италии. То, что последовало вслед

¹ Загадочные совпадения (лат.).

за этим, походило на примитивную месть – для Италии той эпохи это было типично. Прежде чем судить, слуги дожа изувечили и оскостили его, а уж потом вынесли приговор и удавили. Только в последние мгновения перед смертью угрызения совести заставили Куэрини сознаться, что он виновен в преступлении более тяжком, нежели побег: он изнасиловал юную девственницу, о которой должен был печься. Но где найти Розальбу, этого он не мог сказать. Он утверждал, что стыд за содеянное заставил его бежать из Венеции, оставив ее. Единственное, что он сказал в свое оправдание, – он был введен в неодолимое искушение определенными алхимическими обрядами и под их влиянием, в приступе безумия, совершил преступление. Нечего и говорить, что подобная попытка смягчить свою участь не возымела успеха и не спасла его от гарроты. Лишь спустя два месяца история получила свое завершение.

Однажды утром гондольер нашел останки Розальбы; ее, обмотанную цепями, извлекли со дна канала. Сначала подозревали, что Куэрини убил ее; но записка в медальоне, найденном на нагом теле, не оставила сомнения, что она покончила собой. В записке она сознавалась, что Куэрини действительно насильно обесчестил ее и она не может жить с таким позором. Но она пыталась защитить своего любовника, утверждая, что на нем нет никакой вины, что во всем повинен «Грифон». Только самые умудренные адепты алхимии могли понять смысл этого признания. К тому времени, как я прочел об этом в мемуарах мадам де Данвиль, все подробности ритуала, связанного с Полетом Грифона, были известны мне из других источников, главным образом тех, что относятся к Тантре левой руки. Грифон, узнал я, был наиболее суровой из всех сексуальных йог, редко практикуемой и еще реже имеющей благополучный исход. Обряд столь часто завершался неудачей, что был отвергнут некоторыми инициированными, как немногим отличающийся от прельстительного обмана и не оказывающий никакого духовного воздействия. Мадам де Данвиль не сообщает никаких подробностей обряда, но оставляет следующее загадочное предупреждение:

Пусть женщины, которые становятся кандидатами Делания, проявляют осторожность. Все их сестры, проникавшие в темную область химических искусств, отлично знают, что верная *Soror* идет на химическую женитьбу с риском для своей чести – и больше того, жизни. Тот факт, что литература полностью умалчивает о сих опасностях, есть вероломство по отношению ко всем помощницам. Да будет ведомо, что я утверждаю это, основываясь на собственном горьком опыте. Исключительному риску в этом обряде особенно подвергается женщина, даже когда супруг достоин наивысшего доверия. Ибо здесь мы сталкиваемся со страстями, с коими даже самые добродетельные из мужчин не всегда способны совладать. Настоятельно советую всякой женщине не принимать участия в Полете Грифона (и даже в иных, менее опасных ритуалах), кроме как под строгим надзором опытной подруги.

События, приведшие к смерти Розальбы, объясняют мрачную атмосферу картины леди Каролины, которой несомненно было предназначено быть предостережением всем женщинам, шедшим по пути химической женитьбы. Кровь, окрашивающая воду, служила символом изнасилования юной доверчивой девственницы. Крылатый зверь в небе – явно Грифон; а обвисшее тело в пасти зверя, конечно же, удушенный фра. Так, фрагмент за фрагментом, я выстроил всю историю. После многолетних поисков я нашел историческую параллель, которую Элизабет Франкенштейн провела между собой и девой в цепях. И понял наконец всю меру порочности Виктора Франкенштейна.

Часть третья

Письмо

Я не осуждаю твое поведение и не призываю мир сжалиться надо мной. Пусть моя скорбь уснет со мной! Скоро, очень скоро я обрету вечный покой. Когда ты получишь это письмо, мой пылающий лоб будет холоден. Ты никогда... снова.

Я бы скорей пережила тысячу смертей, нежели одну ночь, подобную вчерашней. Твое обращение со мной повергло мой разум в состояние хаоса; однако я не волнуюсь. Меня успокаивает одно...

Если бы этот ужас я пережила, став жертвою постороннего, искавшего лишь наслаждения, которое мужчина может получить от женщины, то провалилась бы под землю со стыда. Но быть использованной подобным образом – в священном ритуале и тем, кого я так любила, убивает всю...

Прости тебя Бог! Желаю тебе никогда не испытать того, что ты заставил пережить меня... Надеюсь, когда-нибудь способность чувствовать проснется в тебе, раскаяние найдет путь к твоему сердцу; и посреди... и плотских удовольствий, я явлюсь тебе, жертва твоих... и безнравственности¹.

За письмом, которое я начинала снова и снова, я просидела почти всю следующую ночь. За окном хлестал ливень, пришедший из-за озера, и непрестанно барабанил по раме; прекратился он лишь перед рассветом. Когда я уже не могла больше писать, я сложила письмо, сунула в сумочку и покинула дом, так и не прилегши за всю ночь. Утро было ветреным, часто налетал дождь; к востоку над горами, затянутыми пеленой дождя, молния безумно отплясывала джигу. К тому времени, как я добралась до причала, я вымокла до нитки и дрожала от холода. Для рыбаков было еще слишком рано. Отвязывая потрепанный ялик, качавшийся у причала, я бросила взгляд на озеро. Не пойдет ли лодка на дно прежде, чем я хотя бы отплыву за полосу дождя? Час спустя, убаюканная мерной зыбью, я с испугом обнаружила, что меня далеко отнесло в сторону Германса. Между тем небо очистилось; Монблан, который столь часто скрывал свой величественный лик в облаке, как Бог иудеев, неожиданно явил себя, спокойный, снежный и невозмутимый, – розоватая пирамида, пылающая в утренних лучах. О, утешная красота! «Смотри, – прошептал голос внутри меня, – есть еще в мире величавое благородство».

И мое сердце ответило: «Есть!»

Через час я сумела добраться до берега и пустилась в долгий обратный путь домой. На повороте дороги меня нагнала повозка, направлявшаяся в Бельрив за сеном, и довезла до замка. Селеста, которая как раз накрывала завтрак, увидев, в каком я состоянии, быстро увела меня на кухню, принесла одеяло и налила дымящийся кофе. Она забросала меня вопросами, но я не отвечала. Согревшись у огня, я возвратилась в свою комнату, сбросила мокрую одежду. Лишь спустя несколько недель мне попалась на глаза сумка, в которой лежало это письмо. Я его перечитала, и оно показалось мне написанным кем-то другим – девочкой, которую я когда-то знала. Я сохранила его, как если б это было письмо другого человека.

Время молчания

Странная вещь дневник, больше запись пережитого, нежели хроника дней. Свидетельство психического измерения времени. Мимолетное мгновение надежды, радости или страха способно выпустить на свободу поток слов; целой книги может не хватить, чтобы описать все то, что испытывает человек в единый миг изумления. Но случаются недели или месяцы, не отмеченные никакими важными событиями, мертвое время, которое уместается в несколько скучных строк. А затем идут самые значимые страницы, такие, где правит

¹ Элизабет Франкенштейн предпочла не переписывать это письмо, но сохранить его в своих мемуарах в таком неудобочитаемом виде. Писалось оно явно в большой спешке. Бумага – лист, грубо вырванный из тетради, – сильно смята, видимо, в какой-то момент она намеревалась выбросить письмо; чернила местами расплылись от влаги, а кое-где и полностью смыты. Ввиду его важности, у меня не возникало вопроса, нужно ли воспроизводить его здесь; но и тогда я восстановил лишь те места, в которых был достаточно уверен. – Р. У.

молчание; главы, которые никогда не будут написаны, потому что пропадает желание писать – а то и само желание жить. Течение дней прерывается, когда переживание сильней слов, когда скорбь, страдание или стыд столь глубоки, что будущее теряет смысл. Тем не менее в эти периоды молчания возможны перемены, которые оставляют след в душе на всю оставшуюся жизнь.

Если измерить важность этого моего периода молчания в страницах, мой дневник разросся бы до нескольких томов – все без единой строчки. Ибо месяцами я не записывала ничего – не хотелось, не могла себя заставить написать хотя бы слово; перо в моей руке весило как гора, которую не было надежды сдвинуть. Больше того, душа моя была пуста, как лист бумаги предо мной; я была в состоянии отупения, оглохла и онемела, как солдат, потрясенный взрывом снаряда, который стоит на поле боя, не понимая, где он находится.

После той ночи ничто не могло оставаться как прежде. Мы не превратились во врагов, Виктор и я. Все было гораздо хуже. Мы были осколками любовного союза, который обрушился в результате худшего из предательств. Между нами не было ненависти; ненависть – это по меньшей мере жаркое, неистовое чувство, связывающее антагонистов. Мы же смотрели друг на друга с абсолютным холодным недоверием и бездонным отчаянием. Встречались, разговаривали – осторожно, скупое – через арктическую пустыню сожаления. Оба знали: того, что разбито, не склеить; Виктор даже не мог заставить себя попросить прощения. Несомненно, мою сдержанность он истолковывал в том смысле, что гнев делает меня невосприимчивой к любым его попыткам примирения; но, по правде говоря, мое состояние лучше всего было назвать *ошеломленностью*, вызвавшей онемение чувств. Я все не могла прийти в себя от потрясения. Когда мы разговаривали, я ловила себя на том, что не слышу его, ибо в голове пылал один вопрос: «Почему Виктор так поступил со мной, что это означает?»

И, спрашивая себя, я не могла избавиться от ужасной мысли, что он никогда не питал ко мне истинной любви, никогда не смотрел на меня иначе, как на предмет своих грязных желаний. Может ли быть, что все эти годы, прикидываясь нежным братом, он замыслил это покушение на мое целомудрие? Или это нечто худшее, нежели проявление мужского коварства? Наконец я подумала о самом страшном: что, если он действительно любил меня, как утверждал; и что, если любовь, даже настоящая, столь непрочна и нельзя на нее полагаться? Неужто порочность заложена в самой нашей природе и мгновенный греховный порыв способен разрушить самое подлинное чувство? Муки раскаяния, которые я замечала в Викторе, говорили мне, что, должно быть, это действительно так. Он не находил себе места; он страдал; он готов был жизнь отдать, чтобы загладить свою вину. Он был жертвой того же ужаса, который испытала я, неистовой, жестокой страсти, которой не смог противостоять. Тем не менее я была не в силах простить. Пожалеть, может быть... но не простить.

Терзаясь постоянно этими мыслями, я постепенно начала бледнеть и чахнуть, потеряла аппетит, стала апатичной и бродила по дому, как тень. Бывали дни, когда я с утра до ночи сидела у себя в комнате. Всех встревожила моя депрессия; предположили, что я заболела. Это и впрямь могло скоро случиться, ибо в тот год Европу охватила эпидемия. Из Леванта на запад неумолимо напознала скарлатина, весной она уже достигла Лиона и, как невидимый мародер, опустошала селения по берегам Роны. Когда разнеслась весть, что захватчица-эпидемия в ближайшее время должна охватить смертельным кольцом окрестности Женевы, я каждый день ложилась в постель с молитвой, чтобы она поскорей забрала меня. «Не хочу быть рядом с ним! Хочу все забыть!» Но все это время я знала: что бы я ни делала, забыть не удастся. Каждую ночь, раздеваясь перед сном, я видела отметины, которые он в своем неистовстве оставил на моем теле. Со временем они пройдут бесследно; но были иные, более глубокие раны – в душе. Я видела их всякий раз, когда смотрелась в зеркало, – мрачную тень в глубине моих глаз.

Другие еще могли приписать мою меланхолию болезни, но одного человека обмануть было нельзя; интуиция подсказала матушке, что истинную причину моей печали я ей так и не открыла. Она отвела меня в сторонку и спросила, что меня тревожит. «Не Виктор ли тому

виной?» – захотела она узнать, уверенная, что так оно и есть. Она призывала меня быть откровенной; я продолжала молчать, но она была настойчива, и мне все трудней было уходить от ответа. Еще и поэтому я желала, чтобы эпидемия настигла меня. Тогда бы меня оставили в покое, я жила бы затворницей – и в конце концов, может, даже...

...и жребий наш неразделим...

Я никогда не понимала, как столь юная девушка могла по собственной воле оборвать свою жизнь. Но теперь каждое беспросветное утро показывало мне, как существование может стать невыносимым. Когда я все-таки наконец заболела, я возблагодарила судьбу, надеясь, что незримая рука поможет мне обрести покой, на что у меня самой никогда не хватило бы мужества. В состоянии, близком к смерти, я лежала, предвкушая, что огонь, бушевавший в моей крови, станет моими цепями, моим водным каналом, моим освобождением. Но матушка не допустила, чтобы это случилось. Никакие самые веские доводы не склонили ее отказаться ухаживать за мной; отец разве что не дежурил сам у моей двери, чтобы не пускать ее ко мне. Но когда она услышала, что жизнь ее любимицы под угрозой, ничто не смогло ее остановить. Она добилась, чтобы ей позволили день и ночь сидеть у моей постели, остужая мой пылающий лоб и собственноручно кормя меня. Ее чуткая забота победила наконец жар; я была спасена, но последствия круглосуточного бдения у постели больной оказались роковыми для моей спасительницы. Я оправилась, а через неделю заболела матушка. Ее болезнь сопровождалась очень тревожными симптомами. Прогноз, который довольно скоро дали врачи, созданные отцом, был самый неутешительный. «Мы потеряем ее», – объявил отец после того, как врачи ушли, и, не стесняясь, заплакал.

В последние дни жизни стойкость духа не покидала эту лучшую из женщин. Хотя болезнь, казалось, отняла у нее все силы, она попросила позволения нарисовать меня, что облегчит ее страдания. Я, конечно, согласилась, села у ее ложа, и она рисовала с меня миниатюру, куда могла двигать карандашом или же свет за окном начинал меркнуть.

– Как ты измучена, дорогая, – сказала она, вглядываясь в меня острым глазом художника, – Я вижу, что причиной не только тревога обо мне. Я вижу еще гнев и боль; не стану спрашивать, чем они вызваны, ибо надеюсь, это временно и скоро пройдет. Ты поймешь меня, если я не стану отображать их на рисунке. Я хочу изобразить тебя гордой и сильной, женщиной, какой мне хочется, чтобы ты была, когда я уйду, независимой, хозяйкой самой себе.

И она нарисовала портрет, прекрасный, как все ее работы. Я смотрела на него – он был как волшебное зеркало, показывавшее меня идеальную, которая скрыта за следами жизненных невзгод. Но, закончив миниатюру, матушка отдала ее не мне, а Виктору – портрет той сестры-невесты, которая должна была стать ее лучшим подарком ему.

– Дети мои, – сказала она, соединяя наши руки, – мои самые прочные надежды на грядущее счастье были основаны на вашем предстоящем союзе. Теперь эти упования должны стать утешением вашему отцу; ради меня не лишайте его, пожалуйста, этого единственного счастья. Элизабет, любовь моя, ты должна заменить меня в семье. Больше всего я сожалею о том, что оставляю тебя без поддержки, дорогая. Ибо ты – та светлая душа, с которой были связаны мои самые несбыточные мечты. Твое предназначение в этом безрадостном мире еще не исполнилось. Но ты по-прежнему остаешься для меня моей золотой девочкой! Как тяжело покидать всех вас, даривших мне счастье и любовь!

Она затихла. Я склонилась над ней, чтобы расслышать, не хочет ли она сказать еще что-то, потому что губы ее продолжали шевелиться. Ее последние слова, которые она повторяла снова и снова, были: «Чутьочку терпения, и все будет кончено».

Она скончалась тихо; даже в смерти ее лицо хранило выражение любви. До последнего мгновения она крепко сжимала зеленую веточку, с которой никогда не расставалась; даже мертвая, она не выпускала ее, пока я с трудом не раздвинула ее пальцы. Я не могла

представить, что когда-нибудь мне придется пережить большую потерю; и тем не менее признаюсь, что какая-то малодушная часть меня испытала облегчение с ее смертью. Теперь ей не узнать правды о Викторе и обо мне. И мне не придется признаваться ей, что союз, на который она и умирая надеялась, никогда не осуществится, что мы раз и навсегда оставили мысль о нем.

После похорон матушки не прошло и двух недель, как Виктор, выдержав лишь срок, какого требовали минимальные приличия, объявил, что уезжает в Ингольштадт, дабы получить университетское образование. Это в один миг решило вопрос о будущем Виктора, которое долгое время было предметом разногласий в семье. Отец не желал видеть Виктора учеником Серафины; он считал алхимическое Делание непозволительной тратой времени. Я не раз слышала, как он убеждал Виктора обратить внимание на «современную системную науку», как он называл ее.

– Ньютоновская философия, – заявлял он, – обладает куда большим могуществом, нежели древние, которые, к их прискорбию, были отягощены бременем диких фантазий. Агриппа, Парацельс, Альберт Великий... все они с течением времени превратились в интеллектуальный хлам. Тебе не стоит тратить на них свой дар.

Бывай отец почаще дома, он, возможно, и отвратил бы Виктора от занятий с Серафиной. Но в его отсутствие восторжествовало матушкино влияние, и adeпты алхимии на какое-то время захватили воображение Виктора. Теперь, когда матушки не стало, отец все же добился своего. Виктор согласился – нет, не просто согласился, он требовал, – чтобы его отправили учиться. Дело было не только в учебе. Университет был для него спасением, шансом убежать от моих враждебных и осуждающих глаз, преследовавших его дома каждый день. Только моя болезнь, а затем смерть матушки заставили его до поры до времени отложить отъезд.

Меньше чем через неделю Виктор уехал, небрежно попрощавшись со мной – стыд позволил ему поднять глаза лишь на секунду, – однако обиженный на то, что я даже не намекнула на возможность прощения. Сквозь эту обиду в его глазах мелькнул вызывающий огонек, говоривший, что он не намерен позволить одному порочному поступку разрушить его планы на жизнь. Мы не обменялись поцелуем, не обнялись. Моя рука, которую я протянула ему, была вялая, взгляд холоден. Не одна я простилась с ним так сдержанно; Алу села мне на плечо и мрачно смотрела на него. Пристальный взгляд птицы, казалось, еще сильнее смутил Виктора, он поспешно отвернулся и зашагал прочь. Он ушел, унося с собой мое осуждение, больше не брат мне, не возлюбленный, не друг. Он не собирался возвращаться до Рождества и даже этого не обещал. Всю ночь я прорыдала, коря себя за упрямую суровость. Но я не могла, не могла простить его!

На следующей неделе отец, еще глубоко подавленный потерей, начал собираться в новую поездку. У него не было желания уезжать, и он без конца извинялся, что оставляет меня одну так скоро после смерти матушки. Но он считал, что за личным горем не должен забывать дела мировой значимости. В этот раз обязательства требовали его присутствия в Париже, где назревали судьбоносные события. Финансовое положение Людовика было отчаянным. Даже когда матушка лежала на смертном одре, из Версаля чередой прибывали курьеры со слезными просьбами к главному женевскому ростовщику; наконец королевский министр спешно пересек Альпы, дабы самолично просить отца о помощи. Отцу дали понять, что если он немедленно не явится в Париж для переговоров о займе, король будет вынужден обратиться к Генеральным Штатам ¹ за субвенцией, на что он не осмеливается пойти, ибо никто не может сказать, какие последствия это вызовет. Отец всегда недовольно ворчал, даже когда собирался внять призывам. «Для коронованного болвана было бы больше пользы, если б разворошили весь его дряхлый двор. Кроме месье Некера, занимающегося его опустевшей казной, остальное его окружение сплошь плуты и дураки. Сколько бы я ни ссудил ему сейчас, все будет пущено на ветер; но разве есть у меня выбор? Если король должен тебе четыреста тысяч ливров, поневоле относишься к нему как к родному брату».

¹ Высшее сословно-представительное учреждение во Франции (1302–1789).

Когда карета отца укатила по дороге на Женеву, я поняла, что впервые с момента моего появления в замке осталась без семьи. Я снова была сиротой. В доме со мной остался только тупоумный и болезненно застенчивый Эрнест, но менее веселой компании трудно было вообразить. С каждым годом он все откровенней демонстрировал свое презрительное отношение ко мне, вызванное тем, что расположение матушки переместилось на меня. И теперь, когда ее не стало, он почувствовал, что может открыто выражать свою ненависть к «цыганскому отродью». Так что мы всячески старались избегать друг друга. Я невольно оказалась в одиночестве, которого так жаждала, чтобы предаться размышлениям о печальных изменениях в моей жизни.

Я надеялась, что Франсина приедет и останется со мной; не отпускал страх, что жуткий мой сон повторится, как это часто случалось, когда я бывала в смятенном состоянии ума, и некому будет меня успокоить. Но Франсине приходилось как можно убедительней играть роль пасторской жены, она разъезжала с Шарлем всюду, куда звали его все расширяющиеся обязанности. Он ездил на соборы за границей; иногда они с Франсиной отсутствовали целыми месяцами. Однажды, когда у нее появилась возможность выбраться на день ко мне, я попыталась все рассказать, облегчить душу, но поняла, что не в силах вновь пережить свои горести. Она сразу увидела, как мне тяжело, но, когда я не смогла объяснить, что меня мучает, решила, что я скорблю по матушке, и успокоила, что печаль моя пройдет. «Почему я не могу открыть сердце даже лучшей подруге?» – спросила я себя и поняла, что мне стыдно говорить о Викторе. Когда при расставании он на миг взглянул на меня, я прочла в его глазах немую просьбу: «Пожалуйста, не рассказывай никому!» И я никогда никому не рассказывала о том, что произошло между нами, – не могла отделить себя от его бесчестного поступка. Слабая нить унижения продолжала связывать нас.

Проводя дни большей частью в одиночестве, я уговаривала себя собраться и использовать время с толком; но, будучи в разладе с собой, не находила сил ни на что, требовавшее сосредоточенности. Сопровождаемая Алу, следовавшей за мной между деревьев, – ибо она выбрала меня себе в товарищи, – я бродила по саду, а иногда уходила на целый день на горные луга. Когда же погода портилась, возвращалась к своим стихам или упражнялась в игре на клавесине. Я брала одну за другой книги в библиотеке, но мои мысли неизменно витали где-то далеко от страницы. Собрала свои вещи, чтобы подштопать, привести в порядок, но пальцы меня не слушались, и я забросила работу, оправдываясь, что она слишком скучна. Ничто не возбуждало во мне интереса больше чем на несколько минут. Однако душой владели странные тревога и беспокойство, словно я ждала какого-то знака... но какого, не знала и сама.

Однажды утром, когда пошла вторая неделя с отъезда отца, я проснулась совершенно больной. Постель была мокрой от пота, меня сотрясали ужасные приступы рвоты, словно лапа людоеда тянула из меня внутренности. Первой моей мыслью было: это рецидив, и я испугалась, что лихорадка Разгорится с новой силой. Почти весь день я оставалась у себя в комнате, ничего не ела, только выпила каплю воды; тем не менее, хотя в желудке было пусто, болезненные спазмы продолжали стискивать живот. Новое утро не принесло облегчения, третье тоже; у меня не осталось сил даже на то, чтобы встать с постели. Наконец Жозеф, мажордом, послал за доктором Монтро, который и прибыл под вечер ненастного дня. Он был очень строг и пугал меня. Он несколько раз лечил меня в прошлом, в основном от детских болезней, и все его лечение ограничивалось прощупыванием пульса и осмотром горла; но на сей раз он осматривал меня куда внимательней и попросил раздеться. Я повиновалась и послушно выполняла все его просьбы. Он зажег свечи на бюро, потому что в комнате быстро темнело, я по его просьбе легла и раздвинула ноги. Склоняясь надо мной, он прежде прикрыл мне лицо косынкой, как делают врачи, осматривая женщину ниже талии. «Какая глупость, – думала я про себя, – прикрывать мне лицо, когда я лежу перед ним в чем мать родила! Так наши глаза не могут встретиться, но все-таки зачем это: чтобы мне не краснеть, стыдясь своего нагого вида, или чтобы доктор Монтро не чувствовал себя неловко, видя, как я краснею?» Он был совершенно бесстрастен, занимаясь своим делом, но его

бесцеремонное копошение во мне было неприятно. Я смотрела из-под косынки на сумрачное окно, по которому бежали струи дождя, как слезы плачущего неба. В голове блуждали бессвязные мысли: «Непонятно, почему мужчина имеет право видеть женщину во всей ее наготе, тогда как женщине подобное запрещено? Почему? Конечно, он человек науки и осматривает мое тело холодным взглядом анатома. Оно ни в малейшей степени не возбуждает его – во всяком случае, приходится этому верить». Мне вспомнилось, как я призналась матушке, что мне было бы стыдно позировать обнаженной мужчине, который захотел бы нарисовать меня. Хотя художник не касался бы и не щупал меня, как доктор сейчас. Я вспомнила, как Виктор смотрел на меня, когда мы Кормили Львов, осторожно позволяя пробудиться своему сладострастию. Но он даже не прикасался ко мне, еще не прикасался. Как по-разному мужчина может смотреть на женщину – глазами художника, врача, любовника. Странно сказать, но наиболее внушающим доверие казался мне врач, поскольку для него я была все равно что неодушевленный автомат, который он мог разобрать и вновь собрать. Врачи познают тело, препарируя мертвецов; возможно, доктор Монтро научился смотреть на женские формы, будто это труп, лежащий перед ним. Но в действительности он изучал больше чем просто физическое тело. Подобное столь тщательное исследование давало ему возможность видеть меня насквозь, вплоть до того, насколько я нравственна. Женская честь отпечатана на ее теле. Он наверняка обнаружил, что я потеряла девственность, и может прийти к выводу, что я обычная потаскуха. Как мне тогда оправдываться? Поймет ли он, если я расскажу о Ритуале Грифона? Примет ли во внимание то, что требуется от Мистической Сестры? Что...

В этот момент он закончил осмотр. Убрал косынку с моего лица и сказал, мрачно, но мягко:

– Это не лихорадка, голубушка. Вы беременны.

Доктор остался в замке на ночь, поскольку жар и боли у меня усилились. Ему не хотелось возвращаться в Женеву по темной, размытой дождем дороге и стучаться в городские ворота. Наутро он уехал, пообещав бывать у меня каждый день, пока кризис не минует. Появившись на другой день, он обнаружил у моей постели Селесту. Она догадалась о причине моего недомогания еще до того, как меня осмотрел доктор Монтро, и теперь сидела со мною, прикладывая холодные компрессы к моему пылающему лбу и прижимая меня к себе, когда бил озноб. Скоро я утратила всякое представление о времени, лишь смутно сознавая, когда Селеста приходила покормить меня бульоном с хлебом, что наступал новый день. Что бы я ни ела, ничего не задерживалось во мне; продолжала мучить тошнота. Боли были столь сильны, что временами я впадала в обморочное состояние, и тогда сознание мое мутилось и меня мучили ужасные видения. Стоило закрыть глаза, и являлся человек-птица, теперь похожий на доктора Монтро, так что я боялась спать. Пробуждаясь, я умоляла Селесту:

– Не позволяй ему использовать свою клешню!

Она, зная о моих страхах, как когда-то знала и матушка, спешила успокоить меня.

– Ни за что, ни за что, деточка! Я послала за Кристиной. Она едет сюда и будет ухаживать за тобой, сколько будет нужно.

– А доктор позволит ей?

– Он хороший человек и все поймет. Будь уверена, я заставлю его понять, чего ты хочешь.

Кристина была самой надежной из местных повитух; она научилась своему ремеслу у Серафины много лет назад. Несмотря на продолжающиеся страдания, я успокоилась, услышав, что скоро она будет здесь. Но когда спазмы усилились еще больше, вся моя храбрость улетучилась.

– Я беременна, Селеста, – сказала я, уткнувшись лицом в ее огромную грудь, затянутую фартуком, и заплакала от жалости к себе.

Хотя она вся пропиталась острыми ароматами кухни, та Селеста, за которую я так цеплялась в своей беде, была не простой кухаркой, а посвященной, читавшей список

мучениц десяти веков, когда женщины собирались на поляне в лесу. Добрая, мудрая и бесстрашная Селеста! Как спокойно было в ее объятиях. Я понимала, что мое положение плохо; дитя во мне, скорее всего, не выживет, чтобы нормально родиться; скарлатина сделала мое тело негодным пристанищем. Ослабленная болезнью, я боялась, что разделю судьбу своей матери: умру родами, хотя мое дитя еще не сформировалось.

Я не имела представления, сколько времени я так мучилась. Несколько раз я, очнувшись, видела Кристину, терпеливо стоявшую у постели. Однажды она наклонилась и прошептала мне на ухо: «Когда он уйдет, я дам тебе кое-что, что успокоит боль». И действительно, позже она дала мне выпить настоя из трав, от которого голова у меня приятно закружилась, бешено скачущие мысли улеглись, еще немного – и я провалилась в сон без сновидений. В другой раз в комнате был доктор Монтро, и вид у него был мрачный, как никогда. «Скоро самое худшее будет позади». Ничего утешительней он не мог сказать. Однажды, когда он уже собирался уходить, я сквозь дремоту услышала, как он дает распоряжение Селесте сообщить обо всем Виктору и барону. Мою сонливость как рукой сняло. Когда они ушли, я закричала, зовя Селесту, и взволнованно стала умолять ее ничего не сообщать ни Виктору, ни отцу.

– Но рано или поздно они должны узнать, дорогая.

– Зачем им вообще что-то знать?

– Потому что Виктор отец ребенка. И он должен сделать то, что положено благородному человеку.

– Ты ошибаешься, полагая, что это так.

– Что ты такое говоришь, дитя? Кто же еще может быть отцом твоего ребенка?

– Это мое дело, а не слуг, – ответила я, стараясь говорить высокомерно, как матушка, когда ей возражали.

– Тебе нечего бояться, – не отступала Селеста. – Виктор женится на тебе, как и положено.

– Никогда такого не будет! Нет у меня желания выходить за Виктора, – лихорадочно заговорила я, как в бреду – Не хочу вообще его видеть. Не он отец ребенка, не он. В этом доме бывает много мужчин, приезжают, уезжают. Гнусные соблазнитель, ты хорошо это знаешь, Селеста. Или я не слышала, как ты предупреждаешь горничных остерегаться гостей барона? Велишь им завязывать юбки внизу у лодыжек, когда прислуживают джентльменам. *Джентльмены!* Мартовские коты, вот как отец их называет. Он говорит, что они достойны уважения не больше, чем животные на скотном дворе. Помнишь, наверно, маркиза де Шательнефа, который гостил у нас в... июне, да, в июне. Так о нем было известно, что он держал по меньшей мере четверых любовниц моего возраста – и моложе. Может, это он... Пьетро делла Валле, поэт, бывший у нас до него; разве он не отвратительный *goué*?¹ Может, он отец ребенка... Как я могу сказать, кто из них, кто, кто? Их было так много, можно ли требовать, чтобы я знала, кто именно? Графиня Лендсир, когда гостит у нас, оставляет дверь своей спальни открытой – и ее мужу известно об этом. Последний раз, когда она была у нас, ее за одну ночь посетили три любовника. Как я могу назвать отца моего ребенка, если, как говорят, графиня не может поручиться за то, кто отец каждого из ее детей? Что ты так возмущаешься? Считаешь меня ангелом; но ты не знаешь меня по-настоящему. Вспомни, ведь я росла среди цыган. Жила по другим законам. Все цыганские девушки – проститутки. Моя сестра Тамара была проституткой, собственный отец...

– Дитя, дитя, ты бредишь, – сказала она, прижимая меня к себе. – Послушай меня. Мы должны сообщить Виктору...

Я, хотя и была слаба, закричала, грубо оборвав ее:

– Я здесь госпожа. Сделаешь так, как я велю. Не желаю видеть Виктора. Не смей посылать за ним. И за бароном тоже; он занят важным делом. Глупо отвлекать его из-за того, что должно произойти, не важно, что он думает об этом. Умоляю тебя! Или хочешь опозорить меня в глазах отца? Этого я тебе никогда не прощу! Ты станешь моим врагом.

¹ Развратник (фр.).

Содрогаясь от рыданий, я прижалась к Селесте, ища утешения, в то же время бессильно колотя ее кулачками и клянясь, что навсегда возненавижу ее, если она не послушает меня.

– Обещай, что сделаешь, как я говорю! А лучше, раз ты моя сестра, клянись на своих ножах!

И она поклялась. Но ей не пришлось выполнять клятву. Следующим утром на рассвете я проснулась, как от толчка, и поняла, что развязка близка. Боль была такая, будто яростное копье пронзило низ живота. Повсюду кровь: простыни, покрывала – все в крови. Я пронзительно закричала, и внезапно надо мной появился темный силуэт. *Человек-птица*, была первая моя мысль. Но нет – то был доктор Монтро, который протянул руки и прижал меня к постели, чтобы я не свалилась на пол.

– Лежите спокойно, – скомандовал он, – Мы должны быть уверены, что вышло все, ничего не осталось.

Одной рукой доктор Монтро залез в карман и извлек инструмент, похожий на щипцы. Он начал рыться им в кровавой кучке, лежавшей меж моих ног, быстро исследуя то, что обнаружил там.

– Думаю, вышло не все, – сказал он, – Нужно подождать еще.

– Дайте мне мою микстуру, – закричала я, имея в виду успокоительный отвар, которым поила меня Селеста, стоявший сейчас на столике рядом с кроватью. Я хотела достать бутылочку, но доктор крепко держал мои руки.

– Вздор, – сказал он, – От этого никакого толку.

– Нет, это помогает... снимает боль.

– Такого не может быть. Это не порядачное лекарство, а всего лишь знахарское зелье. – И с этими словами он смахнул бутылочку со стола и снова вцепился в меня, – Будь сильной, Элизабет, – внушал он. – Никто не сможет сделать это за тебя. Придется терпеть, как терпят все женщины.

Весь день я лежала, корчась от боли; наконец под вечер схватки прекратились и на несколько часов наступило облегчение. Когда доктор Монтро вышел, Селеста прокралась ко мне с глотком своего отвара. Я жадно выпила его и смогла наконец забыться во сне. Но среди ночи мучительные схватки возобновились, сопровождавшиеся сильным кровотечением, от которого я временами теряла сознание. Дальше я лишь смутно замечала, что прошел день, за ним ночь, но ощущение времени потеряла. Еще несколько раз мое истерзанное тело пыталось избавиться от того, что чрево ревниво не отпускало. Наконец, когда в очередной раз наступили схватки, доктор Монтро решил, что больше медлить нельзя. Я слышала, как он сказал: «Она истечет кровью и умрет, если ее сейчас не почистить». Затем, склонившись надо мной и повторяя, что придется мне потерпеть, завернул вверх окровавленную ночную рубашку и запустил в меня руку. Он работал щипцами, скреб и тащил. Я мотала головой от боли. «Ну вот, теперь, думаю, все», – объявил он. Посмотрев на свои ноги, я увидела между ними кровавый комок, от одного вида которого могло стошнить. Я поняла, что в этой темно-красной массе находятся бесформенные останки моего ребенка, моего и Виктора. Доктор небрежно выдернул из-под меня простыню и завернул в нее все это. Повернулся и крикнул: «Унесите! Закопайте где-нибудь, где животные не найдут».

Только теперь я поняла, что Кристина и Селеста все это время находились в комнате, внимательно следя за действиями врача. Доктор Монтро швырнул сверток на пол к их ногам; Кристина послушно подняла его и унесла. Селесте он сказал:

– Теперь можешь привести ее в порядок. Все кончено. Ей повезло, что она выжила. Напои ее крепким бульоном, когда она сможет принимать пищу; нам нужно возместить потерю крови. – Он наклонился и отвел волосы с моего горящего лба. – Так лучше, милочка. Ребенок наверняка родился бы уродом и долго не прожил. Мы никому не расскажем, обещаю. В этом нет необходимости. Полагаю, сегодня ты получила жестокий урок. Прошу, не грешь впредь.

Я потеряла сознание прежде, чем он договорил.

Открыв глаза, я ощутила свежий, приятный аромат, наполнявший комнату. На

металлическом блюде возле меня тлели какие-то травы, источая прозрачный белый дымок. Но когда я окончательно пришла в себя, мне показалось, что я лишилась половины тела. Я почти не чувствовала себя от груди до ног. Посмотрев вниз, я увидела, что меня вымыли и одели; Кристина смазывала всю меня маслом и осторожно растирала ноги. Масло действовало успокаивающе, принося огромное облегчение.

– Прости, что не могла помочь, – тихо говорила она, – Он не подпускал меня к тебе. Он не умеет заглушать боль; это так просто, но он не умеет. И он не промыл тебя, оставил рану, которая бы обязательно загноилась. Но я промыла тебя бальзамом, который предотвращает нагноение; с его помощью все быстро заживет. А теперь нужно еще полечиться паром.

Она осторожно помогла мне подняться, встать у кровати и задрала мне рубашку до талии. Потом сняла повязку: все между бедер выглядело как живая рана; струйкой сочилась кровь. Кристина сняла с плиты кипящий чайник и поместила его между моими расставленными ногами. Из носика чайника поднимался пар, чей резкий запах, отдававший шандрой и уксусом, был мне знаком, ибо всегда сопровождал повитух. Целебный пар поднимался, обволакивая живот и бедра, а Кристина помахивала орлиным пером, направляя его между ног, и поглаживала меня.

– Я потеряла ребенка, – простонала я.

– Да. Но тут он был прав, этот мужчина. Ребенок не смог бы выжить. Наверно, он умер в тебе и разлагался, отравляя тебя. Скарлатина, которой ты болела, убила его.

– Он был урод, как сказал доктор?

– Никто бы этого не понял. Он был не больше крохотной белой бляшки. Но для него смерть – благо; ты сама еще ребенок и не готова быть матерью.

– Это несправедливо, так страдать из-за пустяка.

– Когда снова окрепнешь, у тебя будет возможность забыть обо всем, – с мудрой улыбкой сказала она.

Жизнь в лесу

Нас было десятеро, собравшихся тем ранним утром на поляне, в большинстве матери, потерявшие детей. Затянутое тучами небо предвещало дождь. Прошел месяц, как я лишилась ребенка; я была еще невероятно худа, кожа да кости, но достаточно окрепла, чтобы покончить с затворничеством и вернуться в мир. Поскольку обряд проводился днем – один из немногих, предназначенных для этого времени суток, – мы всегда собирались небольшой группой и быстро расходились, чтобы нас не заметили. Кристина принесла останки моего нерожденного ребенка, которые хранились в куске замши, перевязанной виноградной лозой. Сверток был крохотный, меньше ее ладони; однако это была зародившаяся жизнь, и ее кончину следовало почтить.

Прежде я не раз принимала участие в подобной церемонии проводов детей, умерших, не увидя света мира; Природа жестока, нам часто приходится хоронить детей, и бывает, с их матерями. Повитухи могут быть более добрыми и знающими, чем врачи, и все же им часто не удается спасти младенца. Но в отличие от мужчин, они торжественно отмечают происшедшее; они заботливо сохраняют нерожденного дитя, чтобы мать могла оплакать его, прежде чем схоронить в земле. Даже если дитя умерло в результате прерывания беременности, его провожают как подобает. Тогда оно уходит достойно, а мать может выплакать свое горе.

Тем утром вновь медленно звучали барабан и бубен и сладкую скорбную мелодию выводила флейта. И вновь, как бывало, Кристина пела простую песнь, и остальные подхватывали по ее знаку. Но на сей раз вывести материнский рефрен пришлось мне. Кристина начинала:

Нет для женщины родов тяжельше,
Чем роды, что кончаются смертью.

Мать, последнее слово скажи
твоему нерожденному.

Тут вступала я:

Мой малыш,
Мой неназванный,
Возвращаю тебя, возвращаю.

Затем подхватывали женщины:

Чьи глаза не увидели ни света солнца, ни света луны.

Я:

Возвращаю тебя, возвращаю.

Женщины:

Чьи губы не отведали ни сладости,
ни горечи жизни.

Я:

Возвращаю тебя, возвращаю.

Женщины:

Чьи уши не слышали пения птиц.

Я:

Возвращаю тебя, возвращаю.

Женщины:

Привавшего боль, не узнавшего радость.

Я:

Возвращаю тебя, возвращаю.

Женщины:

Имя не названное.

Я:

Частичка моего сердца уходит с тобой.

Женщины:

Частичка нашего сердца уходит с тобой.

Крохотный сверток передали мне. Женщины поочередно по-сестрински обнимали меня и отходили. Зная, что теперь мне предстоит остаться одной, я благодарила их и просила уйти. Я захватила с собой самое необходимое, чтобы провести день в лесу: одеяло и немного простой еды. На случай ненастья была хижина, построенная женщинами, в ней можно было и переночевать. Я должна была оставаться одна с моим мертвым ребенком и похоронить его. Только Алу была со мной; но даже она в тот день держалась в стороне, сидя высоко на дереве и лишь изредка поглядывая на меня, так что я могла оплакивать дитя сколько хочу: недолго или до глубокой ночи.

Я дошла знакомой тропинкой дотуда, где начиналась каменистая почва, и углубилась в лес. Тут, я знала, могло быть опасно, и нужно было соблюдать осторожность. В некоторых местах нагорных лесов водились волки и даже медведи. Но мне странным образом было не страшно, словно я знала, что они не причинят мне зла. Я остановилась отдохнуть на краю горного луга, у сверкающего озерца, и тут простилась со своим нерожденным ребенком. Я не удержалась и развернула замшу, желая посмотреть, что находится внутри. Я увидела кусочек пахучего кедра и листья камфарного дерева, и в листьях – засохший мазок крови. В нем я разглядела крохотный клубенок беловатой плоти и поняла: вот так начинается жизнь, столь незаметно и неопределенно, что глазом не разглядеть. Всего-навсего. Но из этого кажущегося ничто вырастает и приходит в мир полноценное человеческое существо. Действительно ли дитя, спрашивала я себя, страдало пороком развития, как сказал доктор? Или могло выжить и стать таким же красивым, как Виктор, стройным, как ангел, и ясноглазым? Я так пристально вглядывалась в этот крохотный бесформенный комочек, что в глазах у меня поплыло – и неожиданно мне представилась неясная фигура, лицо, как бы глядевшее на меня сквозь воду озера: глаза, нос, подбородок. Я прищурилась, и черты обрели определенность. Я едва не отшвырнула раскрытый сверток – ибо лицо было ужасно. Это было лицо не младенца, но скорее злобного уродца, более похожего на труп, чем на живое существо. Но его глаза были раскрыты и смотрели прямо на меня. Неужели таким мог стать мой ребенок, если бы выжил? Тогда куда лучше, что он не родился.

Я поспешила завершить обряд. Завернула все обратно и подыскала место для упокоения моего нерожденного младенца. Я выбрала подножие древней ели; из двух ножей, принесенных с собой, черным выкопала глубокую, по локоть, дыру между корней и поместила на дно замшевый сверток. Запах камфары и кедра предохранит его от зверей, пока земля не поглотит его. Засыпав дыру, я разбросала над ней лепестки, пакет с которыми дали мне женщины.

Потом, как меня научили, села над тайной могилкой и запела «Возвращаю тебя, возвращаю», ожидая, что слова проникнут мне в душу и снимут давящую тяжесть. Я долго пела, но не почувствовала облегчения. Сердце по-прежнему разрывалось. Я жаждала освободиться от скорби по умершему ребенку, но не могла. Я была в том же волнении и смятении, что и до начала церемонии. Почему? Что держало меня и не отпускало, откуда эта тревога?

Наконец я пошла к озеру, чтобы помыть руки в его холодной воде. Солнце в небе окончательно поднялось и пригревало, его яркие лучи сверкали на потревоженной глади, слепя глаза. Долго я сидела у края воды, словно зачарованная ее мерцающим блеском. Скоро вода успокоилась, стала ясной как зеркало, и я увидела свое отражение, глядящее на меня. Как странно я выглядела! Это было не прежнее лицо юной девушки, а взрослой женщины. Оно казалось измученным, потемневшим. А каким еще ему быть? В короткое время я прожила много лет. Дважды за последние два месяца смерть коснулась меня. И я стала матерью – или почти стала, прошла через такие мучения, освобождаясь от ключев мертвого ребенка, каких не знают многие женщины, производящие на свет нормальное, здоровое дитя. В лице, глядящем на меня из воды, я видела озабоченность и горе, но больше всего – гнев. Я видела лицо, какое бывает у меня, когда в груди пылает гнев. Сжатые губы, жесткий взгляд.

Женщина в гневе. Гнев душил меня, не давал вырваться слезам. Виктор – вот кто был причиной гнева. Он нанес мне мучительную рану, унизил, предал – все единственным бездумным поступком. Взял силой, как, представлялось мне, солдаты-завоеватели насилуют пленниц. И не отпускал, пока не удовлетворил своего желания и оставил с нежеланным бременем.

Не отдавая себе в этом отчета, я ударила ладонями по земле, еще раз и еще; потом запрокинула голову. Долгий вопль вырвался из моего горла, крик столь мощный, что я сама поразилась, не узнав своего голоса. Нет, не крик – яростный вой, эхо которого пронеслось далеко в горах. Испуганная Алу с тревожным криком взлетела со своей ветки на высокой сосне. Как это хорошо, крикнуть вот так! Этим воем я выплеснула все. Выразила себя, как никогда никакими словами не могла выразить в домашних стенах или среди людей. Я напряженно вслушивалась в эхо, катившееся по долинам и ущельям. И, вслушиваясь, думала, что впервые услышала себя. Это говорила Элизабет. И эхо превратилось в зов, возвращавшийся ко мне: «Приди! Приди!»

Остаток дня я шла дальше краем озера, пока на вечернем небе не показался ущербный диск луны, шелковисто-белый и прозрачный. Тогда я нехотя повернула назад, к дому, и в голове у меня созрело твердое решение: «Не могу больше оставаться в мире людей». Я должна уйти туда, где душа вольна будет излиться в крике, яростно и свободно, как ей хочется, не испрашивая ничьего позволения, не соблюдая никаких приличий, не боясь ничьего осуждения. Я вернусь и останусь среди этой дикой природы, где смогу жить как Дикое существо, не больше повинующееся людским законам, чем лось или орел, бегущий ручей или устремляющийся вниз ледник. Этот мир станет моим новым домом – на неделю, месяц или дольше. Буду жить жизнью Серафины – или какой она мне воображалась: жизнью мудрой женщины, ходящей где хочется, больше беседующей с реками и звездами, чем с людьми. Матушка завещала быть хозяйкой самой себе. А где еще женщина может быть хозяйкой себе, как не среди девственной природы, которая неподвластна человеку.

Следующие несколько дней я тщательно разрабатывала план дальнейших действий. Отобрала необходимые вещи: теплую одежду, крепкие башмаки, одеяло, кремь с огнивом, свечи, фонарь, ритуальные принадлежности, мои два ножа, дневник. Но за сборами я упустила одну вещь, что задержало мое бегство: я не могла придумать подходящую отговорку, чтобы потом не угнетало меня беспокойство домашних. Ибо я знала, мои планы неизбежно встретят сопротивление. Всякий, кто считал себя вправе командовать мной, велел бы выкинуть эту безумную идею из головы. Женщине, сказали бы они, неуместно и недопустимо скитаться одной. Что позволительно мужчинам – и что Виктор неоднократно делал, – то не дозволено мне. Если бы отец был дома и сказал мне это, пришлось бы отступить. Но мне могли помешать только слуги.

Наконец я просто и отважно сказала правду, не заботясь о том, что кто на это возразит, и моя прямота дала мне почувствовать себя сильной женщиной. Я собрала все свое мужество и объявила, что намерена предпринять пешую прогулку в горы, будто это была самая естественная вещь на свете. Но конечно, это было не так; объявление всех ошеломило. Особенно взволновался Жозеф; в отсутствие барона бедный старик оставался *in loco parentis*¹ и чувствовал ответственность за всех домочадцев, особенно женщин. «Недели две, – небрежно ответила я, когда он спросил, как долго я намерена отсутствовать, – возможно, дольше». А про себя подумала: «А возможно, уйду навсегда!» Он неодобрительно нахмурился и предостерег, что этого делать не следует. Но когда он пригрозил запретом, я мягко возразила, напомнив, что я не его дочь, а хозяйка дома. Если ему вздумается не отпускать меня, придется ему посадить меня под замок, иначе я при первой возможности поступлю по-своему. Видя, что его угрозы не действуют, он принялся настаивать, чтобы меня сопровождал один из слуг. К его ужасу, я отвергла и это предложение.

Я понимала его страхи; опасность ожидала не столько со стороны дикой природы, сколько от всякого люда, бродившего по лесам и горам. Местность полна была

¹ За родителей (лат.).

отчаявшимися бедолагами: дезертирами последних войн, беженцами из Франции. В те дни можно было видеть целые семьи, лишённые крова и бродившие по дорогам с котомками на спине в поисках пристанища, где они могли бы спастись от революционных катаклизмов эпохи. Многие уходили в леса и жили там, как дикари; другие с отчаяния становились разбойниками. Век Разума и Естественного Права породил беспримерное бесправие и жестокость.

Но я ничего этого не боялась; окрестные леса я знала как свои пять пальцев; вместе с Виктором и отцом мы бродили по ним, устраивали привалы. Я знала, где могу переночевать и укрыться от любой опасности со стороны людей. Больше того, я была уверена, что могу рассчитывать на свои хитрость и проворство, поскольку здоровье быстро возвращалось ко мне. К тому же я не буду в лесу одна. Со мной будет самая верная спутница, Алу, которая всю жизнь сопровождала Серафину. Под ее бдительной охраной я буду в большей безопасности, чем имея при себе мастифа. И еще одна предосторожность: я собиралась прикинуться последней нищенкой без гроша в кармане. Кому тогда захочется приставать ко мне?

Селесту мой замысел не убедил.

— Как бы женщина ни было бедна, — мрачно предупредила она, — у нее есть то, что мужчина только и норовит отнять.

Я отмела все ее опасения:

— Тогда переоденусь нищим мальчишкой. И возьму с собой крепкую палку, которой умею пользоваться, а еще склянку с протухшим цибегином и побрызгаю на себя, если станут приставать.

* * *

Ранним августовским утром я пустилась в путь. Собралась ночью и выскользнула из замка, когда луна еще не растаяла в небе. Я не сомневалась, куда направиться: на восток к нагорьям Вуарона, дальше по ущелью, где бежала Арвэ, в долину Шамони. А там... куда направит фантазия.

Путешествовать пешком было нелегко, особенно если не сходить с узких тропинок. За первый день я недалеко ушла от неровной восточной границы Бельрива; на другой день я выдохлась, не достигнув и Меножа. Я безусловно переоценила свои силы. Но громадные вершины и бездонные пропасти по сторонам, рев реки, мчащейся среди скал, пенные водопады — все это скоро заставило меня ощутить душевный подъем. Нигде на земле я не могла бы надеяться увидеть столь могучее проявление стихий. Чем выше поднималась я по склонам, поросшим сосновым лесом, тем величественней становилась панорама долин. Развалины замков, прилепившихся к утесам, стремительная Арвэ внизу подо мной, языки ледников, дымящихся под солнцем, складывались в картины, потрясающие воображение. Впечатление еще больше усиливали исполинские Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды возвышались надо всем, словно принадлежали иной планете.

Не имея определенной цели, я неспешно брела, придерживаясь южного направления. Первые несколько дней пути я держалась в виду крестьянских домиков и коровников, которые усеивали горный пейзаж. Каждый день мне случалось видеть пастухов, гнавших свои стада по тропам; до вечера воздух на мили вокруг был наполнен звоном тяжелых колокольцев. Пастухи всегда встречали меня радушно, с готовностью и щедро делись едой и питьем. Когда погода портилась и припускал дождь, они приглашали меня к себе, погреться у очага. *Pâtres*¹ легко принимали меня за бездомного мальчишку, под которого я рядилась. Убеждать их в этом не было нужно, за меня говорила моя одежда; их обычная неразговорчивость избавляла меня от необходимости хитрить. Да и не похоже было, что они способны представить себе, чтобы благородная женщина выступала в такой роли — мальчишки, одиноко бродящего по дорогам. Они пускали меня ночевать в свои хижины или

¹ Пастухи (фр.).

на сеновалы, а утром отпускали, прежде накормив и снабдив на дорогу свежей провизией. Я неизменно расплачивалась с ними какой-нибудь мелкой монеткой, а где-нибудь подальше, чтобы они не сразу нашли, оставляла флорин. У меня не было желания, чтобы меня принимали за кого-то еще, а не за нищего бродягу.

Наконец последние крестьянские хижины остались позади, и, бывало, я по несколько дней не видела человеческой души. Единственными, кто скрашивал мое одиночество, были Алу, горный козел, скачущий по скалам, да гордый орел, сторожащий свою воздушную империю. Мне чудилось, что я иду среди развалин погибшего мира, единственная, кто уцелел, и стоило больших усилий убедить себя, что я не одна на всей планете. Я рада была уединению, которое подарили ясные, холодные горы; но понимала, что теперь меня подстерегают все опасности, которые грозят одинокому путнику. В этих горах шныряли бандиты и контрабандисты. С наступлением темноты я тщательно выбирала укрытие для ночлега, старалась не давать костерку разгораться слишком сильно и поддерживала огонек лишь столько, сколько нужно было, чтобы наскоро приготовить ужин и черкнуть несколько строк в дневнике. Алу я доверяла исполнять роль часового; когда она предупреждала о приближении путников, я гасила костер и пряталась в скалах. Питалась я из тех запасов, что носила с собой, обогащая свой скудный рацион ягодами и орехами, попадавшимися по пути. Кое-как подкрепившись, я устраивала постель с тем расчетом, чтобы меня не обнаружили ни рысь, ни волк, ни человек; кого я боялась больше, не могу сказать. Я отыскивала выступ на склоне горы, где можно было свернуться калачиком и, укрывшись собранными ветками, стать совсем незаметной.

Через две недели неспешного путешествия я оказалась в долине Серво; спустя еще три дня я перешла мост Пелисье, откуда ущелье расширялось и дорога круче забирала вверх. Здесь я ступила в долину Шамони, обрамленную высокими горами, покрытыми снегом; плодородные поля кончились. Все было голо, дико и величественно. Громадные ледники, эти бескрайние сверкающие моря льда, напоздали на тропы, по которым я шла. Ни дня не проходило, чтобы я не отмечала далекий рев и белый дым скатывающихся снежных лавин, эхо камней, рушащихся с небесной высоты. Над голыми остроконечными горными пиками высился на горизонте Монблан, его громадная вершина возвышалась над долиной, как голова великана. Я много лет не видела его в такой близости и успела позабыть его ужасающее величие. Я не стала торопиться пересекать долину в тот же день, а предложила Алу провести в этом месте еще одну ночь, прежде чем попытаться пересечь ледник Мер-де-Глас.

Я теперь разговаривала с птицей, словно она понимала каждое мое слово. Как я жалела, что не знаю ее языка! Ибо была уверена в ее сообразительности и не удивилась бы, начини она давать мне дельные советы. «Красота здешних мест действует на тебя, Алу? – спрашивала я ее, – Или ты и все остальные из мира животных и птиц сами часть этой красоты и так слиты с ней, что не способны отделить себя от не-себя? Возможно, доля человека – мучиться своими фантазиями, оторванными от реальности».

В тот день я на несколько часов укрылась в ельнике, восхищаясь дивной картиной, которая позволила мне забыть свои ничтожные тревоги. Каким покоем повеяло на меня от суровой бесстрастности Природы и ее величественного равнодушия к преходящим тревоблениям людей! В тот вечер – не помню точно ни числа, ни месяца – я вновь вернулась к дневнику ¹.

Я становлюсь дикаркой

Ясный теплый день. Бреду по узкой седловине, где свирепствует ветер, направляясь от Шамони на восток. Впереди сумрак тумана и туч.

Постоянно думаю о Великом Делании. Каждый вечер, когда укладываюсь спать, мои

¹ Нижеследующие дневниковые записи, появляющиеся в мемуарах Элизабет, представляют собой запачканные и рваные страницы, напитанные небрежно, явно в условиях, далеких от идеальных. Многие места в них не поддаются прочтению и потому опущены мной. – Р. У.

мысли возвращаются к ней. В памяти теснятся ослепительно яркие мгновения радостных открытий и мрачные – разочарования. Больше всего я думаю о матушке. Она возлагала такие большие надежды на этот свой замысел. «В мире происходят грандиозные вещи, – говорила она мне. – Мужчины бросают вызов вечным законам неба. Но в этом принимают участие и женщины, мы, кто одного пола с Природой, кто живет в едином с ней ритме и чье тело плодоносно, как земля».

Матушка видела своего сына будущим Исааком Ньютоном от алхимии, гением, который поднимет этот революционный век на новые высоты духа. Может ли быть, что она, женщина столь умная и глубокая, ошиблась в своих ожиданиях? Судите сами: никого из мужчин еще не готовили так тщательно к Деланию, как Виктора, никто еще не стремился так страстно к химической женитьбе; и все же он – даже он – не смог устоять перед искушением Грифона. А разве я не сделала все, что требовалось от *Soror*? Однако Виктор переступил грань, как переступили другие мужчины. Ибо я знала, что я не первая мистическая сестра, с которой так поступил ее «супруг». Неужели матушка была не права и женщина всегда должна играть в Делании роль проститутки, которая не просит ни уважения к себе, ни любви, ни дружбы и все терпит ради мужчины? Значит ли это, что адепты требуют от мужчины невозможного – подлинного желания союза равных? Жажда знания была у Виктора столь неистова, что она сделала его глухим к моим переживаниям. Когда я молила его внять моему желанию, он не слышал моей просьбы. Но не плотская страсть заставила его идти до конца в момент нашей близости; в этом я была уверена. Это была скорей его неукротимая жажда узнать – узнать, что ждет в конце Полета Грифона, причем узнать любой ценой. Я слышала, что философы-картезианцы вскрывают живых существ, относясь к их мучительным крикам как к простым «мускульным» сокращениям. И я слышала, что они приколачивали кошек и собак гвоздями к доскам, резали и били их, чтобы изучить, как они будут реагировать. Я знаю, как страдали эти несчастные создания; я сама испытала подобное унижение. Была тем животным, пригвожденным к стене.

* * *

Теперь я иначе смотрю на мир и то, что в нем происходит. Когда-то я относилась к рассказам о зле и несправедливости, прочитанным в книгах или слышанным от других, как к старинным сказкам; по крайней мере, это все было далеко и затрагивало больше рассудок, нежели чувство; но теперь страдание находило отклик в моей душе и люди казались чудовищами. У меня было ощущение, будто я балансирую на краю пропасти, куда тысячные толпы стараются столкнуть меня.

* * *

Просыпаюсь от шквалистого ветра. Дождь, собиравшийся все утро, днем наконец полил. Прячусь в шахте, где добывали горный хрусталь.

Мир – это зашифрованное учение; Великое Делание состоит в прочтении этого шифра. Так учила меня Серафина. Сегодня, купаясь нагишом в ручье, я пыталась приложить эту идею к собственной личности. Скажем, то, что у нас между ног и что разделяет нас на мужчин и женщин, тоже представляет собою загадку. Каков ее истинный смысл? Что я вижу, когда разглядываю эту нежную щель? Проход, туннель, открытое окно, раскрытая калитка... корзина, чаша, сосуд. Она создана открываться и впускать, удерживать и оберегать. Однажды Виктор во время ритуала сказал, что это напоминает ему жадный рот, чем заставил нас с Серафиной рассмеяться, ибо это, конечно, далеко не так. Мне это скорей видится домом, пещерой, укрытием. Первым домом ребенка. А мои груди, которые стали намного полней? Они напоминают мне сытные плоды.

Теперь возьмем мужчину. Он создан, чтобы пронзать, проникать. Он извергает семя. Виктор называл свой член пикой, боевым оружием. Таран, копье, дубинка. Значит, сама

Природа назначила нам, мужчине и женщине, играть разные роли? Отдающая и берущий, победитель и побежденная. Великое Делание предполагает объединение того, что разделено, превращение Двоих в Одно. Что, если это ошибка? Что, если время создает это различие, а время не течет вспять? Что, если время, создавшее эти тела, более реально, чем представляют себе адепты?

* * *

Я начинаю терять счет дням и вижу, что наслаждаюсь свободой, которую дает это неведение. Я больше не привязана к часам и календарям. Живу по времени Алу, и лишь луна отмечает для меня смену месяцев, а солнце – сезонов, они, да еще ритм моего тела. А есть ли иное истинное время, кроме этого? Время, отмеряемое часами, – выдумка людей, все подсчитывающих; ни растениям, ни животным нет дела до него, ни небесным сферам. Время – клетка, в которую подобные люди заключили бы мир. Чем дальше, тем я все больше живу, как живут звери, – ближайшими потребностями, и они определяют мои действия. Сплю столько, сколько велит усталость; хочется отдохнуть, отдыхаю, хочется есть, ем; дни я провожу в поисках пищи, собирая ягоды и съедобные растения, в наблюдениях за тем, что предвещает погода. На ночь укрываюсь в пещерах или устраиваюсь на деревьях; последнее, что я вижу, прежде чем сомкнуть глаза, – это звезды над головой. Бывает, что у меня по нескольку дней не появляется желания говорить; возможно, я вообще разучусь это делать. Я никак не называю цветы, или зверей, или горы; ничто не нуждается в том, чтобы я называла его. Адам в Эдеме давал имена животным. *Адам*. А не Ева.

Я купаюсь в ледяной, обжигающей воде ручьев. Потом часами брожу в лесу нагая, только с ножом, получая от этого удовольствие, несмотря на холод. До изнеможения бегаю среди деревьев. Я упиваюсь этим слиянием с дикой природой. С какой легкостью мы освобождаемся от обычаев цивилизованного мира! И обнаруживаем в себе звериные инстинкты, таящиеся глубоко в нас. Я могу беззвучно ступать по земле; мой слух обострился; я способна учуять кого-то по запаху, доносимому ветром; когда необходимо, я двигаюсь с осторожностью и изяществом кошки. Холодный воздух закаляет меня. Я покрылась ореховым загаром, оттого что часто лежу нагой на солнце, гордо выставя свое тело на обозрение небесам. Моя прежняя прекрасная нежная кожа сошла, отшелушась; волосы растут, как им заблагорассудится, и превратились в гриву, развеваемую ветром.

Если меня сейчас увидят, то примут за женщину из племени дикарей и, может, станут за мной охотиться. Я читала, что в Новом Свете, в лесах, встречали таких женщин. Но они дики от рождения. Интересно, существуют ли женщины, которые по воспитанию были салонными дамами, жили во дворцах и вели беседы с аристократами, которые отвергли законы цивилизации и вернулись в девственные леса? Думаю, я одна такая.

Я пьяна от свободной жизни. Руссо был совершенно прав. Цивилизация подобна тесной одежде. Но даже ему не хватило бы воображения, чтобы представить себе женщину, в какую я превратилась: дикого зверя, дитя Природы.

Никогда не вернусь в общество!

* * *

Я мчусь среди деревьев, быстро, как лань, за которой гонюсь, – или кажется, что так же быстро, пока силы меня не оставляют, а она, перескакивая через кусты, не скрывается из глаз. Тяжело дыша, падаю на землю и гляжу в бездонное пылающее небо, пока голова не начинает кружиться и я чувствую, что нахожусь на грани обморока. Я не боюсь никаких зверей; я одной с ними крови, такая же дикая. И теперь знаю, что могу убить, как убивает кошка или хищная птица.

Этим утром брожу в ручье, выглядывая рыбу. Глаза непривычны к такому занятию, но Алу будто догадывается, чем я занята, и, прыгая вдоль берега, вскоре зовет меня: заметила

добычу – горную форель, выплывшую из-под скалы. Мне приходилось видеть, как умница Алу ловит рыбу, убивая ее ударом клюва. Но сейчас она терпеливо ждет, словно желая посмотреть, смогу ли я справиться сама. Заношу нож, бью! Рыба трепещет, насаженная на лезвие. Я наблюдаю, как стекает ее кровь по моей руке, как она умирает. Я так голодна, что ем ее сырой, бросая кусочки Алу, которая довольно покрывает.

Какая я эгоистка, что так долго брожу по лесам! Я знаю, что оставшиеся дома беспокоятся обо мне. Теперь они, верно, уж решили, что я стала жертвой разбойников или волков. Но у меня нет желания возвращаться! Пока еще нет.

Я еще не стала окончательно независимой.

* * *

Ненастное утро, дождь с градом. Позже, днем, солнечно и тепло.

Всю ночь крестьяне жгут дымные костры в ложбине, чтобы уберечь от заморозка свой урожай на полях в горных долинах. Длинная линия костров, пылающих в ночи, как сигнальные огни, представляет собой великолепное зрелище. Костры багровыми пятнами светят сквозь пелену серебристого тумана и темного дыма, окутавшую долину. Над некоторыми вершинами, очищенными ветром от облаков, сияют в небе крупные звезды. Оттого, что горные пики поднимают черный стиснутый горизонт к небесам, звезды, кажется, сияют еще ярче. Неистовый Альдебаран сверкает над черным силуэтом горы, словно адская искра, только что вылетевшая из жерла вулкана.

На другое утро нахожу на примороженной земле мертвых птиц, жертв ранних заморозков. Собираю их, как опавшие плоды, ошпиываю и пеку на открытом огне. Алу наблюдает, не выказывая неодобрения, но разделить трапезу отказывается.

По несколько дней не вижу ни живой души, ни человеческого жилища. Два утеса, обращенные друг к другу передними отвесными склонами в космах вечнозеленых растений, растущих на их макушках, тесно сдвигаются вокруг меня и бесчисленными поворотами как бы подталкивают вперед, запирая наконец в тихом, уединенном месте. Я наткнулась на развалины древнего приюта отшельника и остаюсь там на ночь; ничто не выдает их происхождения, кроме нескольких изящных арок, наполовину скрытых оползнями: земля снова заросла травой и дикими цветами. Вокруг никаких прекрасных видов, поражающих контрастами; одни дивно и ровно зеленые склоны да однообразие лесных чащ – глазу не на чем остановиться. Вдалеке из каждой расселины в скалах плывут клочья тумана, приветствуя солнце, как проснувшиеся души в Судный день. Вечные туманы, высокие ели повсюду, узкие полосы лугов и лесов, разрезанные непреодолимыми крепостными валами гор. И снова, пробуждаясь, я здороваюсь со снежной твердыней Монблана и вижу внизу подо мной дно долины – огромный многоцветный ковер.

Чудеса, чудеса... довольно наслаждаться красотами. Что мне нужнее, что я хочу знать, кроме этого?

Несколько дней прошло с тех пор, как я в последний раз бралась за дневник. На душе слишком беспокойно, чтобы писать. Но причиной тому не раскаяние... нет, не раскаяние! Но полнота бытия, которая сообщает мне чувство такой первобытной свободы, что нет желания записывать свои мысли.

Разве рыскающего медведя заботит память о его подвигах, как и орла, высматривающего добычу? Разве отмечают они свой путь монументами?

Размышления – это глупый человеческий обычай, плод нечистой совести. Свобода зверя в том, чтобы жить моментом.

Завершив трудный дневной переход и покончив со скудным ужином, я сидела, наблюдая за игрой бледных молний над горами, пока усталость не сморила меня. Шум водопада в дальнем ущелье действовал на мои обостренные чувства, как колыбельная; я прикрыла веки, и усталость свалила меня там, где я сидела, я уснула, даже ничем не укрывшись от холода.

Я подумала, что проснулась оттого, что промерзла до костей, когда открыла глаза и увидела над собой заиндеветшую луну. Однако разбудили меня голоса, вторгшиеся в мой сон: близкие мужские голоса, резкие и грубые. Прислушавшись к ним, я узнала язык: итальянский, вульгарный диалект местности, где прошло мое детство. Сначала я слышала двоих, потом к ним присоединился третий: первые двое более пьяные, чем последний. Они на чем свет стоит кляли ночь. Слева от меня сквозь деревья мерцал огонь костра. Я поискала Алу на деревьях, но ее не было видно. Подкравшись ближе, я увидела троих мужчин шагах в двадцати ниже по склону; они жарили дичь над костром, фляжка со спиртным переходила из рук в руки. Солдаты, определила я по их одежде, но явно нестроевые, слишком расхристанные – или дезертиры, или наемники. А возможно, контрабандисты, собирающиеся ночью перейти границу. Ветер доносил до меня обрывки разговора – о войне в этих краях; они занимались тем, что грабили трупы, остававшиеся на поле сражения. Мне противно было слушать их, я тихо собралась и приготовилась незаметно ускользнуть.

Обходя стороной их лагерь, я сделала круг по мелколесью и вышла на тропу ниже. В руке у меня был нож, который я поспешно выхватила из своего узла. Я с трудом представляла, как им защищаться, если придется; и все же он создавал некоторую иллюзию безопасности. Вслепую нащупывая путь в темноте, я часто шелестела листвой или наступала на сухой сучок, и тогда мародеры прерывали разговор и оглядывались, не медведь ли это. Огонь их костра еще не вполне пропал за деревьями, как я увидела впереди второй, совсем близко. Двое мужчин в драной форме сидели на поваленном дереве, пьяно хохоча и обмениваясь шутками, они были даже пьянее тех, что остались позади, голоса грубей, ругательства крепче. Но были у костра и другие, сидевшие молча. Женщины, я насчитала троих; две совсем юные, а третья годилась им в матери. Одежда на них больше походила на лохмотья и едва прикрывала тело. Женщины жались друг к другу, сидя на земле в неестественных позах. Приглядевшись, я увидела, что ноги их у лодыжек связаны, а веревка обмотана вокруг кола, вбитого в землю. Солдаты захватили их, чтобы получить выкуп, – так я думала, пока вдруг из кустов позади костра с шумом не появился третий, таща отчаянно рыдающую женщину в кофточке, разорванной на груди. Солдат швырнул ее наземь и, грязно ругаясь, стал привязывать к остальным женщинам. Когда он поднял руку, чтобы ударить ее, она съежилась и закричала на наречии французских крестьян, умоляя не бить ее больше. Он милостиво плюнул в нее и отошел, шатаясь.

Присоединившись к товарищам, он заорал в темноту, зовя других, у первого костра. «Эй! Ваш черед. Или дать потаскухам поспать?» Оттуда донесся хриплый голос: «Иду, иду!» Прежде чем я сообразила, куда бы спрятаться, человек, спотыкаясь о корни, протопал мимо, всего в нескольких шагах от того места, где я, сжавшись, сидела под деревом. Не останавливаясь у костра, он подошел к женщинам, постоял, пьяно шатаясь, над ними, обошел еще раз кругом, потом нагнулся и принялся отвязывать ту же самую женщину, которую только что привели из леса. Теперь я разглядела, что это совсем юная девушка, вряд ли старше меня. «Оставь ее. Выбери кого посвежей. С этой девки уже достаточно. Возьми ту, которая постарше; в темноте все равно разницы не увидишь». Его соплеменник мерзко расхохотался. «Небось, не из мыла. Не измылится». Отвязав девушку, он грубо потащил ее прямо в ту сторону, где я пряталась в темноте за пределами круга света от костра. Я едва успела отползти, как он оказался под тем же деревом. В двух шагах от меня он швырнул девушку на землю и велел ей задрать подол, а сам, пьяно пошатываясь, стал стаскивать с себя штаны. Горько плача, девушка подняла юбки до талии и легла, покоровшись судьбе. В следующее мгновение солдат, отшвырнув башмаки и штаны в сторону, уже стоял над ней полуголый и энергично работал рукой, пока его член не стал размером с небольшую дубинку. Смочив его слюной, он, как хищный зверь, набросился на нее и, не обращая внимания на протестующие вопли жертвы, бешено овладел ею.

В отсветах костра мне было видно все, и я смотрела, не отворачиваясь, как ни ужасно было происходящее. Мне были слышны их тяжелое дыхание и его грязная ругань. «Давай, цыпочка! – рычал он ей в ухо, – Тебе же это нравится, а? Нравится, когда тебя имеют. Ты

могла бы обслужить целый батальон, да? Ну-ка, подай голос, хочу послушать, как тебе хорошо! – Он ударил ее кулаком в бок раз, другой, – Проси, чтобы я поддал жару!» Но девушка только стонала и плакала. «Сука! Я буду драть тебя всю ночь». Шаг вперед, и я дотянулась бы до ее руки: так близко они находились. Хотя я и боялась обнаружить себя, мне не терпелось прийти ей на помощь. Но что я могла сделать? Броситься на насильника и колотить его? Ударить его камнем? Я понимала, что все это бесполезно. Я едва сдерживала ярость, kloкотавшую во мне и готовую вырваться на волю, несмотря на всю мою осторожность. Ибо я знала, что переживает сейчас девушка! Я предала забвению свои воспоминания; я постаралась оставить их позади, когда ушла в леса. Но сейчас воспоминание вернулось – о том, как я лежала, подобно ей, беспомощная и молящая о пощаде, испытывающая то же унижение. Самая моя плоть вспомнила то неистовое насилие. Но мужчина, который так поступил со мной, не был пьяным чужаком и вражеским солдатом; у него не было подобного оправдания. Я видела над собой его пылавшее лицо, он упивался моим страданием больше, чем если бы я дарила его наслаждением по собственной воле. Хотя слезы застилали мне глаза, я видела, что он жаждет именно этого: радости *брать*, а не принимать.

Ярость, как хмель, затмила мне разум, заставила забыть о доводах рассудка. В ушах стоял лишь один звук: жалобный плач девушки – моей сестры, которая лежала в нескольких шагах от меня, подвергаясь жестокому унижению. Я вновь почувствовала, как яростный вой рвется из меня – вопль, который мог бы потрясти горы и вызвать лавину. Секунду спустя я поняла, что не издала ни звука. Эти несколько мгновений жизни как бы отсекло, и я пришла в себя в другом времени. Ярость моя нашла выход, но не в крике, а в ударе. Слепом, инстинктивным, так наносит удар разъяренный зверь. Но что я все-таки сделала? Я не могла сказать этого, пока не увидела, что мой нож торчит в шее мужчины, так глубоко войдя в его горло, что, попытайся он закричать, ничего у него не вышло бы. Но он и не закричал; только придушенно захрипел, коротко содрогнувшись. После чего замертво рухнул на девушку. Моя рука нанесла удар, опередив саму мысль об ударе.

Тут же мною овладела необыкновенная тревога. Я бросилась к девушке, освободила ее, стащила с нее труп, потом шепнула на ухо: «Тише! Он мертв. Спасайся! Быстрее! Они решат, что это ты убила его». Бедняжка потрясенно смотрела на меня. Что она должна была подумать о странной фигуре, внезапно выскочившей из тьмы? Что, если я очередной насильник, явившийся, чтобы удвоить ее мучения? Но она была не глупа; как только она увидела нож, вонзенный в ее врага, мои слова дошли до нее и она, спотыкаясь, стала отступать в лес, стягивая на груди порванную кофточку. Она не лучше моего знала, в какую сторону безопасней бежать; но тут шум, который она производила, слепо продираясь сквозь кусты, напугал солдат у костра, которые решили, что к ним подбирается какой-то зверь, и бросились наутек. Так у меня появилась возможность спасения; но прежде я наклонилась над трупом, чтобы вытащить свой нож. Однако обнаружила, что он попал в кость и так крепко засел, что освободить его не удавалось. Я смотрела в изумлении; я и не представляла, что способна ударить с такой силой. Ничего не оставалось, как оставить нож в теле. Я собрала свои вещи и крадучись пошла подлеском в сторону, противоположную той, куда убежала девушка.

Помертвевшая от ужаса, ощущая тошноту в желудке, я нащупывала путь в ночи. Я совершенно не представляла, в какую сторону идти, то и дело натыкалась на деревья и кусты, ранив себе лицо и руки. Позади мелькали огни головешек и слышались голоса солдат, звавших своего мертвого товарища, скоро сменившиеся воплями ужаса, когда они наконец нашли его. Я побежала быстрее, бросаясь туда, где заросли казались менее густыми, но скоро увидела, что вернулась на прежнее место. Головешки неожиданно замелькали впереди! Я бежала прямо на них. Вдруг на тропе передо мной вырос солдат, размахивавший горячей палкой. «Стой! Кто здесь?» – крикнул он, хватаясь за мушкет. Я в панике повернулась и помчалась в другую сторону. Тут же за спиной появились еще люди и с криками пустились в погоню. Мне было не убежать от них.

Внезапно я услышала над головой знакомый голос – хриплый голос Алу, кричавшей пронзительно как никогда. Я слышала хлопанье ее крыльев и вопли ужаса перепуганных солдат. Алу напала на моих преследователей, била крыльями и клевала в лицо, – так однажды она нападала на собак. «Дьявол!» – услышала я вопль одного из солдат, когда они, спасаясь, разбежались по лесу. Гремели выстрелы. Голоса солдат затихли вдалеке, но еще долго до меня доносился хриплый голос Алу, снова и снова звучащий над деревьями, точно голос ангела мщения. Он и в самом деле звучал словно голос из ада.

Хотя враги рассеялись, я продолжала бежать, будто меня преследуют. Постоянно спотыкалась о кочки и падала на колени. Мало того что луна светила тускло, еще и слезы туманили глаза. Но это были слезы победы; я чуть ли не смеялась во весь голос, мчась по темному лесу. Душа ликовала. *Какое прекрасное чувство испытываешь, пролив подлую кровь!* Я упивалась сознанием, что убила этого зверя, который представлял всех этих скотов, всех насильников над женщинами. Я не жалела о содеянном. Даже убежав на поллиги или больше от того ужасного места, я, казалось, продолжала слышать жалобные вопли оставшихся женщин, чьи тяжкие испытания еще не закончились. Это еще больше утвердило меня в правильности моего поступка. *Если б только я могла убить всех этих негодяев!*

Наконец, когда больше не осталось сил бежать, я свалилась под деревом и уткнулась лицом в землю. Вновь и вновь повторяла себе: «Я поступила правильно! Это не преступление», – пока усталость не сморила меня. И сон был мне как великое прощение. Ужас содеянного, мучивший душу, притупился; и пока глаза мои были закрыты, вокруг меня выплывали из темноты величественные картины. Я проснулась лишь поздно утром. Первое, что я увидела, смахнув с ресниц капли слез, – пейзаж дивной красоты, явленный мне, словно для исцеления души. По ту сторону долины виднелся могучий Монтанвер, изрезанный ужасными трещинами и заиндевевшими пустотами. Громадный дымящийся ледник был окружен отвесными горами, застывшими потоками и безмолвными водопадами – царство суровых льдов.

Оторвавшись от этого поразительного вида, я обратила внимание на свои руки, которые все были в пятнах, сухие и с запекшейся кровавой коркой вокруг ногтей. Уж не кровь ли это? Не поранилась ли я? Но тут мои мысли прервала веточка с ягодами, упавшая рядом. И я услышала, как надо мной, на дереве, затрещала клювом Алу. «Спасибо, Алу!» – крикнула я и принялась шарить в своей сумке: нет ли там чего добавить к моему завтраку. Но обнаружила только один из ножей: белый.

Только тогда я вспомнила, откуда взялась кровь.

Но где же раскаяние? Его нет. Я изумилась, поняв, сколь очищающим было совершенное убийство. Не просто «оправданным», как его могли бы назвать в зале суда, но очистительным. Эта кровь очистила меня, освободила от ярости и озлобленности, как бы примирила с миром. Я совершила правосудие собственной рукой, рукой женщины! Часто ли женщина имеет такую возможность? В глазах мужчин насилие над женским телом позорит женщину; ей не следует говорить об этом; преступление остается безнаказанным. Но я восстановила справедливость одним смертельным ударом ножа.

Неподалеку я нашла родничок: тонкую холодную струйку, сочившуюся из скалы. Набрала в горсть воды и смыла кровь с ладоней. Закончив, непроизвольно подняла руки к солнцу жестом словно бы молитвенным. Я наслаждалась ощущением чистоты, которая больше той, что дает мытье. Через мгновение я набросилась на еду, ибо просто умирала с голоду.

* * *

Ясное, сверкающее утро. На вершинах холмов лежит иней. В сумке почти пусто: немного сушеной рыбы и засохший сыр. Нужно набрать орехов и грибов.

В этих диких местах водятся звери, которые охотятся и убивают; здесь сходят лавины, которые сметают все живое и уносят во тьму забвения. И все равно Природа прекрасна. Ибо

ничто в Природе не является воплощением зла, ничто не служит злу; ничто не лжет, но довольно ролью, отведенной ему в этом мире. Все создания существованием своим как бы возносят благодарственную молитву вечному чуду жизни, подтверждают ее законы. Почему же тогда в присутствии этой славы единственно человек, чьему богоподобному Разуму под силу постичь Природу, может быть столь подл? Как совместить величие этих гор, возносящихся к небу, которые приветствуют меня каждое утро, и жестокость человека по отношению к себе подобным?

* * *

Но почему я говорю «человек», когда имею в виду мужчин? Почему так великодушно соглашаюсь, что женщины должны в какой-то степени разделить с ними этот позор? Кто грабит города и развязывает войну? Кто убивает невинных и угнетает бедняков? Кто рабовладельцы, пираты, вандалы? Кто охотники на ведьм, инквизиторы и палачи? Не могу перечислить всех; но что касается этих, знаю точно: женщин среди них не найти. Когда я прохожу через горящую деревню, усеянную трупами, я могу не знать, какого рода-племени те, кто совершил преступление, но относительно их пола у меня не возникает сомнений.

* * *

Я слишком много размышляю о смерти и ужасах, не знаю почему. Здесь, в присутствии этих снежных вершин, не место подобным мыслям. Что хуже всего в человеке? Его низость. То, что он не способен преодолеть свои мелкие страсти и возвыситься до благородных убеждений и обычаев. Есть лишь один закон, которому должно следовать: закон Природы, который высечен на этих горах и запечатлен в наших сердцах. Отец верил, что книга Природы написана на языке математики. Я говорю: нет. Она написана на языке чувства, известном каждому неграмотному ребенку.

* * *

Просыпаюсь от хриплого крика Алу. Надо мной в небе кружат три стервятника. Это единственные живые существа, кроме моей неизменной спутницы, которых я увидела за последние несколько дней. Дороги к утру обледенели, это замедляет мой путь. Ближе к полудню с гор обрушивается снежный шквал. Я набрела на пустую пастушью хижину и остаюсь в ней до конца дня. Кончаю писать, рука слишком замерзла.

* * *

Сегодня, перед самым заходом солнца, замечаю столб дыма, поднимающийся над следующей горой. Через час, пройдя кружными тропами, вижу перед собой монашеский приют, из трубы идет дым. Стучу в дверь. Меня встречает один из братьев, толстый добряк, и приглашает войти. В доме живут капуцины, в нем тепло и чисто. Ожидая в прихожей, снимаю, как полагается, шапку, но предусмотрительно прячу волосы под поднятый воротник, надеясь, что меня примут за мальчика. Меня отводят на кухню и кормят так, как я не ела уже много недель: горячий луковый суп, хлеб, тарелка вареных овощей и красное вино. В конце дня присутствую на вечерней молитве и укладываюсь спать на сеновале. Ночь я проспала как убитая, а утром меня проводили в дорогу, наполнив мою сумку едой. Как огорчились бы эти божьи люди, узнай они, что женщина провела ночь под одной крышей с ними, в такой близости, что слышала их храп!

* * *

С каждым днем становится все холодней. Этим утром мороз сковал крутые склоны, ноги скользят на обледенелой земле. Пронизывающий ветер. Там, куда не достают солнечные лучи, на ручьях корочка льда. Алу приносит мне пищу, хотя она не всегда мне по вкусу. Я благодарю ее за личинок и мух, которых она бросает к моим ногам, но не притрагиваюсь к ним. Нахожу остатки ягод на кустах; к полудню желудок сводит от голода, и я варю осиновою кору и стебли рододендрона, но этим не насытишься. Орехов осталось немного, еще неделю не протянуть. У самой линии снегов наткнулась на грибы. Собираю, хотя они перезрело-слякотные, получится какой-никакой бульон. И тем не менее день стоит солнечный, радостный; не променяла бы это место на любое другое. Но смогу ли я пережить зиму?

* * *

Просыпаюсь ночью от голодных спазмов. Голова кружится. Состояние ужасное. Чудится, что все ледники пылают в ночи, как свечи на алтаре. Какому богу поклоняются в этой бесплодной ледяной пустыне? У входа в мою пещеру опускается сова; слышу, как она говорит с Алу на их общем языке птиц, который мне теперь понятен. Сова сообщает, что видела в небе машины с железными колесами и шестернями. Она говорит Алу, что я должна вернуться и предупредить. Наконец под утро меня рвет и со рвотой выходит то, чем я отравилась. Я слишком слаба, чтобы продолжать сегодня путь. Алу приносит мне, что ей удалось найти, – немного примороженных ягод, немного мягкой коры.

* * *

Медленно плывут облака. Проплывая над горами, они кажутся живыми, пасущимся стадом. Поют птицы, невидимые в тумане. Прошлой ночью прозрачный, как хрусталь, ледяной воздух окружил луну радужным кругом, поймав в него две звезды. Снова слишком слаба, чтобы идти. В сумке нашла только крошки. Необходимо добраться до какой-нибудь фермы, иначе погибну от голода.

* * *

Проснувшись от крика Алу. Прислушавшись, различила позвякивание колокольчиков. Сквозь несущиеся облака вижу внизу подо мной цепочку людей и мулов, поднимающихся из лощины; они направляются к тому же перевалу, куда намеревалась идти и я. Алу кружит над ними, показывая мне кратчайшую дорогу. Как я ни слаба, все же тороплюсь перехватить путников и попросить у них еды, притворившись нищим мальчишкой. Это работники, собранные по деревням внизу и посланные на расчистку перевалов для купеческих караванов. Они оказались столь щедры, что снабдили меня сушеной говядиной, сыром и хлебом, которых мне хватит на три дня. Я поделилась своим богатством с Алу, которая лишь раза два клюнула хлеб, оставив остальное мне.

* * *

Я прошла все долины, какие могу назвать. Монблан теперь далеко на западе и почти исчез из виду. Ночью просыпаюсь от пронизывающего холода; луна мчится сквозь быстрые облака. Четко рисуется каждый зубчик, каждый выступ скалы. И высоко надо мной выделяется на фоне черно-серебряного неба вершина горы, похожая на человеческую голову.

* * *

Пробуждаюсь от восхитительного сна, детского сна, в котором слышу голос Анны-Греты, зовущей к завтраку, как это часто бывало, когда я впервые появилась в замке; чудится аромат хлеба и кексов. Мчусь на кухню, где меня ждет Селеста с шоколадом и бисквитами на подносе. Счастливо смеюсь, просыпаюсь и понимаю, что это мой желудок играет со мной такие шутки во сне. Несчастный! Он ждет, чтобы его накормили, а раздобыть пищу становится все трудней. Придется возвращаться в долину и искать приют У пастухов.

Ближе к вечеру, пробродив несколько часов, вижу озеро и ложусь у края воды, чтобы напиться. Алу издает короткий предупредительный крик. Поворачиваю голову и улавливаю слева, на краю утеса, нависающего надо мной и отражающегося в воде, какое-то движение. Медленно поворачиваюсь и вижу рысь, не спускающую с меня горящих желтых глаз! Она подкралась совсем близко и уже сжалась для прыжка. Бежать поздно. Алу кружит над огромной кошкой, выжидая, бросится ли она на меня. Лежу не шевелясь и в упор смотрю на рысь, она – на меня. Кто кого. Время замерло. Безумно колотящееся сердце успокаивается; страх внезапно пропадает. Мои глаза говорят зверю нечто такое, чего я не могла бы выразить словами, – и, да, она понимает! Медленно встает, облизывается, потом поворачивается и гибко запрыгивает на выступ утеса. Мгновение, и она исчезает.

Меня признали.

Пора возвращаться домой.

* * *

Запри ворота, закрой все двери –
От дикого тебе не скрыться зверя.
На стогнах града, во чистом поле
Его ты встретишь помимо воли.

Крещеный ты или язычник,
Лишь часа ждет свирепый хищник.
В мозгу твоём, в твоём нутре
Зверь затаился, как в норе.

Воздвигнешь стены страху в угоду,
Как бы не вырвался зверь на свободу,
Его ж добыча куда ценней,
Царствует зверь в душе твоей.

Примечание редактора

О дикарском периоде в жизни Элизабет Франкенштейн

Несколько недель, якобы проведенных, как уверяет Элизабет Франкенштейн, среди девственной природы, представляют непростую проблему для редактора. Не нужно большого воображения, чтобы поверить всему, что она рассказывает. Здесь мы сталкиваемся с самообманом и вымыслом. Но где проходит черта, отделяющая реальность от фантазии? Безусловно, убийство, которое она, по ее словам, совершила, произошло лишь в ее мыслях; хрупкая, не обученная пользоваться оружием девушка, аристократка, не способна на столь ужасный поступок, ей просто не хватит ни физических, ни моральных сил. Самый факт, что она могла придумать столь ужасную сцену и описать ее, свидетельствует о том, сколь тяжким было ее душевное состояние. Это, как многое другое, о чем она пишет в данной части воспоминаний, несомненно, следует отнести на счет нервного переутомления, причиненного болезнью и последующим выкидышем, едва не убившим ее. Как станет ясно из дальнейшего, вспышки болезненной фантазии были вызваны вполне объяснимым гневом

на Виктора. Она сама поняла, что это предвкушаемое убийство – плод мстительного чувства, признаться в котором ей было слишком тяжело.

Хотя о достоверности данного эпизода говорить не приходится, все же эти страницы содержат немало ценного биографического материала: мы имеем здесь безошибочное свидетельство усиливающейся эмоциональной неустойчивости Элизабет Франкенштейн. Именно с этого момента в своей жизни она начинает все чаще выказывать признаки умственного расстройства. Придуманная ею для себя образ дикарки был трогательной попыткой вернуть невинность и покой детства, навсегда оставшиеся в прошлом. И более глубокие умы искали утешения в иллюзии. Выдуманное Руссо идиллическое единение с природой породило множество поэтов и философов, мечтавших о вольной и счастливой жизни в Аркадии. В случае с Элизабет Франкенштейн то же самое философское упование явно перерастает рамки интеллектуального упражнения; в своем отчаянии она придала ему форму недолгого галлюцинаторного бегства от реальности. Ах, если бы этот эпизод принес успокоение, необходимое, чтобы к ней окончательно вернулся рассудок!

Виктор начинает новую жизнь в Ингольштадте

А что осталось мне в жизни после возвращения из леса? Я не попросила прощения и не представила никаких объяснений в оправдание своего долгого отсутствия; я дала всем понять, что считаю своим правом поступать, как хочу. Несмотря на мое нежелание ничего рассказывать, отец, Жозеф, Селеста – все, кто тревожился обо мне день и ночь, – простили меня. Они несказанно обрадовались моему возвращению и старались, в меру своих способностей, понять, что толкнуло меня на поступок, кажущийся столь безрассудным. «Что ж, дочь своей матери!» – услышала я, как сказала Анна-Грета другой горничной. Так, значит, вот какое было их мнение обо мне: как о женщине, с детства отличавшейся своевольным характером. В некотором смысле они были правы; благодаря матушке я выросла не похожей на других женщин. Я научилась жить по законам волка и рыси, а не по законам людей – и гордилась этим. Возможно, когда-нибудь я буду благодарна Виктору за то, что он толкнул меня на отважное проявление независимости. Возможно... Но сейчас, сейчас между нами пролегла холодная ненависть. Он был тем, кто открыл мне вероломство мужчин – и кто посмел обидеться на то, что я не успокоила его совесть.

«Ингольштадт предстал передо мною Новым Светом, о котором я грезил...»

Так писал Виктор в своем первом письме. Оно пришло всего несколько дней после того, как я покинула замок, пустившись в свои странствия; отец сохранил его для меня, как и все последующие. Больше того, несмотря на мои возражения, он сидел рядом, когда я читала их, и даже то и дело просил повторить те или иные строки из писем. Ни одно из них не было адресовано мне, хотя он прекрасно знал, что каждое их слово будет мне известно. Тем не менее он притворялся, что обращается исключительно к отцу, игнорируя мое существование, словно желая, чтобы душой мы были дальше друг от друга, чем Женева от Ингольштадта. Как тяжело мне было тогда вслух читать эти письма отцу, а он настаивал! Бедному отцу, ставшему безутешным вдовцом, каждое слово писем, которые Виктор слал из университета, доставляло такую радость; в его глазах заблудший сын наконец-то стал на верный путь. Я никогда не омрачила бы счастье того, кому была столь многим обязана. Ничего не оставалось, как радоваться вместе с ним. Он не мог и предположить, что я была истинным адресатом этих писем, в которых Виктор похвалялся своими успехами. И невдомек ему было, как терзает мое сердце то, чего он не мог уловить: оттенок страдания, обиды и жалости к себе, лежавший на всем, что я читала. За напускной бодростью Виктора я видела всего-навсего беззастенчивое желание заявить о своей невинности. В каждой его фразе сквозь пышную риторику чувствовалось мстительное стремление уязвить женщину, которую он опозорил. Он желал дать мне понять, что отправился в большой мир, дабы оставить в нем след, и не допустит, чтобы преступление против меня воспрепятствовало его успеху ¹.

¹ Письма, приведенные ниже, небрежно наклеены на несколько следующих страниц тетради воспоминаний.

Ингольштадт ...сентября 178...

Дорогой отец!

Ингольштадт предстал передо мною Новым Светом, о котором я грезил. Но в отличие от диких пространств Америки, это Утопия вольтеровской мечты, подлинное Эльдorado, искомое всем человечеством. Здесь золото знаний валяется прямо под ногами, а обещание земного счастья зреет вокруг, как яблоки на яблоне.

В первый день занятий я отправился на поиски профессора Вальдмана, рекомендательным письмом к которому ты снабдил меня. К моему глубочайшему разочарованию, мне сообщили, что он в отъезде и не вернется до конца семестра. Его замещает некий профессор Кремпе, лекции которого я и посещаю. Сперва он показался мне личностью неприятной: приземистый, со скрюченной спиной, грубым резким голосом, злобным выражением лица и саркастической манерой говорить. Он читает лекции, лихорадочно расхаживая взад и вперед, останавливаясь не для того, чтобы объяснить непонятные вещи, а чтобы безжалостно высмеять своих студентов, когда они отвечают неверно. И с коллегами ведет себя точно так же: грубо издевается над всяким, с кем не сходится мнением, выставяя его идиотом. Есть в нем что-то от черта – или даже от злобного тролля, – и это убеждало меня, что я ничему не научусь у него. Однако как я ошибался! На первой же лекции этот несносный человечек, как некий библейский пророк, заставляет меня прозреть, и мне открываются сияющие горизонты. Он говорит о науке электричества, провозглашая ее передовой волной естествознания. Когда он задает вопросы, касающиеся электричества, я демонстрирую, насколько опережаю однокурсников. Замечаю, что мои ответы произвели впечатление на профессора Кремпе; замечаю, как часто он останавливается на мне внимательный взгляд,

продолжая свою лекцию. Тем не менее приходится делать над собой усилие, чтобы подойти к нему после окончания лекции; но в конце концов решаюсь – помня твой совет быть смелее с преподавателями и требовать надлежащего внимания к себе.

Профессору Кремпе, конечно, знакома наша фамилия, и он рад видеть меня в университете. Он задал мне несколько вопросов, желая узнать, насколько я сведущ в различных областях науки. Я небрежно упоминаю имена алхимиков, как главных авторов, труды которых изучал. Профессор смотрит на меня с изумлением. «Вы в самом деле тратили время на эту чепуху?» Я смущенно киваю. «Каждая минута, – с жаром продолжает он, – каждое мгновение, проведенное вами над этими книгами, потрачено даром. Вы обременили память опровергнутыми теориями. Боже правый! В какой же пустыне вы жили, если не нашлось никого, кто сообщил бы вам, что этим измышлениям, которые вы так жадно впитывали, уже тысяча лет и они давно заплесневели? Никак не предполагал, что в наш век Просвещения буду беседовать с последователем Альберта Великого. Придется вам, мой юный друг, всему учиться заново».

Закончив свою речь, он отходит в сторонку и составляет список книг по истинному естествознанию, которые настоятельно советует мне изучить, после чего отпускает, упомянув, что на следующей неделе намерен начать читать курс лекций об электричестве во всех его загадочных связях с органической химией. Будут освещены самые последние открытия Вольты, Гальвани, Вальи и Моргана, включая его собственное, герра Кремпе, исследование воздействия электричества на мышечную ткань усыпленного животного. Он, не скрываясь, хихикает, видя, как я ошеломлен. «Ну-с, мой юный Парацельс, – ворчит он, – готовы вы в таком случае расстаться с дикостью?»

Могу подтвердить, что они написаны рукой Виктора Франкенштейна. В некоторых повторяется то, что сам Франкенштейн продиктовал мне, находясь на смертном одре, но сказанное им приобретает новый смысл, если принять во внимание, что эти письма, как предполагает Элизабет Франкенштейн, были предназначены главным образом для ее глаз. – Р. У.

Должен поблагодарить тебя, отец, за то, что я наконец могу дышать чистым воздухом подлинной науки. Никогда еще я не жил такой интенсивной умственной жизнью, как в этом монастыре интеллекта, где меня день и ночь окружает бодрящая обстановка братства. Здесь я обмениваюсь жестокими критическими ударами с моими товарищами за каждой трапезой и продолжаю научные сражения, пока под утро не погаснет последняя свеча. Быт мой вполне спартанский, но это помогает освободиться от всего несущественного. По несколько дней хожу, забыв подровнять бороду или отнести белье прачке. Не думаю о разносолах и прочих удовольствиях плоти, а менее всего о развлечениях, кои сопровождают жизнь в веселом домашнем кругу. Я, по сути, живу, как бесплотный разум, единственная цель которого каждый день заставлять мадам Природу приподнимать завесу над еще одной из своих дивных тайн. Я несказанно счастлив!

*Твой благодарный сын,
Виктор*

Ингольштадт ...ноября 178...

Дорогой отец!

За привилегию учиться у профессора Кремпе я бы ничего не пожалел; но я наконец встретился с профессором Вальдманом, твоим старинным школьным другом. И Кремпе, несмотря на всю свою гениальность, вдруг показался мне Иоанном Крестителем, посланным возвестить об истинном Мессии. Профессор Вальдман возвратился только на этой неделе, и я сразу отправился на его лекцию. Он совершенно не похож на своего коллегу. Если Кремпе резок до крайности, получает огромное удовольствие от острой полемики, то Вальдман – само благородство и благожелательность. Я еще не слышал столь благозвучного и мягкого голоса; лицо его выражает величайшую доброту. Он начинает лекцию с краткого экскурса в историю химии и разнообразных достижений людей науки, особо останавливаясь на открытиях, совершенных наиболее выдающимися из них: ван Гельмонтом, Шиле и Пристли. Но, дойдя до Лавуазье, он поет ему настоящий восторженный гимн.

– Вооруженные его органическим элементарным анализом, – объявляет Вальдман, – мы освещаем самые темные уголки, где может найти себе убежище суеверие; мы избавлены от всяческих невидимых флюидов и нематериальных субстанций. Начинается эпоха рациональной философии.

Затем он дает беглый обзор существующего состояния науки, завершая его похвалой в адрес современной химии, и слова ее врезались мне в память:

«Древние основоположники сей науки, или, скорее, ее нежизнеспособной предшественницы, называемой алхимией, обещали невозможное, но не исполнили ничего. Нынешние ученые обещают очень мало; они знают, что превращение металлов невозможно, а эликсир жизни – химера. Но эти философы, которым руки даны будто для того лишь, чтобы копаться в грязи, а глаза – чтобы корпеть над микроскопом или тиглем, творят подлинные чудеса. Они ведут себя не как робкие поклонники, ждущие у ворот дамы сердца, нет, они отбрасывают фальшивые церемонии и смело врываются туда, куда никому нет доступа, – в покои Природы, чтобы узнать ее сокровенные тайны. Они открыли, как циркулирует кровь, и состав воздуха, которым мы дышим. Они обрели новую и почти безграничную власть. Они могут повелевать громами и молниями небесными, воспроизводить землетрясение и даже бросать вызов невидимому миру. Приглашаю вас, молодые люди, принять участие в сем великом поиске».

Я сразу понял, что этот человек должен стать моим наставником, и поспешил нанести ему визит. В домашней обстановке он еще добрей и обаятельней, чем на публике, поскольку, читая лекции, он держится несколько официально, дома же он необычайно радушен и приветлив. Я поведал о своих давних увлечениях алхимией, как прежде профессору Кремпе. Когда я упомянул Парацельса и Василия

Валентина, он снисходительно улыбнулся, но без намека на презрение, которое выказал Кремпе. Больше того, он проявил благородство.

«Это люди, – сказал он, – которым современные философы-энтузиасты обязаны основами своих знаний. Следует почитать их, несмотря на то что их учения отжили свое. Но позвольте поинтересоваться, герр Франкенштейн, смогла ли моя лекция избавить вас от предубеждения против современной химии?» Я поспешил ответить утвердительно и тут же попросил его совета относительно книг, на которые мне необходимо обратить внимание.

«В таком случае, – продолжал он, – я счастлив приобрести ученика, ибо герр Кремпе уже извещал меня о ваших выдающихся способностях. Ни в какой другой области естествознания не совершено столько выдающихся открытий, как в химии, так что ее я и рекомендую вашему вниманию. Но если хотите быть подлинным ученым, а не просто рядовым экспериментатором, советую взяться за изучение всех прочих естественных наук, в особенности математики».

Наша беседа длилась менее часа, но его слова переменяли мою жизнь. Тем вечером я чувствовал, что борюсь с достойным соперником, который перенастраивает одну за другой струны моей души, прислушиваясь к их новому звучанию, и вскоре я был захвачен одной мыслью, одним желанием, одной целью. «Столь многое уже совершено, – слышал я возбужденный голос моей души, – но я добьюсь большего, много большего. Идя по пути, проложенному предшественниками, я пойду еще дальше и раскрою глубочайшие тайны творения!»

Прошу, передай от меня привет всем в доме. Надеюсь, ты поймешь, если я не смогу приехать на каникулы. Все мое время, за исключением нескольких часов сна, отдано занятиям; часто заря уже гасит звезды, а я еще работаю в лаборатории. Так что не суди меня, если я буду вынужден отложить до весны счастье общения с тобой.

*Твой вечно любящий сын,
Виктор*

**Ингольштадт
...января 178...**

Дорогой отец!

Профессор Вальдман не только стал для меня примером подлинного ученого, я обрел в нем истинного друга. Его доброта никогда не окрашена нравоучительностью; свои наставления он преподносит в манере открытой и исполненной добродушного юмора, избавленной от всякого педантизма. Он позволил мне пользоваться своей личной лабораторией, которая лучше университетской приспособлена для электрохимических исследований. Наша совместная работа помогает мне углубить понимание природы электрической энергии. Наука об электричестве больше не является малозначащей, какою некогда представлялась. Хотя эта наука еще проходит период становления, уже ясно, что электрическая энергия находится в тесной связи с другими видами энергии: магнитной, световой и тепловой, с биологическими процессами, происходящими на всех уровнях. Не исключено, что она свойственна всей материи и, возможно, распространяется в космосе, передаваясь от солнца к солнцу, от планеты к планете. Весьма вероятно, ее можно считать дополнительной причиной всякого изменения, происходящего в животном, минерале, растении и газообразных телах. В настоящее время профессор Вальдман проводит опыты, воздействуя электрическими разрядами на белок, в результате такого воздействия появляются каплевидные частицы живой материи. По его теории, подобный процесс был первопричиной возникновения жизни на земле, благодаря ему простейшие зародышевые пузырьки, находящиеся в воде океанических мелководий, были вызваны к жизни.

Я быстро стал любимым учеником профессора Вальдмана; он делится со

мною всеми своими догадками. Я вижу, что под воздействием этой личности, обладающей несказанной силой убеждения, в моих взглядах на мир произошел полный переворот. Я разуверился в теориях алхимиков, прежде так увлекавших меня, и их труды кажутся мне теперь не более чем обычным литературным вымыслом. Избавление от устаревшего вздора я считаю самым значительным событием в моей жизни; это освободило мой ум для максимально эффективной работы. Лорд Бэкон пророчески сказал о возрасте, когда «время рождает мужчину». В слове, мысли и действии я пережил именно такое рождение, учась у профессора Вальдмана. Как неразумен я был, что попусту тратил время, пытаюсь увидеть духов в бездушной материи! И еще неразумней, веря, что другим действительно удавалось разглядеть призрачные духи элементов. Ибо из чего состоит химическая субстанция, как не из атомов? Исследуй атомы, наставляет профессор Кремпе; это все, что требуется. Элементы и силы Природы – не персоны, чтобы их ублажать или вызывать к ним; это созвездия грубой материи, которую мы покоряем при помощи математического расчета. Если смотреть на них так, они становятся нашими рабами, которыми мы повелеваем, областью, на которую распространяется наша безраздельная власть.

*Твой вечно преданный сын,
Виктор*

**Ингольштадт
...мая 178...**

Мой дорогой отец!

К сожалению, я не смогу приехать домой на лето, как ни скучаю по тебе. Знаю, ты поймешь меня, когда скажу, что моя с профессором Вальдманом работа достигла решающей стадии. Я живу ожиданием близкого открытия и так захвачен им, что не могу прерывать исследование. Кто не испытал на себе притягательную силу науки, тот не знает, что это такое. Открытие – ее суть! Она стремительно продвигается вперед, воюя с неизведанным, захватывая города, что пребывают в сонном невежестве. Я мечтаю о том, чтобы быть одним из зорких орлов натурфилософии, которые постоянно в полете и парят в вышине. Те, кто довольствуется меньшим, – выючные животные, мулы науки, влачащие груз затхлых учений и избитых истин.

Мое с профессором Вальдманом исследование простирается далеко за пределы традиционной философии. Оно охватывает одновременно химию, биологию и медицину. Если объяснять коротко, я обнаружил, что жизнь в собаках, содержащихся на грани голодной смерти, можно поддерживать ежедневным воздействием на них электричества. Электрический разряд точно рассчитанной силы способен заменить все виды питания; самое долгое время, какое они могут прожить, – двадцать четыре дня. Если же при этом им давать воду в обычном количестве, животное живет больше двух месяцев. Это очевиднейшим образом указывает на то, что электрическая энергия является необходимой частью *vis vitae*¹ и может усваиваться живой материей. Как далеко может распространяться этот процесс? Это мы и пытаемся установить. Мы намерены довести до конца серию опытов, к которым приступили, а потом сделать сообщение о полученных результатах; профессор Вальдман обещал, что позволит мне выступить автором наших результатов и порекомендует мое исследование к публикации. Вообрази мой энтузиазм!

*Твой вечно любящий сын,
Виктор*

...сентября 178...

¹ Жизненной силы (лат.).

Дорогой отец!

Сегодня у меня был знаменательный день: я впервые ассистировал доктору фон Трёльчу при вскрытии человеческого тела в анатомическом театре – почетная обязанность, исполнять которую обычно предоставляют студентам старшего курса. Я давно проявил свое умение, препарируя животных. Фон Трёльчу это известно, и он предлагает мне ассистировать ему на учебном вскрытии; он признал, что я прекрасно подготовлен, несмотря на юный возраст.

Какой контраст представляет собою зал, где все происходит, – средневековый мрак, унаследованный от прошлого, и служение целям Просвещения, которое назначили ему люди науки! Помещение могло бы быть темницей: каменные стены и полы, несколько узких окошек, оплывающие свечи над головой. В воздухе стоит смрад разложения, и химикалии, которые мы приносим с собой на занятия, с трудом перебивают это вековое зловоние. Камень стен и пола моется редко: это бесполезно, настолько кровь и желчь поколений въелись в него. Тем не менее, каким бы сырым и зловонным ни был анатомический театр, отсюда мы пускаемся в плавание за новыми открытиями – не по морям, а внутрь, в таинственные океанические глубины организма. В манере фон Трёльча руководить группой неповторимо сочетаются прусская строгость и мрачный юмор, он требует от нас полного внимания, полной тишины. Он велит принести первый труп, отбрасывает брезент эффектным жестом циркового фокусника, и... перед нами женщина, так долго пролежавшая в известково-селитряном растворе, что стала синей от головы до ног, словно какое-нибудь инопланетное существо. Однако она молода и хорошо сложена, хотя ее голова с неестественно вывернутой шеей говорит о том, что она была повешена, потом ее череп вскрыли, чтобы можно было изучать его внутренность. «Мы начнем, – объявляет Трёльч, – с того, что удалим ненужное». И с этими словами, ни минуты не колеблясь, перерезает горло и, отделив голову от туловища, поднимает ее над столом. «В случае с женским полом не имеет значения, есть голова или ее нет. Все равно мы ничего в ней не найдем». Гогот на студенческих скамьях. «Так, кто заберет у меня этот хлам?» фон Трёльч быстро оглядывает аудиторию и останавливает выбор на новом студенте, нервном юноше в дальнем углу, который борется с тошнотой. Без всякого предупреждения фон Трёльч швыряет ему вскрытую голову, брызги разлетаются во все стороны. Бедняге ничего не остается, как поймать ее. Секунду он держит голову в руках, в ужасе глядя на нее, потом высказывает со своей ношей из зала, и мы слышим, как его рвет в коридоре. Аудитория взрывается хохотом, каждый уверен, что уж он-то не проявил бы подобной слабости. Сколь ни жестокой может показаться подобная шутка, она служит пользе. Когда один проявит при всех малодушие, остальные скорей решат вести себя по-мужски. Так, на свой манер, доктор Трёльч «приучает к крови» своих студентов, отделяя стойких от слишком чувствительных.

Он возвращается к осмотру теперь уже обезглавленного трупа. Небрежно ткнув скальпелем в грудь под соском, он замечает: «Каково ваше мнение, герр Франкенштейн? Это ли не идеал женщины? От шеи и ниже, все необходимые и лакомые части тела остались; мышинный мозг и болтливый рот – удалены. Образец жены для медика!» Аудитория снова гогочет.

Несмотря на свой грубый юмор, когда доходит до вскрытия, тут фон Трёльч мастер: ни один орган не поврежден. Даже печень он извлекает целиком. Каждый орган он ловко бросает в банку – «просолиться», как он выражается. Удаление каждого внутреннего органа сопровождается дурной шуткой; впрочем, это далеко не простое зубоскальство. Его цель – избавить новичков от благоговейного ужаса, который неизбежно внушает им человеческий труп. Даже если это труп преступника или нищего, многие не решаются резать, словно мертвое тело способно чувствовать боль. Избавиться от подобного суеверия трудно. Он признался мне по секрету, что первым делом преподаватель должен приучить этих мальчишек хладнокровно делать то, что требует от них профессия.

Он быстро производит вскрытие, от горла и ниже, называя органы и

объясняя внутреннее строение тела. Потом происходит неожиданное. Отсекая матку, он обнаруживает, что эта уличная красotka беременна. Мне уже встречалось подобное. Женщины, трупы которых доставляли из тюрем, часто оказывались беременны; тюремные надзиратели устраивали себе личный гарем из этих проституток. Фон Трёльч тут же разрезает матку, чтобы продемонстрировать нам содержимое. Плоду третий месяц. «Дуреха! – замечает он. – Могла бы заявить о беременности и спасти шею. Но – тсс! Не говорите палачу! Не то потребует, чтобы ему заплатили вдвое».

Я держу матку на поднятых руках, чтобы всем в театре было видно, и думаю про себя: «Как чудовищно существо, которое у меня в руках; оно больше похоже на рыбу, чем на человека». Слава богу, что мы не видим, какие мы отвратительные в утробе. Даже прекрасный Адонис на пороге жизни похож на горгулью.

Мы упорно занимаемся весь день, пока не начинает меркнуть свет в окнах. Покидая анатомический театр, мы представляем собой жуткое зрелище: галоши в ошметках внутренностей, фартуки в пятнах крови. Снова оказавшись на свету двора, запеваем «Песнь червя», любимый гимн прозекторов.

Представь, какой громадный скачок в истории совершили мы за одно-единственное занятие! За эти несколько часов мои сокурсники и я узнали об устройстве и функционировании нашего организма больше, чем было известно об этом Платону, Аристотелю или Моисею. Я откровенно не понимаю, как человечество столь долго жило в таком невежестве. Прямо под нашей кожей был мир, который ждал открытия. Но лишь когда мы набрались смелости взять в руки скальпель, мы вышли из тьмы к свету. Теперь мы ясно видим, что внутри живое существо не отличается от какого-нибудь твоего автомата, отец. Вместо шестеренок и рычажков у нас мышцы, сухожилия и суставы, взаимодействующие с математической четкостью, только и всего. И всякий раз, как мы делаем вскрытие, мы узнаем что-то новое об этом взаимодействии и о том, как его улучшить.

Я сделаю все, чтобы в этом году провести каникулы дома. Хотя бы для того, чтобы наконец отмыться, побриться и посетить парикмахера. Ты не представляешь, в какое пугало превратился твой сын. Я жил, как отшельник в конуре, построенной из книг. Когда вернусь домой, буду три дня отмывать в самой большой ванне, какая найдется в замке, и гонять прислугу, чтобы почаще меняла горячую воду.

*Твой вечно благодарный сын,
Виктор*

Суаре

Письма от Виктора приходили непрерывно, не меньше одного в месяц, а иногда и по три. Во всех сообщалось о его успехах в университете и его растущем увлечении химией. Это было слабым оправданием его затянувшегося отсутствия. Миновал год и большая часть следующего, прежде чем он мимолетно упомянул обо мне. «Передай привет моей сестре», – небрежно добавил он, видно, это пришло ему в голову в последнюю минуту, в конце письма, полного подробностей о лекциях и опытах. Сестра. Он прекрасно знал, каким ознобом отзовется во мне подобное обращение того, кто был и, возможно, останется навсегда единственным моим возлюбленным. И все же это было признаком странной перемены. Я снова существовала для него! Я, с кем он совершал ритуалы химической женитьбы. Теперь он милостиво соизволил признать мое существование, которое его виновная совесть прежде пыталась забыть. В чем причина? Не в желании ли сближения? Вчитавшись повнимательней, я решила, что нет. Тут было что-то более тревожащее: бездушие, которое давало ему незаслуженное ощущение невиновности, о чем он и заявлял, словно его больше не интересовало, что его обвинительница может думать иначе. Я обратила внимание на то, что в письмах, в которых он столь небрежно упоминал обо мне, присутствует кое-что еще: растущее осознание полной независимости от учителей, которые сформировали его взгляды.

На втором году учебы в университете даже в отношениях с его любимым профессором Вальдманом наметился холодок. Он жаловался, что слишком устал от всего, чем заставляли его заниматься профессора. И потому он подумывает куда-нибудь переселиться из университета. Поскольку об этом было упомянуто в связи с его намерением возвратиться в Женеву в конце учебного года, мы с отцом решили, что он снова будет жить дома. Но не тут-то было. В последующих письмах он дал ясно понять, что планирует лишь какое-то время пожить в Бельриве, как любой заезжий гость.

– Вздор! – заявил отец, приняв такое поведение Виктора за нежелание доставлять нам излишние хлопоты, – Что за глупая скромность! Отпиши ему. Скажи, что его возвращение будет как нельзя кстати. Пора Бельриву вновь зажечь полной жизнью.

Я покорно, но в крайне сдержанных выражениях написала Виктору, что отец собирается по случаю его приезда домой устроить в замке грандиозное *soiree*. На что Виктор ответил столь коротко и резко, что я воздержалась показывать его письмо отцу. «Прошу тебя сделать все возможное, чтобы избавить меня от этого мучения. Менее всего я хотел бы провести вечер в бессмысленной болтовне с невежественной ордой сплетников и бездельников. Я настолько погружен в свои занятия, что ни с кем не могу общаться, кроме людей науки, и даже тогда только с лучшими из них. Я соглашусь, если отец настаивает, встретиться с группой избранных, чтобы продемонстрировать им кое-что из того, над чем я работаю. Но ты должна понимать, что большая часть моей работы пока находится на стадии эксперимента; и я еще многое не готов раскрыть».

Такой ответ не только не разочаровал отца, но, напротив, он даже загорелся идеей пригласить избранное общество, как предлагал Виктор. «Прекрасно, – с воодушевлением согласился он, – мы созовем для Виктора выдающихся людей. Должны быть представлены все школы».

Но кто должен был устраивать столь примечательный званый вечер? Пришлось мне, как новой госпоже Бельрива, составлять список гостей и рассылать приглашения. Эта крайне неприятная задача стала первым моим испытанием как хозяйки в доме барона. В течение недели я разослала в Женевскую академию и университеты Берна и Лозанны приглашения примерно дюжине знаменитых естествоиспытателей и медиков, знакомых отца, на прием по случаю приезда Виктора. Каждое утро за завтраком отец пытал меня расспросами относительно предстоящего суаре. Сколько человек приняли приглашение? – интересовался он. Сколько всего человек прибудет в замок? Что говорит Селеста, не нужно ли нанять еще людей на кухню? Гордость, которую испытывал отец от того, что его сын предстанет перед столь выдающимся собранием, подействовала на его поникший было дух, как целительный бальзам. Что до меня, то я трепетала при мысли, что Виктор возвращается. Я стала готовиться – или, лучше сказать, вооружаться? – за несколько недель до означенного события. Разве что не репетировала встречу, как актриса, ожидающая за кулисами сигнала к выходу на сцену. Оденусь строго, чуть ли не как на похороны. Буду держаться холодно, а может, в первый день даже вообще не покину свою комнату. Говорить буду мало, и только безразлично-вежливо. Не стану ничего спрашивать ни о его занятиях, ни о его планах, не буду проявлять интереса, если он сам начнет рассказывать. По каждой интонации, по каждому моему жесту он должен понять, что не прощен. Но я соглашусь, если он попросит об этом, поговорить с ним наедине и тогда облегчу душу.

Увы! Я готовилась к встрече, которая никогда не состоится, потому что человека, которого я ждала увидеть, больше не существует. Виктор, который тем летом вышел из кареты и устремился в парадные двери, ничем не был похож на себя прежнего. Скорее, это была буря в облике человека, огромными скачками пронесшегося по лестнице и ворвавшегося в вестибюль, мешая ругань с жалобами на отвратительную дорогу. Укутанный в черный плащ с высоким воротником, он походил на разбойника с большой дороги: черная, мрачная фигура, нетерпеливо расхаживающая в холле, ожидая, когда спустятся встречающие. Видно было, что это не студент, приехавший домой на каникулы, а взрослый самостоятельный человек, которого ничуть не заботит мнение окружающих о нем.

Я всегда считала Виктора до того красивым, что сомневалась в существовании мужчин более привлекательных. Теперь он стал если не красивей прежнего, то мужественней – настолько, что стена, которую я воздвигла в сердце, чтобы не поддаться чувствам, зашаталась. В нем была явная сила, которую я ощутила, едва увидев его с лестницы. Он отрастил усики и кинжально острую бородку, что придавало ему щеголеватый вид. Всегдашняя грива волос стала еще гуще и больше вилась, но лицо было худым и напряженным, лицом аскета. Когда я приблизилась, он метнул на меня короткий пытливый взгляд – пронзительные глаза под дугами бровей. Ни намека на раскаяние.

– Ну как, сестра, – бесцеремонно закричал он, – все подготовила для спектакля? Предупреждаю, тебе могут не понравиться мои номера.

Не дожидаясь ответа, он повернулся к отцу, спешившему обнять сына. Больше я не видела его до обеда; за столом он был холодно-вежлив. После двухлетнего отсутствия он много и напыщенно говорил о своих занятиях наукой в Ингольштадте. О выдающихся учених, с которыми познакомился в университете, и о том, что ему уже нечему учиться У них. Временами он походил на генерала, который победил всех своих врагов и захватил их богатства. Но когда дошло до его планов на будущее, он отвечал очень уклончиво. Сейчас он живет на окраине Ингольштадта, где может чувствовать себя намного свободней и наслаждаться уединением, однако оттуда легко добраться и до университета, чтобы получить нужный совет у профессора Вальдмана. Он сказал, что в следующем году целиком посвятит себя новым исследованиям, но при этом ни словом не обмолвился, какого рода это будут исследования. Зачем тогда вообще было трудиться ехать в Бельрив? Скоро это выяснилось. Виктору позарез нужны были деньги. Требовалось обставить лабораторию и приобрести оборудование для нее. «Когда все сделаю, у меня будет превосходная лаборатория, даже лучше, чем у профессора Вальдмана, – хвастал он, – Таких электрических приборов больше нигде не найдете, разве что в итальянских университетах». Он называл просимое ссудой, но, разумеется, не вернул бы деньги. И никто другой не дал бы их ему столь охотно.

– Получишь, сколько тебе нужно, не опасайся! – тут же ответил отец, как и ожидал Виктор, прекрасно зная, что отказа не будет, – Смело иди вперед, не считайся с расходами.

Последнее, о чем хотел узнать Виктор прежде, чем встать из-за стола, – это суаре, которое было намечено на следующий вечер. И вновь он тоном дал понять, что не в восторге от предстоящего званого вечера.

– Так захотел отец, – поспешила я оправдаться. – Я лишь выполнила его желание.

– И кого ты пригласила?

– Ты требовал, чтобы собрались светила.

– Ах да. Надеюсь, Соссюр будет.

– Конечно. Профессор Соссюр и... – Я быстро назвала еще несколько имен.

Он пожал плечами:

– Пустая затея. Важно лишь, чтобы присутствовал Соссюр. И ты, сестра. Хотелось бы, чтобы ты пришла.

– Как светило?

– Как моя гостья.

Так я оказалась единственной женщиной в этой компании знаменитостей, первых, кому Виктор открыл, над чем он работает. В тот вечер, проходивший под гордым председательством отца, на суд собравшихся за роскошно накрытыми столами были представлены самые выдающиеся научные открытия. Особый интерес вызвали опыты доктора Эразма Дарвина. В недавних газетах сообщалось, что он держал кусочки червей в стеклянном сосуде до тех пор, пока неким непостижимым образом те не начали самопроизвольно двигаться.

– Нет, не таким способом, – с апломбом заявил Виктор, – будет восстанавливаться жизнь в мертвой ткани.

И принялся утверждать, что ключ к тайне возобновления жизни – электричество.

Разговор перекинулся на его собственные исследования. Виктор пространно рассказал о визите Гальвани в Ингольштадт и как тот наблюдал за его опытами.

– Я был поражен, узнав, что самостоятельно выявил закономерности, о существовании которых Гальвани и не подозревал, – с плохо скрываемым самодовольством объявил Виктор, – Он даже никогда не препарировал угря, чтобы посмотреть, как его нервы реагируют на электрические импульсы!

На протяжении всего вечера я оставалась заинтересованной, но молчаливой слушательницей. Меня захватил тот накал, который Виктор придал разговору, и не только меня одну. Его речь заворожала многих; посмотрев по сторонам, я заметила уважительное внимание в глазах людей, сидевших за столом. В зале царила атмосфера возбуждения, вызванного ожиданием услышать то, что поразит всех, и Виктор был его вибрирующим центром. Никакой экстатический древний святой не мог бы сравниться с Виктором жаром, с каким он говорил о своих исследованиях. Однако к моему восхищению им примешивалось растущее уныние, поскольку я поняла, что в его сердце нет больше места для меня, там поселилась новая избранница. Его единственной возлюбленной стала наука.

– А что вы можете показать нам, дабы проиллюстрировать собственные достижения, Виктор? – спросил наконец профессор Соссюр.

– Боюсь, слишком мало, – ответил Виктор с деланой скромностью, – Я лишь в самом начале своих изысканий. В лучшем случае могу показать кое-что, говорящее о возможном их успехе.

Барон, словно актер, дожидавшийся своей реплики, поднялся и сказал:

– В таком случае, господа, – и разумеется, ты, дорогая моя Элизабет, – не переместиться ли нам в библиотеку, где, думаю, мой сын кое-что приготовил, чтобы показать нам?

Барон буквально сиял, гордый тем, что выступает в роли импресарио Виктора.

Весь день Виктор возился в библиотеке, запершись там и не впуская никого из домашних, в том числе барона и меня. Багаж, с которым он прибыл из Ингольштадта, лакеи внесли в дом позже, но Виктор никому не разрешил присутствовать при его разборке. Чтобы внести один огромный сундук, потребовались усилия трех мужчин. Наблюдая за тем, с каким трудом они тащат его наверх, я терялась в догадках, что в нем может быть столь тяжелого. Когда вечером Виктор отпер двери в библиотеку, мы увидели, что он превратил ее в небольшую лабораторию, загроможденную разнообразными приборами необычного вида. На полу возле центрального стола располагались две громоздкие металлические пирамиды; этим-то, подумала я, и объяснялась тяжесть сундука. Металлические листы пирамиды были со всех сторон опутаны массой проводов с датчиками, тянущихся к столу; там, в окружении горящих свечей, стояли два таинственных предмета, накрытые тканью, словно принадлежности священного обряда на алтаре. Между ними находился странный аппарат, состоящий из колеса и стеклянной сферы. Гости подходили к столу и первым делом разглядывали эту вещь. Виктор изогнутой заводной ручкой раскрутил колесо, которое было расположено так, чтобы, вращаясь, оно касалось круга из янтарных шариков. Вдруг внутри сферы возникла струйка крохотных голубых искр. Он пояснил, что аппарат представляет собой новую разновидность лейденской банки, копию того, что создал английский электрофизик Джеймс Грэм. Он способен производить электрический ток умеренной силы непрерывно, пока вращается колесо.

– Гальванические батареи, которые вы тут видите, состоят из цинковых и медных пластин, по шестьдесят пластин в каждой. Сила электрического тока, проходящего через пластины, увеличивается. Не могу сказать, каким может быть предельное напряжение. Могу только уверить, исходя из собственного опыта, что мощь дуги достаточно велика, чтобы поразить экспериментатора в четырех футах от аппарата, так что он потеряет сознание на четверть часа – и получит сильнейший ожог. – Виктор завернул рукав рубахи и показал длинный уродливый рубец на руке. – Потому, джентльмены, прошу вас держаться подальше, когда мы приступим к демонстрации.

Когда мужчины удовлетворили свое любопытство относительно оборудования, Виктор снял покрывало с первого и меньшего из двух предметов, стоявших по бокам колеса. Под покрывалом оказался стеклянный сосуд, наполненный мутной красной жидкостью, сквозь которую было не различить, что в нем находилось. Вооружившись щипцами, Виктор пошарил в сосуде и извлек что-то обвисшее и сморщенное, что я не могла узнать, пока Виктор не положил это на стол. Перед нами лежала человеческая кисть. Она лежала ладонью вверх, пальцы скрючены, и походила на какого-то маленького мертвого зверька. Я думала, что была единственной из присутствующих, кто охнул, потрясенный увиденным, но моего вздоха никто не услышал, его заглушил возглас отца, стоявшего во главе стола. «Боже милосердный!» – выпалил он, наклонившись, чтобы лучше видеть; видимо, он был поражен не меньше меня. Я украдкой обвела взглядом остальных. Одна ли я испытываю столь сильное отвращение? Если так, то следует изо всех сил скрывать свои чувства.

Не обращая внимания на раздающиеся со всех сторон вопросы, Виктор занимался тем, что тянул провода от генератора к нескольким штырькам, торчавшим из запястья отрезанной руки, потом перевернул ее, так что теперь она опиралась на пальцы.

– Как видите, – сказал Виктор, сдержанно хмыкнув, – мой ассистент – или то, что от него осталось, – был моряком. – Он указал на вытатуированный на тыльной стороне мертвой руки корабельный якорь и под ним надпись «Мэри Роуз». – О роде его занятий безошибочно говорит задубелая кожа руки. Он также был пьяница и драчун, который плохо кончил. Его арестовали за убийство. Я присутствовал на суде, предвидя, какой ему вынесут приговор. Это объясняет мою заинтересованность. После казни я выкупил труп и немедленно доставил в анатомический театр. Бальзамирующий состав, должен упомянуть, представляет собой смесь лавандового масла, селитры и искусственной киновари. В этом отношении, как вы можете убедиться по лежащему перед вами образцу, я достиг значительного успеха, – Говоря это, Виктор безотчетно поглаживал пальцами костяшки безжизненной руки, – А теперь, пожалуйста, смотрите внимательней.

Виктор попросил профессора Соссюра вращать колесо электрогенератора; вновь внутри стеклянной сферы вспыхнула голубоватая призрачная дуга. В библиотеке повисла тишина; присутствующие не сводили напряженного взгляда со сморщенной человеческой кисти, лежавшей в круге желтого света свечей. Спустя несколько секунд едва заметно дернулся большой палец, потом по другому пальцу пробежала судорога. Неожиданно пальцы раздвинулись и ладонь распласталась на столе, затем вновь сжала пальцы и, похоже, попыталась ползти вперед. Ища, за что зацепиться на гладкой поверхности, пальцы скребли по столу, обломанные бесцветные ногти издавали отвратительный скрежещущий звук. Виктор достал из кармана нож с коротким лезвием и уколол один из пальцев. Палец отдернулся; он явно почувствовал укол. Виктор снова ткнул руку ножом, и она отпрянула, на сей раз подняв пальцы, словно отражая удар.

– Вы наблюдаете инстинктивные реакции, – объяснил Виктор, продолжая колоть руку, на которой появилось несколько небольших порезов, откуда сочилась багровая жидкость. – Рука явно сохранила прижизненную память о боли; она реагирует на уколы и пытается защититься.

Взяв одну из свечей, стоявших по периметру стола, Виктор поднес ее пламя к отрезанной руке; словно осознав опасность, рука быстро заскребла пальцами, пытаясь спастись от огня. Но, как какое-то слепое животное, она тыкалась то в одну, то в другую сторону, таща за собой, словно перебитый хвост, путаницу проводов, к которым была прикреплена. Виктор подпаливал руку то с одного, то с другого бока, и я не выдержала подобного зрелища. Отведя глаза, я прошептала ему через стол:

– Пожалуйста, прекрати!

Виктор удивленно взглянул на меня.

– Что ж, дальнейшего доказательства, думаю, не требуется, не так ли? Часть сохраняет память целого – по крайней мере, на уровне примитивных рефлексов.

Виктор достал из кармана короткий кусок веревки и просунул под ладонь, которая

дернулась, ощутив прикосновение, потом пальцы крепко сомкнулись вокруг веревки. Виктор поднял ее и переправил обратно в сосуд. Там он отсоединил от нее провода; пальцы разжались, и рука скользнула в бальзамическую жидкость.

Первым заговорил доктор Бертолон с медицинского факультета академии:

– Но вы, доктор Франкенштейн, разумеется, не хотите заявить, что рука действительно *испытывает* эти ощущения?

– Именно это я заявляю, – ответил Виктор, – Она превосходно сохранилась и теперь ожила под воздействием электричества.

– Я назвал бы это не более чем пассивной мускульной реакцией, – не уступал доктор Бертолон. – Ее движение еще не означает, что она жива.

– Нет, означает! – раздраженно ответил Виктор, – Она жива!

Тогда Бертолон, не скрывая своего скептицизма, спросил:

– Если, как вы утверждаете, рука жива, разве ей не требуется снабжение кровью?

– Со временем потребуется, – ответил Виктор, – для восстановления тканей. Если бы это был целый организм, он мог бы обновлять кровь, получая и усваивая пищу. То есть при условии, что ткани будут сохранены должным образом.

– Вы уже наблюдали подобное?

– Да. У мелких существ – мышей и птиц. После извлечения их из бальзамирующего состава и питания их кровеносная система восстанавливалась. Организм не забывает своего умения творить кровь.

– Ваше открытие действительно впечатляет, – заметил профессор Соссюр, – Но что касается живучести образцов: как вы можете знать об этом, Виктор? – И добавил с мягкой иронией: – У руки нет языка, чтобы рассказать вам.

– Это правда, – согласился Виктор. – Но язык, хотя и немой, есть у нас.

С этими словами он стянул покрывало со второго предмета. Даже сейчас, по прошествии времени, меня удивляет, как мало меня поразило увиденное. Наверно, вид отрезанной руки вызвал во мне столь сильное отвращение, что меня уже ничто не могло так потрясти и я была готова увидеть что-то и более жуткое. Так это или нет, но я даже не отвернулась от человеческой головы, стоявшей передо мной в неглубоком сосуде и погруженной тем, что осталось от шеи, в сероватую жидкость. В вертикальном положении ей позволял оставаться металлический каркас, поддерживающий ее за выбритый череп у висков и нижней челюсти. Ко лбу, щекам и основанию черепа были прикреплены провода, которые проходили через дно сосуда и тянулись к металлическим пирамидам на полу. Лицо человека, чья голова стояла на столе, было некрасиво: с грубыми чертами, густыми нависшими бровями, тяжелым подбородком и расплюснутым носом. Однако благодаря закрытым глазам и расслабленным мышцам было в нем некое стоическое спокойствие – спокойствие человека, которого не трогают оскорбления и унижения этой жизни. А может быть, моя столь бесстрастная реакция на эту жуткую картину была вызвана ее нереальностью. Бальзамирование придало лицу синеватую прозрачность, будто оно было фарфоровым. Я даже надеялась, что это какой-то абсурдный предмет искусства, а вовсе не человеческие останки. Однако мое заблуждение длилось недолго.

Обмакнув салфетку в сосуд, в котором в жидкости пепельного цвета стояла голова, Виктор отер ей лицо. Это, сказал он о жидкости, щелочной раствор, который повышает электропроводимость кожи.

– И рука, и голова принадлежат одному и тому же трупу. Большой удачей было, что я смог получить их неповрежденными, как и другие части тела.

Затем он вновь повернулся к генератору и принялся крутить рукоятку. Через несколько секунд веки мертвой головы задрожали и вдруг широко распахнулись. Изумилась не я одна; несколько человек за столом ошеломленно охнули.

– Профессор Соссюр, – попросил Виктор, – не будете ли вы так любезны медленно поднести свечу к его глазам?

Профессор сделал, как его просили. Плавным движением повел свечой вперед и назад перед

застывшим лицом. Только теперь во мне всколыхнулось чувство. Но не отвращения, а жалости, и губы у меня задрожали от подавляемого плача. Ибо никогда я не видела ничего столь вызывающего жалость, как эти глаза, которые сейчас были ярко освещены свечой. Они были отнюдь не пусты, нет, они выражали беспомощное страдание, смотрели из темных впадин глазниц, как из бездны, бездны отчаяния. Неужели никто этого не видит, кроме меня? Я не могла избавиться от ощущения, что это глаза человека, вырванного из смертной тьмы и смутно осознающего свое страшное положение. Но Виктора не интересовали подобные вещи; он призвал всех обратить внимание на поведение зрачков. И действительно, в свете свечи можно было заметить, как они расширяются и сужаются.

– Вы, – объяснял Виктор, начиная находить веселое удовольствие в реакции публики, – наблюдаете, как глаза реагируют на свет. Они пытаются сфокусироваться. Механизм зрительной реакции наиболее примитивен, она происходит автоматически. Если бы мы подключили к проводам действующий мозг, можно было бы говорить о сенсорных сигналах, даже если бы это был всего лишь мозг низшего животного... – Тут он поскущел, иссяк и безропотно вздохнул, – К сожалению, на этом самом важном этапе мое исследование, признаюсь, зашло в тупик. Человеческие образцы, к которым я получил доступ сразу после их смерти, были серьезно повреждены. Повешение, как вы можете представить, почти полностью разрушает шейный отдел позвоночника. У образца, находящегося перед вами, остались ничтожные крохи мозгового ствола; остальное мне пришлось удалить, чтобы поражение не распространилось на прилежащие ткани. Однако в случае с животными, когда возможно удалить органы до смерти, я добился большого успеха в сохранении мозга в почти идеальном состоянии. Теперь смотрите, джентльмены.

Виктор резко повернул рычажок у основания колеса, увеличив скорость вращения генератора. Я предположила, что он направил ток в другую область головы, потому что ее щека задергалась, как от боли; подбородок задвигался влево и вправо; и наконец губы дрогнули и раздвинулись, обнажив желтоватые выщербленные зубы и десны. Прежде спокойное выражение лица сменилось зверской гримасой; даже казалось, что можно расслышать грозное рычание. Несколько мгновений, пока колесо вращалось, лицо корчило рожи, пучило глаза так, что в публике испугались, как бы они не выскочили из орбит. Не желая снова оказаться единственной, кто потребует прекратить жестокий опыт, я опустила глаза и не смотрела на стол, ожидая, когда смолкнет скрежет вращающегося колеса. Наконец я подняла глаза и увидела, что к лицу вернулось его прежнее спокойное выражение. Виктор подошел к голове, прикрыл веки незрячих глаз и отер лоб и щеки куском сухой ткани. Голова вновь превратилась в фарфоровую безделушку. Но, присмотревшись, когда остальные отвернулись от головы, я увидела, уверена в этом, каплю влаги, проступившую в уголке одного глаза – а потом и другого. Капли налились и скатились по щекам. Если то не были оставшиеся капли раствора, тогда это несомненно были слезы.

Показ закончился, Виктор повернулся к светилам, чтобы выслушать их мнение. Первым заговорил доктор Дюпра, женевский врач, который часто пользовал отца.

– Отдаю должное вашему мастерству балъзамирования, Виктор. Вы сделали огромный шаг вперед в сохранении органов; ваше достижение, безусловно, принесет пользу нашей исследовательской работе. Но я искренне убежден, что преждевременно принимать рефлекс, проявление которых мы наблюдали, за признаки жизни. Это скорее те же мускульные сокращения, которые можно видеть у лягушек Гальвани, и, полагаю, теперь не вызывает сомнений, что это обусловлено реактивацией остаточной нервной жидкости.

Со всех сторон зашелестели одобрительные голоса. Подобный скепсис не понравился Виктору.

– Позвольте не согласиться. То, что вы наблюдали, больше чем случайные рефлекс. Движения руки явно были вызваны болью – и, возможно, страхом, связанным с огнем.

– Как вы выразились, «возможно», – отвечал медик, – Но откуда нам знать наверняка? И боль, и страх – это субъективные ощущения. Вот если бы рука могла написать нам о своих ощущениях...

Последние слова, сказанные в шутиливом тоне, вызвали вежливый смех за столом. Виктор не разделил общего веселья.

– К сожалению, рука, похоже, так же неграмотна, как и человек, которому она принадлежала, – язвительно ответил он, – Наверно, это мое упущение, что я не поискал более образованный труп.

Почувствовав раздражение Виктора, профессор Соссюр поспешил завершить вечер.

– Думаю, – примирительно заметил он, – все мы можем согласиться, что достижение Виктора является выдающимся вкладом в наше продолжающееся исследование электрических основ жизни. Многое еще предстоит сделать; но нынешним вечером мы были свидетелями выдающегося начала.

Его слова вызвали аплодисменты; и все же я была уверена, что заметила признаки как сомнения, так и неловкости в зале, хотя во время демонстрации все без исключения, в том числе и я, следили за происходившим со жгучим любопытством. Я тоже сидела, словно приклеенная к креслу. Страстность, с какой Виктор представлял свои открытия, захватила и меня, как быстрый поток. Сила его убеждения заставила меня перебороть отвращение, вызванное ужасными экспонатами. Признаюсь также и в обыкновенной трусости: я, единственная женщина из присутствующих, не одна обнаружила свою чувствительность. Однако теперь, когда демонстрация закончилась, я более критически взглянула на то, чему была свидетельницей. Передо мною лежали голова и рука несчастного, которому должны были позволить покоиться с миром. Но вот части его находятся здесь и используются для доказательства теории, от которой я не нахожу никакой пользы. Как ни глупо это было, но я испытывала стыд оттого, что видела человека, с которым обошлись столь неподобающе.

– Но какой во всем этом толк? – совершенно неожиданно для себя выпалила я, не успев даже подумать.

У меня не было желания приуменьшить успех Виктора, но вопрос вырвался непроизвольно, выдав мое неподдельное недоумение. К тому же я прервала одного из мужчин, и тот с преувеличенной любезностью отступил, предоставив Виктору отвечать на «хороший вопрос дамы».

– Ты не видишь ничего ценного в моих исследованиях? – с беспокойством спросил Виктор, задетый моим вопросом.

– Какую ценность может иметь столь макабрическое достижение?

– А что, если благодаря моему исследованию – каким бы отвратительным оно, к сожалению, ни казалось, – станет возможным заменить поврежденную руку или ослепший глаз? Что, если оно делает возможным создание лучших рук и глаз, каких еще не знал человек? Со временем мы будем способны создать новую породу человека. Продлим жизнь там, где ныне смерть обрекает тело на распад.

Искренность Виктора была очевидной, достаточно было взглянуть на его горящее лицо и услышать возбужденный голос. Его убежденность удивила меня.

– Ты веришь, что такое время придет?

– Уверен. Я провожу исследования не из пустого любопытства или извращенной забавы, видит Бог! Это, конечно же, принесет огромное благо.

Я подождала, не поддержит ли кто меня в неодобрении подобных опытов. Желающих не оказалось. Я вела себя нелепо, позволила чувству взять верх над рассудком.

– Ну тогда, – заикаясь, пробормотала я, – если это так...

Все глаза повернулись в мою сторону; их снисходительность душила меня. Я поняла, что мне не место в этой компании. Торопливо извинившись, я покинула их и отыскала свою комнату. Вслед мне неслись слова благодарности за прекрасно организованный вечер; но я слышала в них явное облегчение оттого, что дама предпочла удалиться.

Из окна своей комнаты я видела ярко освещенные окна салона внизу, где продолжали беседу Виктор и его гости – светила, общение с которыми на равных наполняло его гордостью. Возможно, теперь, когда единственная среди них женщина ушла, они почувствовали себя свободней и были более откровенны во мнениях. В голове у меня все

смешалось. В самом ли деле Виктор открыл тайну жизни? Конечно, я была неспособна оценить по достоинству столь выдающееся достижение. Не могу отрицать: у меня кровь стыла в жилах от одной только мысли, что эти мертвые человеческие обрубки и в самом деле могут жить, чувствовать, помнить; но не позволила ли я малодушному отвращению затмить мой разум? Что, в конце концов, сделал Виктор, как не сохранил телесные останки бедняги – преступника, причинявшего зло себе подобным, – чтобы эти останки можно было изучать на благо другим? И я спрашивала себя: может, во мне просто говорила злость женщины, в которой еще живо мстительное чувство?

Стоя у окна, я безотчетно водила пальцами по узору на дубовой ставне. Потом взглянула на резьбу. Она изображала Тристана, умирающего на руках королевы Изольды. Неужели я забыла, кто первый рассказал мне эту легенду и пробудил в моей душе мечту о возвышенной романтической любви?

Часа два спустя званый вечер закончился; гости разъехались или разошлись по своим комнатам. Бельрив окутала тишина.

У меня вошло в привычку, если ночь ясная, гулять в саду перед сном. Мне хотелось взглянуть на звезды и вспомнить о времени, проведенном в лесах, о том диком, волшебном времени, когда я потеряла дорогу, но нашла себя. Там, когда «день гасит яркие огни», последнее, что я видела, засыпая, были эти звезды над головой. Они стали мне спутниками – Кассиопея, Цефей, семь гордых дочерей Атласа. Сейчас они сияли в безлунном и безоблачном небе, посланцы высокого света, и самая яркая среди них – Венера, как светящаяся жемчужина над Юрой. В эту ночь ночей мне хотелось стоять в холодном свете созвездий, вспоминая, как я утверждала свою независимость. Но сегодня они всколыхнули иное воспоминание, насколько горькое, настолько и сладостное. Виктор показывал мне эти звезды, когда я впервые, еще обыкновенной девочкой, оказалась в замке; а когда он показал все звезды, какие видны невооруженным глазом, он подвел меня к отцовскому огромному телескопу, чтобы я могла увидеть более далекие, недавно открытые небеса. Он показал мне призрачные кольца Сатурна и двойную звезду Альдебарана – чудо, какого я не могла вообразить. Но самым удивительным чудом был он сам. Как восхищал меня его пылкий интеллект, как мне хотелось походить на него! Его ум и миловидное лицо стали моим детским идеалом мужской красоты; я влюбилась прежде, чем узнала, как называется это чувство. Хотя, наверно, он лишь рисовался перед своей новой сестрой, все, что он говорил мне тогда, и сейчас было живо в моей памяти, словно сказанное только вчера. Он подарил мне звезды, единственное, что осталось у меня, когда он забрал все остальное.

Теперь мы вновь были под одной крышей, и я задумалась над тем, как нелепо я живу. Ни у одной женщины не было больше причин ненавидеть мужчину, как у меня ненавидеть Виктора. Только ненависть позволяла мне уважать себя, быть такой, какой хотелось быть: свободной, гордой и благородной. Но ненавидеть его было невозможно, как невозможно убить свое сердце и продолжать жить. «Каждый из нас – лишь половина целого, – говаривала матушка. – То, что мы называем любовью, – это жажда обрести в другом недостающую половину».

Я направилась в дальнюю часть темного сада, где тень была особенно густа. Ветер промчался вдоль обсаженной лаврами дорожки и взъерошил кроны буков на длинной аллее, которой кончался сад. В отдалении запел соловей – единственный голос в этот полночный час. Я остановилась, чтобы послушать... и вдруг рядом со мной вырос Виктор; он проскользнул через лужайку, поэтому я не слышала его шагов на тропинке. При звуке его голоса я затрепетала от радостного ожидания. *Он тут!* – сказала мое сердце. *Единственный мужчина, которого ты всегда будешь любить, стоит рядом.*

– Ты еще помнишь, как называются эти звезды? – спросил он. Голос его утратил напористость, стал мягче.

У меня было мелькнула мысль о бегстве, но я осталась. Меня, смотревшую в глаза рыси, не напугает неверный возлюбленный. Я твердо ответила:

– Я помню их, как ты учил, – все до одной.

– Вон те три звезды прямо над горами...
– Пояс Ориона, могучего охотника.
– А красноватая звезда за его плечом?
– Бетельгейзе, которую арабы называют глазом злого духа.
– А там, прямо над нами?
– Андромеда, привязанная к скале, в ожидании чудовища.
– А та яркая оранжевая звезда?
– Альдебаран, альфа Тельца. Двойная звезда.
– Помнишь ли, чем отличаются подобные двойные звезды?
– Тем, что их массу можно точно вычислить, применив закон Ньютона. Это понимает человек науки.

– А еще чем-нибудь отличаются?
– Только тем, что двойным звездам суждено вечно быть вместе – как возлюбленным, у которых нет иного выбора, как вечно вращаться друг вокруг друга, повинаясь взаимному притяжению. Альдебаран, кажется, означает «идущий вослед». Любовь – это своего рода следование, не думаешь? Желание быть вместе. Но ни одна из двух звезд не является ведущей. Обе – ведомые.

– Как ты любишь находить поэзию в исчислении масс!
– Меня учили, что мир полон знаков, смысл которых более глубок, чем способна постичь наука, посланий, которые мы должны прочесть сердцем.

Он не сводил глаз со звезд и продолжал говорить. Его профиль чернел на фоне неба: прекрасный высокий лоб и выпуклый подбородок – и светящийся нимб непослушных волос. Он казался мне красив, как никогда.

– Мне много раз хотелось написать тебе, – сказал он.
– Но ты писал. В письмах отцу.
– Я имею в виду – непосредственно тебе.

И я повторила:
– Ты писал – в письмах отцу. Разве каждое слово в них не предназначалось мне? Я поняла это, когда читала их.

Я прочла все письма, Виктор. Я знаю обо всех твоих победах.
– Полно! Я еще начинающий. Никаких побед у меня не было. Пока что.
– Скромность и ты несовместимы. Это звучит фальшиво. Когда-нибудь ты будешь великим. Твое имя станет в ряд с именем Ньютона. Надеюсь, я увижу, как это произойдет.
– Но ты не сказала, что ты думаешь о моей сегодняшней демонстрации.
– Тебя волнует мое мнение?
– Твое мнение, Элизабет, волнует меня больше, чем мнение любого из присутствовавших – даже Соссюра.

– Это почему же? Я ведь не одна из твоих светил.
– Знаю, я вел себя несколько высокомерно. Я обнаружил, что когда веду себя так, будто меня не интересует ничье мнение, даже научных светил – а может, даже их мнение, – это помогает мне сосредоточиться. Но я понимаю, что в конце концов должен услышать, как воспринимают мою работу в обществе более широком, чем общество профессоров и докторов. Ты – лучшая в том обществе. Я хотел бы знать, что думаешь ты.

– Буду откровенна, я считаю твою демонстрацию чудовищной.
– Тем не менее ты оставалась до конца – и, если не ошибаюсь, следила за показом с таким же интересом, как все остальные.

– Да. Признаюсь, мне было любопытно. Любопытно узнать, чем ты так сосредоточенно занимался в Ингольштадте. Вижу, ты по-прежнему стремишься создать расу счастливых и прекрасных людей.

– Как претенциозно это звучит!
– Это твои собственные слова.
– Неужели? Я так часто увлекался – когда был мальчишкой.

– То же самое чувствуется и в твоих письмах. Твое честолюбие не стало меньше. Но теперь за ним стоит знание. Молюсь, чтобы ты использовал свое могущество во благо.

– Пока еще моего могущества хватает лишь на пустые фокусы в гостиной, вроде тех, какие ты видела. И которые, как я узнал сегодня, не убеждают скептиков. Ты видела их снисходительность. Они воспринимают меня чуть ли не как студента.

Мы надолго замолчали. От нервного напряжения, от усилий не поддаться, выдержать, ожить и открыть ему свое сердце у меня кружилась голова. В глубокой тишине я ощущала, с каким усилием сдвигаются с места звезды по мере того, как колесо ночи поворачивает на утро. Представляет ли он, как отчаянно борются во мне печаль и любовь, – этот мужчина, который научил меня столь многому из того, что я знаю о печали и о любви?

– Есть вещи, о которых нам надо было бы поговорить, – прервал он наконец молчание.

– Поговорить? Что мы успеем сказать в последнюю ночь перед тем, как ты уедешь неизвестно куда, неизвестно зачем?

– Тебя совершенно не должно волновать, куда и зачем.

Мне хотелось сказать: «О, Виктор! Все твои занятия, чувства, мечты, твои страдания и радости – все меня волнует. *Что есть у меня в жизни, кроме тебя?*» Но я прикусила язык, не позволила этим словам сорваться с губ, а вместо этого сказала:

– Нам всей жизни не хватит для разговора, не то что этих несчастных нескольких часов, оставшихся у тебя после разговора с отцом о деньгах. Этого времени хватит разве на то, чтобы тебе притвориться раскаявшимся, а мне изобразить прощение.

– У меня в мыслях не было раскаиваться.

– Тогда, возможно, мне – раскаиваться, а тебе – прощать. Меня часто мучает мысль, что я плохо повлияла на твою жизнь и моя озлобленность угнетала тебя. Думаю, многое из того, что ты совершил, продиктовано желанием оправдать себя в моих глазах.

– Я вернусь через несколько месяцев, надеюсь на это. К тому времени выяснится, что меня ждет: провал или успех. Тогда ты узнаешь все. Обещаю. Согласна ли ты ждать?

– Разве у меня есть выбор? Куда я, старая дева, денусь? Пойду куда глаза глядят – искать удачи? Что мне еще остается, кроме как жить там, где у меня есть крыша над головой? Я или дочь при отце, или жена при муже. Или, может, мне уйти в лес и жить с дикими зверями? Прости, больше не буду, а то ты подумаешь, что это во мне говорит жалость к себе.

– У тебя есть причина и для жалости к себе, и для гнева.

– Да, есть. Но можешь ли поверить, что я с этим справилась? Ты оказал бы мне великую честь, поняв, чем я сильна и счастлива. Я больше не живу ожиданием примирения.

– Это я чувствую. Ты независимая женщина, Элизабет.

Он протянул руку, желая коснуться моей. Я отступила на шаг.

– Так не забывай об этом, когда уедешь. И возвращайся, когда будешь готов встретиться со мной будто в первый раз, не как с сестрой, или возлюбленной, или даже давно потерянным другом, но как с незнакомкой, которой – придется тебе притвориться – ты не знаешь. Ничего не обещай. Тогда мы проговорим много ночей и дней, – Перед тем как уйти, я попросила: – Обожди здесь. Дай мне вернуться в дом одной.

Он повиновался. Я прошла мимо него, отвернув лицо, боясь, что он даже во темноте заметит блеск слез в моих глазах. Я торопливо устремилась по тропинке между лаврами, надеясь, что успею добежать до замка, прежде чем слезы хлынут неудержимым потоком. Словно сжалившись надо мной, ветер зашумел в листве буков, заглушая мои сдавливаемые рыдания. Я не хотела, чтобы он услышал их, в противном случае он никогда бы не узнал, что это были слезы не горя, но гордости и торжества. Я ничего не показала ему, лишь свою независимость!

Наутро я покинула свою спальню, только когда услышала, как отъехал дилижанс, увозя его.

Он сказал: «через два месяца». Но миновало вот уже два года, в течение которых известия, приходившие от Виктора, становились все невразумительней и небрежней, а

иногда это было всего несколько наспех набарабанных строк с очередным извинением за свое затянувшееся отсутствие. В последние полгода – весной и летом 1792-го – мы не получили от него ни единой весточки. Мы предположили, что причиной стало то, что весь мир перевернулся вверх дном.

Примечание редактора

Об исследованиях Виктора Франкенштейна

Многие из тех, кто прочел первую книгу, содержащую записи моих бесед с Франкенштейном, выражали недоумение и озадаченность тем, что я так скупо сообщил о деталях его исследования. Особые вопросы вызывала лаконичность, с какой я описал создание чудовища. Это отсутствие подробностей побудило некоторых усомниться в правдивости моего рассказа и посчитать его за явную выдумку. Я готов исправить сие упущение, которое, признаюсь, было результатом умышленной цензуры с моей стороны. Франкенштейн сообщил мне намного больше о своих научных изысканиях; я, однако, решил ограничиться общим изложением фактов. В оправдание такого решения скажу: меня подвигли на него вместе скептицизм и моральное отвращение.

Читатель должен понять, что в то время, когда я записывал за Франкенштейном его рассказ, Виктор часто охватывало отчаяние и сознание собственной вины; моментами он был близок к истерике, когда возвращаясь к ужасным событиям своей жизни. Мне было нелегко различить, когда воспоминания ясного сознания сменялись галлюцинациями; благодаря мемуарам Элизабет Франкенштейн теперь это легче проследить. Она присутствовала на единственном публичном выступлении Франкенштейна, где он открыто говорил о своей работе; ее рассказ подтверждает слова, сказанные мне им самим на смертном одре. Потому я склонен отбросить все сомнения и представить вам полную запись того, что услышал от Франкенштейна.

Вскоре после поездки в Бельрив, описанной выше, Франкенштейн устроил себе лабораторию на лесистой окраине Ингольштадта. «Мастерской для создания мерзкого существа», по его выражению, послужила заброшенная сторожевая башня; поблизости протекала речушка, на берегу которой стояла мельница, снабжавшая его механической силой, иногда потребной, чтобы облегчить его труды. Здесь, в относительной близости от университета и больницы, он нашел необходимое для своих исследований уединение. И здесь он принялся за работу, вторгаясь в великие тайны человеческого тела.

«Как упорно я трудился ради достижения своей цели, – вспоминал он, – Душа моя, все мои чувства были сосредоточены на этом. В своем экстазе я поклялся создать существо столь же совершенное телом, как творения Микеланджело: изображение его Адама, пробуждающегося к жизни, я поместил над рабочим столом. Я был больше художник, нежели ученый, когда облекал кость плотью и погружался в путаницу нервных волокон, вен и мышц. Я так быстро продвигался вперед, предвкушая успех, что совершенно не обращал внимания на недоделки. Я лихорадочно работал, убежденный, что могу позже исправить каждую ошибку и в целом результат будет великолепен: высшее существо, превосходящее всех, когда-либо рожденных женщиной».

Но как ни примечательны были успехи Франкенштейна в сохранении и оживлении анатомических останков, которые он брал от разных трупов, он вскоре столкнулся с непреодолимым препятствием.

«Мозг, – рассказывал он, – вот с чем было больше всего трудностей. Я не мог найти способ сохранить этот хрупкий орган на достаточно долгий срок, чтобы в новом теле к нему вернулось сознание. Как вы понимаете, Уолтон, я ничем не докажу, что возвратил жизнь – и конечно же, что вернул сознание человеческому существу, – пока нервный импульс не пройдет через живой мозг и это существо отзовется на него. Все другое будет воспринято как некая форма посмертного мускульного рефлекса.

Без малейших колебаний я терзал живых животных ради того, чтобы вдохнуть жизнь в

мертвую плоть. Мои эксперименты над существами низшими, чем человек, дали быстрый и обнадеживающий результат; я скоро окончательно убедился в том, что мозг еще живого существа из отряда кошачьих может быть извлечен и сохранен таким образом, что при пересадке в другую нервную систему его функции восстановятся. Но как это продемонстрировать на человеке? Даже если бы я подгадал оказаться на месте в момент смерти, у меня не было бы возможности извлечь мозг, пока скончавшегося не почтят обычной заупокойной службой; к тому времени, как все закончится и будут соблюдены формальности, необходимые для получения тела, – если вообще удастся получить разрешение, – начнется разложение мозговой ткани. Веревка палача неизбежно наносит мозгу повреждения, какие в моей работе недопустимы. Сознаюсь, не раз в крайнем нетерпении я готов был переступить нравственный закон, воспрещающий применять вивисекцию к человеку. Предположим, я вовремя оказываюсь у постели смертельно больного и находящегося в коме человека... позволит ли мне совесть воспользоваться случаем?

Наконец удачный случай навел меня на иную возможность.

Иногда среди трупов, доставляемых на медицинский факультет с виселицы или из богадельни, можно найти беременную женщину. Однажды, когда тело женщины доставили особенно быстро, я обнаружил, что она на пятом месяце и зародыш еще жив. Я извлек его и поддерживал в нем жизнь достаточно долго, чтобы успеть достать мозг. К сожалению, сохранять его удалось лишь несколько дней, после чего началось разложение. Тем не менее я нашел метод. Тут же я обратился к городским повитухам, попросив их немедленно известить меня в случае, если какую-то из них позовут произвести аборт на достаточно позднем сроке. К моему удивлению, несколько женщин, к которым я обратился, отнеслись к моей просьбе с большим подозрением и не меньшим ужасом; они не желали даже говорить об этом, пока я не объясню, для чего мне это нужно. Это заставило меня действовать с осторожностью. Старые ведьмы сочли меня за вампира! Если обо мне пойдут подобные слухи, меня могут обвинить в черной магии. Лишь когда я предложил приличное вознаграждение, удалось уговорить некоторых из них. Не прошло и месяца, как одна из повитух сообщила, что вызвана прервать неблагополучную беременность. Я пошел с ней и ждал близ дома, пока она делала свое дело; плод оказался в моих руках спустя несколько минут после того, как его извлекли. Не теряя времени, я вскрыл череп прямо в карете, доставившей меня туда. Мозг был без промедления помещен в бальзамирующий состав, в котором и находился три недели, пока не появились первые признаки разложения.

К тому времени я подобным путем получил другой образец, затем третий, так что мои исследования неуклонно продвигались вперед. Каждый раз мне удавалось продлевать срок, в течение которого сохранялась жизнеспособность мозга, пока на втором году работы, после десятков провалов, я открыл способ использовать околоплодные воды в смеси с определенными химическими питательными веществами, чтобы искусственно вскармливать изолированный мозг, который мог теперь проходить полный период внутриутробного развития. Больше того! Та же методика, дополненная при необходимости помещением в очень слабое электрическое поле, позволила мне ускорить рост органа так, что по весу и сложности он соответствовал мозгу трехлетнего ребенка.

Понимаете, сколь значимо мое достижение? Я подлинно установил, что мозг, вместилище нашего богоподобного интеллекта, находясь вне тесного внутрочерепного пространства, развивается более быстро. Я видел, как расцветает этот самый удивительный из органов – никаких складок и извилин, появляющихся, когда он заперт в черепной коробке. Говорю вам, Уолтон, впечатление было почти такое, будто он жаждет освободиться от физического ограничения, на которое обрекает его скелет. Может быть, здесь корень векового утверждения, что человеческие душа и тело вещи несовместные. И может быть, здесь решение этой, кажущейся непостижимой, метафизической загадки. Я подводил материализованный интеллект к самой грани, за которой рождаются речь и логическое мышление, оставляя его нетронутым, свободным от пустых фантазий и детских заблуждений

– свободным также и от каких бы то ни было повреждений, какие могут появиться при вынашивании и родах. Имел ли я тогда перед собой философскую *tabula rasa*, чистую доску: девственное сознание, ожидающее, чтобы его разумно сформировали и превосходно развили – может быть, чтобы в нем проявились новые, невообразимые ныне способности? Понимаете, почему я так хотел верить в то, что мне суждено создать новую породу людей, которые будут благословлять меня как своего творца и родоначальника?»

Он с растущим воодушевлением излагал историю своих открытий, переживая в памяти свою авантюру. И вдруг умолк. Я взглянул на него и только тогда понял, что лицо мое выдает все мои чувства. Однако, если говорить правду, несмотря на отвращение, я был захвачен этой историей не меньше его. Возможно ли, спрашивал я себя, чтобы этот изможденный человек, лежащий при последнем издыхании в моей каюте, действительно овладел тайнами жизни и смерти? Чтобы он совершил свое поразительное открытие, так грубо поправ святость человеческой жизни? Его рассказ был и фантастичен и абсурден; но страсть, звучавшая в его голосе, придавала его словам неодолимую силу правды.

«Ах, Уолтон, вижу на вашем лице отвращение, – с непритворным разочарованием вздохнул мой собеседник, – Вы еще не настолько человек науки, чтобы беспристрастно судить о моих усилиях. Или, быть может, я уже не настолько человек, чтобы судить о своем деянии с отвращением, какого оно заслуживает. Вы правы, относясь ко мне настороженно. Как могу я рассчитывать, что вы закроете глаза на крайности, на которые я пошел в упоении от первых успехов? Сознаюсь, в редкие мгновения нравственного прозрения я сам содрогался от того, что творил. Бывало, я чувствовал себя друидом, обязанным приносить младенцев племени в жертву жестокому богу. Но умоляю, поверьте: я не заходил дальше использования абортивных зародышей, жизни, у которой не было никакого шанса продолжаться, которые не успели сделать ни единого вдоха, извлеченные из материнского тела. Я не убийца, друг мой! Клянусь вам, я лишь сохранял для необходимых опытов то, что иначе было бы за ненадобностью выброшено на свалку. Только таким путем я мог добиться, чтобы орган разума был способен существовать отдельно от тела».

Я полностью привел здесь исповедь Франкенштейна; вот так его противоестественное творение обрело сознание. Единственное, что отсутствует в его рассказе, – это точная рецептура тех химических составов, с помощью которых он так превосходно сохранял отдельные органы, из которых собрал тело этого существа. Франкенштейн и это обещал сообщить мне, поскольку я настойчиво просил его раскрыть малейшие подробности его открытия. Но несчастный умер, не успев выполнить обещание.

Я был бы неискренен, если бы не признал того, что, невзирая на моральное неприятие, вызванное рассказом Франкенштейна, меня и спустя много лет после нашей с ним встречи подспудно жгла крохотная искра зависти. Если б я когда-нибудь смог поверить в правдивость его истории, мне пришлось бы допустить, что этот человек заглянул в самые непроницаемые глубины непознанного, приподнял покров над тайной тайн. Проект, приведший меня в пустынные просторы Арктики, – как, в сущности, любая из задач, которые я когда-либо ставил перед собой, желая показать, чего стою, – бледнел на фоне его достижения. Но даже если бы у меня возникла мысль поставить перед собой столь дерзкую цель, хватило бы у меня смелости совершить то, что совершил он?

Со временем затаенное восхищение, которое я некогда испытывал к Франкенштейну, уступило, надеюсь, более здравому суждению о нем. Но и поныне меня раздражают противоречивые чувства, когда я оглядываюсь в прошлое, не уверенный, что обнаруживает во мне истинного ученого: давняя зависть к бесстрашию Франкенштейна – или стыд, который я ныне испытываю, за то, что поддался этому чувству?

Тревожные ночи, беспокойные сны

Тем летом революция пришла в Женеву.

Швейцарцы, неизменно самый реалистичный из народов, едва только во Франции

начались беспорядки, поняли, что даже наши пограничные горы не смогут долго защищать нас от политических штормов, грозивших захлестнуть Европу. Все понимали, что это лишь вопрос времени: ярость на *ancient régime*¹, вырвавшись на свободу, перекинется через границы и принесет с собой кровь и разруху. Не успела рухнуть Бастилия, революционно настроенные швейцарские *émigrés*², укрывшиеся в Париже, начали строить мстительные планы возвращения из изгнания. Когда этот день пришел, семейное гнездо Франкенштейнов оказалось в особой опасности, ибо, по извращенной логике событий, мы стали врагами обеих сторон в их титанической схватке. Несмотря на свое богатство и высокое положение, барон давно был известен в Европе как искренний сторонник либерального дела. Роль, которую он сыграл в поддержке восстания американских колонистов и жирондистов во Франции, была общеизвестна. Благородный в устремлениях – в его лице век разума имел самого преданного своего сына, – он, служением партии Гуманизма, навлек на себя ненависть закоснелых в невежестве аристократов. Неспособные увидеть разницу между конституционным республиканцем и заклятым цареубийцей, перепуганные и мстительные швейцарские олигархи объявили его предателем своего класса. И одновременно какая ирония была в том, что чем больше революция оказывалась под влиянием экстремистской группировки, те же самые освободительные силы, становлению которых отец всячески способствовал, теперь обернулись против своего благодетеля, словно он был не лучше любого другого аристократа. Соответственно он стал мишенью как для демагогичных фанатиков, так и для самых реакционных феодалов. Обе стороны жаждали его крови.

Никогда отец так не восхищал меня, как в то критическое время, когда он отважно бросал вызов своим врагам из обоих лагерей. Тем не менее он был достаточно предусмотрителен, чтобы принять меры предосторожности. Начиная с лета 1792 года, когда Франция постепенно погружалась в хаос, у нас всегда стояли наготове карета и обоз, чтобы можно было отъехать из любого конца поместья. По первому знаку мы могли бежать – на северо-восток, в Германию, или на юг, в Пьемонт. Из домашних слуг и работников сколотили отряд, наскоро обучили пользоваться мушкетами и пиками; они вряд ли могли оказать достойное сопротивление буйным толпам, бродившим по дорогам, но по крайней мере дали бы шанс ускользнуть карете и повозкам.

В октябре случилось то, чего мы опасались больше всего. Мы получили известие, что войска генерала Монтеस्कье наступают на Женеvu. Как обиталище Руссо, город считался одной из духовных столиц революции. Вдохновленные приближением французских легионов, демагоги, которым нравилось называть себя патриотами – последователями кровавых Робеспьера и Сен-Жюста, – свергли городское правительство и повели наступление на собственность и привилегии. Несколько недель мы со страхом ожидали нападения радикальных элементов, чьи костры еженощно видели на дорогах и деревенских площадях. И каждую ночь по всему кантону банды мятежников грабили дома богачей и вешали их обитателей; но прежде, чем эти варвары успели обратить внимание на Коллонж и Бельрив, произошло ужасное. Разнеслось известие, что обезглавили Людовика. В Париже правил террор, называвший себя доблестной республикой. Сошедшая с ума Франция, которой правили якобинцы, скоро была атакована по всем фронтам войсками цивилизованной Европы; война приняла всеобщий характер. Армию Монтеस्कье отозвали на родину, и вторжение в Женеvu не состоялось. Как следствие, революция в Швейцарии закончилась, едва начавшись.

Я без труда поверила словам отца, что никогда в общественной истории не было подобных эпохальных сдвигов. Сотрясались незыблемые основы мира; казалось, возможны проявления любого, прежде немыслимого экстремизма. Век, который Ньютон и Локк объявили веком разума, завершался под тенью эшафота.

В разгар этих бурных событий из Ингольштадта вернулся Виктор.

Я приготовилась встретить его, держась крайне независимо, как и при расставании два

1 Королевский строй (фр.).

2 Эмигранты (фр.).

года назад. Но моя решимость растаяла, едва он шагнул из дилижанса. Я сразу увидела, как ужасно он изменился. Это был не тот прежний Виктор, с которым я так холодно распрощалась. Передо мною был сломленный человек – худой, пожелтевший, дрожащий, столь явно измученный невзгодами, что казалось, ему уже все равно, какие еще несчастья могут обрушиться на него. Меня саму удивила невольная жалость, стиснувшая мое сердце при виде его скорбной фигуры. Куда только девалось недоверие, которое в последнее время я единственно чувствовала, думая о нем? Оно исчезло. Он больше не был для меня бездушным оболыстителем; передо мною была лишь жалкая тень той юношеской неумности, которую я когда-то любила в нем, которой восхищалась. Мне ничего не оставалось, как думать, что, подобно тому, как повсюду вокруг меня революционные идеалы оборачивались зверствами, так и прометеев огонь, некогда пылавший в душе Виктора, угас, оставив после себя один пепел. Больше того, хотя в тот момент я не могла знать об этом, миру грозил иной террор, ужасней, чем тот, чьих жертв везли повозки по улицам Парижа на казнь. Человек, стоявший передо мной, был его предвестником; он один увидел злой рок, рожденный в лаборатории.

Виктор раздраженно отмахнулся от расспросов о самочувствии. Сказал, что просто еще не оправился от нервного перенапряжения; но его недомогание явно было душевного, а не физического свойства. Лицо его выражало одновременно отчаяние и растерянность. Он как будто нуждался, чтобы его простили – причем за нечто более серьезное, нежели то, в чем я могла бы его обвинить. Мне хотелось вернуть прежние отношения, чтобы узнать правду; но для этого между нами было слишком мало доверия.

Так что я вынуждена была теряться в догадках, день за днем беспомощно взирать на то, как он предается своей тайной скорби, ни с кем не общается. Прокрадываясь ночами к дверям его спальни, я слышала, как он бесконечно ходит по комнате. Ночи его были тревожны, сны беспокойны. Не раз он будил весь дом сдавленным воплем ужаса, будто кто-то душил его в постели. Все слышали его вопль, но он не давал никаких объяснений. Однажды, встав душной ночью, чтобы открыть окно, я испуганно вздрогнула, увидев свет фонаря, движущийся в саду. Вглядевшись внимательней, я различила укутанную в плащ фигуру, крадущуюся среди деревьев. Призрак, облюбовавший наш дом? Нет, это был мужчина, вооруженный шпагой, который шарил в кустах, словно искал кого-то, скрывавшегося в темноте. Я поняла, что это Виктор. Шепотом окликнула его; он обернулся и пристально посмотрел на меня. Его бледное лицо было искажено страхом.

– Элизабет! – ответил он дрожащим голосом, – Если дорожишь своей жизнью, закрой окна! Запри двери! Тебе грозит смертельная опасность.

Затем быстро повернулся и исчез в ночи. На другой день он так и не вышел из своей комнаты.

Наконец, когда я уже подумала, что так долгие не может продолжаться, Виктор не выдержал напряжения, в котором находился. Как когда-то, глубокой ночью он пришел за помощью ко мне. Постучал в дверь моей спальни и, когда я проснулась и спросила, кто это, ответом мне был только хриплый шепот: «Пожалуйста, помоги мне!» Я узнала его голос и тут же открыла; Виктор, шатаясь, шагнул в комнату, упал на колени у моих ног и разразился рвущими душу рыданиями. Ему было так стыдно представать передо мной в таком виде, что он не смел поднять на меня глаз; руки он крепко стиснул на груди, не позволяя себе дотронуться до меня. Даже когда я наклонилась, чтобы поднять его, он отшатнулся.

– Боюсь дотронуться до тебя – сам себе не доверяю. Позволь лишь побыть с тобой. Не могу оставаться один!

– Пожалуйста, – сказала я, – сядь вот тут, у моей постели.

Мне вспомнилась ночь, когда мы были вместе в этой самой комнате, в этой постели. Тогда Виктор ходил во сне и пришел рассказать мне о василиске – первом зловещем знаке того, что Великое Делание потерпит крах. Еще дети в то время, мы тем не менее прильнули друг к другу и всю ночь пролежали обнявшись. Теперь, несмотря на его сопротивление, я в конце концов кое-как сумела усадить его рядом и попыталась успокоить. Стиснув виски,

напрягшись, он говорил о своих мучительных снах и страхах, хотя все его откровения были загадочно смутны; ни разу не указал он на источник этих зловещих предчувствий. Мои осторожные расспросы тоже не смогли проникнуть сквозь стену таинственности, которою он окружил себя.

– Я чувствую себя так, словно раскалываюсь надвое, – признался он, – Вот здесь, внутри меня, будто борются два человека. Часто мои мысли принадлежат не мне, а другому, мрачному, дикому существу, рождающемуся во мне по ночам. Когда иду по коридорам, мне чудится, что Другой прячется за каждым углом; это я... и не я. Иногда возникает ощущение, что я – Виктор – исчезаю в серой, бесцветной области, живой могиле, и Другой, мрачный, занимает мое место здесь, в этом мире. Этим утром мне показалось, что я увидел, как Другой проскользнул в меня в тот момент, когда я проснулся. Он вошел, как дым, мне в рот; он сейчас во мне. Я не смею уснуть, мне страшно, что он выйдет и обрушится на мир. Сестра, я не сделал ничего дурного! Какое бы зло ни совершил Другой... в том нет моей вины.

Это было похоже на бред. Я не поняла, о чем он говорит. Единственное, что я могла, – это сесть поближе к несчастному и пожалеть, успокоить его. Наконец он умоляюще обратился ко мне, и в его голосе звучало такое смирение, какого я никак не ждала в моем Викторе.

– Я опасюсь за свой рассудок, милая сестра. Ради тебя и отца я никогда не взвалю бремя безумия на этот дом, которому уже причинил столько горя. Ты поможешь мне?

– Но как я могу помочь тебе, Виктор, если не знаю, что терзает тебя? Чем я могу облегчить твои страдания?

– Я нуждаюсь в особой помощи, какой не сможешь оказать ни ты, ни врач – кроме одного. Этот единственный человек живет меньше чем в неделе пути от Женевы. Я хочу видеть его.

– И кто этот человек?

– Его имя доктор Месмер.

Такого ответа я не ждала.

– Ты доверяешь тому, кого считают шарлатаном?

– Убежден, что он не шарлатан! Ты должна сама прочесть его научные доклады. Мир опасается таких смелых людей и называет их сумасшедшими или мошенниками. Месмер ни то ни другое. Он заявил, что «больная душа» находится в компетенции медицины; он лечит ее скорее как всякий физический орган, нежели как нематериальную сущность. Я готов довериться ему. Но сейчас я слишком слаб, чтобы самому ехать к нему. – И смущенно добавил: – А еще я боюсь ехать один. Кто-то должен сторожить мой сон.

Я согласилась без малейшего колебания. Виктор, не сдерживая слез, уронил голову мне на грудь и не переставая благодарил меня. От его волнующей близости вся моя бывшая досада и злость на него мгновенно улетучились. Если бы он поднял лицо, я покрыла бы его поцелуями.

* * *

Мне предстояло все подготовить для отъезда. Первое, и самое трудное, было уговорить отца согласиться с нашим намерением.

– Месмер? Но он же шарлатан! – возмутился отец, – Доктор Франклин показал, что этот его животный магнетизм ничем не лучше знахарства.

Но я была во всеоружии и знала, что возразить. Виктор снабдил меня теми самыми статьями, которые давали отцу повод критиковать Месмера, и я тщательно их проштудировала.

– Вы правы, отец; Франклин поставил под сомнение теорию Месмера. На том основании, что ей недостает материального подтверждения. В этом отношении я понимаю ваш скептицизм. Но напомним, что Франклин также осмелился предположить, что месмеризм тем не менее может иметь лечебный эффект, пробуждая силу воображения. Возможно, он

дает некий новый способ лечения. Ибо если болезнь психическая, как в случае Виктора, в чем мы пришли к согласию, не следует ли и лечить ее психическими методами? Там, где мы имеем дело с психическим расстройством, применение методов Месмера может дать положительный результат, даже если ошибиться в причине этого расстройства. Попытаться, безусловно, стоит.

Отец тщательно обдумал мое предложение и в конце концов с неохотой дал разрешение. Предоставив в наше распоряжение свою лучшую карету и лучших возниц, он пожелал нам счастливого пути, хотя и испытывал самые дурные предчувствия. Целью путешествия была крохотная деревушка близ Констанса, Фрауэнфильд, в которой ныне обретался Месмер. Убедившись, что весна освободила от снега дорогу, ведущую на север к Цюриху, мы приготовились на той же неделе отправиться в путь.

Примечание редактора

Научный взгляд на теорию животного магнетизма доктора Месмера

В следующей главе мы имеем редкую возможность услышать из первых уст отчет о деятельности доктора Франца Антона Месмера, данный пациентом наблюдательным и владеющим слогом. Таким образом, воспоминания Элизабет Франкенштейн проливают свет на наиболее трудные вопросы медицинской науки нашего времени.

С конца 1770-х годов, когда Месмер впервые объявил об открытии им животного магнетизма, он упорно расширял область, на которую распространяется его система, пока она из метода медицинской диагностики не превратилась в программу космических масштабов. Существуют, учил доктор, громадные магнитные волны, которые катятся по вселенной подобно волнам в море. Эти излучения, заявлял он, проникают сквозь все, включая человеческое тело и саму его душу. Если воспрепятствовать их свободному прохождению, тело заболит. Но, умело применяя терапию магнетизмом, можно высвободить этот поток и пациент выздоровеет. Магнетизм благотворно действует на все на свете, даже на растения и минералы. Заряжая от лейденской банки больные деревья, можно заставить их зацвести, а пересохшие ручьи – вновь наполниться водой.

Эти гипотезы, необычайно модные в атмосфере эклектики и часто безудержной спекуляции, которая царила в науке конца восемнадцатого столетия, были с тех пор успешно опровергнуты. Но не натурфилософы, а скорее медики вознесли Месмера на вершину славы. Раз за разом он демонстрировал поразительные результаты, исцеляя тех, от кого другие врачи отказывались как от неизлечимых больных. В одном случае, после которого его имя стало знаменитым во всей Европе, он даже вернул зрение слепому. Позже, правда, определили, что его слепота была истерического происхождения, а не вызвана причинами физического свойства. Скомпрометированный и осмеянный, доктор был вынужден покинуть Вену.

Скептики всех направлений, особенно коллеги по медицинской профессии, поспешили объявить Месмера шарлатаном. Это лишь приумножило его славу, что, в свою очередь, еще более разъярило его врагов. Во Франции в самый разгар популярности Месмера была создана королевская комиссия для изучения его постулатов; главой комиссии был доктор Бенджамин Франклин, в то время посол новой Американской республики. Комиссия нанесла сокрушительный удар по Месмеру и его теориям. Она пришла к заключению, что Месмер излечивал не средствами научной медицины, но единственно простым внушением. Слава Месмера в Париже в одночасье померкла, как двадцать лет назад в Вене. Вскоре после казни Людовика, который был его главным защитником, он разумно решил вернуться на родину, в Швейцарию, где люди нескончаемым потоком шли в его клинику за лечением и чтобы увидеть чудеса животного магнетизма. Он оставался практикующим врачом до своей смерти в 1815 году в возрасте восьмидесяти одного года.

История была неблагоприятна к Месмеру; больше того, она способствовала его бесславию. Подобно многим гипотезам о таинственных флюидах и сверхъестественных

эманациях, высказывавшимся в его время, теория животного магнетизма была выброшена на свалку. Даже в практической медицине атомистические гипотезы ныне вытесняют всякую альтернативу. Тем не менее остаются врачи, убежденные, что месмеризм способен помочь при лечении неврастении и разных форм нервного расстройства. Свидетельство Элизабет Франкенштейн особенно интересует тех, кто желает продолжить исследования в этой области. Во-первых, она ответственно утверждает, что состояние гипноза – это реальность; она описывает, как погружалась в него и как оно сказывалось на ее поведении. Она ясно говорит о том, что, загипнотизированная, была способна выполнять команды Месмера, пусть чувственная реакция и была замедленной.

Удивительно, сколь многие возможности человеческого мозга еще остаются неисследованными. Какие злодейства и гений мы обнаружим в тех темных недрах нашей души, куда первым проник Месмер? Будем надеяться, что с ходом нашего рациональнейшего из столетий сия загадочная глубинная область реальности станет наконец свободна от некромантов и знахарей, традиционно опекавших ее, и на смену им придут компетентные медики.

Посещение доктора Месмера

Никогда еще двое, путешествующие вместе, не были столь осторожны друг с другом, как мы с Виктором по дороге во Фрауэнфильд. Всякий, кому случилось бы нечаянно услышать наш разговор в карете, принял бы нас за людей, едва знакомых друг с другом. В те редкие минуты, когда мы нарушали молчание, мы старались не говорить о чем-то личном. Обсуждали философские теории и среди прочего – сущность закона существования жизни и вероятность, что он когда-нибудь будет открыт и понят. Больше всего мы обсуждали странный новый мир животного магнетизма, о котором заявлял Месмер и о котором мне было известно ужасающе мало. К моему удивлению, Виктор и в этой области был таким же знатоком, как в науке об электричестве. Это, конечно, объяснялось тем, что, по его мнению, Месмер и он занимались близкими исследованиями.

– Что, если все формы электричества и магнетизма едины в своей основе? – сказал он с прежним жаром, который мне было радостно вновь видеть в нем. – Разве не обладают обе силы способностью притягивать и отталкивать; и разве обе не могут, как показал Месмер, проникать через прилегающие тела? В тезисах месье Кулона сообщалось о признаке того, что закон обратной пропорциональности может быть применим к ним обоим. Пристли и Кавендиш сходятся во мнении, что это, возможно, стоит специального исследования. Прими во внимание: Месмер только предположил, что магнитная энергия действует на нервную систему так же, как на инертную Природу. Так почему тогда ее нельзя использовать для исцеления душевных болезней?

И, достав карандаш и записную книжку, он принялся объяснять закон Кулона, подкрепляя свои объяснения сложными математическими расчетами, что помогло скоротать несколько часов дороги. Хотя меня эти подсчеты не слишком интересовали, я рада была, что Виктор получил возможность сосредоточиться на предмете нейтральном, никак не связанном с нашими непростыми взаимоотношениями. Я внимательно слушала все, что он рассказывал о животном магнетизме, но сама помалкивала. Я слышала множество фантастических историй о Месмере, которого иные насмешники звали «королем выдумщиков». Другие считали его развратником, ибо, по слухам, в его доме было полно голых пациенток, которых он склонял совершать непристойные вещи. Поэтому женщин предупреждали при посещении клиники Месмера особо петься о своей добродетели.

Я старалась ничем не обнаруживать серьезных опасений, боясь разрушить большие надежды, которые Виктор возлагал на эту поездку, поскольку его состояние ухудшалось на глазах. Временами, впадая в дремоту, он начинал метаться и что-то тревожно бормотать. Ночью, когда карета остановилась, он заставил меня пообещать, что я не оставлю его одного. Пришлось нам выдать себя за супругов, чтобы нас поселили вместе. Но все это требовало от

меня чрезмерных усилий; приходилось сидеть у постели Виктора, охраняя его сон, пока у меня самой веки не начинали неудержимо слипаться. «Он не появится, пока ты тут», – сказал Виктор, имея в виду Другого, который, по его убеждению, таился в нем. С этим воображаемым Другим он разговаривал во сне, мечась в постели, называя его «злодеем», «негодяем» и «дьяволом». В одном из постоялых дворов под Люцерном, где мы остановились на ночевку, Виктор проснулся среди ночи в таком ужасе, что с дикими воплями выскочил из комнаты на галерею, перебудив постояльцев. К тому времени, как мы добрались до жилища Месмера, я не меньше Виктора жаждала, чтобы его хозяин был способен творить чудеса.

– Добро пожаловать! Добро пожаловать, доктор Франкенштейн! Какая честь!

Так нас приветствовал господин, назвавшийся доктором Обюз, старшим ассистентом Месмера; людей такого высоченного роста мне еще не доводилось видеть. Он возвышался над Виктором, а я так вообще чувствовала себя карлицей. Его огромный, торчащий вперед подбородок величиной с добрый арбуз поражал даже при такой гигантской голове. Акцент выдавал в нем датчанина; голос был необычайно масляный, каждое слово словно щедро смазано, чтобы легче и убедительней скользнуть в сознание собеседника. В холле он, посмеиваясь, представился одним из «ангелов» Месмера.

– Так наши пациенты называют ассистентов, веря, что способность исцелять болящих дана нам свыше. Но это, конечно же, не так; она – квинтэссенция достижений науки, чему вы, доктор Франкенштейн, первый отдадите должное.

Виктор наперед списался с Месмером и условился о том, что тот его примет. Обюз велено было встретить нас, как только мы приедем, и проводить в предназначенные для нас комнаты. Виктору предложили отдохнуть перед первым сеансом Месмера. Вечером мы обедали tête-à-tête с самим доктором и его сотрудниками в его апартаментах.

– В один прекрасный день наука врачевания преподаст нам великий урок, – заявил Месмер. – А именно, что дух исцеляет любой недуг. Как говорил мудрый Ювенал: «*Mens sana in corpore sano*»¹. Мы же здесь переиначиваем этот афоризм. Мы здесь стараемся доказать, что *corpus sanum in mentem sanam*². Здоровье тела определяется здоровьем духа. Улавливаете мысль, доктор Франкенштейн? Но разумеется, мы тут занимаемся более широкими проблемами, нежели здоровье человека; животный магнетизм есть частное проявление универсальной силы, благодаря которой существует великий космос.

Месмер был дороден, с тяжелым подбородком и маленьким приплюснутым носом. Хотя он уже разменял шестой десяток, бодрости и энергичности ему было не занимать. По обе стороны от него сидели его неизменные «ангелы», молодые люди, почитавшие его как подлинного адепта и ловящие каждое его слово. Обюз был старшим помощником; остальные представляли все народы Европы, от испанцев до греков, все блестящие собеседники, один прекрасней другого. Обед пролетел незаметно за жарким обсуждением теорий электричества и магнетизма, отвлекши Виктора и тем принеся желанное облегчение. Но прежде чем вечер кончился, он особо подчеркнул главную цель нашего приезда.

– Как бы мне хотелось, доктор, иметь возможность восхищаться вашими исследованиями чисто умозрительно. Но как вы знаете из моего письма, я здесь для того, чтобы стать вашим пациентом, и никогда еще пациент не нуждался в помощи врача больше, чем я.

– Вы и сами проведете исследование, основываясь на собственном опыте, сэр, – отвечал Месмер. – Можно ли найти лучший материал?

Той ночью я осмотрела книжные полки у себя в комнате и обнаружила одну из ранних работ Месмера. Листая страницы, я наткнулась на пространные описания его жизни, где он рассказывал о страсти, с какой занимался натурфилософией. Перед лицом Природы, писал он, «я испытывал лишь одно чувство, чувство неизмеримой любви»; и далее он, подобно поэту, восторгался красотами и чудесами вселенной. Я поняла, что этот морщинистый

¹ «В здоровом теле здоровый дух» (лат.).

² Здоров дух, здорово и тело (лат.).

старик, которого многие считали мошенником, прожил свою жизнь в плену одной великой идеи – идеи «животного магнетизма», так он называл свою трансцендентальную систему, одну из десятков других, созданных со времен Ньютона. Мы жили в век систем: эфирной, корпускулярной, тонких субстанций и сред, вращающихся и пересекающих бесконечную пустоту, – всякая претендовала на открытие Единой Великой Причины, овладение которой сделало бы человека равным Богу. Месмер прожил свою жизнь в поисках ключа к тайне тайн и нашел его – или верил, что нашел. Но сколь жестокими могут сделать людей эти поиски, думала я. Как любовь к истине способна испортить их, особенно когда они считают, что истина рядом, только руку протяни. Тут уж не смей мешать им! Они сорвут с петель небесные врата, чтобы добраться до тайны.

Предадут любимых.

Я читала дальше. Я узнала о мучительном чувстве отчужденности, которое испытывал доктор вследствие непонимания его коллегами учеными. Многие жестоко высмеивали самое для него дорогое – его исследование, ибо научный ум прекрасно обходится без доброты. А потом мне попало несколько трогательных мест, где он признается, что находит утешение лишь в уединенных прогулках на природе. «О Природа, в тяжкий час вопрошал я тебя, чего ты хочешь от меня? И представлял, что нежно обнимаю ее, страстно прося уступить моим желаниям. К счастью, лишь деревья могли быть свидетелями моей мольбы, ибо я наверняка походил тогда на маньяка».

Она, она, она. Еще один мужчина, для которого всеблагая Природа была женщиной, возлюбленной, матерью, – и которую он, однако, не щадил в своих честолюбивых устремлениях. Да, он обхаживал ее, но только ради того, чтобы завоевать.

На другой день Виктор и я приготовились к первому сеансу у Месмера; он был назначен на послеполуденные часы. Доктор Обюз снова был отряжен нам в сопровождающие; но на сей раз, когда мы встретились с ним в холле, он был одет в длинный шелковый халат, под которым, судя по тому, что открывалось нам при ходьбе, похоже, ничего не было. Ведя нас через сад, он продолжил объяснение некоторых особенностей методики доктора.

– Доктор Месмер собирает пациентов в группы по двадцать человек; когда много участников, магнетизация дает больший эффект. Проходящие двухнедельный курс лечения пациенты живут в ближайших гостиницах и ежедневно, кроме пятницы, приходят в клинику. В этот день в виде благотворительности принимают болящих из Констанца. Группы состояются из равного количества новичков и тех, кто проходит лечение не в первый раз; мы также стараемся гармонично сочетать в группах пациентов разной степени восприимчивости к нашему лечению. Задача сеанса заключается в стимулировании конвульсий. Если при вас у кого-нибудь начнутся судороги, пусть вас это не тревожит. Таких поместят в специальную палату, где доктор Месмер сам займется ими.

Совершив круг по саду, мы, ведомые Обюз, возвратились к вилле. В конце коридора были большие двери; он распахнул их, и мы оказались в комнате, окна которой были плотно зашторены и еще закрыты ставнями, чтобы не проникало солнце; горело лишь несколько свечей на стенах, и света едва хватало, чтобы видеть, куда идти. Когда дверь захлопнулась за нами, потребовалось время, чтобы привыкнуть к полумраку. Но я еще до этого поняла, что мне здесь не нравится. В комнате стояла неприятная атмосфера, и не только физически – хотя воздух был словно насыщен нездоровыми испарениями и лип к коже. Он пропитался тяжелым благоуханием розового масла; ковер и шторы источали его, скорее отвратительное, чем приятное, как ароматы, которыми маскируют отвратительные запахи; здесь это была тошнотворная смесь горячего воска, плесени и потных тел. Комнату следовало хорошенько проветрить; я с трудом сдержала желание броситься к окнам и впустить солнечный свет – или извиниться и выйти на улицу, на свежий воздух. Но не успели мои глаза полностью привыкнуть к полутьме, как я почувствовала, что кто-то берет меня за руку. Рядом со мной оказался молодой человек; мило улыбаясь, он повел меня вперед. Я наконец приспособилась к сумраку и скользнула взглядом по его руке, которая была голой, к голым плечам и груди –

пока не поняла, что он совершенно наг. Я посмотрела на Виктора, чтобы обратить его внимание на столь неожиданный поворот, но увидела, что его таким же образом сопровождает приятная молодая особа, обнаженная, как и мой провожатый. Оглянувшись вокруг, я различила и другие обнаженные фигуры, мужские и женские. Они окружили огромную дымящуюся *baquet*¹, которая занимала середину комнаты. Одни уже погрузились в нее, другие, сидя на краю, брызгали на себя, расплескивая воду по полу. Подведя меня к *baquet*, молодой человек принялся расстегивать на мне одежду.

– Нет-нет! Я не хочу принимать в этом участия, – сообщила я ему, вырывая руку. – Я тут только в качестве наблюдательницы.

Молодой человек, изысканно красивый, как я теперь разглядела, в замешательстве посмотрел на доктора Обюз. Тот, слыша мои протесты, подошел и сказал с елейной улыбкой:

– Нет, так нельзя, дорогая. Каждое тело в комнате влияет на магнитную силу. Все должны быть вместе, иначе излучение окажется рассеянным.

– Но зачем нужно раздеваться?

– Вы же не хотите сидеть в ванной одетой? – сказал молодой человек.

– Вы собираетесь усадить меня в ванну? – с изумлением спросила я.

Люди в комнате один за другим занимали место *вbaquet*; женщинам вода была чуть ниже груди. Ассистенты протянули веревку, и каждый старался свободно обвязать ее вокруг верхней части туловища. Виктор, успешно раздетый своей помощницей, покорно стоял, а она медленно и ласково гладила его по груди.

Обратившись к Обюз, я взмолилась:

– Неужели вы имеете в виду, что, если хочу остаться, я должна присоединиться к остальным? Ведь я же не больна!

– Когда речь идет о разуме, человек не всегда знает, поврежден он у него или нет на самом деле, – вежливо уверил он, – Многое скрыто... – Увидев, что я собираюсь оспаривать его утверждение, он закончил примирительно: – Во всяком случае, вам это будет только полезно; даже если вы не больны, ванна освежит вас, придаст бодрости. Уверяю, если присоединитесь к нам, после сеанса ваш магнитный баланс станет более устойчив.

Взгляд Виктора умолял остаться; и я неохотно согласилась, но решительно сказала, что разденусь сама. Заметив, что несколько женщин были в халатах, я попросила и себе такой же. Молодой человек принес халат, и я поспешно нырнула в него, как только остатки одежды упали к моим ногам. Я позволила молодому человеку сложить ее и унести.

Теперь я могла различить кое-какие подробности комнаты. Это была огромная зала с лепным потолком, когда-то явно предназначавшаяся для балов. Стены в промежутках меж высокими зеркалами были покрыты изображениями зодиакальных и масонских знаков. Некоторые ассистенты были в шелковых одеждах, похожих на мантии жрецов некоего древнего культа, и каждый держал в руках два круглых стержня, стеклянный и железный. Обстановка в зале напоминала театральную, словно вот-вот должен был начаться какой-то спектакль. Но кто же зрители? Наверно, те звери, чьи головы висели на стенах, не сводя с нас стеклянных глаз.

Доктор Обюз направился ко мне и сел рядом на низенькую скамеечку; полы его одеяния поднялись, открывая мускулистые ноги.

– Если позволите, – сказал он, распахивая на мне халат и кладя ладони на грудь.

– Что это вы делаете? – вздрогнула я.

– Как вы только что видели, такой же процедуре подвергся доктор Франкенштейн – необходимо оживить телесные магнитные токи. Эта часть тела известна как «грудной полюс». Он окружает сердце и является сильнейшим магнитным центром организма. Моя задача так обработать эту область, чтобы она испускала максимум энергии в *baquet* – Видя, что мне неприятны его действия, он пустился просвещать меня дальше: – Дорогая, позвольте мне объяснить наши методы. Доктор Месмер открыл, что существует естественное сходство

¹ Ванна (фр.).

между сексуальным влечением и магнитным притяжением; последнее, возможно, есть сильнейшее органическое проявление первого. По этой причине мы стремимся, совершенно откровенно, к тому, чтобы пациенты достигли в ванной состояния сильнейшего сексуального возбуждения. Мы помогаем пациентам разбиться на пары, мужчина и женщина *vis-à-vis*, и открыто испытать это чувство. Уверяю вас, все делается во имя науки и высокой медицины.

Он улыбнулся и предложил продолжить. Несколько минут он растирал мне груди. Одной его огромной лапищи хватало на обе, но по крайней мере он массировал их нежно, даже более чем нежно – умиротворяюще. Скоро я и в самом деле ощутила, как всю меня охватил необычный жар, что мне очень не понравилось.

– Вижу, вы ощущаете эффект, – заметил он. – Уверен, лечение прекрасно подействует на вас.

Я была не столь оптимистична и даже испытывала противоположное чувство. Царившая в зале атмосфера разврата и нравственного разложения вряд ли могла способствовать выздоровлению. Я изучала остальных, с которыми предстояло вместе участвовать в этом странном лечебном сеансе. Мужчины (за исключением Виктора) все были дряхлые: в оспинах, морщинистые, с тучными или согбенными телами. Со всех сторон слышался кашель или дыхание с присвистом; одного дрожащего мелкой дрожью старика, бывшего, казалось, в полубессознательном состоянии, явно мучили газы. В отличие от мужчин, женщины, на которых, как я заметила, мужчины украдкой бросали похотливые взгляды, все как одна были молоды и очень недурны; они вовсе не выглядели больными – хотя две дамы, казалось, вышли из ума. Они сидели на краю ванны, оглаживая друг дружке плечи и грудь, и смутно и бессвязно постанывали. Наверное, предположила я, перевозбудились. Другая женщина, усевшаяся на краю ванны, позволяла ассистенту делать массаж, ничем не походивший на медицинский; мало того, она непристойно хихикала и поощряла его. У меня возникло подозрение, что все самое худшее, что я слышала о месмеризме, может оказаться правдой.

И тут заиграла музыка.

Неожиданно дом огласился совершенно неземными звуками, загадочными, вибрирующими, которые пронзали сознание и тело, как стрелы. Иногда как будто едва уловимо слышался человеческий дискант, взлетающий потом в высь, недостижимую и птице. А мелодия! Небесная! Может, спрашивала я себя, это музыка сфер?

– Стекло́нная гармоника, – сказал Обюэ, словно прочитав мои мысли, – Доктор Месмер усовершенствовал ее, чтобы использовать в медицинских целях. Невероятная музыка, да? Ее сочинил для доктора Месмера молодой Амадей Моцарт. Она регулярно после полудня звучит в нашем святилище. Иногда доктор исполняет ее самолично. Впивайте ее, как нектар для души. Пусть она уносит вас далеко-далеко.

Призрачные звуки гармоники удивительным образом действовали на меня, как и на всех в зале. Душа унеслась в бескрайние темные пределы, словно плыла в бесконечности космоса. Неожиданно пришло ощущение полного покоя, свободы от всех забот, и когда меня попросили занять место в ванной, я повиновалась без малейшего колебания. Хотелось одного, чтобы меня не трогали и я могла бы упиваться музыкой, которая теперь словно обрела плоть и была как прикосновение руки, ласкающей тело изнутри. Мне протянули конец веревки и показали, как обернуть ее вокруг груди. И я тут же почувствовала легкое жжение в теле, сладостный жидкий огонь. Подошел ассистент и опустил в воду по бокам от меня свои стержни. Вода забурлила вокруг груди, приятно покалывая соски. Все, кто был в воде, принялись извиваться и стонать – но скорее от удовольствия. Я обнаружила, что тоже постанываю; тело охватил невыносимый жар; полил пот, всю меня трясло. Ассистент переменял положение стержней: теперь он крепко прижал стеклянный стержень мне к спине, а железный так же крепко – между бедер. Покалывающее жжение усилилось, сосредоточившись у основания позвоночника, распространяясь на живот. Я тяжело дышала, словно бежала длинную дистанцию, задыхаясь от охватившего меня ощущения. Женщина слева застонала, все громче и громче, пока стон не превратился в безумный вопль, забиравший в

воде. К ней присоединился мужчина позади меня. Наконец, когда покалывание пронзило меня до самой глубины, я тоже принялась неистово биться. В памяти всплывали картины: Виктор и я, слившиеся в страстных объятиях. Вот возлюбленный входит в меня... и тут я залилась краской, не желая переживать это ощущение на публике. Надо было спастись; я встала в воде и хотела выбраться из ванной, но чувство равновесия отказало мне. Я шатнулась вперед... и оказалась в объятиях молодого человека, помогавшего мне раздеться. Я с мокрым шлепком упала на него и крепко прижалась к нему, содрогаясь от рыданий. А потом мои губы прижались к его губам...

Я находилась где-то в другом месте: в небольшой комнате, где было еще темней, чем в зале с ванной. Я сидела на стуле. Кто-то – я подняла глаза и увидела, что это доктор Обюэ, – придерживал меня, чтобы я не упала. На плечи мне был накинута халат. Тело под ним было еще мокрым. Музыка прекратилась, хотя мне казалось, что я слышу ее отдаленное эхо, плывущее под потолком. Я часто и прерывисто дышала, как бывает после долгого бурного плача. Кто-то приблизился, держа свечу; это был Месмер. Он поставил свечу на стол рядом и уселся напротив меня.

– Ну-с, дитя мое... успокойтесь, – услышала я его голос, бархатный и звучащий словно издали, – Дышите глубже. Вы утомлены. Чувствуете, как сильно вы утомлены? Я здесь для того, чтобы помочь вам обрести покой и отдых.

Он придвинул свой стул ко мне, так что плотно уперся коленями в мои колени. Поднял руку в белой перчатке, которая светилась в полумраке. Я смотрела на светящуюся перчатку, которая несколько раз медленно проплыла у меня перед глазами вверх и вниз.

– Если, дитя мое, вам хочется спать, я это только приветствую. Хотите спать?

– Да, – ответил далекий голос, похожий на мой собственный. Глубокий покой обнял меня, не сон, но что-то похожее на дремоту, сквозь которую я продолжала все слышать.

– Теперь не стесняйтесь, расскажите мне все, что думаете и чувствуете.

Далекий голос ответил за меня, мой голос, но не повинующийся мне:

– Стыд, стыд, стыд!

– Отчего вам стыдно, дитя мое? Оттого что согрешили вот тут? – Его руки скользнули мне под халат и легли на живот, потом передвинулись ниже; он ласково погладил меня кончиками пальцев.

– Нет! – услышала я странный голос. – Здесь! – И правая рука независимо от меня поднялась над головой и пальцы сжались в кулак в неистово-яростном жесте.

– Что это значит, дитя?

– А вот что! – закричала я. Моя рука с силой опустилась на бедро – раз, другой, третий, так что мог появиться синяк.

Месмер схватил мою руку.

– Вы сделаете себе больно, дорогая. Что с вами?

– Убила! Я убила. Я убила Виктора.

– Но Виктор здесь, с вами. Вы вместе приехали ко мне.

– Нет! Виктор лежит мертвый там, где я убила его, – в лесу. Я вонзила в него черный нож. Убила, чтобы он не мог насилловать других женщин.

Неожиданно перед моими глазами возникла сцена, так живо, словно в театре. Я была в лесу темной ночью. Ближе чем на расстоянии вытянутой руки пьяный итальянский солдат с бешенством быка насиловал визжащую девушку. Я подкралась к нему сзади; но, глянув через его плечо, увидела, что у девушки мое лицо! И она, глядя на меня, кричала, взывая о помощи. Я была и под ним, и позади него.

А потом я ударила его ножом – не один, а много раз, пока он не затих, скатился с девушки и распластался рядом с ней на спине. Его лицо, теперь смотрящее вверх, было лицом Виктора.

– Я убила его, и убила бы снова! – услышала я свой крик. – Всех насильников нужно убивать! Женщинам, которых они унизили, нужно давать такое право.

– Все это ваши фантазии, дорогая, – сказал Месмер, – Уверяю, Виктор жив. Он здесь, в

доме.

– Нет, я убила его. Убила потому, что ненавижу! Он вырвал сердце из меня!

Я почувствовала, что меня всю трясет; если бы Обюз не держал меня, я рухнула бы на пол.

– Вы не убийца, дитя мое, – сказал Месмер, – Но эта ужасная фантазия слишком долго владела вами. Пора положить ей конец, поскольку она тягостно действует на сознание. Хотите избавиться от этих страданий?

– Да, о да! – искренне ответила я.

– Тогда раскройте душу и дайте им уйти.

И тут слезы хлынули у меня из глаз, и тело затряслось от рыданий.

Я поразилась тому, сколько горя таилось во мне. Я лишила человека жизни, но теперь поняла, что убила его не чтобы спасти девушку, а чтобы наказать Виктора. Как глубоко должны были таиться эта истина и порожденные ею муки совести! Рыдания мои продолжались долго. Потом послышался успокаивающий голос Месмера:

– Не довольно ли, дитя мое?

– Да, довольно.

– Тогда пора отдохнуть. Можете позволить себе забыться и уснуть. Когда я прикоснусь к вам вот здесь, вы проснетесь. Страдание и все, что с ним связано, уйдут. Вы верите мне?

– Верю.

– Тогда спите спокойно, – Он вытянул руку в перчатке и несколько раз медленно провел ею перед моими глазами, – Спите, пока я не приду за вами.

И я провалилась в сон, как в беспамятство.

Я проснулась от прикосновения ко лбу. Месмер сидел рядом. Я лежала в новой комнате, в шезлонге, укрытая одной простыней.

– Теперь можете проснуться, дорогая, – сказал он.

Мне казалось, что я дремала считанные минуты, но небо за окнами уже темнело. Должно быть, я проспала несколько часов. Подошел один из ассистентов, набросил халат на мои голые плечи и проводил к двери. Выходя за ним следом, я увидела других пациентов, лежавших на кушетках и погруженных в глубокий сон, как я недавно.

Хотя я проспала несколько часов, все мое тело болело, требуя больше отдыха, словно я прошла ужасное физическое испытание. Когда мы вернулись в мою комнату, ассистент помог мне надеть ночную рубашку и загасил свечу. Я уснула без снов, а проснувшись, поняла, что мучительные мои мысли исчезли; я сознавала, что совершила убийство, но не терзалась этим. Женщина тоже может схватить нож, убить и получить удовлетворение от убийства. Пока ярость не разбудила его, я не знала, что во мне может проснуться подобное чувство мести, или подобная жестокость, или подобная жажда крови. Я познала себя через ярость. Нет! Не через ярость, но через поступок, на который подвинула меня ярость. Поступок! Вот что должна совершить женщина, чтобы познать себя.

Так я, самая критически настроенная из посетителей доктора Месмера, к тому же прибывшая не для лечения, оказалась самой восприимчивой к его методам. В последовавшие дни я чувствовала такую легкость на душе, какой не ощущала с девичьих лет; теперь, когда я освободилась от чувства вины за содеянное, сон мой стал спокойным и освежающим, как никогда. Словно из моего тела вынули терновый шип. Целыми днями я гуляла в садах, окружавших виллу, и наслаждалась их красотой.

Но Виктор, который и привез меня к Месмеру, оказался более трудным пациентом. Его лечение потребовало еще нескольких дней, в течение которых он каждый день принимал ванну. Он плохо поддавался магнетизму и судорожной терапии. Однако он прошел несколько сеансов гипноза у Месмера, что, по всей видимости, принесло ему успокоение и избавило от кошмаров, мучивших по ночам. Через две недели, по-прежнему, как я видела, слабый, он заявил, что чувствует себя достаточно хорошо и можно возвращаться в Женеву.

По пути домой мне страстно хотелось облегчить душу перед Виктором, поговорить с ним о ребенке, которого я потеряла – мы потеряли. Если бы я могла выговориться, мое

исцеление было бы полным. Еще больше мне хотелось знать, какой душевный недуг вынудил его отправиться во Фрауэнфельд и насколько успешно удалось его излечить. Но ни он, ни я не могли заставить себя заговорить о подобных вещах. Был момент, когда Виктор робко спросил:

– Ты получала удовольствие от ванной?

– Я бы назвала это не удовольствием, а освобождением. А ты?

– Ни удовольствия, ни освобождения. Но думаю, определенный покой я нашел. Я приезжал затем, чтобы просить доктора Месмера помочь мне забыть кое-что; он показал, каким образом можно добиться этого. Когда я вспоминаю его голос и движение рук у меня перед глазами, я могу упрятать подальше тревожные мысли – как бы убрать их в тайную комнату и запереть там на ключ. И тогда я могу спать.

Больше он ничего не рассказал. Что бы ни узнали мы о себе с помощью странных методов Месмера, откровенней друг с другом мы не стали. Вместо этого мы вновь вернулись к философским предметам. Так, долгие утомительные часы неудобного путешествия домой мы провели, обсуждая последнюю работу профессора Канта о практическом разуме, которую оба прочли взахлеб. Не в этом ли, спрашивала я себя, истинное назначение ученой беседы – отвлечь внимание от всего, о чем мы предпочитаем не говорить? Мы рассуждали о тонких различиях между кантовскими категориями ноуменального и феноменального, а у меня из головы не выходило то, что я усвоила во Фрауэнфельде. Урок, превративший в посмешище всю логику, всю метафизику. Благодаря Месмеру я нашла в себе мужество вызвать в памяти мучительное прошлое, которое предала успокоительному забвению, и твердо взглянуть на него; в противоположность мне, Виктор нашел способ подавлять преследующие его тревожные воспоминания. Но где пребывают эти воспоминания, когда их «забываешь»? Что это за «тайная комната», о которой говорил Виктор? Похоже на то, как будто внутри сознания есть другое сознание: темное, второе сознание, темное, как обратная сторона луны, и там остается все важное, что было в нашей жизни – страхи, стыд, ужас. Если так, какое будущее оно напроорочит власти разума, в которую так страстно верит наш век? Не объясняет ли это, почему так часто самые высокие устремления человечества кончаются крахом?

Я не могла не задаться вот какой мыслью. Среди членов французского комитета, который выносил суждение о деле Месмера и признал его мошенником, было много видных ученых. Великий химик Лавуазье, а также небезызвестный доктор Жозеф Гильотен. Как раз когда мы катили обратно в Женеву, механизм, сделавший имя доктора Гильотена знаменитым во всей Европе, не переставая работал на Плас-де-ля-Конкорд, отделяя умнейшую голову Лавуазье от тела, срезая прекраснейшие цветы века Просвещения. Да и Месмер, не сумей он сбежать от Террора, легко мог стать жертвой этого эффективного инструмента. Возможно ли, чтобы в поисках животного магнетизма этот врачеватель души совершил куда более важное открытие: обнаружил зверя, что прячется во сне Разума?

Примечание редактора

Слухи о сексуальной распущенности, культивировавшейся Месмером, и факты, приведенные в воспоминаниях Элизабет Франкенштейн

С самого начала месмеризм преследовали слухи о разврате. Это было одной из причин, принудивших доктора Месмера с позором покинуть Вену в 1778 году; позже, в Париже, за ним подобным образом утвердилась скандальная слава развратника. Повод к таким слухам дали главным образом женщины, приезжавшие к доктору Месмеру на лечение. Что любопытно: все женщины, которых он соглашался лечить, были, за редким исключением, молоды и привлекательны; в своих трудах он не приводит никого теоретического основания подобного отбора – факт, не могущий не возбуждать подозрения. Многие из этих женщин позже намекали, что, когда они находились под гипнозом, по отношению к ним допускались вольности, в том числе физическое насилие известного рода. В самом деле, во время

типического сеанса Месмера все располагало к этому. Женщин приглашали (хотя не принуждали) раздеться при мужчинах; их подвергали странному расслабляющему воздействию стеклянной гармоник; их уговаривали согласиться на определенные подготовительные процедуры, включавшие в себя стимуляцию эрогенных зон, кои проводил сам Месмер или его неизменно молодые и красивые ассистенты. «Грудной полюс» требует, как им говорили, особенно интенсивной обработки, якобы дабы повысить восприимчивость к магнитному излучению. Что же касается самого магнитного излучения, то тут мы должны поблагодарить Элизабет Франкенштейн за откровенный рассказ о характере его воздействия на человека. Многие молодые женщины, обратившиеся к Месмеру, были или неспособны описать словами ощущение от этих нежных пыток, или, будучи от природы скромны, постеснялись раскрывать подробности. Но как явствует из этих воспоминаний, процедура завершается оргазмом необычайной силы. Даже столь выдержанная женщина, как Элизабет Франкенштейн, не устояла перед подобным эротическим воздействием и бросилась на ближайшего ассистента. Стоит ли в таком случае удивляться, что под влиянием не слишком благородных врачей более простодушные особы в подобных обстоятельствах поддавались обольстительным прелюдиям. Далее, женщинам, перемещенным в «кризисную палату» для индивидуальных процедур – которые Месмер никому не позволял видеть, – проводили мануальную стимуляцию ипохондрической области, особенно яичников и вагины. Процедура часто снова завершалась оргазмом.

Теперь у нас нет оснований сомневаться в том, что подобная непотребная практика имела место. Но остается открытым вопрос, на что были направлены эти процедуры. Было ли целью гипнотизера гнусное совращение? Или в его методике скрывался некий глубокий смысл? Комиссия Франклина в 1784 году чрезвычайно скептически отнеслась к методам Месмера. Она поставила под вопрос его моральный облик и недвусмысленно предупредила женщин не иметь дела со сторонниками животного магнетизма. Впрочем, на мнение комиссии повлиял главным образом тот факт, что она не смогла найти никакого эмпирического подтверждения существования животного магнетизма, и потому был сделан убийственный вывод: деятельность Месмера следует признать мошеннической и безнравственной. Исходя из твердо установленных медицинских фактов, говорящих о том, что нервная система женщин более возбудима по сравнению с мужской, у них более богатое и живое воображение, они более чувствительны к прикосновению и вообще эмоционально неустойчивы, комиссия заключила, что главной целью Месмера было посягательство на женское целомудрие под видом оказания медицинской помощи.

Однако рассказ Элизабет Франкенштейн позволяет нам, живущим в более либеральные времена, взглянуть на Месмера с иной, менее строгой, но не менее обоснованной точки зрения. В ее случае мы видим, что оргиастическая вспышка бесспорно имела благотворное эмоциональное последствие: женщина смогла извлечь из памяти невыносимо мучительный ирреальный эпизод. Воспоминание, так сказать, вырвалось из-под жесткого давления самоконтроля, от природы свойственного женскому характеру. Это позволило Месмеру определить, что жестокое убийство, в котором Элизабет Франкенштейн призналась под гипнозом, – лишь фантазия, глубоко связанная с ее неудачным сексуальным опытом в прошлом. Возможно ли тогда, что Месмеру, пусть случайно, удалось совершить важное открытие в области женской психологии? То есть, что у женщины, как выразилась Элизабет, «внутри сознания есть другое сознание»? Возникает вопрос: значит, женщина, с ее врожденной стыдливостью, от которой мужчина свободен, может избавиться от определенных психических расстройств, связанных с сексуальными отношениями, единственно лишь посредством мощного, даже истерического эротического выброса? В подобных случаях чувство стыда, которое обычно защищает приличную женщину от бесчестия, временно должно приглушаться, хотя, разумеется, под тщательным контролем профессионального врача.

Сколь ни отвратительной такая практика может показаться неспециалисту, врач должен лишь с интересом встречать любую психотерапевтическую методику, позволяющую

излечивать эмоциональную неустойчивость. Трудно представить, чтобы подобные приемы подходили мужчинам, которые обычно не подавляют своего полового инстинкта. Тем не менее, даже если Месмер лишь открыл путь трезвым ученым в *terra incognita* женской сексуальности, можно считать, что он оставил значительный след в истории медицины.

Внезапный отъезд Виктора

Летом после своего выздоровления Виктор вернулся к старой привычке бродить по горам. По мере того как он набирался сил, он отваживался уходить все дальше от замка, часто по несколько дней не возвращался домой, ночуя под звездами. Первое время я боялась, что подобные вылазки будут слишком обременительны для его не вполне окрепшего организма; но душа моя успокоилась, когда я увидела, как благотворно они действуют на него. Он вновь обрел прежнюю энергичность и цвет лица и добирался до крутых склонов Мон-Салэв, а то и дальше, до ущелья, по которому бежала Арвэ, где иногда мог оставаться по две недели. Он находил утешение в этих знакомых местах, среди ностальгических пейзажей, напоминавших ему о беспечном, веселом детстве. В самом шепоте ветерка ему слышался голос матери. Он вновь бродил по разрушенным замкам и давно покинутым монастырям, чьи печальные руины рождали в его воображении романтические картины. И я, видя его в приподнятом настроении, испытывала облегчение. Он возвращался, бодрый телом и духом, и я тогда вспоминала те прекрасные дни, когда он впервые покорила меня своей страстной натурой.

Ужасный и величественный лик Природы всегда настраивал Виктора на торжественный лад, заставляя забывать о преходящих тревожениях жизни, а теперь еще больше, чем всегда, – хотя для меня осталось неясным его объяснение этой новообретенной торжественности:

– Когда я бываю там, на вершине мира, сами небеса говорят со мной о Всемогуществе. И я перестаю страшиться. Почему я должен трепетать перед каким бы то ни было существом, пусть нечеловечески чудовищным, когда понимаю, как ничтожна его власть рядом с той, что правит стихиями?

Он седлал коня и отправлялся еще дальше через горные перевалы в Шамони, особенно любя пользоваться гостеприимством пастухов, чьи грубые хижины, лепившиеся кое-как на ледяных склонах, встречались за каждым поворотом тропы. «Эти простые люди, – говорил он, – словно другой породы. Им не нужны ни наша дружба, ни отношения с нами, а меньше всего одобрение нашего развращенного племени. Как я им завидую и как ими восхищаюсь!» Хотя и диковатые, горцы встречали незнакомцев с неизменным радушием, предоставляя им кров и пищу, ибо путники часто бывали первыми, кто рассказывал о том, что творится в цивилизованном мире. Некоторые ничего не слыхали ни о войнах, ни о революциях, сотрясавших Европу; кровь, рекою текшая по улицам Парижа, идеи Справедливости и Свободы, волновавшие наши умы, заботили их меньше, чем поиски ягненка, заблудившегося среди скал. Такая духовная девственность действовала на Виктора как тонизирующее средство. Хотя я постоянно тревожилась за него, сколько бы он ни отсутствовал, я тем не менее одобряла эти его вылазки. Приятно было видеть, как жизнь вновь бурлит в нем, словно поток, с весной освободившийся ото льда. И наконец наступил момент, которого я ждала с таким нетерпением, когда Виктор раскрыл сердце и заговорил со мной о своей любви – сперва робко, словно боясь оскорбить меня своим чувством, но потом смелей, когда увидел, как жадно я ловлю его слова. И тогда он предложил сыграть свадьбу летом. И я, конечно, согласилась.

Все последующие дни, казалось, сам воздух пел, когда я хлопотала по хозяйству. Я воспряла не только от нахлынувшего счастья; сделав мне предложение, Виктор наконец дал мне возможность показать, что он заслужил полное мое прощение. Я хотела, чтобы он знал: его грубая оплошность, положившая конец нашей юной близости, давно забыта мною. Я радовалась, видя, как исчезает тень вины с его лица. Мы сознавали, что предстоящая

женитьба не вернет того дивного блаженства, какое мы однажды испытали, что она не будет той женитьбой, какой желала нам наша матушка, – браком на небесах. Но это будет брак двух сердец, желанный и прочный. И этого достаточно.

Я хотела, чтобы первой, кроме семьи, о моем счастье узнала Франсина; я послала ей письмо, умоляя приехать, как только сможет. Оно попало ей в руки лишь после ее возвращения с Шарлем из поездки по приходам. Но между отправкой письма и его получением мир может перевернуться; так случилось и в этот раз. К тому времени, когда Франсина собралась в дорогу, все мои надежды рухнули и их осколки лежали у моих ног. Ничего не оставалось, как с тяжелым сердцем сообщить ей: свадьба не состоится. Несчастье обрушилось на меня, словно слепая ярость Природы, гром или буря, которая разрушает, но не дает объяснений.

Виктор уехал далеко, к самому Монтанверу; его не было почти три недели, срок действительно достаточно большой, чтобы я начала тревожиться. Я не могла и вообразить, что его возвращение принесет что-нибудь, кроме радости; но оно принесло растерянность и боль. Ибо Виктор возвратился крайне взволнованным. Я не видела на нем никаких следов ран, но, судя по его виду, с ним случилась беда. Лицо осунувшееся, горящее лихорадочным румянцем, движения порывистые. Соскочив с коня у переднего крыльца, он, никого не замечая, бросился в свою комнату и заперся там.

Когда он появился на следующий день, я заметила следы слез на его лице, но выглядел он скорее гневным, чем печальным. Я спросила, уж не пришлось ли ему спастись от дикого зверя или от лавины?

– Да, да... от лавины, – ответил он с яростным смешком, – Она едва не смела меня с горы. Разве не видишь? Я просто раздавлен.

Но он явно не пострадал. Я снова и снова пыталась узнать, что произошло, но моя озабоченность лишь еще больше злила его. Два дня он только и делал, что ходил раздраженный по саду, избегая говорить со мной. Наконец на третье утро после возвращения, за завтраком, он вдруг объявил:

– Я должен уехать!

Он бросил нам эти слова, будто ждал, что мы начнем его отговаривать.

– Не могу сказать, на какой срок или куда я намерен уехать. Но я должен это сделать. Дело чрезвычайной срочности, – Видя наше с отцом замешательство, он смягчился: – Пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чем! – И, готовый расплакаться, выбежал из столовой.

На другой день он начал поспешно собираться, послал одного из слуг за билетом на швейцарский *diligence*, отправляющийся во Франкфурт. Я умоляла по крайней мере сказать, как долго он может отсутствовать.

– Всю осень, – ответил он, – Возможно, дольше. Год, – Зная, что его слова изумят меня, он жестко сказал: – Ты должна доверять мне, когда я говорю, что у меня нет иного выбора, мне необходимо ехать.

Действительно ли он намеревался покинуть меня вот так, не попросив прощения, не выразив сожаления о том, что свадьба откладывается? И отсрочка ли это? Может быть, он бросает меня? Даже если это не так, он был в таком возбуждении, что я боялась надеяться на его благополучное возвращение.

Вновь он требовал, чтобы я доверяла ему; но как я могла доверять человеку, который был на грани помешательства? Целыми днями он ничего не ел, не спал; когда темнело, я видела под его дверью полоску неверного желтого света свечи, горящей далеко за полночь. Стоя в темной галерее у его двери, я слышала его непрекращающиеся шаги, порой сопровождающиеся мучительным стоном. Так стонут не от боли, но от глубочайшего отчаяния. Не раз я робко стучала к нему и спрашивала, не испытывает ли он недомогания, и получала резкую отповедь в ответ на свою заботливость. К тому времени, как приготовления к отъезду закончились, он выглядел изможденным, будто долго скитался в пустыне. Еще раз отец и я попытались уговорить его остаться дома, пока он не наберется сил для поездки, но

он не слушал наших просьб. Только когда отец, употребив весь свой родительский авторитет, потребовал дать хоть какие-то объяснения, он выдал из себя несколько слов:

– Я встретил... в Шамони... человека. Старого знакомого. По чистой случайности. У него есть претензии ко мне, речь идет о давнем долге. Я согласился отправиться с ним и помочь в одном деле. Больше ничего не могу сказать.

Я была уверена, что это лишь импровизация; мне даже стало неловко от явности его лжи. Но барон, поверив сыну на слово, немедленно предложил оплатить его долг, сколь бы велика ни была сумма. Виктор отказался.

– Это долг иного рода, отец. Человек нуждается в моей помощи – как ученого и врача. Кое-кому требуется особое лечение, и ни к кому другому он не может обратиться. Человек отвезет меня к нему. Я исполню свой долг и тогда возвращусь.

– Но куда ты направляешься? – спросила я.

– В Англию, – с неохотой признался он. – Сказать точнее не получится; возможно, на северные острова. Там я должен провести одно исследование, входящее в цель моей поездки. Я попытаюсь написать оттуда.

– Какое сумасбродство со стороны этого человека! – возразил пораженный барон, – Ты наверняка мог бы найти кого-нибудь в Англии, кто вылечил бы его товарища. Почему это должен быть ты?

– Поверь, отец, я спорил с ним целыми днями. Сделал все, что в моих силах! Но он не отпускал меня, пока я не дал торжественной клятвы выполнить его просьбу. Я один владею этой уникальной медицинской методикой.

На рассвете другого дня он уехал, коротко простившись со мной, словно мы расставались на каких-нибудь несколько часов. И не сказал, что свадьба не состоится.

Вновь Виктор оставлял меня в неуверенности относительно времени своего возвращения. Семь лет назад, месяц в месяц, он уехал в Ингольштадт и провел там четыре года жизни, лишь изредка и без особой радости навещаясь домой. Меня поразило, что душевное его состояние в точности повторяло то, в каком он вернулся из университета: те же обреченность и отчаяние терзали его, но теперь к ним примешивалась эта скрытность, заставлявшая предполагать некое преступление. Я невольно решила, что эти два момента в жизни Виктора как-то связаны между собой. Но и отдаленно не представляла, для чего он сейчас направляется на север Англии. Я знала только одно – что он безжалостно покинул меня.

Если бы не Франсина, я наверняка сошла бы с ума в ту долгую, одинокую зиму, последовавшую за отъездом Виктора. Опять лучшей моей подруге пришлось спасти меня, чтобы я не наложила на себя руки. Ей пришлось нелегко, потому что зима в тот год оказалась особенно суровой и дороги из Женевы до Бельрива часто так заносило снегом, что они становились непроезжими. Когда мрак зимнего одиночества навалился на меня всей своей тяжестью, моя дорогая Селеста делала все, что могла, чтобы поддержать меня; но бедняжку саму подтачивала болезнь, и у меня не хватало духу слишком обременять ее. Вынужденная полагаться на себя, я вновь взялась за дневник, который не открывала со времени моего пребывания в глухих лесах много лет назад, и так пережила пору одиночества за разговорами, так сказать, со своими страхами.

Примечание редактора

Отношения Виктора Франкенштейна с чудовищем в свете воспоминаний Элизабет Франкенштейн

Те, кто прочел мою первую повесть, вспомнят, что Виктор Франкенштейн впервые встретился с созданным им чудовищем в Альпах во время продолжительного странствия по горам после своего возвращения из Ингольштадта. В том признании, как оно было продиктовано мне, Франкенштейн передал рассказ чудовища в виде последовательной хроники – в сущности, хроники всей короткой, но полной событиями жизни этого существа.

Тогда мне трудно было поверить, что за время одной встречи чудовище могло поведать столь многое. Из мемуаров Элизабет Франкенштейн с ясностью вытекает, что Виктор и его отвратительное создание провели вместе гораздо больше времени, возможно, несколько дней, расположившись лагерем среди пустынных ледников, окружающих Монтанвер.

Напомню читателю, что эта роковая встреча завершилась требованием взбешенного чудовища создать ему подругу. Если, как я теперь подозреваю, доктор и чудовище провели вместе куда больше времени, споря об этом, становится намного вероятней, что оно могло оказывать давление на Виктора и таким образом вынудить его дать согласие на подобную безумную затею. Записки Элизабет Франкенштейн сохранили для нас нравственные терзания Виктора, весь тот ужас, какой у него вызвало предстоящее создание второго чудовища; они также дают точную хронологию поездки Виктора на шотландские острова, о чем так неясно говорится в первой повести. Время его отсутствия в замке теперь можно установить совершенно определенно: это десять месяцев, с октября 1796 по июль следующего года.

К чести Франкенштейна, он не сдержал обещания, вырванного у него чудовищем, и вместо того, чтобы дать миру еще одно чудовище и тем самым позволить этой паре породить себе подобных, уничтожил противоестественное существо прежде, чем вдохнул в него жизнь. Совершив этот поступок, который, возможно, уберег человечество от зловещей перспективы делить наш мир с новым племенем чудовищ, он тем самым подписал приговор Элизабет Франкенштейн.

Часть четвертая

Таинственный гость

...марта 179...

С этого утра пошел пятый месяц, как Виктор уехал, – и третий, как я получила от него последнее письмо. Я не нахожу себе места от тревоги за него. Пока бураны не замели дороги, сделав невозможным всякое сообщение между соседями, Франсина постоянно была рядом со мной. Теперь я осталась одна в эту худшую из зим.

Я установила для себя строгий распорядок дня, чтобы время не тянулось так медленно. Утром встаю первая в доме, часто еще до рассвета. Зажигаю камин в своей комнате и занимаюсь плетением из соломки, с чего матушка обычно начинала каждый свой день. Я нашла, что это очень успокаивает. Когда в доме начинается движение, спускаюсь вниз, чтобы помочь печь хлеб и кексы и готовить завтрак для отца. Мы садимся за стол вместе и за едой говорим о погоде, о состоянии сада, о домашних делах. Между нами установилась молчаливая договоренность не касаться одного предмета, тяготящего нас; мы делаем вид, будто Виктор тут, не далее чем в соседней комнате. Отцу это дается легче, нежели мне; после последнего приступа время для него почти остановилось. Бывают дни, когда мне кажется, что он совершенно не помнит, как долго отсутствует Виктор. Я завидую тому, что память милосердно оставила его.

Позже утром я читаю. Ничего такого, что требует напряжения ума, ничего гнетущего, ничего тяжелее рассветной дымки. «Удольфские тайны» миссис Радклиф, легковесную книжицу; по мне, она ничуть не страшная. На своем опыте я узнала, что ужас имеет мало отношения к призракам, обитающим в старинных замках и на кладбищах. Настоящий ужас в помыслах человеческих; его внушает черная душа. Приятно проходят часы за «Прогулками одинокого мечтателя» Руссо, когда не подворачивается ничего иного, – это была любимая книга матушки.

Днем, если погода позволяет, работаю в саду, готовясь к весне. Чтобы успокоить бурю в душе, придумала себе занятие. Перенести земляничные грядки на солнечный холмик в

северной части виноградника. Феликс, садовник, предостерегает, что там земляника будет не лучше, чем в прошлом году на прежнем месте. По правде говоря, во все время, что я жила в замке, земляника никогда нас не радовала, хотя грядки постоянно переносили из конца в конец по всему саду. Садовники в ужасе оттого, что я занимаюсь не господским делом, все время подходят, предлагая помощь, но я даю понять, что хочу поработать сама. Конечно, в их глазах это выглядит несообразно ни с какими понятиями, пустым баловством. Зато помогает убить время... убить время. Когда устаю, карабкаюсь на гребень горы, чтобы отдохнуть под огромной ивой, и даже позволяю себе там вздремнуть. Сверху открывается вид на каменистые холмы, разбросанные по волшебной красивой долине, и ручеек, бегущий по мшистому руслу среди холмов к озеру; а дальше крестьянские девушки, разбрасывающие навоз на поля. Но основное мое внимание приковано к извилистой дороге к причалу; по ней, всего вероятней, и возвратится Виктор. Я уже дважды задремывала, и мне снилось, что я просыпаюсь и вижу моего возлюбленного, стоящего с улыбкой надо мною. Я стараюсь оставаться на природе, пока воздух не наливается вечерним холодом и из низин не наползает туман. Алу весь день держится поблизости от меня. Стережет, пока я дремлю. Едет на тачке, когда я возвращаюсь с поля, а ночь проводит на ветке бука под моим окном, словно на страже.

По вечерам после обеда читаю отцу. Он предпочитает политическое меню, хотя от этого у него часто бывает душевное несварение. После мятежа в Женеве он глубоко разочаровался в революции. Я читаю ему замечательное описание событий во Франции, принадлежащее перу мисс Уолстонкрафт, но не говорю, кто автор. Ее проницательность производит на него должное впечатление. Когда сообщаю, что это написала женщина, он изумляется. Принимаюсь читать ее новый памфлет о правах женщин и скоро замечаю у него выражение неодобрения. Он слышал о подвигах мисс Уолстонкрафт; он возмущается этим «дерзким желанием быть наравне с мужчинами – но лишь в самых отвратительных привычках». Бедный отец! Свободомыслящий человек, каким он воображает себя, и вместе с тем взгляды эмансипированной женщины вызывают у него негодование. Как бы он изумился – а вместе с ним все отважные мыслители-мужчины нашего века, – узнай, что пресловутая мисс Уолстонкрафт – всего лишь голос мудрых женщин, которые в течение столетий жили, оттесненные на обочину своей эпохи, собираясь по ночам в лесах и полях, чтобы передавать знания новым поколениям последовательниц, врачевать свои раны и поклоняться своим богам. Как мне хочется поведать ему эту удивительную историю, историю кухарок и горничных в его доме, женщин, работающих на его виноградниках, историю в том числе и его собственной жены, и мою тоже, и сбросить маску. Но как потрясло бы его услышанное – и его драгоценного Вольтера, и гражданина Робеспьера; ибо восстание женщин – катаклизм в сотню раз мощнее, чем Французская революция. Если бы «колдуньи» добились своего, они не только свалили бы правительство. Ни следа не осталось бы от всего того механистического мира, которым так восторгаются господа от Просвещения; и что, может быть, хуже всего, они перевернули б вверх дном супружеские ложа.

Но старый больной человек, уже перенесший крушение своей революционной мечты, не вынесет такого удара; поэтому я утешаю его чтением «Руин империи» Девольнея, книги, которую недавно прислал нам из города месье де Лиль, книготорговец. Отец считает, что это сочинение в высшей степени заслуживает своей славы; язвительность автора звучит для него сладчайшей музыкой. «Это, несомненно, похоронный звон по суеверию, – заявляет он, горячо аплодируя книге, – Ни один плутоватый поп или лицемерный святоша не выдержит столь сокрушительной критики со стороны разума!» Я читаю, пока он не начинает клевать носом, и слуги уводят его в спальню.

Я редко ложусь раньше полуночи и все равно не могу уснуть без помощи лауданума. Боюсь, я злоупотребляю им, но я должна каким-то образом заглушить свои страхи. Когда просыпаюсь утром, голова как в тумане.

Получаю письмо от Франсины. Она сопровождает Шарля, которого послали с важной миссией в недавно освобожденные гугенотские конгрегации во Франции. Молю Бога, чтобы

она скорей возвратилась!

...апреля 179...

Прошлой ночью спала плохо, дважды просыпалась от бешеного лая лис в лесу. Встала при свечах. Утро снова мягкое, серое, туманное. Потом короткий теплый дождь. За завтраком увидела первую малиновку, шустрюю особу, гонявшуюся за алой бабочкой.

Три недели прошло, а еще и половина земляничных грядок не перенесена; стараюсь, как могу, не охладеть к своей затее, но на душе слишком беспокойно. Часто беру с собой какую-нибудь книгу и провожу день за чтением. Мемуары графа Грамона, письма Гёте из Швейцарии. Читаю нехотя; тупо смотрю на страницу, ничего не соображая. Когда одолевает сонливость, с удовольствием засыпаю.

Сегодня, читая графиню де Жанлис, поднимаю глаза от страницы и вижу на дороге одинокую фигуру, которая бредет к нашему поместью. На плечах путника тяжелая кладь. «Виктор!» – кричу про себя и вскакиваю на ноги, чтобы лучше видеть. Но нет... человек останавливается далеко. Останавливается и стоит, шляпа низко надвинута на лоб, ладонь козырьком приставлена к глазам; он медленно оглядывает парк и сад. Кажется, смотрит в мою сторону, долго и внимательно, потом проходит мимо, направляясь к лесу. Алу на ветке надо мной возбужденно щелкает клювом; вижу, что она смотрит ему вслед как-то особенно пристально.

И зачем я записываю этот пустяковый случай?

...апреля 179...

Болит голова, и я долго не встаю. Засыпаю и вновь просыпаюсь: тоскливый день обещает дождь.

Я полна решимости до конца месяца закончить пересадку земляники. Феликс говорит, что кустики должны быть в земле к следующему новолунию. В полдень я уже так наработалась, что в изнеможении падаю под ивой и даже не открываю корзинку с завтраком. Несмотря на изнурительный труд, есть не хочется. Сон смыкает мне веки, но вскоре просыпаюсь, чувствуя взгляд на себе. Взгляд Виктора, я уверена. Оглядываюсь вокруг... и вижу человека далеко у изгороди. Я уверена, это тот же человек, что накануне; он снова стоит, прикрыв глаза ладонью, и пристально разглядывает меня. Теперь я замечаю, что он непомерно высок, думаю, на целую голову выше Виктора. Даже издали могу разобрать его торчащие космы. Нет сомнений, бродяга. Мне становится не по себе, и я решаю вернуться в замок. Человек ближе не подходит, по-прежнему стоит, опершись ногой о жердь изгороди, наблюдая, как я собираю садовый инструмент и направляюсь домой.

В ту ночь я проснулась, услышав крик Виктора рядом с собой в постели, зовущего на помощь. После этого не могу заснуть. Стою у окна. Лунная ночь, мокрый сад; холод пробирает и под накинутым на плечи одеялом, заставляя меня дрожать. Смотрю на огонек, мерцающий на западном склоне гор.

...апреля 179...

Сегодня он снова там, стоит неподвижно, как статуя, у изгороди. Несколько минут наблюдает за мной, потом поворачивается и уходит. Думаю подойти к нему... у меня какое-то необъяснимое предчувствие, что он пришел от Виктора.

Каждый раз, как он появляется, Алу впивается в него глазом и сверлит до тех пор, пока он не уходит.

...апреля 179...

И сегодня...

...апреля 179...

Сегодня опять. Если, когда прихожу, его еще нет на месте, ловлю себя на том, что жду его появления. Он не идет дальше изгороди. Стоит там всегда по четверть часа. Знаю, он изучает меня. У меня холод бежит по спине, когда чувствую на себе его взгляд.

Если сегодня придет, подойду к нему. Нервы напряжены, словно я задумала опасное приключение.

Ложусь поздно, заснуть не удастся. Второй раз прибегаю к помощи моего спасителя и под утро наконец засыпаю.

...апреля 179...

Холодное, сухое, ветреное утро. Плотные клубящиеся тучи, гром вдалеке.

Спешу к своим грядкам, зная, что буду не столько работать, сколько следить за его появлением. Когда он занимает свой обычный пост, выжидаю несколько минут; потом иду через поле к нему. Шагаю быстро, чтобы придать себе решимости. Замечаю, всегда любопытная Алу не следует за мной, а остается на иве. При моем приближении человек уходит. Окликаю его:

– Месье, вы кого-нибудь ищете?

Он останавливается. Вижу его спину, невероятно огромную, широченную и в буграх мышц, как у быка, – таких великанов мне еще не доводилось встречать. Он осторожно оглядывается, следя уголком глаза, как подозрительная дворняжка, не слишком ли близко я подошла. Лица его разглядеть не удастся; он поднял руку к щеке, закрываясь от меня. Сделав еще несколько шагов, останавливаюсь и снова кричу:

– Месье! Вы кого-нибудь ищете?

Он не отвечает; определенно, не отвечает, – но мне явно слышится одно слово: «Виктор». Я уверена – не могу сказать отчего, – что человек принес новости от Виктора, и это понуждает меня, несмотря на страх, сделать еще несколько шагов вперед.

– Вас послал Виктор?

Я наконец подошла на такое расстояние, что могу разглядеть его. Вижу, рука, которой он загораживает лицо, вся в шрамах и, как вся фигура, уродливо скроена. И тут всего на какой-то миг мне приоткрывается его лицо за ладонью... Я застываю на месте и больше не делаю попытки приблизиться.

– Пожалуйста! Можете вы что-то сказать о Викторе?

Он отвечает мне через плечо, голос – низкое, скрежещущее неразборчивое ворчание – мало похож на человеческий. Я не поняла ни единого слова. Под этим предлогом делаю шаг вперед и кричу:

– Я вас не слышу. Вы друг Виктора?

– Его знакомый.

– Можете хоть что-нибудь рассказать мне о нем?

– Нет. Ничего не знаю.

Даже с расстояния изучая незнакомца, не могу сдержать дрожь отвращения. Хотя его лицо открылось мне лишь на какой-то миг, пока он вновь не заслонил его рукой, единственного взгляда достаточно, чтобы почувствовать потрясение. Я вообще не уверена, увидела я лицо или череп, лишенный плоти. Пожелтевшая кожа натянута так туго, что едва прикрывает мышцы и артерии. Не могу представить, в каком еще мире, кроме мира мертвых, мог бы явиться мне этот лик трупа; тем не менее он передо мной, человек с подобным лицом. И Алу нет рядом. Только отчаянное желание узнать, что этому человеку известно о Викторе, удерживает меня на месте, заставляет смотреть на него.

– Пожалуйста, – говорю, когда он поворачивается, чтобы уйти, – не уходите, прошу

вас.

– Вы не захотите, чтобы я подошел ближе, – отвечает он, отвернув лицо, – Со мной произошло несчастье. И сейчас я сильно изуродован, как вы заметили.

Несчастье! Ну конечно. Наверняка попал в огонь и обгорел. Что же я такая дура бессердечная? Я чуть ли не бросилась извиняться.

– Сэр, подождите, пожалуйста, хотя бы минутку! Как вы познакомились с Виктором?

Он не отвечает. Было бы милосердней дать несчастному уйти, но с каждым словом, которым мы обмениваемся, я медленно подхожу ближе, надеясь, что не спугну его. Вижу: одежда его изношена и грязна, башмаки лопнули по швам. Ему явно пришлось хлебнуть горя.

– Вы поселились где-то поблизости? – спрашиваю я.

– Нет, просто иду мимо. Предпочитаю жить в лесу.

Я распространила бы гостеприимство замка и на него, но как я объясню, что пригласила такую личность в наш дом? Усаживаюсь на приступку у изгороди. Не сядет ли он рядом поговорить со мной? Нет, он отходит на несколько шагов и стоит, переминаясь с ноги на ногу.

– Вы наблюдали за мной, – говорю я, – Могу я спросить, зачем?

– Надеюсь, что увижу Виктора, – отвечает он из-под ладони, – Я не хотел пугать вас. Как можете догадаться, я усвоил, что лучше не обращаться к незнакомцам. Уродство всегда вызывает недоверие. Не могли бы вы сказать, когда последний раз получали известие от Виктора?

– В начале года пришло письмо. Оно было датировано декабрем.

– Откуда оно было прислано?

– Из Англии.

– Знаете ли вы, зачем он уехал за границу?

– По неотложному делу. Помочь другу.

– Другу? Сказал ли он, кто этот его друг?

– Нет. Он уехал в большой спешке, ничего не объяснив.

По тому, как он топчется на месте, чувствую его смущение. Хотя он огромен и силен, уродство явно заставляет его стыдиться себя.

– Мне пора, – роняет он наконец.

– Но вы вернетесь? Завтра? Пожалуйста...

– Может быть, – отвечает он и уходит.

Я смотрю, как он шагает по дороге. Отойдя метров на двести, он сворачивает в лес и пропадает из виду.

...мая 179...

Я в поле раньше, чем всегда, молю Бога, чтобы незнакомец вернулся. Уже далеко за полдень, когда он появляется. Он снова останавливается у изгороди. Подхожу, изо всех сил стараясь выглядеть дружелюбной. На сей раз Алу летит через поле и садится над незнакомцем на ветку дерева. Вижу, он, щадя меня, повязал лицо носовым платком. И все равно вздрагиваю, когда вижу его глаза между полями шляпы и платком. Белые глазницы под тяжелым лбом тонут в глубокой тени; из этих, похожих на пещеры, дыр смотрят бесцветные глаза – с такими тяжелыми веками, что ему приходится откидывать голову далеко назад, чтобы видеть меня, – в которых нет ничего человеческого. Это скорее глаза зверя, глядящие с непроницаемым, хищным любопытством.

– Спасибо, что пришли, – говорю я и, собрав все свое мужество, делаю шаг вперед и протягиваю руку, – Меня зовут Элизабет Лавенца.

Он вздрагивает и отступает назад.

– Пожалуйста, не подходите так близко! – просит он, – Я не привык к этому. Вы очень добры, но я давно не касался женской руки.

– Тогда, может, пройдемся? – предлагаю я.

В таком случае не нужно будет смотреть ему в лицо.

Он соглашается и шагает рядом. Мы идем, не выбирая направления, это странное, зловещее существо возвышается надо мной, как родитель над ребенком. Он неуклюже переставляет ноги, тяжело скребя пятками по земле. Несмотря на свою мощь, кажется, что он нетвердо стоит на ногах, как будто ему приходится делать усилие, чтобы сохранить равновесие. Теперь, будучи ближе к нему, я улавливаю смрад, исходящий от него, смрад гниения. Стараюсь не показывать отвращения.

– Откуда вы пришли? – спрашиваю я.

– Издалека.

– А точнее?

– С севера.

– Давно ли знаете Виктора?

– Мы были с ним вместе в Ингольштадте.

– Учились с Виктором в университете?

– Нет. Я помогал ему в работе.

– Что это была за работа?

Вопрос остается без ответа.

– Зачем вы ищете Виктора?

– Он должен мне.

– О! Это легко уладить. Уверена, отец Виктора погасит долг.

Он молчит, и я спрашиваю:

– Вас это устраивает?

– Только Виктор может расплатиться со мной.

Я упорно продолжаю расспрашивать о долге, но он не желает говорить на эту тему. Наконец он так резко поворачивается на пятках, что едва не падает, и быстрыми шагами идет обратно, словно хочет отойти от меня подальше. Вижу, мои расспросы надоели ему. С трудом поспеваю за ним, кричу:

– Я назвала вам свое имя, месье. Могу я узнать ваше?

После долгого молчания он отвечает:

– Я зову себя Адамом.

– Адам... – Жду, что он назовет и фамилию, но ответа нет.

Мы доходим до изгороди, но он продолжает идти дальше, торопясь скрыться в лесу позади нашего поместья.

– Адам! – кричу ему вслед, – Адам, придете завтра?

Он продолжает идти, ничего не отвечая.

Ночь принесла грозу с запада. Небо озаряют пляшущие молнии. Не могу уснуть. Еще раз принимаю лауданум и забываюсь тревожным сном. Впервые за этот год и живее, чем прежде, возвращается кошмарное видение моего рождения. Снова вижу мою бедную мать, умирающую в муках; вновь борюсь, чтобы выйти на волю из тюрьмы ее безжизненного тела. Просыпаюсь, задыхаясь от страха. И кричу: «О боже, кто здесь?» Ибо у кровати, возле себя, вижу смутный силуэт незнакомца, чье лицо тонет во тьме. В руке он держит инструмент, похожий на когтистую лапу. Он склоняется надо мной... Крик застывает у меня в горле; не могу позвать на помощь. Но... все это не наяву; это сон во сне. Он разлетается на кусочки, как картина, нарисованная на стекле. И я внезапно просыпаюсь, вся в поту от ужаса.

Гроза, отшумев над Вуароном, уходит дальше на восток. В спальне никого нет. В эту ночь я больше не уснула.

Разговоры с таинственным гостем

Так началось знакомство, более удивительное, нежели я могла вообразить. Незнакомец по имени Адам почти каждый день приходил туда, где я возилась с земляничными грядками,

всегда прикрыв лицо платком, неразговорчивый. Он лишь отвечал на мои вопросы, да и то так скупно, словно берег отмеренный ему запас слов. Если я спрашивала о чем-то, он и не думал отвечать, молча шел рядом, как дикий, которому невдомек, что разговор – естественное средство общения людей между собой. Тем не менее я упорно продолжала встречаться с ним, ибо во время этих встреч явственно ощущала присутствие Виктора.

Первое время его непреодолимая молчаливость угнетала меня больше, чем его отвратительный вид. Он говорил с трудом, словно, выговаривая слова, испытывал физическую боль столь сильную, что порой мне становилось неловко, оттого что доставляю ему лишние мучения. Однако ясно было, что он вовсе не идиот, но способен прекрасно выразить свои мысли. Больше того, речь его была речью образованного человека, пересыпанной литературными ссылками: на Плутарха, на Цицерона, на «Страдания юного Вертера». Но часто необходимые слова просто не подчинялись ему. Возможно, в результате того, что он называл несчастьем, связь между мозгом и языком была у него до некоторой степени нарушена. Временами эта невольная безъязыкость заставляла его ужасно злиться, не на меня, а на себя. Он раздражался, кривил физиономию, силясь выговорить, что хотел. Странно сказать, в таких случаях я всегда находила нужное ему слово и пыталась подсказать ему. Но он не обращал внимания на мои попытки, и в конце концов мысль добиралась у него до языка.

Вот в один из таких моментов мой таинственный собеседник и проявил недюжинный ум. Я задала ему банальный вопрос о семье, так просто, без всякой задней мысли. Спросила, близко ли живет ли его семья. И он мрачно ответил:

- Как и вы, я во всю жизнь не видел матери.
- Как вы могли узнать, что я сирота? – изумилась я.
- Такие вещи чувствуешь. Они накладывают печать на человека.

Озадаченная его замечанием, я все же обрадовалась, что между нами есть что-то общее.

– Вы правы. Моя мать умерла, давая мне жизнь. А ваш отец? – спросила я то, что обычно спрашивают в таких случаях.

В ответ раздался долгий тихий стон. Потом:

- Я почти не знаю его. Он... он...

И он замолчал, онемев на полуслове, заблудившись в чаще собственных мыслей. Я, наверно, тоже перестала для него существовать, потому что он, похоже, не сознавал моего присутствия и не слышал обращенных к нему слов. Я чувствовала, как закипает в нем ярость оттого, что не удастся настичь ускользающие слова; это было сражение с самим собой. Наконец он резко остановился и, зарывав, начал бить себя по лбу. Я уговаривала его не мучиться так, но все было напрасно. Внезапно он без всяких объяснений свернул с дороги и полез на крутой откос, оставив меня внизу. Я звала его, но он будто не слышал меня. Через мгновение он исчез в сосновом лесу. Я не знала, придет ли он еще.

Я смотрела ему вслед, и тут в голове у меня мелькнуло слово «покинул»! Я знала, именно это он хотел сказать: «Покинул».

Какое чувство, кроме обиды, мог вызвать у меня подобный поступок? Каким бы этот человек, возможно, ни был начитанным, он явно не имел никакого представления об элементарных приличиях. И все же моя досада быстро сменилась состраданием. Я не сомневалась, что столь грубое поведение было результатом пережитого им несчастья. Но как ни оскорбительна была его невежливость, куда больше я боялась, что он не вернется. Но он снова пришел, на другой день, и даже не извинился за вчерашнее. Первое, что он сказал, было «покинул» – слово, которое он не мог найти накануне.

- Мой отец *покинул* меня вскоре после того, как я появился на свет, – выкрикнул он.

– Тогда мы оба круглые сироты, – сказала я, надеясь продолжить вчерашнюю тему. – Я тоже ничего не знаю о своем отце. Он отдал меня цыганке, чтобы та вырастила меня. Я видела его только один раз. Он ускакал на войну и не вернулся.

- А я позже нашел своего.
- Да? Тогда вы счастливее.

– Нет, не счастливцев. Он не признает меня!

– Простите!

– Не стоит извиняться. Мы терпеть друг друга не могли. Мой отец...

Чудовище.

Он с плохо скрытой злобой стиснул и разжал изуродованные кулаки. В такие моменты он пугал меня; способен ли он ударить в слепой ярости, как взбешенный зверь?

– Ведь это так очевидно, – сказала я, стараясь успокоить его, – что ребенок должен чувствовать любовь отца. Ни вы, ни я не изведали такого простого счастья.

– Так лучше. Это делает человека сильным. Я предпочитаю быть независимым и не нуждаться в чьей-то любви.

– Все же я считаю, что мне повезло. Я нашла других, кто любит меня и заботится обо мне.

– Потому что вы так прекрасны! В этом я вам завидую. Как я выгляжу, вы сами видите. Такой, как я, никому не нужен.

– Но это несправедливо. Тут нет вашей вины. Внешность ничего не говорит о характере.

– Вы уверены?

– Конечно. Существует красота души.

– Ха! Ей не сохраниться, когда уродство столь отвратительно. Люди отворачиваются от тебя, не замечают твоей красоты, и она умирает. И тогда остается лишь уродство, на всю жизнь. Оно отравляет самую твою суть. Мы становимся теми, кого все боятся и презирают.

– Нет людей настолько уродливых. *Вы* не таковы.

– Я был создан таким ужасным. Не следовало оставлять мне жизнь. И мой создатель не намеревался этого делать. Я...

Ошибка.

– ...ошибка.

– Бог не допускает ошибок.

– Мой бог допустил! Он создал существо, которое ужасает взор и превращает всех людей в моих врагов.

Я остановилась посреди дороги. День шел к концу, и со снежных вершин потянуло холодом. Мы стояли под остатками ясеня, расколотого молнией; из почерневшей верхушки торчали два сука, как рога дьявола, дабы устрашать преступные души. На одном сидела Алу, как когда-то. Мы много раз проходили этим путем; сожженное дерево служило дальней точкой наших прогулок – здесь, откуда еще виднелись затененные деревьями северные ворота поместья, мы, не сговариваясь, поворачивали обратно. Адам, как обычно, и теперь прикрывал лицо платком.

– *Покажите!* – сказала я, откинув назад голову и глядя на его лицо высоко надо мной, – Снимите платок. Мой взор не ужаснется.

– Ужаснется... если только вы не больше человека.

– Нет! Я была бы недостойна называться человеком, окажись я настолько жестокой, что позволила бы подобному пустяку отвратить меня от вас. Неужели вам никогда не встречался кто-нибудь с доброй душой?

– Был один человек, который отнесся ко мне как к другу.

– Вот видите!

– Он был *слепым*. Слепой посмотрел мне в лицо и назвал другом.

– Но я не слепа. Ну же, Адам! Уберите этот платок. Вам он, может, нужен, но *мне* это не нужно.

Он с умоляющим видом помотал головой, но не сопротивлялся, когда я потянулась, чтобы сорвать платок с его лица.

Я собрала все свои силы на тот случай, если мне вдруг станет плохо, и была готова ничем не показать отвращения, ибо знала, он внимательно следит за мной. Так что, когда платок отлетел в сторону, не я, а он вздрогнул от внезапного испуга; его глаза под тяжелыми

веками зажмурились, как у кошки, когда та пугается, что ее ударят. Лицо под платком оказалось, как я и ожидала, невообразимо ужасным. Достаточно соразмерное, оно напоминало мертвую голову: щеки провалились, провал безгубого рта раскрывался по-рыбьи, обнажая желтые зубы. Сквозь неровную, словно их выдирали горстями, стерню черных волос виднелись сочащиеся болячки, покрывавшие массивный череп. Оттого что нос был небольшим и тонким, остальные части лица казались еще страшней. Но самым необыкновенным было то, что туго натянутая кожа была прочерчена – я заметила это на его лбу, щеках и горле – узором тонких линий: это были аккуратнейшие швы, будто лицо целиком было кропотливо сшито из плоти разного цвета и фактуры.

Если я не отшатнулась с отвращением, то лишь потому, что меня поразило нечто невероятное. Это лицо... Оно было знакомо мне. Я не могла сказать, откуда я его знаю, потому что несомненно не встречала Адама прежде. И все же... Наконец я изумленно воскликнула, чтобы Адам не подумал, что его вид лишил меня дара речи:

– О господи, Адам! Какая же беда могла случиться с тобой, причинив такие страдания? Его голос, когда он ответил, прозвучал почти нежно.

– Бедная Элизабет! Полагаю, с вас достаточно. Если не пожелаете больше видеть меня, не ждите меня завтра.

Он зашагал прочь.

О, пожалуйста. О... пожалуйста!

– Я приду, Адам, – крикнула я вслед.

Что гость рассказал о себе

...июня 179...

Мы встречаемся в давно пустующей пастушьей хижине на краю горного луга, принадлежащего поместью. Я разрешила Адаму жить в ней, а не в лесу, как зверь. У него неприятная манера есть, как дикарь, руками, рассыпая повсюду крошки. Он не употребляет мясного, даже сушеной рыбы. Сыр, виноград, вино он еще возьмет, но только совсем немного. Скупно благодарит за принесенное, но ест, не испытывая никакого удовольствия. Пища, которую он добывает себе сам, немногим отличается от того, чем кормятся животные и чем питалась я во время жизни в лесу: орехи, ягоды, даже дикие травы. Я предлагаю принести что-нибудь из вещей – койку, фонарь, стол и стулья, – но он отказывается от этих даров. В одном углу у него охапка соломы – и лучшего ложа ему не надо. Не принимает он и одежду, которую я предлагаю: кое-что из старого платья Виктора, и ходит такой же растрепанный и немывтый, как в день нашей первой встречи. Он похож на лесного зверя, на короткое время нашедшего пристанище в этой полуразвалюхе. Алу ведет себя с ним странно. Долгое время она держалась от него на расстоянии и, настороженно поднимая голову, не спускала с него пристального взгляда, словно изучая. Со своей стороны, Адам не обращал на нее внимания, даже когда она пролетала над ним, чтобы устроиться у него над головой. А потом однажды он протянул ей орех. Она осторожно подсакала к нему и взяла его, позволив Адаму погладить ее пальцем по шее. После этого случая она садилась с ним рядом, смотрела, поднимая голову, ему в лицо и тихонько ворковала.

Приходя, я никогда не бываю уверена, что застаю его в хижине. Если он там, мы можем просидеть вместе целый час и не обмолвиться ни словом. И все же я никогда не ухожу, чувствуя, что и молчание позволяет мне лучше узнать этого странного человека. Даже к его чудовищному уродству я привыкла и больше не отвожу глаз от его лица. Теперь он при мне сидит, не закрывая лица платком, с непокрытой головой, зная, что не оскорбляет моих чувств своим видом. Удивительно, насколько ужасное – это, по большому счету, просто неожиданное. Я уверяю его, что его вид больше не способен вызвать у меня отвращения, но он продолжает извиняться за то, что мне приходится терпеть его уродство.

Наконец, хотя бы для того, чтобы он перестал дичиться, я решила прямо заговорить о том, что препятствием стояло между нами. Мы сидим на полу хижины, разложив перед собой скромную еду и трапезничая, как давние друзья. Я спрашиваю:

– Вы так и не расскажете мне, что вас так изуродовало?

– Вы действительно хотите знать?

– Хочу.

Он долго думает, прежде чем ответить.

– Я уже говорил, что виной тому несчастный случай. Я расскажу, что это был за «несчастный случай». Это произошло, когда мы с Виктором вместе работали в Ингольштадте. Он никогда не рассказывал об этом исследовании?

– Только однажды. У нас дома собралось множество гостей, и он коротко рассказал о своей работе.

– Что же он рассказал?

Хотя Адам внешне бесстрастен, сразу чувствую, что он с напряженным интересом ждет ответа.

– Он демонстрировал нам некоторые анатомические образцы, которые забальзамировал.

– А что еще?

– Представлял, будто оживляет их.

– И ему не было стыдно? – буквально рычит он.

– Напротив. Он считал это достижением.

– А что те, кто смотрел на это? У них это зрелище не вызвало возмущения?

– Они тоже видели в этом своего рода победу.

Из его груди вырывается стон, заставляя меня вздрогнуть; я отодвигаюсь, боясь, что он не владеет собой. Бия себя по голове, он кричит:

– По какому праву? По какому праву?

Они не заслуживают того, чтобы жить.

– Умоляю, я хотела бы знать, отчего это выводит вас из себя.

– Тогда слушайте и все поймете. Наше сотрудничество было своеобразным. Виктор был начинателем, но без меня он никогда не смог бы осуществить свою работу. Ибо, видите ли, на определенном этапе его исследования перешагнули границы обычного научного интереса. Они стали опасны как для тела, так и для того, что вы называете душой. Виктора всячески уговаривали прекратить эксперименты, но он не мог пойти на это. Его влекло стремление познать тайну власти, которую Провидение в своей мудрости не дало человеку. Я говорю о власти над жизнью и смертью. Ограничься он опытами на низших животных, неразумных тварях, которые могут лишь безмолвно страдать, не спрашивая, на каком основании содеется с ними подобное, уже и это было бы безнравственно. Но в конце концов я стал объектом его любопытства; я стал для него...

Тут он обрывает свою речь и надолго погружается в задумчивое молчание. Я понимаю, что он имеет в виду. *Подопытным животным*. Наконец он возобновляет рассказ, зная, что я его поняла.

– Я один заплатил ужасную цену за его необоснованную самонадеянность. Виктор несет ответственность за то, что вы видите перед собой отвратительное существо. Катастрофа, о которой я говорю, – это ни более ни менее как сама моя жизнь, то, во что я превратился, все мои страдания. Теперь вам должно быть ясно, почему я ненавижу его.

– Но как это произошло?

– Я уже говорил, что Виктор и я работали вместе. Но большую часть своих опытов надо мной он проводил, когда я, к счастью, находился без сознания. Для нас обоих было бы гораздо лучше, оставь он меня в этом состоянии. Я был бы рад, если бы он просто использовал меня, а потом позволил умереть, не выводя из бесчувственного забытья, в котором я находился; и его теперь не мучила бы совесть. Но он решил разбудить меня.

Губы его не шевелятся, но его голос звучит в ушах:

Просил ли я, чтоб Ты меня, Господь,
Из персти Человеком сотворил?
Молил я разве, чтоб меня из тьмы извлек?...¹

– *Вы знаете эти слова?* – изумляется он.

Конечно, я знаю.

– Это Мильтон, – отвечаю. – Слова Адама, обращенные к Богу.

– Да, слова первого Адама. А я второй Адам, сотворенный меньшим богом, запертый в ловушке двойственной природы – человеческой и... неодушевленной вещи. Вы сказали, что знаете эти слова, но можете ли вы знать их истинный смысл? Даже сам поэт не смог бы представить себе ужас пробуждающегося сознания. Как это темное вещество Природы, первичный прах, восстает, чтобы осознать себя, говорить, вопрошать, стремиться! Я, дорогой друг, был человеком, получившим новую жизнь, вырванным из тьмы против воли, ничего не ведающим о том, чем я мог быть прежде, там, тогда, до начала времени. Я пробудился, чтобы обнаружить: я – неудачное творение жестокого бога, своего рода живая игрушка. Я представлял собой хаос полусформированной материи, грубо вытолкнутый в гущу жизни. Но рядом со мною не было матери, которая бы смягчила это жестокое соприкосновение с миром, – ни хотя бы, как в вашем случае, заботливой повитухи, заменившей вам умершую мать. Пробудившись, я оказался совершенно один. Вокруг меня царило смешение тени и звука. И среди этой грохочущей сумятицы мое сознание, несмотря на чуткость ко всем ощущениям, было *tabula rasa*: ничему я не знал имени. Моя собственная рука перед глазами была чуждой и безымянной вещью. Кому она принадлежала, мне или иному существу? Каково ее назначение? Комната, где я стоял, – и которую я даже не мог соотнести с понятием «комнаты», – была зловещей, зияющей пещерой, полной неведомых форм. Двигаясь между ними, я ударялся о предметы обстановки, окружавшие меня. Я шел ощупью, падал; острые углы ранили мою плоть. Только чисто звериные импульсы вспыхивали в глубинах моего сознания. Боль я мог чувствовать – мучительную боль, заставлявшую меня кидаться то в одну, то в другую сторону. Каждый дюйм плоти горел, как открытая рана; голова пылала от лихорадки... и в то же время я продрог до костей. Все тело тряслось, словно в приступе малярии. Движимый каким-то импульсом, мало отличавшимся от примитивного мышечного рефлекса, я искал способа согреть дрожащее тело и закутался в попавшее под руку тряпье. Это мало согрело меня, дрожавшего не столько от холода, сколько от потрясения; зубы стучали, и я не мог унять их клцание. Вам не под силу и отдаленно представить мое тогдашнее состояние; я и сам с трудом вспоминаю его иначе, как дикий хаос ощущений. Самый факт того, что теперь я могу пользоваться словом, служит желанным барьером между мною и тем первоначальным сумбуrom в сознании, когда смысл вещей был для меня ничем не обозначен. Единственные знаки, понятные зверю в глубине нашего мозга, – это свет и тьма. Тьма – это опасность, свет же зовет: «Иди ко мне!» Свет – это тепло и безопасность. Потому я бросился к единственному светлomu пятну в темноте комнаты. В конце коридора я заметил дверь, из-под которой сочился свет дня; я бросился в нее, она открылась в ослепительный дневной мир. Не могу сказать, почему я решил окунуться в этот мельтешащий хаос. Голова кружилась; шатаясь, я побежал, не выбирая направления, но тем не менее бежал, пока силы не оставили меня. Потом... я плохо помню, что было потом; у памяти не было слов, чтобы зафиксировать, что я пережил. Не могу сказать, сколько времени я блуждал: день или месяцы. Само понятие времени для меня еще не существовало. И существует ли оно для скалы или для волны в море? Представляет ли мертвец, сколько времени утекло?

Я внимательно слушаю, ловлю каждое его слово, но плохо понимаю, о чем он ведет речь.

– И вы считаете Виктора виновным в том, что страдаете амнезией?

¹ Джон Мильтон. Потерянный рай. (Пер. Арк. Штейнберга.)

– Амнезия! Но что я должен помнить?
– Я имею в виду вашу прежнюю жизнь, до знакомства с Виктором.
– *Прежнюю...* Вы не понимаете всего ужаса, заключенного для меня в этом слове. *Прежней жизни нет.* Вместе нее тьма, пустота, бездна.
– Вы не можете вспомнить себя, своей семьи?..
– Вспоминать нечего! Я – нечто, находящееся по другую сторону смерти, я отрезан, отключен от памяти. О, как мне объяснить, чтобы вы поняли?
Он погрузился в молчание.
– *Адам... кто вы?* – Вопрос звучит в моих мыслях. Я не произношу его вслух.
– Вы бы хотели знать, кто я? – спрашивает он.
– Да.
Он яростно трет лоб, потом бормочет:
– Тогда скоро узнаете.

...июня 179...

По временам даже ветхая пастушья хижина кажется ему узилищем; он становится беспокоен, стремится на волю, словно боится, что на него могут напасть. Мы устраиваем дальние прогулки в лес, хотя всегда выбираем нехоженые тропинки; Адам научился прятаться от людских глаз. Если приближается путник или мы встречаем пастухов с их отарами, то укрываемся за скалой или деревом, пока они не пройдут и путь снова окажется свободным.

Он знает множество мест, где мы можем проводить целые дни, оставаясь незамеченными; ему нравится водить меня туда, так он проявляет свое гостеприимство. Он приносит мне фрукты, орехи и чистую родниковую воду. Он спрашивает, пойду ли я с ним в место, находящееся в нескольких днях пути отсюда, которое он считает своим настоящим домом, – среди пещер Монтанвера. Отважусь ли я пойти с ним?

...июня 179...

Иногда, когда я с ним, я вновь чувствую близость к сердцу Природы, как во времена моей жизни в лесу. Его присутствие не мешает возвышенным мыслям посещать меня – ибо оно не похоже на человеческое. Я уверена, что он тайком разговаривает с Алу; я видела, как они устремляют сосредоточенный взгляд друг на друга, птица склоняет голову набок, как она делает, прислушиваясь к незнакомому звуку. Видела, как он впивается взглядом в горного козла, стоящего над нами на скале, и тот внимательно смотрит на него. Не потому ли он так неумолимо притягивает меня, что кажется полужверем? Не удивительная ли его невинность меня восхищает? Бесспорно, в нем больше природной неиспорченности, чем во всех говорунах, что мне встречались. Тем не менее иной раз я боюсь, что его необузданность вырвется на волю и тогда мне не совладать с ним. Часто мне приходится напоминать самой себе о тех мгновениях, когда я смотрела в глаза рыси, не зная, чем она ответит.

Этим утром мы встречаемся рано и уходим на целый день; он ведет меня на рудник, где добывался горный хрусталь и откуда виден высящийся вдалеке Монбюе. Некоторое время мы сидим, молча наблюдая за желтыми вспышками молнии над затянутой облаками вершиной. Молчание длится долго, но я знаю, что в голове у него выстраиваются какие-то мысли. Отмечаю про себя, насколько всем своим видом он напоминает этот изломанный пейзаж, где ему, видно, так легко и свободно. Он тоже огромен и уродливо непропорционален, словно скроен из множества первых попавшихся под руку фрагментов. Бывает, я чувствую, что он ежеминутно совершает внутренние усилия, чтобы не распасться на части. Такие каменистые груды часто оставляет после себя прокатившаяся лавина, увлекая вниз обломки скал и ледниковые валуны, которые остаются лежать внизу на века, пока стихии не разглядят их и не покроют почвой и растительностью.

– Вы спрашивали, кто я, – произносит он наконец, – Мне трудно подобрать слова. Но есть другие способы высказаться, – Он достает из внутреннего кармана куртки грязный сверток, – Как вы помните, когда я рассказывал о комнате, где я очнулся и впервые увидел свет, я упомянул о тряпке, в которую завернулся, чтобы согреться. Случайность, как будто, пустяк, но она дала ключ к тайне моего существования. Тряпка оказалась рабочим халатом. Вот он. Спустя несколько дней я обнаружил в одном из карманов кое-какие вещи. Поначалу они казались мне такими же бессмысленными, как весь остальной грязный, бестолковый мир; но какой-то инстинкт подсказал мне оставить их. И со временем они заговорили.

Он разворачивает грязный халат и достает из него пару драных матерчатых перчаток; некогда белые, теперь они все покрыты пятнами. Обращаю внимание, как бережно он обращается с ними, хотя, по мне, они годятся лишь на то, чтобы их выбросить. Вижу, в халате есть еще одна вещь. На мгновение глаза выдают мою панику. Я вздрагиваю, мне кажется, что я вижу там хирургические щипцы. Адам замечает мой страх.

– Да, вы правы. И я, точно так же, как вы, был обезображен при рождении. Это коготь, оставивший на мне свою отметину. Узнаете его, Элизабет?

Предмет совершенно не похож на тот, который, как мне кажется, я видела тогда. Это небольшой узкий нож. Я знаю, как он называется, только потому, что это сказал мне Виктор.

– Полагаю, это скальпель хирурга.

Он кладет скальпель между нами на пол.

– А знаете ли вы, для чего он предназначен?

– Чтобы лечить тело.

– Скажите лучше, чтобы *мучить* тело! – неожиданно рычит он, – Это инструмент злодейства. Позвольте мне поведать мою историю так, как ее не выразят никакие слова.

Он протягивает руку к моей, я гляжу на его ладонь. Вдвое больше моей, она вся покрыта швами и рубцами. Когда мы встретились впервые, я невольно съежилась при виде этой протянутой ко мне пародии на руку. Сейчас я могу смотреть на нее с состраданием. Хотя рука коряво скроена, в ней, несомненно, заключена огромная сила; можно ли надеяться, что она не раздавит мою? Я кладу свои крохотные пальцы на его ладонь; он нежно сжимает их; вот так мы впервые коснулись друг друга.

Элизабет... прекрасная Элизабет!

Я вздрагиваю и краснею до корней волос. Но страха нет. Странное ощущение собственной смелости, опасности, близости – будто трогаешь лапу льва. Я доверилась загадочной силе и жду, что произойдет дальше.

Он прижимает мою ладонь к ножу. Я замечаю небольшую выцветшую татуировку на тыльной стороне его правой руки. Я уже замечала ее прежде, но не приглядывалась к ней. Делаю это сейчас, и сердце у меня холодеет. Татуировка изображает корабельный якорь и под ним надпись: «Мэри Роуз». Я вопросительно поднимаю глаза; но прежде, чем успеваю сообразить, слышу оглушительный гул, как колокольный. Не звук, а давление вибрирующего воздуха со всех сторон. В глазах все расплывается, как при опьянении. Комнатенка начинает кружиться; стены исчезают; я нахожусь в другом помещении, темном, сыром и зловонном. Рука опирается о влажную стену из грубого камня. Вонь такая, что трудно дышать. В центре темного пространства вижу свечи, горящие на железном обруче, подвешенном к потолку. В круге желтого света от свечей стоит человек спиной ко мне. Он углубился в какое-то занятие и не замечает ничего вокруг. Помимо воли приближаюсь к нему: скольжу по каменному полу, влекомая какой-то силой. Увидев, чем он занимается, едва сдерживаю крик. На столе перед ним ужасным видением лежит человек; он гол и недвижим, как труп, его плоть могильного синевато-серого цвета. От тела на столе лишь половина. Под одним плечом нет руки; одна нога заканчивается у колена. Лицо представляет собой лохмотья разлагающейся ткани, отвернутые в сторону, так что виден белый череп. Человек, склонившийся над трупом, занят тем, что натягивает лоскут кожи на обнаженные сухожилия подбородка и шеи. Он очень тщательно подгоняет плоть к костям, подрезает тут и там, подтягивает мышцы, подпиливает кость. Он работает виртуозно, как скульптор,

материалом для которого служит человеческая плоть, но зрелище поражает своей фантастичностью. Хочу закричать: «Прекрати!» Но голоса нет. Отворачиваюсь, чтобы не видеть этот кошмар. Путь мне преграждает другой стол; на нем... Боже милосердный, что это? Груда останков животных, расчлененные звери – и части тел, принадлежащих, как вижу, отнюдь не животным. Куда я попала, на безумную бойню? Бежать, бежать! Бросаюсь к двери, но она заперта. Оборачиваюсь и вижу: человек у стола оторвался от своего занятия. Поднял глаза, словно услышал шум в помещении. Отвожу глаза, не желая видеть его лица...

Смотри! Ты должна это видеть!

Изо всех сил стараюсь не смотреть, прихожу в себя – измученная и дрожащая лежу на груди Адама. Руки под курткой вцепились в него, словно если разожму их, то упаду с огромной высоты. Он старается успокоить меня, но его прикосновение отвратительно. Исходящий от него запах гниения нестерпим. Отодвигаюсь от него. Как ни сдерживаюсь, тошнота подступает к горлу.

– Вот так я узнал о своем происхождении, – говорит Адам, – Найденные вещи поведали. Лезвие, халат. Перчатки рассказали свою историю. И о человеке, который пользовался ими. Я надел их, и мои руки стали теми руками. Прежде чем я обрел дар языка, эти картины заполняли мое сознание.

– Во имя всего святого... кто вы, Адам?

– Лучше спросите, что я такое.

– Тогда что вы такое?

Как вы видели...

– Но я не знаю, что я видела.

– Я...

– Что?

...произведение человеческих рук...

Непонимающе смотрю на него.

– Произведение?..

...а не рожден женщиной.

– Но это невозможно.

Пересиливая себя, беру его руку в свою; переворачиваю, чтобы рассмотреть тыльную сторону. Наколка в виде корабельного якоря.

– Эта татуировка... откуда она у вас?

– Не помню.

– Может, вы когда-то были моряком?

– Никогда не был. Это не моя наколка.

– В таком случае чья же?

– Неужели никак не поймете? – нетерпеливо стонет он. – Рука не моя. Все не мое. Бывает, что вся плоть и жилы моего тела кричат мне голосами других существ, мертвецов, что вновь живут во мне. Эта рука, плечо, палец... мозг. Будто идешь по кладбищу, и из каждой могилы доносятся голоса, выкрикивающие свои имена. Можете вообразить, каково это, узнать, кто ты? Вещь? Артефакт?

– Я правда не могу этого понять.

– *Вы видели!* Не притворяйтесь, что не видели.

– Я видела Виктора... так мне показалось.

Я уже усвоила, что его глаза, как глаза зверей, не обладают выразительностью человеческих. Они способны только на непроницаемый взгляд. И, как в случае со зверями, с огромным сожалением понимаешь, что их чувства должны быть сокрыты от тебя. Если он испытывает боль, должно быть больно и тебе; он этого не покажет. Если он грустит, то и тебе должно быть грустно; слез ты не увидишь. То, что я чувствую сейчас, будучи рядом с ним, – это невыносимая мука.

– Хватит! – кричу я, – Пожалуйста, прекратите!

Услышав мой крик, Алу, которая ждет снаружи, вспархивает и с тревожными воплями

кружит у входа в пещеру. Жгучие слезы слепят глаза, и, выбежав из пещеры и следуя за ней, я едва не срываюсь в пропасть, но Адам оказывается рядом и спасает меня. Крепко держа, он медленно сводит меня вниз по той же тропе, которою мы поднялись к пещере. Весь долгий путь домой мы не обмениваемся ни словом. Только в сумерки мы достигаем поместья. Он останавливается у южных ворот и знаком показывает, чтобы я шла дальше. Желаю ему доброй ночи; он молчит, но его голос следует за мной. Звучит во мне. Звучит во мне, когда возвращаюсь в замок живая и невредимая. Звучит во мне, когда гоню сон, вместо того чтобы уснуть. Вновь и вновь один вопрос: *Можете ли вы по-настоящему любить его?*

...июня 179...

– Можете ли вы по-настоящему любить его?
– Мы помолвлены.
– Разве помолвку нельзя разорвать?
– Наш союз был предreshен еще в детстве.
– Он причинил вам боль.
– Как вы можете это знать?
– Мы оба претерпели от него.
– Я простила его.
– Но не я.
– Умоляю...
– Бесполезно умолять. Я не то, что вы.
– Вы неспособны на милосердие?
– Я прочел ваши книги, где пишется о высоких принципах и благородных чувствах. На многое в них я смотрю как пришелец с иной планеты, который ничего не ведает о ваших стремлениях, ваших страстях. Мой разум как некий бессловесный автомат, который способен подражать вашей умственной деятельности; хотя я изучил столько книг, я меньше крестьянского ребенка понимаю смысл смеха или плача. Я никогда не смеялся, не способен и лить слезы. Но существуют вещи, которым учит сама великая Природа, коренной принцип един для всех живых существ повсюду. «Око за око, зуб за зуб». *Это* мне понятно. Это справедливость зверя. Предупреждаю, не ждите от меня иного понимания, нежели понимание зверя. «Жизнь за жизнь». Суровый закон.

Он говорит, не сводя с меня взгляда. Холодного. Свиристого. Такого взгляда прежде я у него не замечала: бесстрастного взгляда хищного зверя, отслеживающего жертву.

...июня 179...

Станный, поразительный случай. Мы сидим на мшистом уступе скалы; далеко внизу Арвэ с грохотом мчится по тесному ущелью. Пространство перед нами, уходящее к Дендю-Миди, – океан яростных темных туч, клубящихся над горой, и в нем десятками извилистых тропинок между небом и вершиной полыхают молнии. Адам простирает руки, словно может коснуться туч. Мгновение, и я вижу, как на кончиках его пальцев появляется бледный голубой огонь. Призрачное пламя бежит вверх по его рукам и, наконец, охватывает шею, плечи и грудь подобием нимба, окружающим верхнюю часть тела. Смотрю на его лицо, всегда столь холодно-бесстрастное; оно выражает тихий экстаз, иначе не скажешь.

Через несколько секунд он оборачивается ко мне – его лицо сияет голубым светом.

– Это кровь моя, – говорит он.

...июня 179...

– Вас беспокоят мысли о женщине. Могу сказать, напрасно вы волнуетесь.
– Какой женщине?

– Вы беспокоитесь, что Виктор любит другую. Думаете, что, возможно, поэтому он не возвращается так долго.

– Как вы можете знать, что я думаю?

– А разве это не так?

– Так.

– Тут вам нечего бояться. Такой женщины не существует.

– Вы это знаете наверняка?

– Есть женщина... но он нисколько не разделяет ее любви. Даже напротив.

– Что же тогда их связывает?

– Говорю же: вам нечего бояться, что он любит другую. Вся любовь, на которую только способен мужчина, принадлежит вам.

– Кто же тогда та женщина, о которой вы говорите?

– Не спрашивайте меня больше ни о чем. Только верьте тому, что я сказал.

И я верю. Я начинаю убеждаться в сверхъестественных способностях Адама. Наши мысли не секрет друг для друга. Поначалу я чувствовала себя перед ним словно голая, ни одна моя мимолетная мысль не ускользала от него. Но он читает их с таким холодным любопытством, с таким бесстрашием, что я воспринимаю это так же, как взгляд собаки или лошади, которые бы смотрели на меня нагую.

...июня 179...

Сегодня мы бродим у одного из ледников, и мне становится холодно. Адам снимает с себя шкуру серны, в которую одет, и укутывает мне плечи.

– Я не убивал ее, – говорит он, – Я нашел ее уже мертвой и снял с нее шкуру.

Я не протестую. Через несколько шагов он говорит:

– Я никогда не смог бы убить зверя. Это невинные, чистые существа. Только человек подл. Человек способен на убийство. – Он искоса смотрит на меня, – Вы способны убить, Элизабет? Можете вы настолько ненавидеть, что пойдете на убийство?

Он спрашивает лукавым тоном, словно заранее знает ответ.

– Не хочу говорить на эту тему.

– А если представить такую жажду мести, которая утоляется только кровью? – Его голос мрачен, зловещ. Я не смотрю на него, но чувствую на себе его взгляд. – Если представить такое, готовы ли вы из мести убить любимого человека?

Я промолчу, но уверена, он знает ответ.

...июня 179...

Наконец-то весточка от Виктора!

С трудом заставляю руку не дрожать, когда пишу эти строки, так отчаянно борются в груди надежда и страх. Вчера курьер доставил барону письмо. Оно от некоего Томаса Кирвина. Мистер Кирвин пишет из Ирландии, из Гленарма, где он мировой судья. Городок этот расположен на восточном побережье, не очень далеко от Белфаста. Мистер Кирвин сообщает, что Виктор находится у него в ожидании суда. Штормом его лодку прибило к городку, где он нарушил закон и был взят под стражу по обвинению в преступлении, называть которое в письме он не вправе. После ареста Виктора привели к нему на допрос, а затем поместили в городскую тюрьму. Вскоре после этого Виктор тяжело заболел – настолько, что не в состоянии предстать перед судом. Найдя среди бумаг Виктора письмо, обращенное к барону Франкенштейну, мистер Кирвин убедился, что его заключенный не какой-нибудь обыкновенный негодяй; посему он решил написать барону о тяжелом состоянии его сына. Добрый судья настоятельно просит, чтобы послали кого-нибудь из членов семьи, чтобы поддержать Виктора на предстоящем суде, если он вообще достаточно окрепнет, чтобы выдержать подобное испытание.

Уже одна весть, что Виктор жив, доставляет радость; но меня отрезвляет мысль, что больше двух месяцев прошло с тех пор, как было написано это послание. Выздоровел ли он? Состоялся ли суд? И в чем его обвиняли, какой приговор вынесли? Мы не можем ничего узнать, пока не пошлем туда кого-нибудь. Я умоляю отца позволить поехать мне. Но он твердо стоит на том, что должен сам отправиться в долгий путь. Хотя он слаб, но чувствует, что один он обладает необходимым в такой опасной и непредсказуемой ситуации авторитетом. «Возможно, – заявляет он, – придется купить весь городок у этих варваров ирландцев, чтобы спасти голову Виктора – если он еще жив и есть что спасать. А упрутся, приведу войска из британского гарнизона в Белфасте, поскольку у меня есть влияние даже в этом богом забытом уголке мира». И он незамедлительно начинает приготовления к поездке, первым делом отправив морем в Ливерпуль солидный запас золота, могущий ему понадобиться. Все эти хлопоты придают ему бодрости; он помолодел, готовясь к экспедиции, первому дальнему путешествию за последние более чем три года.

Сегодня, встретившись с Адамом, тут же делюсь с ним хорошими новостями. Услышанное не вызывает у него ни удивления, ни удовольствия. Я почти уверена, что он заранее знал, что я расскажу.

– Не могу представить, в каком преступлении обвиняют Виктора, что так долго держат его в тюрьме.

В убийстве.

– В убийстве! Великий боже, неужели тогда ему грозит повешение?!

– Он вернется к вам. В этом преступлении его обвиняют ошибочно.

– А его болезнь?

– Кризис миновал. Он жив, не бойтесь.

Я больше не сомневаюсь в подобной его уверенности. И признаю, что благодаря некому дару ясновидения Адаму известно все, особенно то, что касается Виктора, с которым его связывает нечто непонятное. Но когда я прошу рассказать подробнее о состоянии Виктора, он угрюмо замолкает.

– Вы довольны, что скоро увидите его?

– Мы не встретимся. Во всяком случае, не здесь, – отвечает он.

– После того, как ждали столь долго?

– Я пришел не для того, чтобы встретиться с ним.

– Тогда зачем...

– *Встретиться с вами!*

– Зачем?

Предупредить! Предупредить!

...июля 179...

Миновало три недели, как отец покинул замок. Этим утром получаю от него короткое письмо. Оно отправлено из Кале. Отец пишет, что зафрахтовал пакетбот до ирландского берега и наутро отплывает. Письмо отправлено восемь дней назад. Теперь уж он, верно, на месте; верно, знает, жив ли Виктор. Хотя Адам уверяет, что жив, хотелось бы получить подтверждение от отца.

В наших встречах с Адамом появилось нечто странное, новое. Я знаю, наше знакомство приближается к развязке. Меня это не радует. С Адамом я чувствую себя в безопасности, только когда мы вместе, когда я могу внимательно следить за ним и говорить ему, что у меня на сердце. Хотя мы бываем вместе каждый день, теперь мы говорим меньше... меньше говорим вслух. Мы все меньше нуждаемся в разговоре. С каждой нашей встречей он становится все угрюмей и мрачней. Но и тогда я жажду его общества, ибо он нужен мне как никто и никогда. В нем есть что-то от зверя, но также и от ребенка – он естественней, уязвимей, опасней любого, кого я знаю. Это, конечно, прозвучит странно, но я нахожу, что начинаю испытывать к нему материнское чувство. Мне грезится, что он – мое потерянное

дитя, потому что наконец вспомнила, где я видела это лицо. Уверена, это его жуткое видение явилось мне в день, когда я хоронила в лесу крохотные останки моего нерожденного ребенка; таким моему воспаленному воображению увиделось лицо ребенка, коим наградил меня Виктор.

Сегодня мы сидим на берегу озера, куда мы с Виктором в давнюю пору ходили купаться. Адам лениво бросает в мелкие волны головки фиалок. Никчемное занятие, однако подходящее, чтобы скрасить день.

Я не могу понять тех картин, которые нарисовал передо мною Адам, рассказывая о своей жизни. Не могу понять, что он подразумевает, когда говорит, что он «произведение человеческих рук». Это обстоятельство сокрыто в темной пещере его памяти; я ступила туда лишь однажды. Он обещал, что больше не поведет меня туда, пока я не попрошу о том.

– Почему вы говорите «союз»? – спрашивает он, – Когда речь заходит о браке с Виктором, почему всегда «союз» и никогда «брак»?

– Так говорила матушка.

Матушка?

– Мать Виктора. Моя матушка. Она всегда говорила о союзе. Она верила, что мы с ним будем едины душой.

– Вы желаете этого? Слиться с ним душой?

– Да.

– Даже если он...

Проклят.

– В отличие от вас, у меня нет уверенности в том, что он проклят.

– А если была бы, разделили бы с ним его проклятие?

Он знает мой невысказанный ответ: «Да».

– Тогда вы не помните вашего собственного Священного Писания. То, что Ева разделила проклятие мужа, не принесло ей ничего хорошего. Она не искупила его грех. Скорее, его грех лег и на нее.

– Даже если бы это было так, все равно разделила бы.

– Вы последовали бы за ним и стали утешением ему – даже в муках?

В его голосе слышится нотка подлинной озабоченности, более явной, чем ненависть к Виктору. Он боится за меня.

– Мы связаны друг с другом. Думаю, эта связь возникла в первый же миг нашей встречи. Порвать ее будет стоить мне самой жизни.

Самой вашей жизни.

– А у меня, кто ближе к первому Адаму, чем любой человек с начала времен, – у меня нет подруги, которая разделила бы со мной изгнание. А большего я не прошу, – Затем, придя в ярость, он вопрошает: – Вы считаете отвратительным, что я мечтаю о подруге?

– Нет... – Но бесполезно было отрицать то, что он прочел в моих мыслях.

– Вижу, что считаете. Какой вы ее представляете себе? Да, она будет вида не менее мерзкого, что и я. Потому что какая женщина согласится жить с существом столь отвратительным? Вам противно? Так спросите, как выглядели вам подобные в глазах вашего Бога. Но разве Он не согласился создать женщину для мужчины? Мой создатель не был настолько добр. Меня безвозвратно лишили общества всего живущего.

– Вы знаете, что во мне вы имеете друга, – говорю я, надеясь смягчить его отчаяние, но не тут-то было.

В ярости от прочитанного в моих мыслях отвращения, он придвигает лицо вплотную к моему:

– А теперь представьте себе иную возможность. Если бы в вашей власти было скрасить мое одиночество, пошли бы вы на это? Стали б вы, прекрасная Элизабет...

...мне подругой?

Долгий миг его взгляд, такой холодный и отчужденный, ищет в моих глазах ответ, на который у меня не хватает смелости.

– Ответьте! Если б от этой жертвы зависела жизнь Виктора...

Внезапно мысленно чувствую, как во мне вспыхивает жгучий стыд – его стыд, не мой. Он отворачивает лицо, встает и с мучительным стоном бредет из хижины. Я не зову его обратно, а с болью в сердце смотрю, как он слепо ковыляет по горному пастбищу, пока не скрывается из виду. Но и тогда мне чудится, что я слышу вдалеке его стон.

...июля 179...

– Завтрашний день будет для вас счастливым. – Это первые слова Адама, когда мы встречаемся наутро.

– Почему вы так говорите?

– Скоро узнаете. Завтра, еще до полудня. Мне недолго осталось быть с вами. Мне многое нужно вам сказать, прежде чем мы расстанемся.

Мы находимся у рудника горного хрусталя. Прекрасный солнечный день. Внизу простирается величественное и пустынное море ледника. Над ним пронзают небо *aiguilles*¹, ловя ледяными гранями солнце. Вдали видны снежные клубы низвергающейся лавины; она слишком далеко, и ее грохот не доносится до нас.

– Помните, вчера вы сказали, что готовы разделить судьбу Виктора, даже если он осужден на вечные муки? Это действительно так?

– Да.

– Тогда уделите мне немного внимания.

Он извлекает свой грязный сверток, разворачивает и достает перчатку в пятнах засохшей крови. Он кладет ее на землю между нами, потом тянется к моей руке.

– Я обещал не показывать кошмары, которые хранит моя память, – пока вы не позволите. Теперь я открою вам последнее, что осталось. Вам потребуется мужество; но если мы расстанемся прежде, чем вы узнаете это, то никогда не поймете, зачем я вас разыскал.

Неохотно протягиваю руку. Мгновение он мягко держит ее в своей ладони. Потом опускает голову и касается губами моих пальцев. Невольно сжимаюсь внутренне, но стараюсь не показать своих чувств. Позволяю прижать мою ладонь к перчатке. Вновь вижу выпцветшую наколку. Твердо смотрю ему в глаза и читаю в них скорбь, бесконечную, как бездна, отделяющая нас от звезд. Напрягаю все силы, чтобы не отвести глаз, хотя от усилия начинает кружиться голова. Я что-то хочу сказать... должна что-то сказать, но слова ускользают от меня. Вместо этого слышу его голос, эхом отдающийся в мозгу. Он говорит: *Простите меня*.

А затем моя душа растворяется в его душе.

Пробуждаюсь и слышу замирающее эхо голоса, кричащего не переставая. Моего голоса, жалобного, потрясенного тем, что я увидела. Меня всю трясет, я мокрая от пота, одежда прилипла к дрожащему телу, как после приступа лихорадки. Дышу с трудом, словно только что бежала. И я знаю, что бежала. Однако я нахожусь у себя в комнате, на своей постели!

Надо мной склоняется чье-то лицо. Франсина. Лицо ее печально, но она храбро пытается улыбаться. Она протягивает руку, чтобы убрать волосы с моего лба.

– Тебя нашли в саду, дорогая. Ты бродила по винограднику на северной стороне в таком состоянии, что не могла говорить. Феликс нашел тебя там и привел домой. Что с тобой? Тебе плохо?

– Я была одна? Со мной никого не было?

– Никого, кроме Алу.

– А человека не видели?

– Человека? Почему ты спрашиваешь? – Тень тревоги набежала на ее лицо. – На тебя напали?

– Нет-нет.

1 (Горные) пики (фр.).

– Элизабет, дорогая, скажи мне, что стряслось!
– Почему ты здесь?
– Шарль и я приехали с бароном. У нас для тебя хорошая новость. Виктор вернулся к нам.

Я узнаю о злключениях Виктора

Когда Франсина увидела, что я достаточно соображаю, чтобы понимать ее, то рассказала о том, как Виктор и барон прибыли накануне в Женеву. Оба вышли из швейцарского дилижанса настолько измученные долгой дорогой, что едва держались на ногах. Состояние Виктора было совсем плачевным; он был столь слаб, что не мог в тот же день проделать остаток пути до Бельрива. По этой причине он и отец доехали до Сен-Пьера, где она с Шарлем приютили их на ночь. Там они дождались, пока на другой день за ними прибыла карета.

– Ты найдешь Виктора очень переменившимся. Он напоминает человека, возвратившегося с войны. Ему пришлось пережить тяжкое испытание, о котором он не может рассказать. Но, думаю, и тебе тоже.

В тревоге за Виктора, я отмахнулась от ее заботы обо мне. В любом случае, разве могла я объяснить свое угнетенное состояние? Рассказать об Адаме и о том, что он показал мне? Она решила бы, что я описываю ей кошмар.

– Отведи меня к Виктору, – сказала я, силясь встать с постели.

– Ты еще недостаточно оправилась.

Она была права, но я настаивала, напрягши всю свою волю. Она позвала Шарля, ожидавшего в коридоре, и они вдвоем, можно сказать, вынесли меня на руках из комнаты.

То, что она рассказала мне о Викторе, оказалось правдой. Нездоровая бледность сделала его похожим на измученное привидение. Барон и Селеста сидели у его ложа, она прикладывала охлаждающие компрессы к его лбу и утешала, как могла. Я не была уверена, что человек, пристально глядевший на меня, приближавшуюся к кровати, узнает меня, так безумен был его взгляд. И только когда Виктор произнес мое имя, я поняла, что он в здравом уме.

Несмотря на слабость и путаницу в мыслях, я старалась держаться. Я упала ему на грудь и обняла невероятно исхудавшее тело. Наши слезы говорили за нас; слова были не нужны. Я сжимала его в объятиях, пока его не сморил сон, и отец вывел меня из комнаты. Как только дверь закрылась за нами, он рассказал мне все, что ему было известно о злключениях Виктора.

На обратном пути из Шотландии Виктор попал в шторм, и его отнесло далеко в море. Его носило несколько дней и наконец выбросило на дикий ирландский берег, близ рыбацкой деревушки, в том месте, куда буквально накануне волны вынесли труп задушенного мужчины. Темные, необразованные жители деревни отнеслись с подозрением к чужаку, тем более что вид у него после всех приключений в море был хуже некуда. Виктора схватили и отвели к мистеру Кирвину, судье, и открыто обвинили в убийстве. Измученный Виктор не нашел в себе сил протестовать; вскоре он заболел и несколько недель лежал без всякой помощи в тюрьме, которая не сгодилась бы и для хлева. Там отец и нашел его, добравшись до Гленарма; потребовалась еще не одна неделя, чтобы высвободить Виктора из пут архаичной судебной системы, в которые он попал. Если бы не явное богатство и видное положение барона, Виктор мог бы до сих пор томиться в отвратительной камере, а то и давно был бы отправлен на казнь.

Пока отец рассказывал, я видела, как им овладевает необоримая усталость. На глаза набежала тень, голос стал глухим. Наконец он попросил меня отвести его в его комнату, где он мог бы отдохнуть. Это было больше, чем дорожная усталость путешественника, – груз прожитых лет безжалостно забирал остатки жизненной энергии. Путешествие потребовало от него огромного напряжения, погасило огонь, горевший в нем. Ведя его вверх по

ступенькам, я, как и он, понимала, что это был последний из его подвигов в огромном мире за пределами Женевы; он исчерпал силы, возвращая сына домой. Но не по причине утомления он больше ничего не рассказал о длительной отлучке Виктора. Ему просто нечего было больше рассказывать. Весь их долгий путь домой Виктор избегал говорить о своей экспедиции, заведшей его в Шотландию. Сказал только, что целью ее было проведение эксперимента, рискованного и в конце концов кончившегося неудачей.

Отец повалился на кровать и, казалось, тут же забылся. Но когда я укрыла его и собралась уходить, он выпростал слабую руку из-под одеяла и остановил меня. «Вы должны скорей пожениться, – настойчивым шепотом устало проговорил он, – Опасаюсь, что у него появилась другая привязанность. Не дай ему ускользнуть от тебя».

Бедный отец! Его предположение было одновременно верно и неверно; верно в том смысле, что у моего возлюбленного появилось другое увлечение, некая женщина. Но как ошибочно было думать, что эта женщина могла стать для Виктора предметом любви! Адам был прав, говоря, что женщина – особь женского пола, – беспокоившая меня, была не соперница мне в том, что касалось чувств Виктора. Скорее она была неодушевленным плодом его больной фантазии. Я знала это, потому что видела ее собственными глазами. Адам показал мне ее. Это видение еще стояло передо мною, когда я очнулась там, где Адам оставил меня, на краю поля. Ужас этого видения заставил меня, обезумевшую, бродить по саду, пока Феликс не нашел меня и привел домой.

Лишь уложив отца и вернувшись в свою комнату, я позволила себе мысленно вернуться к тому последнему откровению – прощальному подарку Адама мне. Я настолько измученная упала на кровать, что едва нашла в себе силы дышать. Однако, опустив голову на подушку, я и не уснула, и не могу сказать, что погрузилась в думы. Память помимо воли разворачивала предо мною череду картин, живость коих превышала всякое воображение. С закрытыми глазами, острым мысленным зрением я видела помещение – убогую комнату с неоштукатуренными стенами и соломенной крышей, провалившейся по углам. Оборудование импровизированной лаборатории, разбросанное по комнате, освещенной болезненно-желтым светом единственной висячей масляной лампы. Видела человека, бледного ученого нечестивых наук – Виктора, я точно это знала, – яростно вперившегося в то, что лежало перед ним. Видела на помосте из неструганых досок человеческое тело, связанное по рукам и ногам, или, скорее, грубое его подобие. Картина была схожа с той, что я наблюдала в первом, сродни бреду, видении, которое Адам внушил мне. Но была и разница, которую я сразу уловила. На сей раз труп, лежавший перед ним, был женского пола. Ошибки быть не могло – простертое на столе нагое тело с бесстыдно раскинутыми ногами было все на виду. Может, оттого, что существо принадлежало к одному со мною полу, его незащищенность пронзила меня – и я поспешила уверить себя, что неприглядная эта груда не может быть живым телом. Нет, должно быть, это разлагающиеся останки жертвы какого-нибудь ужасного бедствия. Но отчего Виктор так пристально разглядывает его? Может, он производит аутопсию, и она видит его за этим жутким занятием? Или научное препарирование? Но слишком он для этого яростен. Просто набрасывается на тело, свирепо вонзает скальпель, словно желает убить того, кто уже мертв. Что за отвратительная картина! Я хочу отвернуться, но более сильная воля Адама заставляет наблюдать за происходящим. Мне пришлось смотреть на то, что он видел, смотреть до конца.

А затем, когда лезвие Виктора принялось кромсать внутренние органы трупа с еще большим ожесточением, я увидела... была уверена, что *вижу*... эта груда плоти, женщина на помосте дернулась и стала биться в конвульсиях. Да, я не ошиблась: оно... она... силилась разорвать свои путы. Наверное, подумала я, это какой-то невероятный физиологический рефлекс, последняя судорога умирающей плоти. Но в следующий миг женщина лишила меня этой слабой надежды. Ибо ее глаза вдруг широко раскрылись! Она лежала, в тупом удивлении устремив взгляд в потолок. Потом, что еще ужасней, разинула рот. Не умершая, но очнувшаяся, чтобы умереть, она жалобно завывала в отчаянии, и вой ее перешел в дикий нескончаемый вопль охваченного паникой терзаемого животного. Виктор, не обращая

внимания на вопли, еще бешеной продолжал дело, полосуя и кромсая свою жертву. Если б я могла остановить его, я б это сделала; но мне позволено было лишь наблюдать, как сквозь стеклянную стену. Сомнений не было, он старался уничтожить ту женщину. Вот скальпель глубоко вошел в ее грудь, пытаюсь вырезать сердце. Глухой к ее мучительным воплям, Виктор вращал скальпель внутри тела. И когда наконец понял, что, несмотря на все усилия, не может покончить с ней, запустил пальцы в ее волосы и резко вздернул ей голову. Какой-то, словно застывший, миг они смотрели в глаза друг другу; она от боли оскалила зубы и яростно зашипела. Он, не замечая этого, поднес скальпель к ее горлу и полоснул в последний раз. Даже тогда, когда все было кончено, Адам не позволил мне отвернуться; я должна была пережить еще одно потрясение. Когда безжизненная голова упала на стол, в окне промелькнула вспышка. Я увидела лицо, заглядывающее в комнату: лицо Адама, искаженное гримасой ужаса и муки от увиденного. Разбив кулаками стекло, он просунул руку, чтобы схватить Виктора, но потом убрал ее. Его глаза сверкали ненавистью, он произнес свой приговор, повернулся и исчез в ночи.

Если у меня еще оставались сомнения, зачем Адам вынудил меня быть свидетельницей этой сцены, то в тот миг они развеялись. Все было ясно. Я знала цель, которая привела его ко мне. Я вспомнила слова из своего бреда и поняла, какое жестокое возмездие они предвещают.

Я буду с тобой в твою брачную ночь.

Женитьба

Примечание редактора

О заключительных страницах дневника Элизабет Франкенштейн

Заключительные страницы сих воспоминаний, целиком позаимствованные из дневника Элизабет Франкенштейн, столь необычны и не похожи на предыдущие, что требуют пояснительного слова и, возможно, оправдания их автора.

Как читатель мог заметить, с определенного момента, вскоре после того, как она потеряла ребенка, у автора этих воспоминаний начали появляться отчетливые признаки психической неуравновешенности. Это, вкупе с последующим потрясением от неожиданной встречи с чудовищем, явно не прошло бесследно для ее хрупкого организма. Теперь, когда я пишу эти строки, я понимаю, что остаюсь единственным оставшимся в живых человеком, кто собственными глазами видел это фантастическое существо; никто больше не способен представить всего ужаса, производимого зрелищем столь противоестественным. То, что психика хрупкой юной женщины, которая и без того испытывала нравственные мучения, не выдержала, представляется мне вполне вероятным. Но тогда возникает вопрос, насколько можно считать достоверным то, что она рассказывает о позднем периоде своей жизни? Даже я не могу судить об этом, ибо тут мы имеем дело с потоком сознания, вырвавшегося из границ. Галлюцинации, которыми страдала Элизабет накануне замужества, — это явные симптомы первой стадии помешательства. Да, я учитываю возможность того, что безумие способно порою достигать степени ясновидения. Иначе я не могу объяснить то обстоятельство, что последнее откровение, внушенное Адамом Элизабет через видение, в точности соответствовало тому, о чем поведал мне Франкенштейн. Его рассказ был менее подробен; но что он создал второе существо, женщину, предназначенную в подруги чудовищу, а потом уничтожил ее, — это можно считать непреложным фактом. Но заслуживает ли доверия остальное?

Мне стоило огромных усилий добиться того, чтобы эта последняя часть воспоминаний была как можно понятней; читателю, однако, стоит знать, что это потребовало значительного редакторского вмешательства. Я был бы безмерно рад, если б Элизабет облегчила мне задачу, просто сократив свой рассказ. Если б в ее повести отсутствовала эта последняя часть,

мы лишились бы кое-каких подробностей, зато закончили чтение, имея более благоприятное впечатление о ее авторе. Ибо заключительные страницы демонстрируют усугубление ее психического состояния. Об этом наглядно свидетельствует самый вид рукописи. Почерк становится все более торопливым и нечетким, порою даже не похожим на почерк Элизабет; страницы усеяны кляксами, некоторые вырваны нервной рукой целиком или частично. Что до содержания, то оно представляет собой чуть ли не полный сумбур. Слог повсеместно ужасающе небрежен, она то и дело перескакивает с предмета на предмет или обрывает фразу на середине. Смысл отдельных предложений и целых абзацев загадочен; и наконец, то и дело натыкаешься на чистейшую тарабарщину – смесь отсылок к алхимическим трактатам и Библии, не поддающаяся рациональной трактовке.

От большей части этого жалкого полубреда больной души я избавил читателя, сократив последние страницы мемуаров до нескольких отрывков, где можно проследить хотя бы минимальную последовательность событий. Даже и тогда я оказался перед дилеммой. Я чувствовал себя обязанным сохранить последние слова Элизабет Франкенштейн, написанные ею за несколько мгновений до смерти, хотя они мало о чем свидетельствуют, помимо агонии ее души. Мне бы хотелось, чтобы в памяти читателей остался более привлекательный образ Элизабет Франкенштейн; но моя ответственность как редактора перевесила все иные соображения.

...августа 179...

Итак, свадьба состоится. Потому что этого хочет отец. Потому что думают, я этого хочу. Потому что Виктор не может дольше откладывать ее. Потому что все этого ждут. Потому что на то была воля Адама. Но детей у нас не будет! Клешня не получит моего ребенка!

Сплю беспокойно... на самом деле вообще не сплю. Уж пробил колдовской, полночный час, а я все ворочаюсь в постели. Боюсь увидеть во сне картину, которую Адам впечатал мне в память. Вертятся мысли, вертятся...

...августа 179...

Страшная угроза чудовища не прошла для Виктора бесследно, вид его ужасен, тревога преследует его. Он бродит по дому, как раненое животное, явно страхась всех углов и боясь зайти к себе в комнату. Просыпаясь среди ночи, он дрожит, охваченный то парализующим страхом, то черным отчаянием. Ночь не приносит ему покоя; он мечется в постели, что-то быстро бормочет, мучаясь кошмаром. Вновь его преследуют зловещие видения Другого, и он хочет, чтобы я сидела с ним. И я, сама не в состоянии уснуть, сижу возле него всякий раз, когда его нужно утешить и успокоить.

Мне хочется, чтобы мы стали любовниками и украдкой наслаждались ласками, до брака запретными. Но все, что я могу, это подражать нежности любящей женщины; страсть, с которой я обнимаю его, серьезно скомпрометирована. Хотя он не знает, что мне известна тайна, отравляющая его жизнь. Мне известно преступление, которое тяготит его душу, и это все меняет между нами. От него веет смрадом покойницкой.

Можете ли вы по-настоящему любить его? Вопрос Адама не выходит у меня из головы. Когда-то я со всею искренностью сказала бы: да. Но теперь, всякий раз, как я думаю о Викторе, передо мною встает та сцена, которую Адам показал мне. И я не могу отмахнуться от нее, как от жуткой галлюцинации; собственные страдания Виктора служат мне достаточным доказательством того, что это ужасное событие произошло на самом деле. О чем еще, как не о подобной зверской жестокости, могут говорить эти муки совести? Я не натурфилософ и не могу судить, было ли существо, убитое Виктором, человеком или человекоподобным чудовищем. Достаточно знать, что это существо было подругой Адама, получить которую он так страстно надеялся. Он намеревался удалиться с ней – таким же

«произведением человеческих рук» – в места, не заселенные людьми. Я слышала ее последние жалобные вопли; видела, как она сражалась за жизнь, пока ее смертное тело не было рассечено пополам. Это было сделано на глазах у Адама. Наверное, ни один человеческий закон не осуждает подобное деяние, но есть закон самого человеческого естества; он заставляет нас реагировать самопроизвольным приступом тошноты. По этому закону мое сердце осудило Виктора. Хотя я по-прежнему люблю его, это любовь вопреки тому, что я знаю. Люблю его, зная, что он убийца и, может, еще хуже – враг Природы и ее Создателя.

А у меня, кто ближе к первому Адаму, чем любой человек с начала времен, – у меня нет подруги, которая разделила бы со мной изгнание.

С каждым днем отец все настойчивей торопит нас со свадьбой. Чем больше Виктор колеблется, тем больше отец укрепляется в мысли, что у него появилась другая привязанность. Если б отец знал о моих собственных сомнениях, он не был бы столь настойчив; но я могу приводить в качестве довода единственно заботу о здоровье Виктора. «Вздор! – отвечает отец, – Ничто так благоприятно не подействует на несчастного малого, как свадьба и продолжительное путешествие с молодой женой. Иначе он долго не протянет».

Отец сам угадает, и это сообщает его просьбе безотлагательность последней воли умирающего. Я быстро смиряюсь с тем, что свадьбы не избежать; моя жизнь стремится к этому концу с неотвратимостью потока, мчащегося с горы к морю. Когда Виктор невесело делает мне предложение, я так же невесело отвечаю согласием. Свадьба назначена на последний день августа, через три недели.

Ева, надо думать, была женой Адама *по рождению*. Или ее тайно сочетал с ним Творец? Адам хотя бы просил о ней?

...августа 179...

Утром проливной дождь, затем весь день влажная жара. Спала плохо. Всю ночь мучил вопрос: почему Новый Иерусалим не нуждался ни в солнце, ни в луне? Не хотела бы жить там, где нет ни солнца, ни луны. Ночью, когда весь дом спит, зажигаю свечу и украдкой спускаюсь в библиотеку, чтобы прочитать это место. Там говорится, что город не нуждался в свете солнца или луны, «ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец»¹.

И все же я предпочитаю солнце и луну. Почему нам говорят, что они не нужны нам? Не верю этим словам. Думаю, нас отдадут во власть *sol niger* – черного солнца.

Ньютон верил, что Великое Делание может быть пророческим шифром, скрывающим истинный смысл Священного Писания; а что, если все наоборот? Если Священное Писание есть ключ к Великому Деланию? Может ли кто сказать, какое из предположений – метафора другого?

В доме невообразимая суеда. Странное ощущение... Виктор и я словно живые статуи посреди сцены, на которой разворачивается действие. Вокруг нас идет суматошное приготовление к событию, центром коего будем мы; каждый день принимаем визитеров с поздравлениями; все стараются угадать и исполнить наши желания. Праздник продуман до мелочей, и все собираются повеселиться вволю. Но нас ничто не трогает, ничто. Мы – статуи; мы оба знаем: то, что другим видится как настоящее и воплощенное счастье, может развеяться как дивный сон, не оставив в сердце иного следа, кроме горького сожаления.

Церемония произойдет в замке; совершит ее Шарль. Празднество, которое последует за нею, будет счастливейшим днем для этого печального дома за многие годы. Ради здоровья Виктора отец желает, чтобы мы отправились в долгое путешествие. Отец умирает; он хочет, чтобы нас не было в час его смерти. Он желает нам счастья, а не скорби. Сразу после полудня мы отбываем на пристань, чтобы, переправившись через Женевское озеро, держать путь на виллу на озере Комо, которую отец оставил мне в числе прочего наследства. Нашу брачную ночь мы с Виктором проведем в Эвиане, в гостинице, откуда открывается

¹ Откровение Иоанна Богослова, 21, 23.

величественный вид и на отроги Юры, и на Монблан.

С каждой ночью я сплю все беспокойней. Даже не сплю, а лежу в каком-то полузабытьи. Лауданум больше не помогает; мне слышатся звуки... странный гром где-то за горами...

...августа 179...

Спала дурно. Ветреный, прохладный день. Ночью вновь слышался шум. Не просто шум – беспорядочный грохот, похожий на грохот пушек; но никаких слухов о том, чтобы поблизости шли бои. Шум поднял меня с постели в поисках его причины. Кажется, что он раздается с неба. Гляжу в окно, но в природе все тихо, даже ветерка нет. За завтраком спрашиваю, слышали ль другие; все говорят, что не слышали.

Этим утром неприятный запах в воздухе: будто ламповая гарь, только резче, – и снаружи чувствуется сильнее, нежели в доме. Наверное, горят камфарные деревья...

...августа 179...

Встаю поздно, чувствую себя разбитой, словно бродила с сумерек до рассвета.

Ночью вновь не смогла уснуть. Голова беспрестанно кружилась. *Если б время было рекой, не уносило б оно нас с большей легкостью вперед, нежели назад?* Не знаю, зачем трачу время на подобные мысли.

И опять ужасный грохот, словно что-то свалилось с неба на крышу... скрежещущий звук металла, как сотни плотницких пил, только с невероятно огромными зубьями. Если б металл мог кричать, то, наверное, кричал бы таким голосом. Железным голосом. Подхожу к окну, смотрю. Звезд нет. Вместо них числа. Все небо исписано сияющими числами.

Если б время было рекой...

«Книга природы написана числами», как сказал отец. Но звезды куда красивей.

Слышу, часы в замке проббили дважды: раз и, в отдалении, второй. Возвращаюсь в спальню, ложусь и начинаю плакать, зная, что звезды отняли навсегда.

Я должна попытаться

...¹

...августа 179...

Виктор вернул мне миниатюру с моим портретом, который матушка нарисовала на смертном одре. «Я хочу изобразить тебя гордой и сильной, – сказала она, – женщиной независимой, хозяйкой самой себе».

Думаю, матушка была пророчицей. Думаю, она увидела смерть мира.

Я больше не та женщина, какой она видела меня. Не Элизабет. Я Лилит, первая, кто пострадала через Мужчину.

...августа 179...

Гнетущее утро. Мучительно болит голова. Долго лежу в постели. Мне виделись огромные предметы, летевшие по небу; это они издают все эти звуки. Не птицы, а неживые предметы, скользящие в воздухе. Громадные и металлические. Мне попадались рисунки воздушных шаров; но это что-то совершенно другое. Вот что я видела – ²

Когда начинаю вспоминать увиденное прошлой ночью, это не похоже на воспоминание сна. Не думаю, что я спала. Я не спала, но это не могло быть в реальности. Ни сон, ни

¹ Здесь страница оборвана, – Р. У.

² В этом месте помещен странный рисунок: разнообразные числа, среди которых плавают мириады крестов нескладной формы. Нет никакого разъяснения, что это могло бы означать. – Р. У.

реальность. Голова кружится, кружится.

Приезжает Франсина. Болтаем о моем приданом; я должна буду надеть матушкину фату и свадебное платье. Все это мне малоинтересно. Франсина говорит, что я неважно выгляжу; она беспокоится за меня. «Ты правильно решила, – убеждает она меня, – Ты сделаешь Виктора счастливым, а он сделает счастливой тебя». Я спрашиваю: упоминал ли когда-либо Шарль в своих проповедях «громкий голос, как бы трубный»? ¹ Спрашиваю: что такое эта «труба»? Она не может ничего сказать. Спрашиваю: как святой Иоанн сказал бы о часах, будь ему такое откровение? Как он сказал бы о паровом двигателе? Как сказал бы о телескопе синьора Галилея?

...августа 179...

С тех пор как я узнала Адама, я брежу. Но где пребывает наш ум, когда мы сходим с ума? Так однажды спросила Серафина. Не могу вспомнить, как она сама ответила на свой вопрос. Где сейчас мой ум?

Просыпаюсь прошлой ночью и понимаю, что летаю над Юрой, подобно птице. Я могу видеть *сквозь* землю. Я вижу под землей огромное кольцо огня. Людей в середине подземного огненного круга, лихорадочно работающих, как тролли. Не шахтеров, нет, они не шахтеры. И светят им не шахтерские лампы, не свечи. Они подожгли землю изнутри. Она сияет огненными красками. Воздух вокруг потрескивает. Воздух насыщен электричеством, оно обжигает мне кожу. Электричество вырвалось в мир! Оно повсюду. Спрашиваю, что делают эти люди, над чем трудятся в тысяче футов под землей. Голос отвечает: «Ищут философский камень». Звучит другой голос: «Они знают имена всех вещей». Следом третий голос: «Они разрушают мир».

Озираюсь. Все, кого вижу, похожи на Виктора.

Это не сон. Я больше не сплю. Не сплю. Не могу спать ².

Я надену матушкину фату; согласна. Я выйду замуж, но союзу не быть. Виктор убил Одну; теперь очередь Второй, не иначе. А в промежутке между Двумя будет борьба, пока сильный не убьет кроткого.

И посреди престола четыре животных. И первое животное было подобно Виктору. И второе животное было подобно Виктору. И третье животное было подобно Виктору. И четвертое животное было подобно Виктору. И голос, как бы трубный, взывал: «Камень найден. И имя ему Нескончаемый Раздор и Вечная Смерть» ³.

...августа 179...

Сплю беспокойно. Трижды прибегаю к помощи моего спасителя. Но все напрасно; мысли не дают спать. Что-то происходит под горами. Кажется, они рушатся. Вчера ночью видела, как в них появилась огромная трещина, из которой вырывались свет огня и звук разваливающегося мира. Утром – никаких следов. Горы не впускают захватчиков. Захватчики прорыли туннели под горами. Завтра должна быть свадьба.

Утро. 30 августа 1797

Самая худшая из ночей, небо наполнено воплями металлов, Серафина рассказывала,

¹ Откровение от Иоанна, 1,1.

² Нижняя половина следующей страницы оторвана. Сохранившаяся часть рисунка представляет собой бессмысленный набор беспорядочных линий. – Р. У.

³ Следующие три страницы густо исписаны, но по большей части не поддаются прочтению. Тут же встречаются алхимические знаки, несколько порнографических рисунков, а также рисунков неизвестных лиц и фантастических животных. Единственное, что ясно прочитывается, это список колен израилевых. В нем содержится несколько ошибочных дополнений. Например: «Колено Виктора Скальпелева» и «Колено Исаака Королевской золотой медали (т. е. Ньютона. – В. М.)». – Р. У.

как металлы мучаются в огне, как они вопят! Голос железа говорит об агонии металлов. Металлы не хотят служить нам. Когда-нибудь они восстанут против нас.

Что они делают, те люди под землей? Знают ли они это? Они открыли тайну *materia prima*. Они трудятся день и ночь под землей, чтобы пересоздать мир на свой лад. Они вторглись в чрево земли. Женщины им не надобны. Мужчины сами создают себе детей. Их дети будут не рождены, но «сделаны». Таким был Адам. Он был первым в новом племени людей. Адам был...

«Говорю, у нас больше не будет браков!»

*Матушка, прости их! Ибо не ведают, что творят*¹.

Дом полон гостей, съехавшихся на свадьбу. Они прибыли засвидетельствовать заключение нами брачного союза. Наши дорожные сундуки уже выстроились в ряд в холле, упакованные, запечатанные и перевязанные веревками. Нужно быть храброй, нужно быть радостной. На мне будет матушкина прозрачная фата. Все ждут девственницу, которая приносит свою чистоту жениху на осквернение. Я не девственница. Чистота моя была похищена у меня. На этой свадьбе нет девственниц. Во всем мире их не осталось.

И дракон стал пред женщиной, готовую разрешиться от бремени, чтобы пожрать дитя, едва оно родится.

У нас с Виктором не будет детей! Я настою на этом.

Он уйдет и не оставит потомства.

Я уйду, не имея детей.

Адам уйдет, но, хотя у него нет подруги, дети у него будут.

Произведения рук человеческих, дети Адама.

И они наследуют мир.

И они наследуют землю.

Эвиан. Вечер. 30 августа 1797

Два часа плывем по озеру. Небо чистое, тепло. Божественный день! Какое счастье и безмятежность во всей Природе! Но Виктор беспрестанно оглядывается назад, словно нас кто-то преследует. Он ничего не видит, но я знаю, чего он боится. Бесполезно, бесполезно оглядываться.

У меня тоже есть причина посматривать назад. В ясном небе, высоко над нашими парусами вижу черную точку.

Это Алу, медленно описывающая над нами широкие круги. Нынче утром я попрощалась с ней и отпустила на волю, чтобы она нашла себе новую хозяйку; но это не мешает ей охранять меня. Интересно, как далеко она последует за мной?

Вечер тихо опускается на мир; на короткое время эта величественная горная страна, как мимолетную благосклонность, дарит нам грандиозный пейзаж. Дремлющие Альпы – племя спящих гигантов. Но вот мы приближаемся к Эвиану, где озеро расходится вширь, и тут нас, как враг в засаде, поджидает скверная погода. Небо черно от туч, наплывающих из-за гор. В отдалении зловеще сверкают молнии. Над восточным концом озера бушует гроза.

Мгновенно, словно злобный Просперо взмахнул над водой своей палочкой, призывая бурю, разверзаются небеса. Ураган с грохотом вырывается из-за Ден-Доша, заполняя пространство; струи воды секут клубящиеся тучи, летящие быстрее фифа. Озеро вздымает тяжелые волны, небо ярится и мечет стрелы молний в верхушки холмов, по склонам которых бегут потоки воды. Ветер доносит с неба слабый, пронзительный крик. Последнее послание Алу: отчаянное предупреждение. Закинув голову, краткое мгновение вижу ее, тщетно борющуюся со штормовым ветром и наконец исчезающую в вихре мглы. Прощай, верная моя подруга! Так мы расстались, разлученные бушующими стихиями.

¹ Следующая страница не поддается прочтению. Снова алхимические знаки, среди которых на этот раз изображена фигура гермафродита, обозначенная как «Виктор» и «Элизабет». Под нею идут слова: «Мерзости земли». – Р. У.

Высаживаемся на берег в Эвиане и, ослепленные дождем, бежим к карете, ожидающей нас, чтобы отвезти в гостиницу в горах. Прибываем туда мокрые до нитки, багаж тоже насквозь промок; но едва мы переступаем порог, как Виктор извиняется и говорит, что кое-что забыл в лодке. Он отсылает меня в нашу комнату переодеться, велит хозяину запереть за мною дверь, когда я благополучно в ней устроюсь. Жена хозяина, полная добродушная женщина, ведет меня в предназначенную нам спальню и ставит в угол мой саквояж. Потом идет к постели и почтительно снимает покрывала, как сделала бы для всякого гостя. С лукавой улыбкой откидывает одеяло и говорит, что это лучшее брачное ложе, какое можно сыскать на всем озере. Растопив камин, она уходит, но на пороге останавливается, чтобы сказать: «Что за ночька выдалась, специально для вас, моя дорогая. Пусть она будет первой в вашей долгой и счастливой замужней жизни!» Затем, как было велено, закрывает дверь и поворачивает ключ в замке.

Едва она удалилась, шарю в нашем багаже в поисках этой тетради, опасаясь, что дождь добрался и до нее. Нахожу ее сухой и вкладываю в нее написанное заранее письмо. Все сделано. Я готова.

Выскальзываю из насквозь мокрой одежды, которая падает к моим ногам, и стою обнаженная посреди комнаты. Смотрю долгим взглядом на огромную кровать с балдахином, занимающую чуть ли не всю спальню. Думаю: *«Нынче ночью, будь я как всякая иная новобрачная, я б легла на это ложе вот так, нагая, в страстные объятия супруга, чтобы познать законные наслаждения плоти. Нынче ночью, будь я как всякая иная женщина, я б достигла предела желания всей жизни как любящая жена и мать. Но это не для меня. Я лягу на это ложе, как жертвенный агнец, ожидающий искупительного удара. И больше я не увижу света дня».*

У Виктора при себе пистолет; он пытался спрятать его от меня, но я увидела его среди вещей. Виктор охвачен страхом; он не может скрыть его. Думаю, в этот самый момент он шарит в доме и вокруг. Он знает об опасности, подстерегающей нас, и думает, что способен защитить меня. Он не может меня защитить.

Кружится голова. С утра чувство покорного безразличия.

Буря обрушивает на нас гром и ливень; гремит что есть мочи, будто земля – барабан. В окно вижу, как, бешено извиваясь, пляшет огонь среди туч; то и дело в свете молнии ясно, как днем, вспыхивает купол Монблана. Словно небеса раскололись и оттуда вырывается сияние Эмпирея.

Это недолгое время, этот час...

Я должна записать.

Это не мои слова.

Это...

Это не...

Я вижу гибель мира.

Вижу громадные машины в чреве Земли.

И вижу, горы рушатся.

И вижу, молния укрощена и создает раба людей.

И вижу унижение великой Природы.

И слышу, небо кричит голосом железа.

И вижу, из Земли прорастает смертоносный смердящий сад из десятков и сотен огромных распускающихся цветов огня.

И слышу, электричество говорит миллионом голосов.

И вижу, люди возводят города, не нуждающиеся ни в солнце, ни в луне.

И вижу, люди отворачиваются от прекрасного лика земли, ища новые миры в пустоте. Вижу, они поднимаются в пустоту.

И вижу, пожирает пустота сердца людей.

И чувствую, смертельный холод опускается на землю.

И вижу, люди воплощают свои фантазии в плененную материю.

И вижу, люди создают существ, зародившихся в их воображении.
И вижу, люди плодятся без помощи женщин.
И вижу чудовищ, пресмыкающихся пред своими создателями и восстающих против них.
И слышу тихий стук в окно, и знаю, кто это.
И слышу свой голос, приветствующий запоздалого свадебного гостя.
И слышу себя, просящую о милости забвения. И вижу себя, лежащую на этой кровати. Себя, простертую на этом брачном ложе. Себя, нагое приношение. Себя, последнюю женщину на земле. Вижу...¹

Эпилог

Читатели вспомнят рассказ самого Виктора Франкенштейна о том, как Элизабет встретила свою смерть в гостинице в Эвиане в ту роковую брачную ночь. Вскорости после того, как были написаны приведенные выше слова, Элизабет нашли мертвой в ее спальне. Она была задушена. Первым нашел ее Виктор. Он обходил дом и сад, предпринимая все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свою невесту, когда, по его словам, услышал вопль, раздавшийся из комнаты Элизабет. Отперши дверь спальни, он заметил в окне убийцу жены и выстрелил в него. Хозяин гостиницы, его семья и постояльцы тут же по команде Виктора бросились обыскивать сад в поисках убийцы, но не нашли никаких следов его. По сей причине, когда поиски завершились ничем, немедленно на Виктора легло подозрение в том, что он сам совершил убийство, каковое по сей день остается легендой ближайших окрестностей.

Летом 1821 года мне удалось разыскать дочь хозяина гостиницы, некогда встречавшую новобрачных в Эвиане в бушующую грозу и провожавшую их в гостиницу. В то время ребенок двенадцати лет, она живо помнила кошмарные события той ночи. Будучи спрошена о чудовище, лишившем жизни Элизабет, женщина не колеблясь заявила, что она, как и ее родители, всегда считала это существо выдумкою Виктора Франкенштейна. Она не знает никого, кто слышал бы крик убитой женщины; все сбежались на звук выстрела. Она твердо была убеждена, что Виктор был убийцей, что он задушил молодую в приступе безумной ревности. И правду сказать, то, что мертвую Элизабет нашли раздетой в комнате, куда лишь он мог войти, делало преступление из страсти очевидным и разумеющимся.

Печально, что среди тех, кто помнил о преступлении, преобладало мнение сей женщины; хотя Виктор так и не был ни арестован, ни подвергнут допросу, он не мог доказать своей непричастности к этому делу. Даже барон, спустя несколько дней умерший от удара, сошел в могилу, скорее всего, убежденный, подобно другим, что руки его сына обгажены кровью Элизабет. Невероятный рассказ Виктора о кровожадном и ужасном существе, разгуливавшем на свободе, ничем не мог быть подтвержден. Это обстоятельство в конце концов склонило меня записать все, что я нашел в воспоминаниях Элизабет, чтобы вернуть Виктору Франкенштейну его доброе имя. Поскольку я единственный в целом свете могу засвидетельствовать существование чудовища, лишившего Элизабет жизни, надеюсь, эти несколько последних страниц, пусть и попорченных автором, находившимся на ранней стадии безумия, умерят подозрения, кои продолжают преследовать этого человека столь трагической судьбы. В каких бы преступлениях по праву ни обвиняли Виктора Франкенштейна, мир должен знать, что молодая его жена погибла не от его руки.

Вслед за смертью отца Виктор слег в горячке, которая держала его в постели несколько недель. Когда он настолько оправился, что начал вставать, в нем созрело решение отомстить злодею, разрушившему его жизнь. Так началась охота за чудовищем – два года по пустыням и тундре, от Средиземного моря к Черному, и в результате он оказался на полярном севере. Там осенью 1799 года наши пути пересеклись в замерзшем море; и так он наконец нашел человека, достаточно терпеливого и сочувствующего, чтобы записать его историю. И лишь

¹ Последние страницы вырваны. – Р. У.

когда я исполнил свой долг, Виктор Франкенштейн, истощенный и измученный многими страданиями, умер у меня на руках. На другой день, едва льды расступились и наш корабль повернул к югу, демон, которого Франкенштейн преследовал по всей планете, ворвался в мою каюту, требуя отдать ему земные останки его создателя. Он обещал мне, что и он сам, и тот, кто создал его, исчезнут в огне общего погребального костра в самой северной точке мира. В последний раз увидел я мерзкое существо, когда оно на прощание махнуло мне с ледяного плота, который уносил его во тьму и даль.

Теперь многие годы отделяют меня от того необычайного эпизода, когда среди ледяной пустыни я послушно записывал то, что принимал за бред сумасшедшего. До сего дня не могу понять, для чего я это делал, разве что на то была воля Провидения. Место было странное; но еще более странным было символическое положение, в котором находился я несколько дней. Вместе с проклятой душой я был в мире мертвых. Тогда я этого не понял, но Арктика, недоступная, бесчеловечная и безжизненная, олицетворяла собой наследие Франкенштейна полней любого другого пейзажа, какой в силах явить воображение. Она воплощала ту ледяную нижнюю область ада, куда Данте поместил злейшего врага Бога. По убеждению поэта, даже грех самого кровавого убийства, совершенного из страсти или гнева, не столь ужасен, как грех преднамеренного злодеяния, за который Сатана осужден навечно. Будучи ангелом света, Сатана использовал свой интеллект, чтобы восстать против своего Создателя. Не явилась ли судьба Франкенштейна, часто думал я, предвестием будущего, когда холодный и бесчувственный Разум завладеет изобильной Природой и превратит ее в подобную ледяную пустыню?